

А
Ф

ИОН

ТЕЙХТВАНГЕР

ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА • 1963

ФЕЙХТВАНГЕР ИОН

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ДВЕНАДЦАТИ ТОМАХ

*Под общей редакцией
А. Дымина, Б. Сучкова,
С. Тураева и А. Чаковского*

ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА 1963

АИОН ФЕЙХТВАНГЕР

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
ТОМ ПЕРВЫЙ

МИР
1918 ГОД
БЕЗОБРАЗНАЯ ГЕРЦОГИНЯ

Переводы с немецкого

ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА 1963

LION FEUCHTWANGER
FRIEDE
EIN BURLESKES SPIEL
NEUNZEHNHUNDERTACHTZEHN
EIN DRAMATISCHER
ROMAN
DIE HÄSSLICHE HERZOGIN
MARGARETE MAULTASCH
ROMAN

Примечания
Е. МАРКОВИЧ

Оформление художник
И. Ф О М И Н О Й



Lincoln Perry

ЛИОН ФЕЙХТВАПГЕР

(1884—1958)

Не все то, что в наш век великих перемен создано мыслью художника, входит как нечто необходимое и значительное в умственную жизнь человечества. Время перелистывает книги, проверяя взыскательно и строго их истинную ценность, и сохраняет в памяти людской лишь те из них, которые служат прогрессу, обладают большой изобразительной силой и отмечены стремлением осознать смысл и содержание общественной борьбы нашей эпохи.

Этими признаками подлинного искусства наделены лучшие произведения Лиона Фейхтвангера. Согретые чистой любовью к человеку, окрашенные мудрой иронией, полные открытой ненависти к варварству буржуазной цивилизации, они превозмогли власть времени и, обогатив литературу критического реализма, стали неотъемлемым достоянием современной культуры.

В романах, пьесах и стихах Лиона Фейхтвангера нет прямого и непосредственного изображения социальных язв капитализма, ужасов капиталистической эксплуатации народных масс, какое можно найти у Драйзера и Шона О'Кейси, Нексе и Барбюса. Но это не значит, что Фейхтвангер обходил в своем творчестве главные общественные конфликты нашего века. По существу, с момента наступления духовной зрелости и до са-

мой смерти его волновал и занимал один-единственный вопрос — о путях, перспективах и движущих силах социальных изменений, свидетелем которых он был. В разные периоды жизни он отвечал на него по-разному, но всегда раздумья над судьбами человечества составляли пафос его духовных и творческих исканий и понуждали пристально вглядываться в меняющуюся картину мира, где он сквозь пелену повседневности различал признаки умирания собственнической цивилизации. С постоянным вниманием следил он за строительством социализма в Советском Союзе, искренне стремясь осознать и усвоить его опыт.

Он завоевал известность главным образом как автор исторических романов, но в действительности лишь одна современность властно и неотвратно приковывала к себе его внимание. «Я никогда не собирался изображать историю ради нее самой», — говорил он, определяя особенности своей творческой манеры, и это было правдой. Не бесстрашием мертвого покоя, не отрешенностью от общественных интересов своего времени привлекало Фейхтвангера прошлое: в истории он видел и изображал живые столкновения идей, борьбу сил регресса и прогресса, последствия которой оказывали глубочайшее влияние и на социальные конфликты современного общества.

Как писатель он складывался в тот период европейской истории, когда шли на ущерб традиции буржуазного либерализма, дух которого был ему близок, когда в буржуазном сознании происходила поляризация идей, вызванная обострением противоречий капитализма и переходом буржуазии к новым формам защиты своего классового господства. Реакционные буржуазные политики, философы и писатели, активно борясь с прогрессивными общественными идеями, пытались доказать невозможность изменения условий человеческого существования и самого человеческого сознания в лучшую сторону. Высказывая мнение, будто основная масса людей, занятых муравьиным трудом по добыванию хлеба насущного и производству материальных благ, органически не способна к духовному совершенствованию и навеки обречена быть удобрием, питательной почвой, на которой расцветает культура немногих избранных, буржуазные идеологи не только обесмысливали идею прогресса, но и пытались обосновать вечность господства буржуазии, оправдывая любые формы и способы его сохранения.

Преодолевая индивидуалистические иллюзии молодости, Фейхтвангер и в романах о прошлом и в романах о своем времени выступал как художник, посвятивший свой талант защите завоеваний человеческой культуры против посягательств на нее реакционных общественных сил. В годы усиления антифашистского движения, когда вся мировая общественность поднялась на борьбу за свободу народов против фашизма, Лион Фейхтвангер находился на линии огня, вызывая бешеную злобу гитлеровцев. В эти годы он создал лучшие свои книги, в которых фашизм, его идеология подвергались беспощадному и гневному разоблачению. Трепетное чувство современности, острая политическая мысль, социальная важность затронутых писателем вопросов, страстность обличения обеспечили его романам почетное место в антифашистской литературе. Они сохраняют свое действенное значение и по сей час, когда международная реакция снова начинает поддерживать неофашистские силы.

Романы, написанные Фейхтвангером в послевоенные годы, свидетельствовали, что он как художник не остановился в своем духовном развитии. Под конец жизни он пришел к пониманию того, что творцами истории являются народные массы. Эта мысль, ставшая для него итоговой, проходит через все его поздние произведения, углубляя их реализм и сообщая им ясность взгляда на жизнь и оптимистичность, несвойственную его раннему творчеству.

Если в ранний период духовного развития для Фейхтвангера идея общественного прогресса представлялась по меньшей мере сомнительной, то истинным героем его поздних произведений стал «...тот незримый кормчий истории, который был открыт в восемнадцатом столетии, в девятнадцатом тщательно изучен, описан и превознесен, с тем чтобы в двадцатом быть тяжко оклеветанным и отвергнутым: прогресс».

Сложную духовную эволюцию проделал Фейхтвангер за пятьдесят с лишним лет своей творческой деятельности, и сама жизнь, сама современная история, которую столь внимательно изучал он, стараясь разгадать пути ее движения, была его лучшим учителем и наставником. Его ранние литературные опыты, относящиеся еще к 1903 году, когда вышла в свет первая его книжечка, и произведения, написанные перед империалистической войной,— филологические исследования, театральные рецензии, первый и весьма несовершенный роман, пьесы

и новеллы,— не принесли ему славы и не определили его творческого лица. В них отчетливо сказалось влияние социальной среды, в которой жил и формировался молодой Фейхтвангер, той атмосферы эстетизма, которая окутывала тогда еврейское искусство.

Фейхтвангер происходил из буржуазной еврейской семьи. Сын богатого фабриканта, он получил солидное образование в университете своего родного города Мюнхена, а затем Берлина, где изучал германскую филологию и философию, а также санскрит. Рано пробудилась у него любовь к античности, а под влиянием патриархальных семейных традиций — интерес к иудейской истории, сохранившийся до конца жизни и определивший тематику и проблематику ряда его произведений.

Его соблазнил и заворожил обманчивый блеск эстетского искусства, излучающего призрачный, мерцающий свет, подобный фосфорическому свету болотных огней, всегда вспыхивающих там, где процессы распада и разложения вещества идут наиболее энергично. Изысканная, болезненная утонченность формы — и бедность жизненного содержания; восторженное и назойливое восславление красоты — и пренебрежение нравственными ценностями жизни; преклонение перед сильной, возвышающейся над толпой личностью — и холодное, равнодушное отношение к рядовым людям; любование декоративностью и роковыми страстями ушедших в прошлое эпох — главным образом Ренессанса — и пренебрежение реальными, каждодневными социальными нуждами и конфликтами своего времени, — эти черты эстетского, декадентского искусства начала века в значительной мере свойственны были и ранним произведениям Фейхтвангера. Сам он в статье «К психологии сценической реформы», опубликованной в 1909 году, деля современную ему литературу на два борющихся лагеря, не оставлял сомнений, что его собственные симпатии были отданы модернистскому искусству. Он писал, что реалистическое или, по его тогдашней терминологии, «идеалистическое направление любит все простое, замкнутую, сосредоточенную в самой себе упорядоченность, «здоровое» и ненавидит отрицание, усложненность, «больное»... Оно говорит охотно и убежденно о высшем единстве, цельности, простодушии... Оно любит старые, почтенные виллы погребки, солнечные, залитые светом весенние утра, достойных юношей и добродетельных девиц...

Мир, который охватывается «Колоколами» и «Прогулкой» Шиллера,— это его мир». К этому направлению Фейхтвангер относил произведения Готфрида Келлера, Теодора Шторма, Вильгельма Раабе и Германа Гессе — то есть всех тех немецких писателей, которые придерживались реалистического метода. «Другое направление,— продолжал он,— любит большой город, стремительную, бурную жизнь, все современное и новейшее. Комфорт, изнеженность, многократно умноженную утонченность высокоразвитой культуры. Оно интересуется человеком, и только человеком. Больше чем природой и метафизикой... Оно весьма далеко от народнической наивности и в существе своем эзотерично». Это нерелистическое направление в искусстве, связанное с творчеством символистов Гофмансталя и Шницлера, а также склонившегося к модернизму Герхардта Гауптмана, казалось молодому Фейхтвангеру и новаторским и ультрасовременным. В его духе и под его влиянием были написаны собственные произведения Фейхтвангера — маленькие пьесы, в том числе «Донья Бьянка», «Кориопфская невеста», новелла «Карнавал в Ферраре» и другие, представляющие ныне только историко-литературный интерес. Особенно примечательна в этом отношении пьеса «Джулия Фарнезе» — псевдоисторическая стилизация под эпоху Возрождения, сюжет которой отличался и вычурностью и болезненностью, а характеры действующих лиц — условностью. Пьеса эта, где рассказывалось, как некий художник, дабы лучше написать распятие, подогретый любовью к роковой красавице, собственноручно распинает своего ученика и перепосит на полотно его предсмертные муки, свидетельствовала, в какой идейный и творческий тупик уводило Фейхтвангера увлечение искусством декаданса. Впоследствии он не без иронии отзывался о раннем своем творчестве, рассматривая его лишь как не очень плодотворный этап собственного духовного развития. Гораздо более важную роль в его дальнейшей творческой эволюции сыграла литературно-критическая деятельность, которой Фейхтвангер отдавался со страстью.

Он написал много статей и рецензий, посвященных в основном театру и драматургии. Статьи его отличались ядовитым остроумием, изяществом стиля, пристрастием вкусов и оценок. В них он также отдал немалую дань эстетизму. Однако занятие критикой, исследование и изучение великой мировой реалистической драматургии понудило Фейхтвангера отчетли-

вей осознать связь, существующую между искусством и жизнью, искусством и обществом, искусством и историей, и обнажало перед ним узость и ограниченность модернистской эстетики и модернистской литературы. Его внимание и живой интерес приковал к себе реалистический роман, возрождавшийся в начале века в немецкой литературе и достигший высокого совершенства под пером братьев Манн — Томаса и Генриха. Особенно сильное влияние оказало на Фейхтвангера творчество Генриха Манна, его на шумевшие произведения — «Киссельные берега», «Учитель Гнус», «Маленький город», в которых суровой критике подвергалась кайзеровская Германия и содержалась едкая сатира на косное, ограниченное, воинственное немецкое мещанство. Фейхтвангеру импонировала не только форма романов Генриха Манна — несколько рационалистическая, гротесковая, близкая своим интеллектуализмом его собственной прозе, но и те радикально-демократические идеи, которые развивались в откровенно антибуржуазных произведениях Манна. Отходя от эстетизма, Фейхтвангер постепенно начинал менять свое отношение к буржуазному обществу, чья бесчеловечная природа становилась ему год от году яснее.

Но не литература оказала решающее воздействие на его мировоззрение и творчество. В ранние годы своего духовного возмужания Фейхтвангер видел — и это было нетрудно увидеть, — что жизнь, которой живут его современники, неразумна и жестока. Молодой писатель ощущал, что капитализм болен, но он отнюдь не считал эту болезнь смертельной, а силы буржуазной демократии, с которой был органически связан всем строем своего мировоззрения, — исчерпанными. Типичный буржуазный интеллигент, Фейхтвангер достаточно трезво смотрел на мир и весьма недоверчиво относился к массе, толпе, иными словами — к народу. Разделяя многие предрассудки своей среды, считавшей себя солью земли и единственной хранительницей культуры, он жил ее узкими интересами. Однако неумолимые факты действительности разбивали его иллюзию о беспрерывном и бесконфликтном развитии буржуазного прогресса, о прочности и незыблемости буржуазной демократии — того сытого и самодовольного мира собственников, который, как казалось многим буржуазным либералам (в том числе и Фейхтвангеру), пребудет вечно. Этот сытый и самодовольный мир буржуазной Европы был взорван и растерзан разразившейся

в 1914 году империалистической войной. Все темные и злые силы, копившиеся в недрах капитализма, которых слишком долго не замечали буржуазные интеллигенты, в том числе и Фейхтвангер, вырвались наружу, сея смерть и разрушение, заливая кровью лик земли, принеся невыносимые страдания народам, обманутым шовинистической пропагандой.

Лион Фейхтвангер неясно представлял себе причины, вызвавшие всеобщую войну, но он решительно не принял ни ее целей, ни той националистической идеологии, которая ее оправдывала. В числе немногих европейских интеллигентов он занял антивоенную позицию и поднял свой голос против империалистической бойни. Антивоенные взгляды писателя нашли выражение и в «Песни павших» — стихотворении, окрашенном настроениями социального протеста, которое ему, обойдя цензурные препятствия, удалось опубликовать, и в пьесе «Мир», вариации на темы комедий великого греческого сатирика Аристофана — ироничной, грубовато-злой, высмеивавшей военщину и безоговорочно осуждавшей войну и ее организаторов.

Зрелище ужасов войны, озверения буржуазии, яростной и безжалостной работы жерновов уничтожения на фронтах, где истекали кровью обманутые народы; зрелище бесстыдной жизни и дел тыловых спекулянтов, фабрикантов оружия, торгашей и лавочников, наживавшихся на крови ближних своих; зрелище духовной растленности буржуазных интеллигентов, раздувавших шовинистические страсти, — укрепляло гуманистические воззрения Фейхтвангера и отталкивало его от буржуазного общества, ввергнувшего человечество в бессмысленные страдания. Если раньше в его художественных произведениях и статьях ощущалось скептическое отношение к игре интересов, которую он наблюдал в буржуазном обществе, то в военные годы его отношение к собственническому миру обрело критицизм — новое качество, которого ему как художнику недоставало. История обнажила перед Фейхтвангером зияющие противоречия жизни, доселе ему неизвестные, и внесла в его душу смятение, отразившееся в произведениях писателя, созданных как в военные, так и в первые послевоенные годы.

Хотя «Песнь павших» и пьеса «Мир» подтверждали, что Фейхтвангер не остался слеп и глух к происходящему и на его мировоззрение благотворное воздействие оказывали зрев-

шие в педрах народных масс пастроения революционного протеста; но одновременно ощущалась и оторванность его творчества от жизни, от парода, несущего бремя исторических испытаний.

В годы войны Фейхтвангер много писал. В основном это были оригинальные пьесы и переделки произведений классической драматургии — «Персов» Эсхила, «Васантасены» великого древнеиндийского поэта Шудраки, драмы Калидасы «Царь и танцовщица». Интерес к древнеиндийской философии и искусству возник у Фейхтвангера не случайно. Наряду с мотивами социальной критики в его творчество начинают проникать пессимистические и фаталистические настроения, самоулубленность и созерцательность, вызванные сознанием собственного бессилия перед жестокостью жизни. Эти мотивы и пастроения нашли свое выражение в пьесе «Уоррен Гастингс», впоследствии переработанной Фейхтвангером, и в драме «Еврей Зюсс» — первоначальном наброске замысла, нашедшего окончательное воплощение в одноименном романе. Противопоставляя в «Уоррене Гастингсе» агрессивную философию жизни европейца пассивному, созерцательному, кроткому мировоззрению Востока, Фейхтвангер осуждал буржуазное предпринимательство, своекорыстность сынов капиталистического мира. Однако социальная критика деятельности Гастингса — генерал-губернатора завоеванной англичанами Индии, одного из палачей индийского народа, — оттеснялась этической проблематикой, которая, по словам самого писателя, сводилась к исследованию и осмыслению противоположностей: «Индия и Европа, деятельный человек и духовный человек, кающийся и солдат, Будда и Ницше»¹. Рассматривая эти взаимоисключающие понятия, за которыми стояли разные типы мировосприятия, Фейхтвангер начинал склоняться к историческому пессимизму, полагая, что в созерцательном отношении к жизни заключена для человека единственная возможность существовать. Авантюрист Гастингс оказался побежденным кроткой, пассивной философией жизни древней восточной страны. Такова судьба всех, кто начинает действовать и бороться, полагал Фейхтвангер. В этой ложной идее своей он укрепился еще больше, столкнувшись лицом к лицу с событиями, потрясшими до основания здание собственнического мира.

¹ Сборник «Centum opuscula», стр. 386.

В России вспыхнула революция, и над залитым кровью миром пронеслась весть о свободе. Октябрьская революция навсегда прорвала цепь капитализма и, положив начало новой эре в истории человечества, указала ему реальный путь в будущее. Началась революция и в Германии, где она возникла в обстановке, вызванной военным поражением германского империализма.

Знамя Советов было поднято в Киле, Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене, Берлине и других городах бывшей Германской империи. Однако в отличие от социалистической революции в России, возглавлявшейся и руководимой большевиками, стихийное революционное движение в Германии не было возглавлено сплоченной, единой боевой пролетарской партией, и очень быстро ключевые позиции в Советах захватили социал-демократы, стремившиеся подменить революционное преобразование капиталистического общества — буржуазно-демократическими реформами. Расчищая дорогу контрреволюции, социал-демократические лидеры, стоявшие у власти, разрешили создание так называемых «добровольческих народных войск», узаконив тем самым белогвардейские офицерские объединения, явившиеся зародышами ударных отрядов фашизма. Ромэн Роллан, обращаясь к правящим кругам капиталистической Европы, писал в те дни: «...консервативная, милитаристская и монархическая реакция продвигается в Германии гигантскими шагами, и... вместе с ней в стране распространяются, подобно лихорадке, национальная вражда и идея реванша. И я кричу вам: берегитесь! Все вы, правительства Алпанти, содействовали этому... как можете вы содействовать и помогать торжеству Шейдеманов, сообщников императорской политики — Эбертов и Носке, призывающих на помощь себе офицеров-монархистов и действующих по указке невидимого, но всегда присутствующего генерального штаба Людендорфа, для того, чтобы раздавить спартаковцев,— между тем как последние желают усвоения уроков войны, лояльного мира, примирения народов? Буржуазные правительства Европы, интересы вашего класса вам дороже интересов родины»¹. Великий европеец был прав: немецкая буржуазия, подавляя революцию, круто поворачивала на путь реакции и агрессии, которая неизбежно обрушилась на европейские государства в годы гитлеризма.

¹ Р. Роллан, На защиту нового мира, «Время», 1932, стр. 25 и сл.

Революционная волна докатилась и до родины Фейхтвангера — Баварии. Вошедшая в состав Германской империи после франко-прусской войны, Бавария сохраняла некоторые права автономности внутри империи, имея армию, подчинявшуюся непосредственно баварскому правительству, собственное министерство иностранных дел, самостоятельное управление некоторыми отраслями хозяйства и т. д. Революционные настроения в Баварии — аграрной стране — соседствовали с настроениями сепаратистскими, носителями которых были в первую очередь крестьяне, ибо имперское правительство, ущемляя во время войны баварскую автономию, затрагивало в первую очередь их интересы. Поначалу во главе революционного правительства стали «независимые» социал-демократы. Их лидер Курт Эйсер, нацифист и соглашатель, сразу же декларировал «мирное свободное сотрудничество классов» и проявлял максимум нерешительности в осуществлении революционной программы. После того, как он был убит белогвардейским офицером, социал-демократы утратили влияние на массы; Бавария была объявлена Советской республикой, а социал-демократическое правительство Гофмана, сменившего Эйсера, бежало на север страны. Взявшие власть коммунисты под руководством Евгения Левине вели борьбу с контрреволюцией. Однако силы были неравны: «независимые» предали революцию изнутри. Извне против Советской республики действовали организованные Гофманом белогвардейцы — войска Носке, добровольческий корпус Эппа, бригада Эрхардта, вюртембергские войска. Мюнхен был взят, Левине — расстрелян, начался белый террор, сопровождавшийся чудовищными злодеяниями и жестокостью.

В годы революции история недвусмысленно поставила перед всеми мыслящими людьми вопрос о путях и способах разрешения конфликта между собственническим миром и рождающимся миром социальной справедливости.

Фейхтвангеру — свидетелю злодеяний военщины, предательской политики социал-демократических лидеров, трусливой спирепости озлобленного мещанства — стали ненавистны все виды общественной реакции, но его испугали размах и решительность движения народа. Либерально-демократические иллюзии и убеждения взяли верх в его сознании, и он начал искать путей и способов преобразования и улучшения общественной жизни — вне прямого революционного действия. Он не утратил

веру в жизнеспособность буржуазной демократии, хотя его критическое отношение к собственническому миру и усилилось.

Пережитое и увиденное в годы войны, в дни революции и контрреволюции в Германии навсегда выжгло из творчества Фейхтвангера эстетизм. В его наиболее значительных произведениях тех лет — в пьесе «Военнопленные» и особенно в драматическом романе «Тысяча девятьсот восемнадцатый год» — уже начинает господствовать социальная проблематика, ощущается приближение Фейхтвангера к реализму.

В пьесе «Военнопленные» Фейхтвангер противопоставил варварской бессмыслице империалистической войны, сопутствующему ей озверению и милитаристской идеологии — силу и чистоту естественных человеческих чувств, поднявшихся над враждебностью, разделявшей сражающиеся народы. Рассказав о трагической любви немецкой девушки, сумевшей освободиться от националистических предрассудков, и француза-военнопленного, впоследствии убитого при попытке к бегству, рассказав о тех нравственных и физических мучениях, которые выпали на долю другого героя пьесы — пленного русского солдата, Фейхтвангер, обращаясь к совести и разуму своих современников, призывал их остановить кровопролитие. Написанная в мелодраматических тонах, плакатно-прямолинейная пьеса «Военнопленные» не предлагала никакой ясной антивоенной программы действия, ибо в те годы у Фейхтвангера ее не было; не рассматривала она войну как прямое следствие и порождение противоречий капитализма, ибо Фейхтвангер этого еще не понимал; не указывала она на те общественные силы, которые могли бы пресечь войну, ибо Фейхтвангер их не видел и был от них далек. Однако дух интернационализма, гуманности, ненависти к войне, разлитый в пьесе, делал ее при всех художественных слабостях и недостатках важной вехой в духовном развитии писателя. Еще ближе к подлинным конфликтам жизни и истории стал Фейхтвангер в драматическом романе «Тысяча девятьсот восемнадцатый год» — прямым отклике на германскую революцию.

Хотя роман и написан диалогически, он отнюдь не занимает промежуточного положения между эпосом и драмой. Его художественная форма органична, и возникла она под воздействием экспрессионизма — весьма влиятельного в двадцатые годы направления в искусстве. Для экспрессионизма была ха-

рактерна однолинейность изображения персонажей, их душевных состояний, чувств и страстей, а также пренебрежение психологическим анализом. Большой частью действующие лица экспрессионистских произведений выступали как олицетворения собственной социальной сущности, а не как индивидуальные образы, и именовались просто: фабрикант, рабочий, коммерсант и т. п. Однолинейность изображения героев и их душевных состояний идет в романе «Тысяча девятьсот восемнадцатый год» от экспрессионизма. Но социальный анализ событий — основная примета реализма — резко отделяет это произведение Фейхтвангера от истерически-напряженного, условного искусства экспрессионистов и вводит его в русло реализма критического.

Главный герой романа Томас Вендт — бунтарь и человеколюбец, мятежник и мечтатель — становится вождем революции. Его сердце открыто страданиям мира, и единственная цель его деятельности — привести людей к свободе, уничтожив зло и несправедливость, существующие в жизни. В своем служении добру он пренебрегает разделяющими людей классовыми различиями: среди его близких — капиталисты и пролетарии, интеллигенты и оскорбленные жизнью, деклассированные люди. Не понаслышке знает Вендт о тех испытаниях, которые выпали на долю народа: его собственная революционность опирается на опыт жизни. Он отбрасывает трусливую расчетливость социал-демократов, призывающих народ повременить, обождать с революцией, и смело отдается стихии восстания, уверенный в неизбежной победе добра и справедливости. Хотя в романе в силу своеобразия его художественной формы не дается подробного описания хода революционных событий, но из реплик его многочисленных персонажей, из калейдоскопически меняющихся сцен, насыщенных сгущенным драматизмом, становится ясной картина нарастания и спада революции. Роковым образом желание Вендта принести счастье одним оборачивается бедствием для других; апостол добра, он поставлен перед необходимостью применять насилие. Полученная им от революции власть роковым образом ускользает из его рук и попадает в жирные, ловкие ручки господина Шульца.

Если образ Вендта овеян поэзией, то в образе господина Шульца воплотилась плотоядная, низменная, пошлая прозаичность буржуазного мира. Все духовные ценности жизни, любовь

и добродетель, честность и справедливость, поэзия и искусство для него — объект купли и продажи наравне с прочими товарами, котирующимися на рынке и бирже. Цинично наживаясь на крови ближних своих, спекулируя и богатея в тылу, прикидываясь то патриотом, то истым революционером, господин Шульц потихоньку-полегоньку отнимает у народа завоеванную им в революции победу и становится хозяином жизни. Томас Вендт терпит поражение. Считая, что революционность и человечность несовместимы, не понимая, что освободительное революционное деяние есть высшая форма проявления любви к людям и человечеству, он отрекается от политики. Его идеи, его представление о справедливости не выдержали испытаний жизнью. Добро, которое он жаждал принести людям, было добром отвлеченным, надклассовым, обращенным в равной мере к угнетателям и угнетенным. Вендт пытался объединить в братском союзе всех людей, капиталистов и пролетариев, — то есть соединить несоединимое. Не сумев быть последовательным революционером, довольствуясь полумерами в борьбе с врагами революции, оглушенный патетикой собственных речей, он невольно содействовал ее гибели. Народ в романе — безликая масса, действующая инстинктивно. Не получив от революции благ и удовлетворения своих непосредственных нужд, он отпатывается от Вендта и, не умея самостоятельно довершить начатое дело, без сопротивления, покорно, с превеликой охотой отдается под власть Шульца и ему подобных. Таков неизбежный результат всякой попытки изменить мир, иолагал Фейхтвангер. Ему — художнику, появившему своекорыстную, антинародную природу буржуазной власти, создателю сатирического портрета господина Шульца, — в те годы явно недоставало политической прозорливости. Образ мелкобуржуазного утописта Вендта, в чертах которого угадывались сильно идеализированные черты Курта Эйснера, оттеснил в сознании Фейхтвангера мученически-благородный образ Левине — подлинного вождя баварской пролетарской революции, открывавшей перед восставшим народом перспективу социалистического переустройства общества, которая не была осознана Фейхтвангером как реальная перспектива исторического развития и не бралась им в расчет при раздумиях над судьбами мира. Это говорило об односторонности выводов, которые он сделал из поражения германской революции. Победившая реакция предстала перед ним как труднооборимая стихия варварства и пера-

зумия — темная, пизкая и своекорыстная. Не веря в созидательные силы народа, считая, что он не способен перестроить жизнь, не зная реальных путей изменения условий человеческого существования, Фейхтвангер стал рассматривать историю прошлого и настоящего как постоянное столкновение Разума и варварства. В этом столкновении одинокие представители Разума — люди гуманной мысли и доброй воли — не в состоянии преодолеть и победить стихию варварства, ибо силы этих двух начал, якобы извечно существующих в историческом бытии, находятся в равновесии.

Пессимистичность подобного взгляда на историю была очевидной. Очевиден и ее либерально-гуманистический характер, ибо для подлинно революционной общественной мысли содержание истории прошлого и настоящего никак не сводится к столкновению отвлеченных этических начал, а определяется вполне реальной, тяжелой борьбой народных масс за свою свободу.

Вместе с представлением об истории как извечной борьбе Разума и неразумия, в ходе которой меняются лишь участники конфликта, а сам конфликт остается неизменным, в творчество Фейхтвангера входила идея относительности исторического времени. Пренебрегая дистанцией, разделяющей исторические события разных эпох, Фейхтвангер переносил современные ему социальные проблемы и понятия в прошлое, наделяя исторических героев психологией и страстями людей двадцатого века. Так возникло у него осовременивание истории — характернейшая черта его исторических романов.

Все эти сложные процессы, шедшие в его сознании и творчестве в послевоенные и послереволюционные годы, определили идейное содержание романов «Безобразная герцогиня» и «Еврей Зюсс», принесших Фейхтвангеру широкую мировую известность. Мысль о бесцельности и бесполезности деяния, о превосходстве созерцания над низменной и нечистой суетой жизни проходит и через роман о Маргарите Тирольской, и через роман об Иозефе Зюссе Оппенгеймере. Несмотря на то что события, описанные в этих произведениях, относились к временам отдаленным — к XIV и XVIII столетиям, а богатство живых деталей прошлого, собранных в романах, создавало иллюзию исторической достоверности рассказа, — заключенная в них мысль была в высшей степени злободневна и

современна. Ибо вопрос: способно ли деяние принести благо в мире, где добро попирается злом,—отнюдь не был для Фейхтвангера праздным и не имел отвлеченного философского характера.

Герцогиня Маргарита Маульташ, героиня первого увиденного свет исторического романа Фейхтвангера, возникает на его страницах как натура сильная, наделенная богатой внутренней жизнью, естественной тягой к добру и счастью. Но кроткая и женственная ее душа, обладающая могучей потребностью любви и способностью к самозабвенной жертвенности во имя любви, постепенно черствеет, камнеет в борениях с неумолимой жестокостью мира и людей, наливается холодным скепсисом и тягостной непреодолимой усталостью.

Ясный и светлый разум Маргариты, позволявший ей без большого труда овладевать ученой премудростью своего века, разгадывать хитросплетения политических интриг, которые вели вокруг ее достояния — ее маленького государства — корыстные и свирепые феодальные властители, разум ее, позволявший Маргарите понимать благо своих подданных, постепенно тускнеет, меркнет и под конец ее жизни еле вспыхивает, подобно гаснущему светильнику, уже неспособному развеять темноту приближающейся вечной ночи.

Одинокой проходит она через бурное, кровавое, смутное время, насыщенное распрями и усобицами многочисленных германских государств, через время, наполненное суевериями, злодеяниями и разбойничьими подвигами рыцарства, борьбой бюргеров против феодалов, отделенная от людей не только печальной привилегией своего рождения, не только титулами и правом владеть имуществом и жизнями подданных, но и внешней своей телесной оболочкой, собственным безобразием, скрывающим от человеческих взоров мир ее души. Одинока она еще и потому, что, по мысли Фейхтвангера, одинок каждый человек разума и доброй воли, и усилия его, деяния его разбиваются, как о непреодолимую стену, о косность и жестокость жизни. Все события, составившие сюжетную основу романа, стянуты вокруг судьбы Маргариты. Обделенная естественным женским счастьем, она посвящает себя служению благу своих подданных, стремясь развить торговлю и ремесла в своей стране, поднять благосостояние народа. Однако ее усилия разбиваются в прах, сталкиваясь с противодействием и

неразумием других людей. Общественное неразумие выступает в романе как некое разрушительное начало или фатальная сила. Оно олицетворено в двуликом образе: возлюбленного Маргариты дворянина Фрауенберга, самодовольного, жестокого, корыстного человека, лишённого нравственных принципов, и обольстительной красавицы Агнессы фон Флауон, — этих двух злых гениев, подтачивающих все начинания Маргариты. Социальную борьбу Лион Фейхтвангер подменил психологическим поединком, в котором, несмотря на гибель Агнессы, несмотря на то что истинная сущность Фрауенберга — убийцы и стяжателя открывается Маргарите, терпит поражение она, герцогиня Тирольская. Она теряет мужа, сына, убитых ее любовником, теряет веру в справедливость собственного дела. Все ее попытки совладать с жизнью, отстоять себя в схватке с варварством рушатся. Она сама в борьбе не гнушается никакими средствами; действуя, она предаёт собственную человеческую сущность и, сломленная властью обстоятельств, вынуждена отказаться от дальнейшей борьбы, передав полуразоренное государство свое в цепкие руки Габсбургов, возводивших здание будущей империи. Хотя Маргарита и потерпела поражение в схватке с жизнью и появляется в финале романа уже морально раздавленным, физически опустившимся существом, но и неразумие не в состоянии одержать безоговорочной победы. Агнесса заплатила жизнью за участие в политических интригах, Фрауенберга отбрасывает со своего пути Габсбург, принимая бразды правления над разоренной страной. Силы разума и варварства, борец которых было изображено в романе, пребывают в трагическом равновесии. Конец романа мрачен. Он был бы безнадежен, если бы писатель равнодушно — без гнева и осуждения — живописал тот темный, зияющий на насилии кровавый мир, в котором пришлось действовать и страдать героине его романа. Но Фейхтвангер не скрывает своего отношения к этому миру, к противостоящим Маргарите личностям. Он изображает их как сатирик, а не как бытописатель, и под маской объективного повествования, сдержанного и несколько рационалистичного, прячет жало неумолимой иронии и отрицания. Целая вереница власть имущих владетельных феодалов проходит по страницам романа: авантюристичные и хищные герцоги и короли, тупоумные, медлительные бароны, алчные и циничные епископы — весь этот цестрый разноликий хоровод освещен ясным светом критики

и насмешки. Та жизнь, которая возвращала и питала зло в дальнем прошлом и в настоящем, отвергается писателем. Она безнравственна и бесчеловечна. Критика общественного неразумия, составлявшая пафос «Безобразной герцогини», пронизывает и роман «Еврей Зюсс» — одно из лучших произведений Фейхтвангера. Роман этот посвящен выяснению объективной ценности деяния. Сам писатель указывал, что эта проблема является для романа главной. «Много лет тому назад,— говорил он в своей известной речи «О смысле и бессмыслице исторического романа», произнесенной на Парижском конгрессе в защиту культуры,— мне хотелось показать путь человека от действия к бездействию, от деяния к созерцанию, от европейского мировоззрения к индийскому. Было легко подтвердить эту идею, взяв путь развития человека из современной истории, например Вальтера Ратенау. Я попробовал — неудачно. Я отодвинул материал сотни на две лет назад и попробовал изобразить путь еврея Зюсса Оппенгеймера. Я гораздо ближе подошел к цели».

На две неравные и неравноценные части раскололась жизнь Иозефа Зюсса. Мелкий делец, обладающий уверенной напористостью, цепляющийся мертвой хваткой за каждую выгодную сделку, авантюрист, идущий на риск, безжалостный к своим жертвам, он силою обстоятельств и благодаря собственной ловкости захватывает огромную власть в немецком герцогстве Вюртемберг. Вознесенный на вершину благополучия и успеха, не замечающий в гордыне своей страданий и невзгод, которые он обрушил на народ, Иозеф Зюсс, раболопно потакающий прихотям и вожделениям своего повелителя, блестящий кавалер и обольститель, денежный воротила, богач и счастливчик, заканчивает свое существование в железной клетке, вздернутый под радостные крики и улюлюканье толпы на виселицу. Таковы исходная и конечная точки судьбы этого человека, для которого деяние было единственным содержанием жизни, а созерцание стало ее смыслом и итогом. Ослепительная карьера Зюсса и ее невеселый финал — случай заурядный в судьбе людей его толка. Для своего господина Зюсс был только орудием — добытчиком денег, потребных на содержание двора, княжеские развлечения, на содержание армии и прочие герцогские нужды и капризы. Разумеется, пока дела в государстве шли более или менее нормально — налоги поступали бесперебойно и своевременно, государственная казна не оскуде-

вала,— дела Оппенгеймера тоже шли хорошо. Но стоило круто повернуться обстоятельствам и измениться государственной политике — Оппенгеймер стал первым ответчиком, и он — финансовый советник герцога, державший в своих руках нити частных и государственных интересов, — поплатился собственной головой за все содеянное при нем и при его участии.

Зюсс, сделавший ставку на герцога Карла-Александра и допущенный им к финансовым делам, смотрит на распростершуюся перед ним страну с ее традициями и обычаями, ее конституцией и трудолюбивым народом, дворянами, крестьянами и ремесленниками, только как на свою добычу, источник обогащения. Ему безразлично, что было и что станет с герцогством Вюртембергским; важно, что из него можно выкачивать доход. И он его выкачивает. Под его властью страна стонала, истекала кровью, беднела и теряла силы; непокорные, осмелившиеся протестовать подвергались преследованию со стороны Зюсса, который доводил их не только до разорения, но и до гибели. Ненависть и отвращение по праву сопутствуют Зюссу в его восхождении к богатству и власти.

Фейхтвангер с большим и зрелым реалистическим мастерством изобразил в своем романе механизм социальных отношений собственнического общества. В кровавой погоне за богатством смошаны и переплетены интересы церкви и государства, владетельных князей и купцов. Политика и корысть неотделимы друг от друга; судьба множества людей зависит от произвола дворянства и власти герцога, в котором Зюсс ловко раздувал и без того обильные пороки и низменные страсти. Жестокоей критике подвергнуто в романе социальное варварство. Двор Карла-Александра — копия и повторение двора феодальных властителей тогдашней Европы — изображен как средоточие интриг и злодеяний. Сам герцог — ограниченный сластолюбец, одержимый честолюбивыми замыслами, грубый солдафон, равнодушный к судьбам подданных, — расценивает доставшуюся ему власть как источник удовлетворения собственных эгоистических помыслов; легкомысленная его супруга, безразличная ко всему, что не является удовольствием; придворные, поглощенные заботой о собственном обогащении — злобная, свирепая камарилья, напичканная сословной гордостью, — воплощает собой историческое неразумие, душой которого является еврей Зюсс. Иезуиты и пиетисты, бюргеры и

дворяне, люди обеспеченные и обездоленные бродяги — все они в суетности дел своих служат варварству, а не разуму истории, и пропитанная невежеством, суевериями и озлобленностью их жизнь создает почву для вспышки изуверских предрассудков — вроде дела Зелигмана, обвиненного в ритуальном убийстве.

Многосторонне и полно изображено общество в романе, его исторический фон содержателен и богат. Преодолев экзессионистскую однолинейность изображения характеров, Фейхтвангер придает своим героям реалистическую полноту и жизненность, их поступки психологически обоснованы. Обоснован и внутренний перелом в душе Зюсса. Постигший его страшный удар — гибель дочери, ставшей жертвой сластолюбивых домогательств герцога, — озлобляет его безмерно и является причиной его собственной гибели и внутреннего перерождения. Горе сбросило с Зюсса маску суетности и обнажило его человеческое лицо. Предав из мести организовавшего абсолютистский заговор герцога, Зюсс добровольно отдается в руки палачей. С этого момента начинается самая короткая и самая просветленная часть его жизни. С этого момента начинается его идеализация писателем. Преображенный личным горем, грязный делец Зюсс приходит к отрицанию действия и безвольно идет на муку, надеясь, что в мире утвердится мудрость созерцания, которую он познал за время страданий. Мудрость эту почерпнул он у каббалиста Габриеля, в котором воплотилось восточное, самоуглубленно-духовное, но не трезво-практическое начало иудаизма. В его философии Зюсс находит успокоение. Иудаистская окраска финала романа, придавшая ему ложную перспективу, возникла потому, что Фейхтвангер, изображая путь человека от деяния к нирване, квиетизму, недеятельности и созерцанию, рассматривал духовное начало иудаизма как одно из выражений мировоззрения Востока, как один из элементов, входящих в общечеловеческую культуру, синтезирующую, по мнению Фейхтвангера, мудрость Европы и мудрость Азии. Поэтому он имел основания сказать о своей книге: «Евреи расценили со как антисемитскую, немецкие шовинисты как еврейско-шовинистическую, и обе партии чернили меня самым жестоким образом. Для меня подобная противоречивость восприятия — не новость. Когда моя пьеса «Калькутта. 4 мая» впервые появилась двенадцать лет тому назад под названием «Уоррен Гастингс», то во время войны во многих немецких городах она

была запрещена к постановке, как проанглийская; тогда же англичане рассматривали ее как типично гуннское произведение. Что касается «Еврея Зюсса», то я уверен, что ни национал-социалисты, ни сионисты капитала на нем не сдelaют».

Если изображение деятельности Зюсса, погони за богатством и властью князей, дворян и бюргеров отмечено в романе жизненной правдой, то конечная его идея — отречение от деяния — была ложной и обедняла его критический пафос, ибо пока созерцатели занимались нравственным совершенствованием, «деятельное» варварство заключало своих противников в железные клетки, чиня расправу над непокорными, спокойно переступая через чужую кровь. Не действуя, нельзя утвердить в жизни разум.

Идея романа вытекала из неотчетливого представления писателя о движущих силах общественного развития, которые он представлял в виде неких нравственных и этических начал. Поэтому и Восток рассматривается им в духе традиционного буржуазного европеоцентризма, как средоточие пассивности, и еврейство изображается им как слитная, скрепленная едиными духовными интересами, замкнутая в себе среда. Впоследствии Фейхтвангер неоднократно показывал, что и эта среда классово дифференцирована, раздирается разнородными интересами, и образом Гингольда — одного из персонажей романа «Изгнание» он показал, что капиталистический делец способен сотрудничать с фашистами, несмотря на все их расистские теории и преследования евреев.

Фейхтвангер, превознося созерцание, еще не сознавал, что тот вид деяния, который он подверг критике в образах Шульца и Зюсса, порожден *буржуазной практикой* и есть не что иное, как повседневная, *естественная* для капиталиста деятельность. Но вскоре ее классовая природа стала для Фейхтвангера ясна, и, освобождаясь от иллюзии о благе созерцания, он начинает критиковать собственнический мир с общедемократических позиций. Пытаясь разгадать характер социальных сил, действующих в обществе, он одно время полагал, что двигателем истории являются сильные личности: памятником этого кратковременного увлечения Фейхтвангера сильным героем стала пьеса «Голландский купец», где в образе купца Даппеля он восславил волевого человека, который, вопреки трусливой косности бранденбургских бюргеров, осуществ-

вляет экспедицию к далеким, полным таинственной прелести, африканским берегам — в сказочный мир неслыханных богатств и романтики. Восхищаясь грубовато-сильной, бесшабашно-отважной натурой Даниэля, открывающего для Европы неведомый край земли, Фейхтвангер, однако, не замечал, что его герой не только сильная личность, но еще и колонизатор, работоровец, будущий плантатор. Но уже в так называемых «Англосаксонских пьесах», куда вошла «Калькутта. 4 мая», написанная на историческом материале, и пьесы «Нефтяные острова» и «Будет ли амнистирован Хилл», Фейхтвангер подверг критике и осуждению буржуазную практику. Уоррен Гастингс, джентльмен-делец, хладнокровно обрекающий на смерть невинных людей во имя собственных интересов, порабащивший во имя колониалистских интересов Великобритании индийский народ; авантюристичная, не останавливающаяся ни перед подкупом, ни перед преступлением во имя достижения собственных эгоистических целей мисс Дебора Грей, хозяйка Островной нефтяной компании, генералы и губернаторы, судьи и чиновники, упрятавшие Джо Хилла в тюрьму, — всех этих капиталистических дельцов и столпов общества Фейхтвангер изображает как свору свирелых хищников, а созданную ими общественную систему как бесчеловечную. Характерно, что, сурово критикуя буржуазных «капитанов» промышленности и торговли, Фейхтвангер придавал им американизированные черты. Такова Дебора Грей из «Нефтяных островов» или Филиппо Новелло из пьесы «Американец, или Расколованный город» — черствый, паглый и некультурный коммерсант, равнодушный к человеческим чувствам и судьбам. Фейхтвангер справедливо усматривал в американизме наиболее современное выражение сущности буржуа и в книге стихов «Пеп» попробовал дать квинтэссенцию его духовного облика. Книгу эту он выдал за перевод с английского, а автором назвал некоего Уотчика, переведя свою фамилию на английский язык (что по-русски звучало бы примерно как «Мокрощечков»). Стандартизированное, механическое, самодовольно-мещанское, отравленное джазом, рекламой, религиозным кликушеством, сексуальным ханжеством, сознание долларопоклопников предстает в гротескных, нарочито прозаизированных стихах «Пеп» как враждебная человечности и культуре сила, столь же неприемлемая для писателя, как и породившее ее общество.

Критицизм фейхтвангеровского творчества укреплялся, но вскоре сам писатель ощутил, что содержащаяся в его романах критика капиталистического общества явно недостаточна. В Европе назревали важные и грозные события, затрагивавшие самые основы существования буржуазной демократии. Финансовая олигархия, рурские магнаты, остальбские юнкеры — правящие круги Германии, при попустительстве социал-демократических лидеров готовили установление в стране фашизма. Его опасность становилась реальностью, и, наблюдая нарастание политического кризиса внутри Германии, Фейхтвангер стал отдавать себе отчет в том, что буржуазный мир более гораздо серьезнее, чем это представлялось ему ранее.

Писатель — и это свидетельствовало о его проницательности — осознал, что начинается новый этап в истории Европы, и в своем крупнейшем романе «Успех» запечатлел первую стадию превращения буржуазно-демократического государства, каким была веймарская Германия, — в государство тоталитарное. Им был уловлен момент, когда немецкая буржуазия стала переходить к открытым формам террористической диктатуры. Бесспорна и велика заслуга Фейхтвангера, который одним из первых писателей на Западе понял опасность фашизма и выступил против него во всеоружии крупного таланта, со всем блеском холодной, разящей сатиры, создав произведение, исследующее социальные истоки фашистского движения. Хотя Фейхтвангер и загримировал «Успех» под историческую хронiku и описывал наш век как минувший этап в истории человечества, роман целиком был повернут к современности. Автор не прятал в нем своих симпатий и антипатий, своих убеждений и общественных идеалов. Тревога и беспокойство за судьбы мира накаляют атмосферу романа, прорываясь сквозь свойственную Фейхтвангеру эпическую размеренность повествования.

«Успех» был построен как разъяснение общественной природы дела искусствоведа Мартина Крюгера, ставшего жертвой политического преследования и заключенного в тюрьму за убеждения, не совпадающие с официальными взглядами правящих кругов Баварской республики. Борьба, завязавшаяся вокруг его дела, дала возможность Фейхтвангеру показать и разложение буржуазно-демократической государственности, и процесс фашизации послеверсальской Германии. Подробно описывает он, как крупная буржуазия меняла формы управле-

ния страной и поддерживала фашистское движение, спекулировавшее на тяжелом положении масс, вызванном инфляцией и послевоенной экономической разрухой. Представители правящих кругов — магнаты капитала барон Рейхльд, тайный советник Бихлер, — оставаясь в тени, дирижировали фашистскими демагогами, а равно и правительством Баварской республики, его игравшими в сепаратизм министрами — Кленком, Флаухером, Мессершмидтом. Считая фашистское движение своего рода оттягивающим пластырем, помогающим удерживать власть в стране, финансово-промышленная олигархия сквозь пальцы смотрела на разгул и бесчинство вооруженных фашистских банд, поощряла травлю и убийство ими «красных». Роман переполнен фактами, почерпнутыми из живой истории тех лет, показывающими размах террористической деятельности «истинных германцев» (так в романе названы национал-социалисты).

Туманная, полумистическая псевдофилософия «истинных германцев», рассчитанная на внешний эффект демагогия их политической программы, балаганная помпезность их сборищ привлекала к себе выбитую из колеи мелкобуржуазную массу, удовлетворяя ее темные инстинкты, ибо любое преступление, совершенное «истинным германцем», оправдывалось и освящалось как подвиг, совершенный во имя нации или ради ее блага. Под знаменем Руперта Кутцнера — трусливого истерика и ловкого демагога, вождя «истинных германцев», — собирались все отбросы общества: наемные убийцы, погромщики, запутавшиеся в долгах, разоренные инфляцией бюргеры, бывшие кадровые военные, жаждущие реванша, деморализованная и духовно растленная войной и буржуазным обществом, готовая на все молодежь, вроде Эриха Борнгаака и фон Дельмайера. Рядом с Кутцнером, в котором легко угадываются черты его исторического прототипа — Адольфа Гитлера, стояла злобная фигура генерала Феземана, под именем которого Фейхтвангер изобразил одного из главарей путча 1923 года — генерала Людендорфа. Образы вождей фашизма Фейхтвангер рисует в остро гротескном плане. С жгущим презрением описывает он личность Кутцнера, его способность верить в собственную ложь, его самовлюбленность, атмосферу надрыва и фальши, сопутствующую ему и его поступкам. Истерик Кутцнер и авантюрист Феземан рвались к успеху, создавая и вооружая отряды отпетых головорезов и пытаясь совершить государственный

переворот. Критический пафос реализма Фейхтвангера достигает сатирического накала в описании мюнхенского путча 1923 года — первого открытого выступления фашистов в Германии. Тогда — в двадцатые годы — финансово-промышленная олигархия остановила домогавшийся власти фашизм, полагая, что она сама справится с народными массами. Но активизация фашизма сопровождалась упадком духовных ценностей буржуазной демократии, одичанием и озверением общества, что нашло отображение на страницах романа.

Для Фейхтвангера лидеры фашизма — персонафицированное историческое зло, а само фашистское движение — взрыв варварства, которое таится под тонким покровом цивилизации и время от времени вырывается на поверхность истории, сея смерть и разрушение. Подобный взгляд на фашизм, вытекавший из особенностей мировоззрения писателя, однако не искажал в романе изображения условий, вызвавших его к жизни. Писатель поднялся до понимания того, что и сам фашизм и сопутствующие ему жестокость и бесчеловечность обусловлены бесчеловечностью самого буржуазного общества. Понял он также, что фашизм есть форма защиты буржуазией своих пошатнувшихся классовых позиций. Фейхтвангер ощутил, что мир, в котором он живет, находится на переломе и меняется под влиянием новых исторических сил. В борьбе за освобождение Крюгера принимают участие разные люди, представляющие в романе различные общественные силы. С некоторыми из них Фейхтвангер связывал свои надежды на будущее. В густо населенном разнохарактерными героями романе одно из главных мест отведено Иоганне Крайн, чьи размышления о жизни и долге человека внутренне близки писателю. Она как бы олицетворяет стихийное начало жизни — крепкая, волевая, прочно стоящая на земле. Далекая от политики, тесно слитая с национальной почвой и средой, поднимает она свой голос против реакции не только потому, что Крюгер ей близок и дорог: защищая его, она защищает человечность. Как и ее друг писатель Тьюверлен, она убеждена, что действие, приносящее высшее благо и пользу, — это обращение к нравственной проповедью к современникам, призыв к их совести. Борьба, которую ведет Иоганна во имя освобождения распятого реакцией человека, кажется Фейхтвангеру единственно правильной. Эту свою точку зрения он подкрепляет образом Тьюверлена, также выступавшего на защиту невинного.

Тюверлен отнюдь не революционер. Скептик, считающий, что конкретная политическая борьба — дело довольно бесполезное, так как усилия людей, занятых ею, наталкиваются на труднопреодолимую преграду общественного неразумия, он в ходе защиты Крюгера, в спорах со своим другом коммунистом Каспаром Преклем приходит к выводу, что мир необходимо перестроить. Но орудием переустройства мира, по мысли Тюверлена, должно стать не революционное действие, а слово — то есть медленное воспитание человечности в человеке, внедрение гуманности в жизнь, без коренной ломки существующих общественных отношений.

Тюверлен, а вместе с ним и писатель не принимают общественных взглядов Прекля. Нигде Фейхтвангер не выражает враждебного или отрицательного отношения к Преклю, но весь строй преклевского мировоззрения, угловатая решительность и непримиримость его суждений, открытое презрение к буржуазной демократии — чужды писателю. Он сознает силу и дееспособность воззрений Прекля, но не видит их надлежащего исторического места в умственной и общественной жизни нашего века и, как в романе о Томасе Вендте, отъединяет идею гуманизма от той освободительной идеи, которой безраздельно предан Прекль. По мнению Фейхтвангера, воззрения Прекля — лишь один из элементов, входящих в мозаичную картину духовных исканий современного общества, и конечная историческая правота в споре и столкновении мировоззрений — на стороне Тюверлена, с его верой в преобразующую силу слова, а не Прекля, убежденного в том, что мир можно изменить только революционным действием.

Это — коренное заблуждение писателя, характерное для всех его произведений тридцатых годов, определившее ряд их весьма существенных идейных противоречий. В «Успехе» оно привело к обеднению изображения жизни, ибо из поля зрения писателя выпала борьба немецких трудящихся с капитализмом и его порождением — фашизмом. Осуждая в своем романе темные стороны капиталистического мира, решительно и мужественно выступая против фашизма, ощущая кризис собственнического общества, Фейхтвангер, однако, не поднимался над тем общественным идеалом, который защищали в романе Жак Тюверлен и Иоганна Крайн. Царство Разума, которое виделось Фейхтвангеру впереди, куда он звал своим романом, практически было не чем иным, как реформиро-

вапной, облагороженной, улучшенной буржуазной демократией.

«Успех» составил первую часть трилогии, куда впоследствии вошли романы «Семья Опперман» и «Изгнание» — произведения, объединенные антифашистской темой, но разные по своим художественным качествам. Свою трилогию Фейхтвангер назвал «Зал ожидания», уподобляя современное человечество пассажирам, оказавшимся на узловой, пересадочной станции истории. Оно уже сдвинулось с насиженного места, находится в пути, но еще не прибыло на станцию назначения. Человечеству не безразлично, по каким путям пойдет локомотив истории и кто его поведет. Не безразлично это и Фейхтвангеру — одному из пассажиров, расположившихся со своим багажом в «Зале ожидания», и он считает своим долгом указать современникам на ту кассу, где, по его мнению, продается транзитный билет на главный поезд истории. Поэтому и остальные романы трилогии развивали тот же круг вопросов, который определял идейную направленность «Успеха». Особенно отчетливо буржуазно-демократические иллюзии писателя проявились в романе «Семья Опперман», написанном по горячим следам событий, сразу же после прихода гитлеровцев к власти. Роман этот при всех своих очевидных художественных несовершенствах, несомненно, углубил антифашистскую тему «Успеха». Гневом и ненавистью к фашизму проникнуты его страницы, рассказывающие о злодеяниях гитлеровцев. Подлинно драматична история Бертольда Оппермана, затравленного учителем Фогельзапом — одним из проводников фашистской идеологии и духовным растлителем немецкого юношества. Трагизмом веет от рассказа об узниках концлагерей — жертвах террористического режима, страшную судьбу которых разделил и сполна изведal Густав Опперман. Многие страницы этого произведения, написанного в роковой год торжества гитлеризма, принадлежат к лучшим образцам боевой антифашистской публицистики. Боль и тревога за будущее попорченной фашистами немецкой культуры пронизывает роман, хотя на первый план в нем выдвинут вопрос о расовых преследованиях.

Главные герои романа — члены большой купеческой семьи Опперманов — отнюдь не принадлежали к числу тех людей, кто активно противился приходу фашизма. Солидные торговцы, ученые обыватели, буржуа до мозга костей, Опперманы жили весьма комфортабельно, не обращая внимания на

признаки близящейся катастрофы. А признаков этих было множество: коричневорубашечники свирепствовали в рабочих кварталах, буржуазные партии предавали демократию, жертвами произвола и насилия становились коммунисты и антифашисты — самоотверженные борцы за свободу и национальное достоинство немецкого народа. Захват фашистами власти опеломил Опперманов своей мнимой неожиданностью. Их вера в незыблемость буржуазного миропорядка рухнула. Перед ними встала беспощадная альтернатива — или жить борясь, или бесславно и бессмысленно погибать. И они начинают пащупывать пути борьбы, медленно, но верно отрешаясь от своей сытой буржуазности. Потери капиталистов Опперманов по сравнению с теми несчастьями, которые обрушились на передовую часть немецкого народа, — незначительны. Фашизм становится для них ненавистным не только потому, что антисемитская политика поставила их вне закона, но и потому, что фашизм нарушил «меру вещей» — сместил все представления о нравственности, правах, обязанностях и долге человека, о добре и зле. «Мера вещей», утрату которой трагически ощущают Опперманы, — в действительности не что иное, как тот же идеал облагороженной буржуазной демократии, в который верили Тюверлен и Иоганна Крайн, а с ними и сам Фейхтвангер.

Свидетели победы фашизма в Германии, не желающие порывать с ней связей, ибо для них она, несмотря на расистские гонения, была и осталась родиной, Опперманы «видели то, что есть, но не умели сказать, что пужно сделать». Отыскивая реальные пути борьбы с фашизмом, Густав Опперман пробует установить контакт с теми, кто знал, «что делать». Это были сверстники и сотоварищи Прекля — люди, разделяющие его взгляды, ставшие подпольщиками.

Фейхтвангер не смог придать их образам художественную законченность и жизненность потому, что он недостаточно хорошо знал немецких коммунистов и антифашистское подполье. Но вместе со своим героем — Густавом Опперманом он уже начал сознавать ту, казалось бы, простую истину, что только деяние, а не слово может остановить и уничтожить фашизм.

Мысль эта становится основой для заключительного произведения трилогии — романа «Изгнание». События, которые в нем описывались, протекали в Париже, а героями были не-

мецкие эмигранты. Трудную, тяжелую жизнь ведут они: нужда, изнуряющая забота о хлебе насущном, холодная враждебность французских властей, тоска о невозвратимом прошлом, медленное сползание вниз, все вниз, со ступеньки на ступеньку — из жалких номеров дешевых отелей в бараки для беженцев, в бездомность ночных набережных Сены. Не все выдерживают каждодневную, представляющуюся бесконечной, битву за существование: одни опускаются на дно, другие, устав бороться, уходят из жизни, как Анна Траутвейн. Разнолика их среда: убежденные антифашисты и люди, случайно оказавшиеся в изгнании, бедняки и богачи, они не составляют сплоченного единства — и это достаточно ясно изображено в романе; порой они колеблются и сомневаются в том, что фашизм будет побежден...

Покинутая Германия постоянно и незримо соприсутствует в их мыслях и повседневной жизни. И за пределами родины они не чувствуют себя в безопасности; по-прежнему продолжают преследовать их фашисты: похищен и брошен в застенки журналист Бенъямин; плетутся интриги вокруг печатного органа эмиграции — газеты «Парижские новости», и, стремясь их задупить, фашистские агенты вступают в деловой контакт с господином Гингольдом, финансирующим ее издание. Борьба не прекращается ни на минуту, грозно вторгаясь в будничное существование эмигрантов. Фейхтвангер ввел в роман несколько образов их врагов — новых хозяев Германии — фашистских функционеров и чиновников, занятых в Париже обработкой общественного мнения. Хотя образы их даны не в сатирическом, а в психологическом плане и писатель изображает их как респектабельных господ, внешне мало отличающихся от обычных визитеров светских салонов, — багровый отсвет совершенных и совершающихся в Германии злодеяний лег на них и навсегда отделил от остальных людей. В них истреблены и умерли естественные человеческие чувства: стареющий фат Шпицци, звероподобный Гейдебрег, кокетливо играющий в цивилизованного варвара бесчестный карьерист Визенер — для них не существует никаких моральных ценностей. Сегодня они внимательно изучают слабые места буржуазного общественного мнения, завтра в поверженном и захваченном Париже начнут расстреливать заложников и эшелонами отправлять людей в лагеря уничтожения. Их собственные отношения друг с другом, определяющиеся страхом, взаимным недоверием,

карьеристской расчетливостью, передают в миниатюре отношения между руководителями нацистской партии и государства в самой Германии.

При всей погруженности в собственные частные заботы, каждый из эмигрантов поставлен историей перед необходимостью определить свое отношение к идущей общественной борьбе. Нет в мире нейтральных, невозможен нейтралитет, пока существует фашизм. Эта мысль романа подтверждается полнее и отчетливее всего образом Зеппа Траутвейна, человека искусства, втянутого самой логикой жизни в политическую деятельность. «Последний либерал» — человек, воспитанный в традициях буржуазного демократизма и индивидуализма, Зепп, сотрудничая в «Парижских новостях», став рядовым солдатом в схватке с фашизмом, вынужден пересматривать свои взгляды. Если раньше индивидуализм казался ему единственной и естественной нормой человеческого поведения, то на собственном опыте приходится ему убедиться, что индивидуализм — всего лишь дорогостоящая иллюзия человечества. Терпит духовный крах Гарри Майзель — талантливый писатель, замкнувшийся в индивидуалистически-нигилистическом неприятии мира; он погибает при унижительных обстоятельствах, в пьяной драке, и смерть его символична, как символична судьба и другого апостола индивидуализма — поэта Чернига, нашедшего успокоение в мещанском благополучии. Зеппу все больше открывается буржуазная природа индивидуалистического мировосприятия. Предчувствуя и предощущая как художник близящуюся гибель буржуазного мира, он обращается к иным, *небуржуазным* духовным и идейным ценностям. Одно время смыслом его деятельности была борьба за свободу отдельного человека. Страстно и самозабвенно добивался он освобождения журналиста Бенямина, которого фашисты в конце концов из тактических соображений выпустили на волю. Духовно созревая в этой борьбе, Зепп ясно ощутил, что частичные успехи разрозненных усилий одиночек не изменят мира и не уничтожат фашизм. Видимо, истина на стороне его сына Ганса, который примкнул к коммунистам и уезжает в Советский Союз учиться и работать. Зепп осторожно, с колебаниями и множеством оговорок пытается установить духовный контакт с идеями, захватившими его сына. Его еще держат в плену обывательские представления о коммунизме как учении, якобы отвергающем благо отдельной личности. Но,

несмотря на все оговорки, несмотря на то что коммунисты обрисованы в романе прямолинейно, а их взгляды на жизнь кажутся писателю упрощенными, он и его герой не могут не признать, что *историческая правота* — за ними, передовыми борцами человечества.

Роман написан под знаком слов Гете — «умри и возродись!». И действительно, героям Фейхтвангера предстояло отречься от дорогих их сердцу иллюзий, от въевшихся в плоть и кровь взглядов, чтобы открыть свой разум новым идеям. Но не беднее, а духовно богаче становятся они от этого. Зепп обогатил свое искусство новым, завоеванным в борьбе содержанием. Для него уже не существует ложной альтернативы — действие или созерцание. Для него актуален иной вопрос — как ему действовать. Мучительно, с трудом движется он к новой исторической правде, открывшейся ему в социализме, сознавая, что только с ним могут быть связаны надежды на будущее человечества. Эта выстраданная Зеппом мысль оптимистически завершает и роман «Изгнание» и трилогию «Зал ожидания», подтверждая, что писатель пришел к важному и решающему выводу: деяние одиноких носителей Разума, если оно не опирается на освободительную борьбу народа и оторвано от него, — бесперспективно и обречено на неудачу.

В сущности, доказательству этого важного положения была посвящена другая трилогия Фейхтвангера, героем которой стал Иосиф Флавий — писатель и историк, человек, проживший непростую жизнь в непростое время. Трилогию эту, которую нужно рассматривать как один большой роман, составили написанные в тридцатые годы «Иудейская война» и «Сыновья» и опубликованный в дни второй мировой войны роман «Настанет день...». Трилогия «Иосиф» создавалась в сложной политической обстановке, когда укрепившийся в Германии фашизм готовился к схватке за мировое владычество, когда в стране свирепствовали террор и расовые гонения, когда атмосфера Европы была насыщена грозowymi разрядами, предвещающими близость военной катастрофы. Тревога тех лет передалась и трилогии, сообщив ей трагизм и напряженность.

Судьбу главного героя романа — Иосифа Флавия обрамляет множество событий: восстание иудеев против владычества Рима, падение Иерусалима, гибель Нерона и возвышение династии Флавиев. Проклятый своими соплеменниками, осмеянный римлянами, Иосиф стал свидетелем политических, бого-

словских и философских споров, раздиравших мятежную Иудею, интриг и заговоров, потрясавших великий город. Факты его биографии, а также многие подробности иудейской войны, осады и разрушения Иерусалима, частной и общественной жизни Рима заимствованы писателем в основном из собственных сочинений Флавия, бывшего летописцем конфликта Иудеи с Римом. Однако исторический Иосиф во многом отличается от героя трилогии Фейхтвангера. «Иосиф был богатым еврейским священником,— пишет о нем современный историк,— и во время национального восстания 66—70 годов перешел на сторону римлян. В награду он получил римское гражданство, пенсию и большое поместье. Свою «Иудейскую войну» он написал с единственной целью показать евреям и другим подданным империи тщетность сопротивления Риму. Его работа была должным образом одобрена Веспасианом и Титом; он продолжал пользоваться императорской благосклонностью и при Домициане, в правление которого он написал свои «Древности». Чтобы произвести большее впечатление на своих соотечественников, Иосиф подчеркивал свою еврейскую ортодоксию. Но для того, чтобы сохранить благоволение своих римских патронов, ему надо было доказывать политическую безвредность еврейской ортодоксии»¹. Эта характеристика верна, но нуждается в дополнении. Эллинизированный иудей Иосиф Флавий отошел от иудейства не только потому, что, как он сам рассказывает в своей «Автобиографии», он убоился смерти. Рим, создавая универсальную империю, раздвигал и расширял рамки и границы родового и племенного сознания. Охватывавшая многие народы и племена империя требовала создания универсальной культуры и религии. Такой религией вскоре стало христианство, на универсализм претендовала эллинистическая культура, представителями которой были среди других философов и писателей первого века нашей эры и Иосиф Флавий и Филон Еврей. Иуданзм, провозглашавший национальную замкнутость и национальную исключительность евреев, уже в силу этого не мог быть для Иосифа приемлем, ибо, опираясь на него, нельзя было воздвигать здание вселенской культуры. Этот мотив, характерный для деятельности Иосифа Флавия, был перенесен писателем в трилогию.

¹ А. Робертсон, Происхождение христианства, М. 1959, стр. 128 и сл.

Сталкивая в книге «Сыновья» своего героя с верховным иудейским богословом, Фейхтвангер показывает, что Иосиф внутренне и объективно далек от взглядов Гамалиила, который укреплял в иудаизме его националистический дух, замыкая евреев в узких рамках религиозно-националистической догмы. И Гамалиил понимает, что Иосиф — еретик, отщепенец, человек, не имеющий ничего общего с его собственной деятельностью. Разумеется, для Фейхтвангера был весьма небезразличен вопрос о судьбах еврейского народа, особенно в годы, когда фашизм осуществлял расовые преследования евреев. Однако в трилогии он был отодвинут на второй план и подчинен вопросу об отношении героя к народному восстанию или, иначе говоря, — к революционному действию.

Фейхтвангер изображает Иосифа мудрым и привлекательным человеком, с неудержимыми страстями, честолюбивым, сознающим значение собственного творчества. Если поначалу, в дни молодости, его соблазнял блеск славы, погоня за успехом, если он полагался только на свои силы, то с годами в его душе произошли глубокие перемены. Одиноким стоявший над разбушевавшейся стихией народного восстания, Иосиф в конце жизни, раздавленный горем и несчастьями, осознает, что без народа, помимо него он не может служить разуму. В начале своего жизненного и политического пути Иосиф, преклонявшийся перед разумом и надеявшийся на его будущее торжество, в борьбе за вполне конкретные, прямые и близкие цели нигде и никогда не доходит до конца. Его разум — это разум социального компромисса, его характер — это характер человека, склоняющегося перед силой обстоятельств. Так было после падения крепости Иотапаты, среди защитников которой находился Иосиф, когда он предпочел героической смерти позорный плен. Так было, когда он решил начать свою карьеру при дворе Флавиев, когда он женился на наложнице Веспасиана и спустя много лет испытал страшные унижения во время похорон императора Тита.

Трижды в одиночестве стоял он между сражающимися лагерями. Первый раз было это в те дни, когда Тит, осаждавший Иерусалим, послал его — Иосифа бен Матафия, священника храма и руководителя обороны Иотапаты, — уговаривать своих соплеменников сдаться на милость победителя. Одиноким прошел он показавшийся бесконечным короткий путь до крепостных стен города и услышал оскорбления и насмешки иудеев,

ощутил холодное презрение римлян, когда навстречу ему осажденные выпустили свинью. Одиноким прошел он в день поминального шествия в честь покорителя Иудеи среди ликующей толпы, чувствуя огромное и тяжелое дыхание ее на своем лице, видя среди оскорбляющих его граждан Рима собственного сына. Одиноким встретил он на пустынной горной дороге римских солдат — знаменитый писатель и придворный историк, умудренный жизнью и годами муж, вернувшийся на родину, чтобы принять участие в новом восстании народа против поработителей. Привязанный к лошади, падая и поднимаясь, бежал он за римским всадником, пока не изменили ему силы и, брошенный наземь, в придорожной пыли, окровавленный, умирал он, глядя в высокую чистую синеву родного неба, ощутив наконец слияние с восстающим народом. Ему уже не было дано действовать вместе с пародом, борющимся за свою свободу, но в подобном деянии открылся ему смысл жизни.

Завершающая трилогию трагическая, исполненная сумрачной поэзии сцена гибели Иосифа — плод творческого воображения писателя. Судьба исторического Иосифа, как подтверждают немногие дошедшие до нас свидетельства, была иной. Евсевий писал в книге третьей, главе девятой своей «Церковной истории», что дни Иосифа закончились мирно, после смерти он был почтен золотой статуей, а книги его были помещены в публичной библиотеке. Нет оснований не доверять этому свидетельству. Официальный Рим с уважением отнесся к памяти придворного историка, оказавшего империи немалые услуги своим пером. Однако Иосиф — герой трилогии Фейхтвангера — не мог копчить по-другому. Он погиб на «пичьей земле», оказавшись между двумя борющимися лагерями, между силами общественного порядка и народным восстанием, между Римом и Иудеей, духовно сроднившийся с ними обоими.

И сам Фейхтвангер был человеком середины. В одном из интервью он говорил о себе: «Обыкновенно, когда меня спрашивали, к какой национальной группе следует отнести меня как художника, я отвечал: я немец — по языку, интернационалист — по убеждениям, еврей — по чувству. Очень трудно иногда привести убеждения и чувства в лад между собой»¹.

¹ «Литературная газета», № 2, январь 1937 г.

Подобные колебания между «чувствами и убеждениями» отразились и в трилогии, и в ряде других произведений писателя. Но Фейхтвангер — сын переходного от капитализма к социализму времени — не отвратил свой слух от могучего зова будущего и, преодолевая собственные свои душевные сомнения и колебания, показал, что гибель Иосифа означала крах и бесперспективность той философии компромисса, той раздвоенности между действием и созерцанием, которые долгие годы исповедовал его герой. Сам писатель неуклонно двигался к новому для себя восприятию народа и истории.

В первых книгах романа Фейхтвангер еще изображал народ как слитную безликую массу, преисполненную мессианистских заблуждений. Хотя Иосиф всем сердцем сочувствовал своему народу, в сущности он не знал и не понимал его. Те медлительные и крепкие крестьяне, с которыми он встречался в Галилее, вели себя по отношению к нему с хитрепой, не раскрываясь перед ним. Иосиф постоянно чувствует, что между ним и этими людьми — непроходимая стена. Еще отчетливее оторванность Иосифа от народа проявилась в его отношениях с вождями восстания — Иоанном из Гискаллы и Симоном бар Гиора. Зелотские вожди обрисованы в романе если не с симпатией, то с глубоким уважением: сдержанный пафос, цельность и ясное понимание необходимости борьбы характеризует этих деятелей. Но в ходе войны и осады Иерусалима, сопровождавшейся страшными лишениями, голодом, болезнями, они, руководители народа, становятся фактически руководителями без народа, ибо он, измученный страданиями, не желает идти с ними. Скептическое отношение Фейхтвангера к революционному действию особенно отчетливо проявилось в сцене последнего пира перед падением осажденного Иерусалима, когда вожди восстания осознают трагическую безнадежность своего подвига. Глядя на изнуренных долгой осадой, голодовкой, страхом, непрерывным напряжением войны, потерявших человеческий образ и подобие, уравненных своим жалким состоянием людей, зелотские вожди приходят к мыслям, полным обреченности: «— Вот те люди, которые довели нас до такого положения, брат мой Иоанн,— произнес Симон.— За этих людей мы умираем, брат мой Симон,— ответил Иоанн. Затем они умолкли. Молча глядели они на учителя и господина Маттиаса, сидевшего на полу и жвавшего при свете факелов...» Героизм народных вождей, отвергнувших мирные условия римлян, был

героизмом отчаяния. Они зашли слишком далеко, и возвратного пути у них не было, ибо страна лежала в развалинах, осажденный Иерусалим превратился в кладбище, и в дерзости своей они совершили святотатство, пожрав жертвенных агнцев, предназначенных для бога. Для исторических Иоанна и Симона эта оценка их положения была не так уж неверна, ибо что, кроме фанатизма и героизма отчаяния, могли противопоставить восставшие иудейские крестьяне и пастухи великолепно организованной военной машине римлян. Однако в общем философском контексте романа подобное изображение вождей zelотов звучало как признание бесплодности восстания, ибо народное движение никогда не достигнет поставленных перед ним целей. Они, по мнению Фейхтвангера, — более достижимы теми путями, которыми идет Иосиф, то есть медленным воспитанием гуманности в людях. Для Иосифа это не легкий путь, не обходная дорожка. Он полон терний и злоключений, его путь гуманиста. Он теряет сыновей, любовь жены; его презирают соплеменники, как ренегата и изменника, он утрачивает поддержку близких, энергию и тот душевный жар, который помогал ему во времена суровых жизненных испытаний. Он становится сдержанней, суше, черствее. Но, несмотря на все это, он, отбрасывая солдатскую ограниченность Рима и фанатичную нетерпимость иудеев, идет вперед, веря, что люди освободятся в конце концов от разделяющих их предрассудков.

Те большие колебания, которые происходили в сознании Фейхтвангера и отразились в образе Иосифа — человека, избравшего компромисс своим жизненным правилом и оказавшегося в силу этого в двойственном положении, — не могли не повлиять на реалистический метод писателя. В первых двух книгах трилогии есть немало отступлений от реализма. Если при объяснении поступков и характеров своих героев Фейхтвангер обычно обращался к веским объективным причинам, стремясь в самой действительности найти мотивировки их мыслей и поведения, то в романе об Иосифе он нередко отходит от этого правила. Роман грешит не только назойливыми и постоянными нарушениями историзма повествования, перенесением в далекое прошлое понятий и представлений современности, но и попытками дать фаталистическое объяснение исторического процесса. Веспасиан — проворовавшийся губернатор, осмеянный римлянами чиповник — становится императором и

соответствии с давним предсказанием, повторенным Иосифом. Все значительные перемены хода истории зависят или от случайности, или от воли крупной личности. Изменение восточной политики Рима во времена императорства Тита, обусловленное тем, что государственные интересы Рима на Востоке были удовлетворены, объясняются Фейхтвангером игрой случая: царица Береника — возлюбленная Тита — сломала ногу и утратила свою соблазнительную походку, а с ней и любовь Тита. Для нее — безразличие императора было крахом надежд на возможность личного счастья и власти, означало утрату жизненной полноты и блеска. Для Тита — охватившая его усталость, не позволившая ему слиться с таинственной, привлекательной культурой Востока, была гибельной. Для Рима — безразличие Тита к Беренике было не чем иным, как огромным поворотом в политике, оказавшим колоссальное воздействие на судьбу античного Востока. В первых книгах трилогии Фейхтвангер еще рассматривал выдающегося человека как решающую движущую силу истории, в отличие от последних своих произведений. Но, несмотря на эти далеко не случайные отступления от реализма, роман был полон ненависти к варварству и общественному неразумию. Сатирично изображены в нем и римские сенаторы, и служители храма в Иерусалиме — все те, кто олицетворяет косную силу исторического неразумия, с которым ведет борьбу Иосиф.

Иосифу в романе противостоит Юстус из Тивериады — реальный политик, живущий политической злобой дня, непосредственными интересами народа. С холодным презрением относится он к возвышенным мечтаниям Иосифа, к его патетической прозе, тщательно и безжалостно выписывая и находя слабые места и во взглядах его и в поведении. И он, Юстус, выступающий как прямой противник Иосифа, борется за торжество разума: он справедливо осудил деятельность Иосифа в Риме во время его злополучной борьбы за трех невинно осужденных; он по заслугам — то есть отрицательно — оценил политическую линию Иосифа в Галилее. И все же Фейхтвангер отдает предпочтение Иосифу, а не ему. Иосиф, в своих поисках путей к грядущему, в своем трудном искусстве долготерпения идущий на компромиссы и унижения, кажется Фейхтвангеру выше догматика Юстуса. Не его рационалистическая и бездушная проза, а вдохновенные книги Иосифа укрепляли мужество страждущих. Но на самом деле Юстус, безусловно, цельнее, не-

жели Иосиф. Фейхтвангер искусственно снижает его значение, вступая в разлад с жизнью, и именно поэтому образ Юстуса, несмотря на его огромную важность для творчества Фейхтвангера, вышел в романе столь бледным. В конфликте Иосифа с Юстусом повторился тот же конфликт, который разделял Тюверлена и Каспара Прекля в «Успехе». И подобно тому как Тюверлен отбрасывал аргументацию Прекля, так и Иосиф перепинаживает через правоту Юстуса, ибо она для него чрезмерно ограничена, узка и догматична. Но перешагивает ли?

Защищая идею гуманности, идею равенства всех людей, независимо от их национального происхождения, веря в то, что воспитание гуманности в человеке изменит общество и приблизит царство Разума, Иосиф ведет бой с неразумием. Оно многолико. Первоначально оно предстало перед ним в образе капитана Педана — грубого и хитрого профессионального солдата, презиравшего всех, кто не является римлянином, человека, чья бесчувственная и жестокая рука метнула горящий факел в иерусалимский храм, предав огню это произведение искусства. Однако постепенно Иосифу становится ясно, что Педан, вызывавший у него ненависть, есть лишь частица зла, а самым злом является вся система отношений, основанная на унижении и порабощении человека. Законченным воплощением этой системы возникает в романе император Домициан — деспот, восседающий на вершине пирамиды насилия, подавляющий любое проявление свободной мысли, обоготворенный диктатор, сам в мыслях своих объединяющий свою мелкую, трусливую, педантичную душу, свое обрюзгшее тело с живой плотью своей страны и своего народа. Душная, давящая тяжесть деспотии придавила Рим; произвол, проскрипции, казни, смерти, якобы происшедшие случайно, — растлевают сердца людей, ожесточают их и ввергают в отчаяние. Грубое самовластие настигает и Иосифа, попытавшегося спрятаться от него в творчестве, требующем уединения и сосредоточенности. И он становится жертвой коварства императора, убившего сына его. Ослепительно ясно, с неслыханной, последней простотой становится Иосифу очевидной ложность избранного им пути, бесплодность жертв, принесенных им во имя компромисса, и правильность суждений Юстуса, звавшего его объединиться с народом. Не только чувство мести движет Иосифом в его обращении к восстающим. Он понял, что один он не в состоянии пребороть чудовищное зло, утвердившееся в жизни: лишь

общим деянием может быть оно низвергнуто и истреблено. И он понимает, что только освобождение человека от всех видов несправедливости и порабощения освободит его и от национального неравенства. Так, мыслью о неизбежности слияния носителей Разума с народом, завершается трилогия об Иосифе, сближаясь этим выводом с трилогией «Зал ожидания».

Исследуя и критикуя природу исторического зла, Фейхтвангер подчеркивал, что оно опирается на самые низменные инстинкты и пороки людей. На корысти, насилии, устрашении покоилась личная власть Домициана; на варварские, подавляющие человеческий разум животные чувства опирается фашистская диктатура и ее идеология. Но — это Фейхтвангеру было ясно — к ним не сводится. На эту сторону фашизма Фейхтвангер указал в романе-памфлете «Лже-Нерон», насыщенном прямыми аналогиями с политическими событиями, происходившими в Третьей империи. В героях романа легко угадывались и их реальные прототипы из числа фашистских лидеров. В самодовольно-трусливом горшечнике Теренции, объявившем себя императором Нероном, проступали черты фашистского диктатора, а в соучастниках его авантюры — «министре» Кнопсе и солдате Требонии — смешаны были черты Гоббельса и Геринга. Подобно тому как фашисты во время прихода к власти поджигали рейхстаг, обвиняя в этом преступлении коммунистов, так и сторонники Теренция-Нерона устраивают наводнение в городе Апамее, сваливая это злодеяние на христиан; подобно тому как Гитлер расправился в «ночь длинных пожей» с неугодными ему руководителями штурмовых отрядов, так и Теренций с компанией расправляется со своими противниками. Истерическая самовнушаемость Гитлера сходна с позерством и актерством Теренция, почти уверовавшего в то, что он — действительно император Нерон. Вокруг него скапливаются все отбросы общества, злодействуя, обогащаясь и верша насилия над народом. Но — и это новая мысль у Фейхтвангера — Лже-Нерон и соучастники его авантюры могли держаться только до тех пор, пока им удавалось дурачить народ. Но как только они лишились народной поддержки — их ждала гибель. Понимание значения роли народа в истории все больше входило в творчество и сознание писателя.

И в сатирической повести «Братья Лаутензак», написанной

уже непосредственно на жизненном материале Третьей империи, Фейхтвангер показал, сколь тесно переплелись преступления и обычная практика фашистов, сколь зыбка и условна граница между ними, как органически связана балаганная мистика, отдающая шарлатанством и мошенничеством, с дешевым иррационализмом идеологов фашизма.

При всей своей остроте эти памфлеты, разумеется, не раскрывали социальной и классовой природы фашизма — на это они и не претендовали — и касались лишь отдельных сторон фашистской системы. Столь же узкую задачу ставил перед собой писатель и в романе «Симона», в котором он, не давая развернутого изображения французского Сопротивления, проследил возрождение героических традиций народа в душе юной француженки, всем сердцем возненавидевшей гитлеровских оккупантов, осквернивших ее родину.

Значение народных масс как творческого начала истории открылось Фейхтвангеру полностью лишь в годы второй мировой войны, когда усилиями свободолюбивых народов мира и в первую очередь советского народа был повержен фашизм. Послевоенные годы стали для него в творческом отношении весьма продуктивными, а созданные им в поздний период творчества романы знаменовали новый этап его идейного и художественного развития. Пересматривая свои прежние воззрения на историю как на трагическое равновесие сил Разума и варварства, Фейхтвангер начинает признавать неуклонность движения человечества вперед. Наиболее крупные его произведения послевоенных лет были написаны на материале событий, связанных с французской буржуазной революцией. К этой эпохе Фейхтвангер обратился не случайно.

Современный период истории Фейхтвангер начал воспринимать как *переломный* в жизни человечества, как гигантский процесс мучительной и трудной смены новыми общественными отношениями умирающей собственнической цивилизации. Описывая замену феодальных отношений капиталистическими в результате французской революции, исследуя духовную атмосферу тех лет, выводя на сцену деятелей Просвещения, расшатавших здание феодальной Европы, Фейхтвангер проводит параллель с современностью, уподобляя друг другу принципиально различные исторические эпохи.

Он не очень подробно останавливается в своих романах на выяснении и изображении конкретных, прямых причин, вы-

зававших французскую революцию. Когда он пытается охарактеризовать движущие силы исторического процесса, то в его анализе проступают черты прежних его воззрений на историю, делающие картину революции односторонней. Экономическое и внутривполитическое положение страны, невыносимые условия жизни народа — обо всем этом Фейхтвангер говорит мельком. Зато большое внимание — особенно в романе «Лисы в винограднике» — уделено у него описанию жизни королевского двора, передаче мелких подробностей придворных интриг, сведениям о частной жизни Людовика XVI, флиртах Марии-Антуаннеты — легкомысленной австриячки, королевы французов, которой Фейхтвангер симпатизирует. Много места в романе отведено описанию ее забав, развлечениям ее окружения, роскоши и легкомыслию Версаля и Трианона. «Лисы в винограднике» перегружены описаниями подобного рода. Отчасти это же можно сказать и о романе «Гойя, или Тяжкий путь познания», где характеристике нравов испанского дворянства также отведено немалое место. Но созданным Фейхтвангером портретам Людовика XVI, Карлоса IV, Марии-Антуаннеты, Марии-Луизы — королевы испанской и многочисленным образам аристократов обеих монархий нельзя отказать ни исторической верности, ни в художественной законченности.

Дворян Фейхтвангер изображает исторически ограниченными людьми, лишенными элементарной прозорливости, но обладающими чувством высокой сословной гордости и чувством собственного достоинства. Эти качества Фейхтвангер особенно сильно преувеличил в идеализированном образе Марии-Антуаннеты в пьесе «Вдова Капет», показав ее равноправным участником исторического спора с Сен-Жюстом — холодным и безжалостным слугой отвлеченной свободы и отвлеченного права. Но, несмотря на личное мужество, дворяне и аристократы подобны слепцам, пляшущим над бездной; они думали, что ничто не может изменить их жизнь, похожую на веселую пастораль. На всех них, защитников и сынов уходящего мира, легла незримая тень судьбы и обреченности. Не прибегая к шаржу, Фейхтвангер изображает их в критических тонах, как воплощение исторического неразумия.

Вместе с представителями дворянства Фейхтвангер ввел в свои романы и образы просветителей — Вольтера и Дидро, Вольтера и Руссо, Франклина, Ховельяноса, Кинтаны.

Упоминает он о Гельвеции, Гримме. Просвещение Фейхтвангер рассматривает как единый лагерь прогресса, не очень дифференцируя его и не улавливая в нем наличия плебейского крыла, в идеологии которого уже пробивался к жизни утопический социализм. Отмечая, однако, внутри Просвещения существование противоборствующих воззрений, Фейхтвангер рассматривал их борьбу как столкновение различных взглядов на методы переустройства общества, и только, а не как конфликт различных политических позиций. Подобного рода столкновение положил он в основу отношений между Бомарше и Франклином в романе «Лисы в винограднике».

Их антагонизм раскрывался на фоне огромных исторических событий — войны американских колоний за независимость против английской короны в канун Великой французской революции. Правительство Людовика XVI поддерживало американских повстанцев, рассчитывая, что их победа приведет к ослаблению Англии и позволит Франции занять утраченное положение гегемона в Европе. Помогая Америке, Людовик объективно содействовал победе нового общественного строя над феодализмом.

Все прогрессивные умы Старого Света также поддерживали движение американских колоний за независимость, надеясь, что победа республиканцев в Новом Свете будет содействовать делу свободы. Бомарше, воодушевленный идеями свободы, но и не без расчета на личное обогащение, организовал кампанию по снабжению восставших колонистов оружием и способствовал их победам. Однако американский конгресс, благодаря его за помощь в посланиях, преисполненных Цицеронова красноречия, не заплатил ему почти ни гроша. В условиях, когда Бомарше подвергался преследованиям со стороны французского правительства, когда ему пришлось отстаивать свои законные права и перед теми, кого он считал своими единомышленниками, когда его подстерегало разорение и ворота Бастилии готовы были захлопнуться за ним, он проявил невероятную выдержку — этот автор крамольных пьес, вобравший в себя энергию третьего сословия. В достижении поставленных перед собой целей он шел до конца, не прибегая к компромиссу.

Но деятельность Бомарше меркнет перед деятельностью Франклина, личность которого внушает Фейхтвангеру самые глубокие симпатии и в чей образ он вложил многое от своего

отношения к политике, к жизни, к прогрессу. Мудрый, спокойный человек с огромным жизненным опытом, ученый и политик, писатель и дипломат, представитель революционных республиканцев при дворе абсолютного монарха, силой своей выдержки, обаяния и терпения добивающийся конкретных политических результатов,— он, по мысли Фейхтвангера, не только сознательный слуга прогресса, но и настоящий его творец. С высоты своей мудрости и возраста смотрит он на кипение политических интересов и страстей; его умственный взор проникает дальше, чем ограниченный интересами повседневности политический разум Бомарше, ибо Франклину дано понимание того, что справедливость, развивающаяся по законам мудрой и доброй необходимости, в конце концов восторжествует на земле, пройдя через все препятствия. Не следует торопиться, хотя и можно, конечно, поступать так, как поступает Бомарше, ибо и он, отдаваясь политическим интересам дня, выражает разум народа. Но это не самый верный способ изменить мир. Нужно воспитывать человека, менять его, а когда изменится его духовное естество, его сознание,— изменится и мир. И Бомарше и Франклин — оба революционеры, люди действия. Но когда Зепп Траутвейн в «Изгнании» думал, как ему надлежит действовать, то образцом для него мог стать только Франклин, исподволь подталкивающий мудрую, добрую необходимость. В отношении Фейхтвангера к Бомарше сказалось в несколько смягченной форме его застарелая неприязнь к людям прямого политического действия, к их способу переделывать мир.

Еще отчетливее приятие революции проявилось в романе «Мудрость чудака, или Смерть и преображение Жан-Жака Руссо». В сущности, это роман о том, как идеи одного человека определили характер целой исторической эпохи, ее основные, наиболее примечательные черты. Руссо — центр интересов всех персонажей романа и постоянный двигатель умственного и социального прогресса. Вокруг его имени и его идей бушуют политические страсти, его труды воодушевляют массы и вождей революции, становятся столь же действенной ее силой, как декреты Конвента, как штыки революционных солдат. Но если его идеи, словно сильный луч, освещают мрак эпохи, то сам Руссо — слеп к окружающему. Фейхтвангер изображает его человеком, отрешенным от прозы жизни, не вникающим в суету повседневности. Грязь и непристойность близких к

нему людей темнят частную жизнь Руссо. Приняв в качестве сюжетной основы романа версию об убийстве Руссо, отброшенную наукой, и тем самым внеся в роман налет бульварности и сенсационности, Фейхтвангер делает соучастницей преступления Терезу Левассер — веселую и преданную подругу великого философа. Она, вопреки исторической истине, превращена в романе в сладострастную, вульгарную самку, одержимую низменными страстями. Фернан Жирарден — юноша, боготворящий Руссо, верный его ученик и последователь его идей, — становится любовником Терезы и ревнует ее к лакею Николасу Монтрету, ее сожителю. Одиноким и гонимым, живет Руссо среди людей, которые его не понимают. Из Парижа он удаляется в имение своего поклонника маркиза Жирардена. Образ этого аристократа-руссоиста, воспитывающего своего сына по правилам, начертанным в «Эмиле», дворянина, соглашающегося с принципами «Общественного договора» и держащего своих Жанов и Жаков — крепостных мужиков — в узде, принадлежит к лучшим в романе. Крестьяне, с которыми Руссо пробует объясняться, чьи надежды воплощены в его социальных идеях, принимают его за безвредного дурачка. Мартин Катру, плебей и будущий деятель революции, сначала смотрит на Руссо как на бесполезного болтуна. Наконец, сам Руссо, встретившись с юным Робеспьером — человеком, который при помощи гильотины будет осуществлять на практике его идеи, — не понимает, что перед ним стоит будущее Франции.

Однако подчеркнутое Фейхтвангером одиночество Руссо иное, чем одиночество героев его довоенных романов. Фейхтвангер считает одиночество Руссо *мнимым*, рожденным слепотой современников, не дозревших до постижения идей, которые великий философ, выражая дух времени, формулируя смутные надежды и мысли широких пародных масс, отважно высказывает миру. Он идет впереда своего времени, он обращается к грядущему — в этом его мудрость, которую окружающие его люди, ослепленные повседневными заботами, принимали за глупость. Не случайно писатель сделал именно Руссо центральной фигурой предреволюционной и революционной эпохи, противопоставив его всем просветителям. И Вольтер, и Гельвеций, и Дидро верили в непреклонную силу и власть Разума. Но их бог был холодным богом, их Разум не оставлял места для чувства и человечности. Что касается

Руссо, то он, зачинатель психологизма в мировой литературе, отец сентиментализма, был певцом человечности.

Руссо у Фейхтвангера по своему значению родствен Франклину, столь же человечен, как он, однако более радикален. Его идеи распространяются и среди образованных людей, проникают они и в толщу народа, угадывающего в словах и мыслях Жан-Жака отзвук собственных мыслей. Но идеи, оторванные от человека, их сформулировавшего, утратив его теплоту и сердечность, начинают жить самостоятельной жизнью. Робеспьер, Сен-Жюст, Катру — бесплощадные, прямолинейные люди — тоже руссоисты. Правда, ими была подхвачена и доведена до крайности лишь разрушительная сторона учения Руссо. Но Фейхтвангер не осуждает их и даже поднимается до того, что признает правоту действий монтаньяров, бросивших вызов старому миру и с беспримерным мужеством защищающих интересы человека и народа. Все же, признавая величие революционного действия, Фейхтвангер продолжает уповать на великую, добрую необходимость. Он, видевший некогда в народе опору исторического неразумия, признает теперь, что «великие перемены могут совершаться только снизу, массами, народом». Но вместе со своим героем Фернаном Жирарденом отвергает он ту сторону народной души, которую считает низменной, проявляющей себя в эксецсах. Он жаждет слиться с природной мудростью народа, с его разумом. Фернан, несмотря на то что чувствовал себя чужаком в революции, идет на службу к якобинцам, считая, что в них воплощен разум истории. Однако двойственность Фернана, по мысли писателя, не есть его недостаток. Она — следствие того, что в нем не умерла человечность, которой недостает якобинцам. Фернан понимает умом неизбежность и необходимость прямых революционных действий, но душой он на стороне мудрой, доброй необходимости, ибо одна она, ее неуклонное движение в грядущее, принесет победу человечности.

Из всех послевоенных произведений Фейхтвангера самым цельным, ясным и реалистическим явился роман о Гойе — великом испанском художнике конца XVIII и начала XIX века, чья личность и творчество издавна волновали воображение писателя. Еще в «Успехе» он обратился к образу Гойи, обнаружив глубокое понимание реалистической мощи его искусства, кровно связанного с жизнью народа. Книга о Гойе имела многозначительный подзаголовок — «Тяжелый

путь познания», раскрывающий ее философское содержание.

Не только описанию истории борьбы великого художника за правду и социальную значимость искусства был посвящен роман: в нем рассказывалось о трудном восхождении человека к познанию жизни и ее смысла. Что же познает Франсиско Гойя, человек, вышедший из недр народа, знавший и бремя славы, и полынную горечь невзгод? Поистине железной жизни противоборствовал его творческий дух; суды инквизиции, кроваваджное изуверство церкви, трусливая тупость феодалных правителей — косные, мертвящие все живое силы старого мира пытаются сломить его, подчинить себе его волю. С упорством и коварством защищали правящие классы Испании свои привилегии, которым угрожали идеи свободы, исходившие от республиканской Франции.

Гойя чутко прислушивался к этим идеям. Грозная музыка свободы рождала отзвук в его сердце, и он, человек, близкий к испанским просветителям, пытавшимся реформами обновить жизнь, отдает силы своего ума и таланта служению прогрессу. Его портреты испанской знати, фантасмагоричные офорты «Капричос» несли в жизнь ненависть к умирающему старому миру. Искусство было для него оружием в борьбе за утверждение справедливости в жизни.

Не сразу пришел Гойя к пониманию общественного значения искусства и долга художника. Великий жизнелюб, он вначале поглощен только интересами искусства: его радует игра красок, изучение форм вещей. Придворный живописец, он, проникая в души аристократов, чьи портреты он писал, начинает различать в них лишь эгоизм, жестокость и бездушие. Восхождение Гойи к истине по тернистому пути познания затрагивало не только его общественные взгляды, придавая его искусству гражданственность. Сын своего времени, он нес в себе и его предрассудки. Мрачная и жестокая жизнь, озарявшаяся огнями аутодафе, отмеченная равнодушием к человеческим страданиям и несчастьям, отпечаталась и в его душе, населив ее странными видениями, дисгармоничными и жуткими образами, от которых Гойя избавлялся при помощи великой магии искусства: обличая общественное неразумие, он одновременно обличал его и в самом себе, открывая сердце свое человечности и добру. Личные невзгоды — несчастная любовь, болезнь, смерть жены и ребенка, потеря друзей, ставших

жертвами инквизиции,— сделали его сердце доступным пониманию полноты жизни. Общение с испанскими вольнодумцами — Ховельяносом, поэтом Кинтаной, гуманистом и либералом Эстеве — укрепило в нем сознание необходимости действовать. Фейхтвапгер рисует в своем романе очень широкую картину социальной борьбы тех лет: участие испанской монархии в коалициях против революционной Франции, термидорианское перерождение революции, рост буржуазной оппозиции испанской монархии. Испанских либералов, с которыми сталкивается Гойя, писатель изображает в обычной для себя манере — несколько узковатыми и педантичными. Но в их речах, обращенных к Гойе, заключена истина. Несмотря на то что Гойю отвращает их суровая добродетель, он не может не считаться с тем, что либеральные реформаторы, требующие от него участия в политической борьбе, выражают веление времени. Фейхтвапгер стремится доказать, что бунтующая и скорбная человечность искусства Гойи более широка, нежели догматизм либеральных политических деятелей. Но без их влияния Гойя не сложился бы в передового художника, понявшего, что *сила искусства — в его народности*. Эта мысль является самой цепной в романе. Гойя выдержал все жизненные испытания только потому, что он никогда не порывал связей с народом. От него исходит все ценное, что создал художник, к нему обращено его искусство. Гойя, ненавидящий старый мир, однако не присоединяется полностью к просветительской идеологии. Он, народный живописец Испании, идет своим путем, утверждая новые идеи, но по-своему. Он знает, что его живопись оказывает действительное влияние на умы и души современников. Возможно, что это влияние будет медленнее изменять жизнь, но содержание его творчества совпадает с неуклонным движением прогресса. Пережив крушение надежд, рожденных французской революцией, познав сильное и слабое в человеке, любя его, Гойя приходит к познанию высшей мудрости: изменить мир можно, лишь постепенно внедряя в создание народа передовые идеи, которые в конце концов победят бесчеловечность в человеке. Эта мысль подводит итог собственным раздумьям Фейхтвапгера над сущностью исторического прогресса.

Служа общественному прогрессу, Фейхтвапгер, проводивший последние годы жизни в Америке, решительно выступал против усиления международной реакции, против пропаганды «холодной войны», против содержащейся в трудах буржуазных со-

цнологов и философов апологии войны как средства разрешения международных конфликтов. В годы разгула маккартизма, в годы гонения прогрессивных деятелей культуры и общественных деятелей Фейхтвангер написал пьесу «Помрачение умов, или Дьявол в Бостоне», пригвоздив к позорному столбу организаторов пресловутой «охоты на ведьм» — провокационных процессов невинных людей, несчастных жертв комиссии по расследованию антиамериканской деятельности. Фанатично-преступный пастор Коттон Маттерн, по вине которого погибло множество ни в чем не повинных людей, был прямым предшественником маккартистов, расправлявшихся, не гнушаясь средствами, со всеми инакомыслящими.

И в последних своих романах «Испанская баллада» и «Иеффай и его дочь» Фейхтвангер развивал идеи прогресса и гуманизма. Рассказав в «Испанской балладе» поэтичную и трагичную историю любви испанского короля Альфонсо и красавицы Ракели, прозванной народом Фермозой — «прекрасной», историю любви, поднявшейся над национальной рознью; рассказав о том, как разумные люди — министр финансов короля Ибн Эзра, каноник Родригес — боролись за то, чтобы не вспыхнула война между христианами и мусульманами; рассказав о том, какие бедствия принесла народу начатая Альфонсо война, — Фейхтвангер своим романом, хотя и написанным на материале испанского средневековья, ратовал за мир и, защищая идею мира, откликался на самое жгучее требование нашего времени.

Престарелый писатель — один из крупнейших деятелей немецкой литературы — горячо и искренне приветствовал создание Германской Демократической Республики и видел в ней оплот мира, а в ее успехах — залог свободного национального возрождения немецкого народа и немецкой культуры. Его выдающиеся заслуги как художника и защитника идей мира и прогресса были отмечены Государственной премией ГДР в области искусства и литературы, присужденной ему в 1953 году. До последних дней жизни Лион Фейхтвангер оставался верным другом Советского Союза, связывая с его движением вперед свои надежды на будущее, на конечное торжество Разума и справедливости.

Духовная эволюция Лиона Фейхтвангера характерна для современного критического реализма, крупнейшие представители которого — Томас Манн и Ромен Роллан, Генрих Манн и

Бернард Шоу, Роже Мартен дю Гар и Герберт Уэллс, каждый по-своему приходили к пониманию того, что новая социальная действительность сменяет умирающий собственнический мир. Наиболее значительные произведения Фейхтвангера, в которых отчетливо проступила истина нашего века, века становления новых общественных отношений, по праву могут быть отнесены к завоеваниям современного демократического искусства. Его творческое наследие долго будет приковывать к себе внимание читателей, помогая полнее познать сложную духовную жизнь современного мира и яснее понять, как трудно большие художники критического реализма открывали для себя правду истории.

Б. С у ч к о в

АВТОБИОГРАФИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ

ОПЫТ АВТОБИОГРАФИИ

Я немало повидал на своем веку. Страны и люди, успех и неуспех, тяжелое и сравнительно благополучное материальное положение, война, немецкая военная дисциплина, арест в Тунисе, дни революции и реакции в непосредственной близости от тех, кто руководил событиями. Однако я не думаю, чтобы эти внешние обстоятельства оставили глубокий след в моем творчестве. Я пробовал свои силы в разных видах поэзии: в драме и в эпическом романе, в драматическом романе, в комедии, — и на самом разнообразном материале, обращаясь к истории, к политике, к широким и узким темам современности. Мне часто говорили, что меня нельзя подвести под какую-либо формулу, отнести к какой-либо школе. Но, оглядывая ныне, в сорок два года, в зените своего жизненного пути, все, что я сделал, и пытаюсь найти какой-то общий знаменатель, какую-то общую линию, связывающую мои книги со мной, с моей жизнью и друг с другом, — я думаю, что, при всей кажущейся разнице между ними, я всегда писал только одну книгу, книгу о человеке, поставленном между действием и бездействием, между властью и познанием.

Спору нет, сравнивая свое довоенное творчество с послевоенным, я замечаю кое-какие различия. Но мне думается, что война не внесла в мое творчество нового содержания. Стихотворение, напечатанное мною в конце 1914 года в якобсоновской «Шаубюне», — кажется, это

были первые революционные стихи, опубликованные в Германии,— я смог без каких-либо изменений сделать лейтмотивом революционной драмы, написанной в 1919 году. Однако война вызвала значительные динамические перемены в моей писательской деятельности, она избавила меня от вкусовщины, от чрезмерно высокой оценки формально-эстетического элемента, нюанса и научила меня смотреть в корень. Я понял, что никакое индивидуальное видение мира, даже если оно с формально-артистической стороны и совершенно, не может быть конечной целью искусства. И еще я научился весьма скептически относиться к компромиссам, которых требует драма. Война расширила мой кругозор, она отучила меня судорожно копаться в самом себе.

В Германии мне жилось не так-то легко, за границей я добился литературного признания раньше, чем на родине. И слава богу. Ибо благодаря этому я сохранил независимость от литературного окружения и сумел уберечь свои мерилы от обусловленности местной модой и границами определенной страны. Трое из моих современников оказали на меня очень большое влияние, знакомство с их творчеством изменило мою работу. Генрих Манн изменил мою интонацию, Деблин — мой повествовательный, Брехт — мой драматический стиль.

Если что-либо меня поражало, то это явная неодинаковость людей до войны и после нее. И явная их одинаковость. Я испугался, увидев, что многие мои современники, пройдя через войну, нисколько не изменились, а дикая, варварская деловитость тех, кто возвысился благодаря войне, меня не раз отталкивала. Я пытался понять и тех, что ушли в свою скорлупу, и тех, что почти слепо бросались в водоворот новых событий. Преодолеть противоречие между послевоенным временем и довоенным, внутренние перерасти разрыв между эпохами — это, по-моему, самая трудная задача. Большую ее часть мне еще предстоит выполнить.

АВТОПОРТРЕТ



рос в католическом южногерманском городе, не очень большом. В этом городе было мало неподдельного, настоящими были, собственно, только окрестности, прекрасные государственные собрания картин и книг, карнавалы, да, пожалуй, еще — впрочем, в этом я ничего не смыслю, — пиво. Тогда мой город еще дорожил своей традиционной славой города искусства. Однако оно было невысокого пошиба, его искусство. По сути оно представляло собой такую академическую, чванливую, мещанскую институцию, которую тяжелые на подъем, туповатые, духовно косные горожане поддерживали главным образом для привлечения ипоностранцев.

Вот в каком городе я вырос. Я воспитывался на гуманитарных науках, изучал латинский и греческий синтаксис, запоминал даты из античной истории. То было педантическое, начетническое образование, не связанное с реальной жизнью, не знающее спорта, консервативное, в патриотическом духе. Математике и теории стихосложения нас обучали одинаковыми методами, нас учили писать немецкие, латинские и греческие стихи по строгим законам. Помнится, в весьма юном возрасте я написал правильной, каноническим размером стихотворную пьеску на день рождения государя. Несколько школьников — это были здоровые, крепкие ребята — смущенно и неуклюже выстроились вокруг гипсового бюста регента и, называя себя Живописью, Архитектурой, Поэзией и не помню уж какими другими искусствами, в тоскливо правильных

стихах и довелись рассудительно благодарили регента за то, что он им так покровительствует. Все находили, что пьеса мне удалась, ее напечатали в каком-то добропорядочном, краеведческого толка журнальчике, а я, помнится, получил булавку для галстука или что-то в этом роде в знак августейшей похвалы.

Преподавание в этой гимназии — а мы учились в ней до девятнадцатилетнего возраста — отличалось жеманной чопорностью. Классиков читали только в тщательно выхолощенных изданиях. Все, связанное с половым вопросом, боязливо вырезали и обходили. Мы жили в царстве дисциплины, достоинства, гипсовой аптичности, лицемерия.

Понятно, что переход в свободную атмосферу университета настроил чуть ли не всех более или менее одаренных выпускников гимназии на радикальный и циничный лад. В мировоззрении, в литературе, на сцене тех лет непомерно большую роль играли проблемы пола. Все на свете возводилось к женщине — очень неприязненно у Стриндберга, патетически и доктринерски у Ведекинда, с некоторой сентиментальностью у венцев, у Шницлера и более молодого Гофманшталя, которые прямо заявляли, что смысл и содержание жизни — это любовь, комедия и смерть. Из англичан тогда больше всего читали Оскара Уайльда. Саломея владела воображением юношества. Из женских образов, созданных немецкими драматургами, на сцене безраздельно царила ведекиндовская Лулу, этот «дух земли», самая безыскусственная и как раз потому самая демоническая геронья. Питая слабость к великосветскому быту, Генрих Манн, не без влияния д'Аннунцио и «Нана» Золя, создал в романе образ «герцогини Ассиийской», дамы высшего круга, и сделал ее средоточием бытия, до отказа заполненного политикой, искусством и любовью. Девушки той поры считали Виоланту Ассиийскую своим идеалом, а юноши мечтали о ней как о самой желанной на свете женщине. Молодые литераторы того времени занимались почти исключительно вопросами формы в искусстве и проблемами эротики. В музыке главенствовал Рихард Штраус, на сцене торжествовал яркий, броский, очень изощренный стиль Макса Рейнгардта.

А общепризнанный закон искусства гласил, что важны лишь средства изображения, но отнюдь не его предмет.

Я не испытывал ни малейших сомнений в правильности этих принципов. В те годы я написал весьма задиристый, претенциозный и очень манерный роман, изображавший богатую и пустую жизнь молодого повесы из хорошего общества. Еще я написал довольно задиристую драму с такими действующими лицами, как художник эпохи Возрождения, который, ничтоже сумняшеся, распинает на кресте своего молодого ученика, чтобы с натуры написать распятие, и демоническая дама из общества Борджиа. Не то чтобы это была такая уж плохая пьеса, но с человеком, ее написавшим, у меня теперь нет решительно ничего общего. Мне просто непонятно, как он умудрился написать эту в общем-то далеко не бездарную вещь.

В те годы я написал еще множество рецензий — в этаким помпезно-боевом стиле, довольно злых. Кое-кому я тогда сильно насолил; я много знал, я был недурно подкован в эстетических учениях различных эпох и, если хотел, мог нанести весьма чувствительный удар. Сейчас, однако, мне не совсем ясно, почему я хотел наносить удары. Все, что было действительно плохо и заслуживало ударов, давно кануло в Лету, как кануло бы и без моего вмешательства. Остались от тех лет только испорченные отношения.

Затем я женился и уехал с женой за границу. Поначалу я жил припеваючи: у меня были деньги. А потом, как-то вдруг, денег не стало. Это случилось на Ривьере, в разгар сезона, и я сказал своей молодой, красивой и хорошо одетой жене: «Знаешь, у нас кончились деньги. Надо податься куда-нибудь, где жизнь дешевле. В бедекеровском справочнике написано, что за дешевизной надо ехать в Сардинию или в Калабрию». Мы погадали, подбросив монету, и подались в Калабрию. В Калабрии и в самом деле жизнь была очень дешева; она была великолепна и донельзя примитивна. Мы преодолевали пешком огромные расстояния, бродя с заплечными мешками от Тирренского моря к Ионическому и от Ионического к Тирренскому. Это было хорошее время. Подворья, где мы останавливались, не походили на гостиницы в обычном европей-

ском понимании этого слова. Спали на кукурузной соломе. Мало кто умел читать и писать. Ели много фруктов, пили тяжелое, доброе вино. Еще пили козье молоко, разбавленное марсалою, накрошив в него черного хлеба. Ели баранину и козлятину, зажаренную на вертеле. Молодое мясо было необычайно вкусно, старое — отвратительно.

Затем мы отправились в Сицилию. Мы взбирались на Этну и обходили ее кругом, мы пешком исходили весь остров. То и дело я оказывался буквально без гроша в кармане, это было неприятно. Особенно запомнились несколько дней в Джирдженти, которые были даже весьма неприятны. Я ждал денег от одной немецкой газеты, а деньги не приходили. Мы жили в чердачной комнате, освещавшейся только крошечным слуховым окошком и потому сумрачной даже днем. В нее пужно было подниматься по узкой, темной и опасной винтовой лестнице. На чердаке держали голубей, весь пол был засыпан их пометом. У нас осталась только банка сардин да четыре булочки. Один день мы ничего не ели. На следующий день мы решили все-таки съесть эти сардины. В нашей темной комнате есть было противно. А на дворе было ветрено, холодно. Мы ушли далеко, к храмам. Кое-как укрывшись от ветра за упавшей колонной, мы съели все, что у нас было. На завтра мы ничего не ели. На четвертый день пришли деньги.

Я мало работал в то время. Главное мое занятие состояло в том, что я забывал огромное множество сведений, полученных мною в годы учения. Кругом был вольный воздух, и гомеровская земля была совсем не такая, как Гомер, которого я некогда изучал.

Затем опять появились какие-то деньги, и мы поехали в Тунис. Мы жили в Хамамете, небольшом селеении южнее Туниса, и готовились к путешествию через пустыню, от Тозера до Бискры, когда разразилась война. Меня арестовали и несколько дней продержали в тунисской гражданской тюрьме. Жене удалось с помощью одного официанта-мальтийца провести меня на итальянское судно. Я благополучно прибыл в Италию, которая тогда еще не вступила в войну.

Не успел я вернуться в Германию, как меня взяли в армию. Не могу пожаловаться на скверное обраще-

ние. Но было ужасно, повинаясь чьему-то приказу, выполнять какие-то нелепые обязанности, бесцельно простаивать большую часть дня во дворе казармы и есть из грязных мисок варено, которое не идет тебе впрок.

Написанное мною во время войны внешне, по форме, пожалуй еще походит на мои довоенные произведения. Но по существу, мне кажется, я уже не полемизировал по более или менее второстепенным вопросам, а смотрел в корень. Во всяком случае, мои пьесы то и дело запрещались, даже если на основании внешних примет их и не так-то легко было обвинить в революционности. Запрещена была пьеса «Уоррен Гастингс» и пьеса «Еврей Зюсс»; конечно, была запрещена моя переработка аристофановского «Мира» и, конечно же, пьеса «Военнопленные». Если в том, что я тогда писал, пробивалась какая-то общая идея, то это постановка проблемы «действие и бездействие», «власть и покорность», «Азия и Европа», «Будда и Ницше». Проблемы, явно заслонявшей более важную проблему социального переустройства мира. И все-таки мне приятно знать, что первое революционное стихотворение, напечатанное в те времена в Германии (октябрь 1914 г., журнал «Шаубюне»), написано мною.

Политической журналистикой я никогда не занимался. Когда началась революция, я жил в Мюнхене; многих руководителей баварской революции — Эйслера, Толлера, Густава Ландауэра, — и некоторых руководителей реакции мне привелось наблюдать с весьма близкого расстояния. Я написал тогда «драматический роман», положив в основу его судьбу писателя, который сначала руководит революцией, но затем возвращается к своему писательскому труду, так как революция ему надоедает. Эта книга, прискорбно подтвержденная действительностью вплоть до отдельных подробностей, вызвавшая много подражаний и представляющая собой кредо писателя пассивного склада, исходит из того факта, что у деятеля никогда не бывает совести, что обладает совестью только созерцатель.

В Германии началась эпоха, все больше и больше вытеснявшая эротику на задний план литературы. Если где-нибудь этот вопрос и оказывался в центре

внимания, то рассматривался он грубо-материалистически. И в жизни, и в поэтическом искусстве главное место занимали вопросы социологии, политики, всякого рода бизнеса, и как раз наиболее молодые кичились тем, что отношения с женщинами имеют для них самое второстепенное значение.

Разуместся, я не мог не отдать дани этому поветрию. Война, революция, девальвация немецких денег со всеми трагикомическими явлениями, им сопутствовавшими, научили всех нас предельно деловому подходу к вещам. Мало кто мог тогда похвастаться какой-то другой точкой зрения, привыкнув оценивать все на свете лишь с трезво-корыстных позиций убогого и тяжелого быта.

Немецкие женщины тех лет были храбрее и гораздо менее истеричны, чем можно было бы предположить на основании медицинских учений. Ухаживание, флирт стали понятиями историческими. «Дама» перестала существовать. В литературных кругах сложился новый тип женщины, такая полусекретарша-полулюбовница, довольно расчетливая, суровая, хороший, надежный товарищ и без секретов.

Я предпочитаю других, более старомодных женщин.

Как ни странно, среди этих старомодных женщин я нашел самых толковых своих критиков, обладающих безошибочным чувством качества, способных целиком отдаваться произведению искусства, не утрачивая чуткости к малейшей фальши. Наиболее чуткими моими критиками, и когда они соглашались и когда не соглашались со мной, были женщины.

Не признать, что успех приятен, было бы нелепостью и лицемерием. Но восторг сначала холодных и наконец побежденных зрителей, дифирамбы газет и толпы, похвалы тех немногих, кого уважаешь, — со всем этим постепенно свыкаешься. Однако всегда сохраняют свою прелесть и новизну неведомые превращения работы, победы и поражения и еще — может быть — тот отклик на твой труд, которым проникнуто взволнованное лицо понимающей тебя женщины.

АВТОР О САМОМ СЕБЕ

Писатель Л. Ф. родился в предпоследнее десятилетие девятнадцатого века в Баварском королевстве, в городе, носившем название Мюнхен и насчитывавшем в то время 437 112 жителей. 98 преподавателей, в общей сложности, обучали его 211 научным дисциплинам, среди которых были — древнееврейский язык, прикладная психология, история верхнебаварских владетельных князей, санскрит, сложные проценты, готский язык и гимнастика, но не было ни английского языка, ни политической экономии, ни истории Америки. Писателю Л. Ф. понадобилось целых 19 лет на то, чтобы полностью вытравить из своей памяти 172 из этих 211 предметов. За годы его учения имя Платона упоминалось 14 203 раза, имя Фридриха Великого — 22 614 раз, а имя Карла Маркса не упоминалось ни разу. Экзаменуясь на степень доктора, он провалился на испытании по древне немецкой грамматике и литературе, ибо оказался недостаточно сведущ в тонкостях турнирного единоборства конников. Зато он достиг большого успеха на экзамене по антропологии: на вопрос клерикального профессора «На какие две главные группы разделяются свойства человека?» он ответил: «На телесные и духовные», — чем и угодил экзаменатору.

Столица империи, Берлин, в годы, когда писатель Л. Ф. обучался в тамошнем университете, насчитывала

1 872 394 жителя, среди которых было 1443 актера, 167 генералов, 1107 писателей и журналистов, 412 рыбаков, 1 император, 9213 студентов, 112 327 квартирохозяек и 1 гений. Писатель Л. Ф. провел 14 лет в школах и университетах Берлина и Мюнхена, 5½ месяцев на военной службе, 17 дней в плену, а затем еще 11 лет в Мюнхене; остальное время своей жизни он пользовался относительной свободой. В общей сложности 3013 дней он ощущал недостаток в наличном капитале, а 294 дня вообще не имел такового. Он подписал 382 договора, 412 раз беседовал на религиозные темы, 718 — на социальные, 2764 раза — на литературные, 248 раз — на темы, связанные с заработком, и 19 549 — на будничные темы, главным образом о стирке, бритье и отоплении.

В годы расцвета писателя Л. Ф. его рост составлял 1 метр 65 сантиметров, а вес — 61 килограмм. В те времена у него было 29 собственных зубов, среди них несколько выступавших вперед и похожих на черепицы, а также и 3 золотых зуба. У него были густые темно-русые волосы, и он носил очки. Он был хорошим пловцом и плохим танцором. Он охотно ел всякого рода морских животных и неохотно — мучные блюда, принимал очень горячие ванны, не выносил собак и курения. Любил хорошее вино и еще чай, но был равнодушен к спиртным напиткам и кофе. Он одобрительно относился к теории вегетарианства и восхищался воздержанностью индусов; но на практике с наслаждением ел мясо. Не подлежит сомнению, что он прожил бы значительно дольше, если бы воздерживался от мяса. Между тем ко времени своего расцвета он успел вкушать мяса 8237 голов рогатого скота, 1712 голов дичи и 3432 голов домашней птицы. Морских рыб он съел 6014, рыб речных и озерных — 2738, не считая бесчисленных мелких животных, устриц, ракушек и т. п. Все это он поглощал с огромным наслаждением, но нередко и с печальной мыслью о том, сколько жизней должно было погибнуть ради поддержания его собственной.

В Германии в те годы, когда писатель Л. Ф. процветал в этой стране, насчитывалось 63 284 617 так называемых душ. 667 884 из них были заняты работой

на почте и железных дорогах, врачей было 40 103, критиков — 856, писателей — 8287, повивальных бабок — 15 043. Официально зарегистрированных идиотов и стопроцентных кретингов в Германии было 36 461. По несчастью, писателю Л. Ф. пришлось со многими из них иметь дело. Впрочем, трое из них в настоящее время занимают весьма высокие посты в Германской империи.

Что касается Мюнхена, в котором писателю Л. Ф. пришлось провести большую часть своей жизни, то здесь относительно чаще, чем в любом другом городе мира, вызывали пожарную команду из чистого хулиганства. Пива здесь производилось и потреблялось тоже больше, чем в каком-либо другом городе мира. Журнал Фридриха фон Шиллера «Оры» нашел здесь 3-х подписчиков, а роман «Король Людовик II, или Порфиноносный мученик» — 109 853. В последний год пребывания писателя Л. Ф. в этом городе там насчитывалось 137 высокоодаренных людей, 1012 — со способностями выше среднего уровня, 9002 — со средними способностями, 537 284 — со способностями ниже средних и 122 962 отъявленных антисемита. Из 537 284 человек со способностями ниже средних сейчас занимают высшие посты в государственных учреждениях или занимаются интеллигентным трудом — 8318, из 9002 людей со средними способностями — 112 человек, из 1012 со способностями выше среднего — 17, из 137 высокоодаренных — 1. Писатель Л. Ф. обнаружил необычайную жизнеспособность, совершив в атмосфере этого города 407 263 054 вдоха и выдоха и не нанеся этим заметного ущерба своему здоровью.

Писатель Л. Ф. совершил 23 257 простительных грехов, главным образом из лени и несколько флегматичного сластолюбия, а также 2 серьезных греха. Он совершил 10 096 добрых дел, главным образом из ленивого добродушия, и 2 действительно хороших поступка, которыми он гордится перед самим собой. Он владел 1 раз в жизни домом, который 1 раз был конфискован; 6 раз он обладал значительным состоянием, которое 4½ раза уплывало от него из-за инфляции, а 1 раз было конфисковано, и 1 раз — подданством, которого

1 раз был лишен. Когда к власти пришли национал-социалисты, у него имелось 28 рукописей, 10 248 книг, 1 автомобиль, 1 кошка, 2 черепахи, 9 цветочных клумб и 4212 других предметов, каковые во время обысков, произведенных национал-социалистами, были либо приведены в негодность, либо убиты, либо растоптаны, либо украдены, либо «изъяты» другими способами. Полиция трижды подтверждала, что эти «изъятия» произведены по распоряжению прусского министра внутренних дел, 4 раза — что они произведены коммунистами, переодетыми в форму штурмовиков. Писатель Л. Ф. был 1 раз женат. Он спас 1 девушку от утопления, 2 юношей — от сценической деятельности, 6 отнюдь не бездарных молодых людей — от профессии писателя. Правда, в 106 случаях подобного рода он оказался бессилён.

Писатель Л. Ф. сочинил 11 драм, из них 3 хороших, которые ни разу не были поставлены, 1 весьма посредственную, которая ставилась 2346 раз, и 1 очень плохую, которая, ввиду того, что он никому не давал права на ее постановку, ставилась незаконно 876 раз. В драме посредственной, много раз ставившейся, он проглядел опечатку в списке действующих лиц, отчего 41 стих лишился какого бы то ни было смысла. Эти стихи произносились на 2346 спектаклях 197 актерами, и ни один режиссер, исполнитель или рецензент, а также ни один из 1 500 000 зрителей ни разу не заметили этого.

4 романа писателя Л. Ф. были напечатаны в Германии общим тиражом в 527 000 экземпляров. Ввиду того, что писатель Л. Ф. позволил себе заметить, что в книге Гитлера «Моя борьба», содержащей 164 000 слов, 164 000 раз нарушены правила немецкой грамматики или стилистики, собственные книги писателя Л. Ф. были преданы поруганию, на него было возведено 943 чрезвычайно грубых клеветнических обвинения и 3248 просто грубых, а в 1584 инспирированных свыше газетных статьях и 327 выступлениях по радио его книги были объявлены ядом для германского народа. 20 экземпляров этих книг, кроме того, были торжественно сожжены. Остаток же этого яда с одобрения германского правительства по-прежнему продавался за

границей в немецком издании, что давало германскому правительству иностранную валюту. Таким способом Германский государственный банк, кстати сказать конфисковавший текущие счета писателя Л. Ф., пополнил свою кассу еще на 13 000 долларов, из коих писателю Л. Ф. достались 0 долларов. После этого субсидируемый государством ипотечный банк потребовал от писателя Л. Ф., чтобы он, ввиду конфискации его дома и имущества, покрыл ссуду в размере 63 214 имперских марок, выданную под закладную на этот дом, из своих дальнейших литературных заработков вне Германии. Германские же финансовые органы, перестав получать налоги с конфискованного имущества, приговорили писателя Л. Ф. к крупным штрафам, и прежде всего за «вывоз капиталов за границу».

Писатель Л. Ф. мог в час напечатать на пишущей машинке до 7 страниц, сочинить до 30 строк прозы и до 4 строк стихов. За час писания стихов он терял в весе 325 граммов.

Требования, предъявляемые к писателю Л. Ф. окружающим миром, были весьма многообразны. Ему на прочтение и для дальнейшего продвижения были присланы 8784 рукописи молодых писателей, которые обижались, если у него уходило более 2 дней на чтение их произведений. 84 таких рукописи были уничтожены вместе с собственными рукописями писателя Л. Ф. при разгроме его дома национал-социалистами. 17 169 человек желали иметь его автограф, 826 дам добивались места его секретаря. У него было 202 родственника, 2124 знакомых и 1 друг. Из 52 его добрых знакомых за 4 года войны было убито 22 человека, за $2\frac{3}{4}$ года господства национал-социалистов погибло 19, 11 и сейчас живы.

2087 человек желали получить у писателя Л. Ф. исчерпывающие сведения о том, является ли Христос, Шекспир, Бисмарк, Ленин, Теодор Герцль или Гитлер величайшим из людей. 515 человек желали выяснить у него, как «сочинять» книги. 714 раз ему анонимно звонили по телефону, чтобы назвать его «гнусным жидом». Он оставил без ответа 2084 анкеты. Несмотря на опасность, с которой это было сопряжено для его

корреспондентов, он окольными путями получил из национал-социалистской Германии 5334 письма с выражением сочувствия его деятельности.

19 раз в своей жизни писатель Л. Ф. был вполне счастлив и 14 раз безгранично огорчен. 584 раза человеческая глупость, которую нельзя выразить никакой цифрой, поражала его до боли и доводила чуть ли не до потери сознания, но затем он перестал на нее реагировать. Очень ясно отдавая себе отчет в том, что заслуги не всегда под стать успеху и что сам человек не всегда под стать своим заслугам, он, если бы его спросили: «Доволен ли ты своей жизнью до сегодняшнего дня?» — ответил бы: «Да. Готов повторить».

1953



КОМЕДИЯ

Перевод

Е. Эткинда

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

Диксополь, афинский земледелец.
Ламах, полководец.
Никарх, инспектор продовольственных това-
ров, доносчик.
Беотийский купец.
Глашатаи.
Дипломат, посол в Персии.
Афинский крестьянин.
Дружка жениха.
Фабрикант кос.
Торговец оружием.
Слуга Ламаха.
Амфитей.
Лже-Артаб.
Мальчик, сын Ламаха.
Крестьяне-ахаряне
Прочие крестьяне
Горожане
Женщины
Жена, дети и рабы Диксополя.
Рабы Ламаха.
Второй дипломат.
Раб беотийского купца.
Подруга невесты.
Два торговца оружием.
Притапы, горожане, две девки.
Народ.

} хор.

Действие происходит в Афинах в 425 году до нашей эры, во время Пелопонесской войны, в дни праздника Канн (февраль).

ПЛОЩАДЬ

На сцене с одной стороны дом Дикеополя,
с другой — дом Ламаха.

Дикеополь
(один)

В еселья кот наплакал тут,
А горя — куры не клюют.
На свете столько всякой дряпи,
Что все противно мне заране.
Вот разве что когда воинственный Клеон
Афинянами был во взятках уличен,
Я испытал подъем патриотический.
Но вскоре снова час настал трагический:
Пришел в театр и жду искусства,
Высокую классическую страсть,
Актеры же твердят, — ох, чтоб им было пусто! —
Что должен я на поле брали пасть.
Никак не приложу ума,
Откуда столько вылезло дерма?
Ну, где народ? Уж не в такую рапъ я
Пришел сюда, в народное собранье,
И никого — хоть покати шаром.
Пританы, где вы? Молния и гром!
В другое время люди тут
Гуляют, пьют, снуют, поют,
А нынче о переговорах речь, —
И никого на площадь не завлечь.

О, мой народ! Афины, жалкий город!
Хоть каждого тащи сюда за ворот.

Всегда я первый прихожу,
Уныло на скамье сижу,
Пританов увидеть не чаю,
Скребусь, зеваю да скучаю.
Ну, хоть один пришел бы грек!
Сижу я, жалкий человек,
И предаюсь мечтам тоскливым
О днях, когда я был счастливым,
Когда я жил в родном селе,
А на обеденном столе
Стояли яства и вино...

Ах, это было так давно!

На рынок прежде я послал корзины
Своих плодов. А вот теперь в Афины
Я выгнан неприятелем
И сам стал покупателем.

Сюда пришлось бежать мне от врага,
Товары покупать втридорога...

Вот наконец идут пританы!
Ну, пусть посмеют горлопаны
Вопить с трибуны, что война
Полезна людям и нужна.
Не дам произнести ни слова
Я тем, кто ненавидит мир
И хочет прославлять мундир:
Нет, я перекричу любого.

Входят пританы и занимают свои места.
Собирается народ. Появляется глашатай.

Г л а ш а т а й

Афиныяне, афиняне, внимание!
Пройдите все в народное собрание.
Кто просит слова?

А м ф и т е й

(выступает из толпы)

Я.

Г л а ш а т а й

Ты кто такой?

А м ф и т е й

«Живу в горах, пад вечными снегами,
С бессмертными, далеко от людей,
К вам, эллины, ниспослан я богами,
И сам я — бог, бессмертный Амфитей».
Афиняне, мне боги поручили
Добиться, чтоб вы мир со Спартой заключили
И не дали республике пропасть.
Но хоть и бог я, граждане пританы,
Не платит мне прогонных ваша власть.

Г л а ш а т а й

Эй, стражники, схватите шарлатана.
Стражники приближаются к Амфитею.

А м ф и т е й

Собратья-боги, помогите мне!

Д и к е о п о л ь

Пританы! Он сказал — конец войне.
Ужели вы покроете позором
Свободную республику Афин?
Ведь это называется террором,
Его не стерпит вольный гражданин.
Как, вы ему заткнуть хотите глотку
За то, что он о мире держит речь?
Нет, миротворца не дадим упечь,
Ступайте лучше сами за решетку!
Стражники отходят, Амфитей теряется в толпе.

Г л а ш а т а й

(Дикеополю)

Садись на место, помолчи, дурак.

Д и к е о п о л ь

Ха-ха! Садись и помолчи! Видали?
А чтобы вы народом помыкали?
Так я и замолчал! Как бы не так!

Г л а ш а т а й
(обращается к собранию)

Вниманье! Полномочная комиссия,
Высокая дипломатическая миссия,
Отбывшая восьмого сентября,
Вернулась от персидского царя.
Вниманье! Будет оглашаться нота.

Д и к е о п о л ь
(про себя)

Как, снова нота? Вот была охота
Сегодня снова слушать их брехню.
Нет, я порядок этот изменю,
Немало мы слышали всякой чуши.
Пускай посол, болтун и крючкотвор,
Собранию граждан порет сущий вздор,
Вы слушайте его, развесив уши,
А я желаю прекратить войну
И по-другому действовать начну.
Эй, Амфитей!

А м ф и т е й
Я здесь.

Д и к е о п о л ь
(отводит его в сторону)

Вот десять драхм. Возьми их, Амфитей.
И мир со Спартой заключи скорей.
Да только не пойми меня превратно:
Мир подпишу я лично, сепаратно.
К спартам ты командирован мной,
Чтоб нам с женой разделаться с войной.
Они же пусть болтают. Как, понятно?

А м ф и т е й
Бегу и мигом возвращусь обратно.
(Убегает.)

Г л а ш а т а й
Афиняне, послушайте посла.

Д и к е о п о л ь

Нелегкая болвана принесла.

П о с о л

(жирный, задыхается от астмы)

Почтенное народное собрание!
Вам шлет привет персидский властелин.
Две драхмы ежедневно на питание
Платило нам правительство Афин.
С тех пор прошло немало дней.

Д и к е о п о л ь

Мошенник!

Как жалко мне народных наших денег.

П о с о л

В поездке нам пришлось довольно тяжко,
Мы очень утомились...

Д и к е о п о л ь

Ах, бедняжка!

П о с о л

Условия, правда, были хороши —
Шатры, ковры, подушки пуховые...

Д и к е о п о л ь

А в это время нас кусали вши,
От голода мы пухли, чуть живые.

П о с о л

Воды нигде в пустыне не найти,
А там стоит ужасная жарница,
Кормили нас чрезмерно жирной пищей,
И лишь вино лакали мы в пути.

Д и к е о п о л ь

(про себя)

Афиняне! Так вам не видно, значит,
Как ваши дипломаты вас дурачат?

П о с о л

Известно, что у варваров почет
Лишь тем гостям, кто много жрет и пьет.
Итак, продолжим. Мы к исходу года
Достигли цели нашего похода.
Но царь и весь его персидский двор
Отправились на воды из столицы,
Величество решило подлечиться,
Извел его мучительный запор.
Оно на водах пробыло полгода
И возвратилось наконец
При ликовании народа
В свой раззолоченный дворец.
Пошли опять балы, приемы, тосты,
Мы снова обжирались, как скоты.
Вы нас поймете, что не так-то просто
Работать, набивая животы.

Д и к е о п о л ь

А как заем? Не зря же вы страдали.
Какую сумму персюки нам дали?
Они ведь обещали миллион.

П о с о л

Персидский царь прислал вам свой поклон
И своего начальника генштаба,
Наследника престола, Лже-Артаба.

Л ж е - А р т а б выходит вперед.

Г л а ш а т а й

Светлейший принц, скажи нам речь, мы ждем.
Какой же ты предложишь нам заем?

Л ж е - А р т а б

Орангутанг папанг пинг-понг пис-пис.

П о с о л

Вы поняли?

Д и к е о п о л ь

Ни слова, чтоб он скис.

П о с о л

Он говорит, что царь пришлет нам золота.
Светлейший принц, скажи яснее: золота.

Л ж е - А р т а б

Тю-тю, пук-пук, артасаксат пшик-пшик.
Все греки — свиньи. Золото — фиг-фиг.

Д и к е о п о л ь

Вот это ясно.

Г л а ш а т а й

Что ты говоришь?
Что он сказал?

Д и к е о п о л ь

Что мы получим шиш.

П о с о л

Нет, по-персидски он витиевато
Ответил нам, что мы получим злато.

Д и к е о п о л ь

Пританы! Вам посол пускает пыль в глаза.
Принц, говори! Не то как дам тебе раз!
*(Наступает на Лже-Артаба с угрожающим видом,
высоко подняв палку.)*

Заем дадут?

Лже-Артаб отрицательно качает головой.

Послы нам отливают пули?

Лже-Артаб радостно кивает головой.

Я так и знал, что нас надули.
Нас дипломаты заведут в трясины.
Всех надо вздернуть на одну осину.

Г л а ш а т а й

Заткнись и помни: пред тобой посол.
Светлейший принц, поздней возобновим беседу.
Сейчас гостям пора за стол,
Их просят в Пританей к обеду.

Все уходят, кроме Дикеополя.

Д и к е о п о л ь

(один, говорит им вслед)

Не стану поклоняться дармоеду!
А, вот вернулся мой посланец Амфитей.
Приветствую тебя.

А м ф и т е й

(вбегают с тремя кушинами)

Уф!

Д и к е о п о л ь

Говори скорей!

Принес мне мир?

А м ф и т е й

Бежал я всю дорогу,
Так мчался, что едва не отдал душу богу.

Д и к е о п о л ь

Да что стряслось?

А м ф и т е й

Я вам песу

Напиток мира, а в лесу
Ахарняне, которые
В погоне очень скорые,
Воители наемные,
Свирепые, огромные,
Спесивые, ворчливые,
Трусливые, кичливые,
С большими кулачищами,
С седыми бородами,

С тяжелыми дубинами,
Со шкурами звериными,
Громадные и смрадные,
Ужасно кровожадные,
Тупые, конопатые,
Вонючие, косматые,
Паршивые, плешивые,
Блошливые и вшивые,
Взлохмаченные, грязные.
Как черти, безобразные,
Пугающие, лающие,
Все уничтожающие,
Завистливы, вздорные,
Взъерошенные, черные,
Косые, криворожие,
На дьяволов похожие,
Чудовищно нахальные,
Страсть как национальные,
Патриотизмом дышащие,
Ненавистью пышущие...
Увидели меня с кувшинами,
И пу махать дубинами,
И пу вопить: «Куда понес кувшин?
Изменник! Прощелыга! Сукин сын!
Нам неприятель вытоптал пшеницу.
Посевы, випоградники, луга,
А ты, предатель, хочешь замириться,
Несешь напиток мира от врага».
За мной гонясь, они кидали камни.
Страшнее не бывало никогда мне,
И я бежал, я неся со всех ног
И вот домчался. Ух, я изнемог!

Д и к е о п о л ь

Пускай орут, коль сил у них избыток.
Мне важно лишь одно: донес напиток?

А м ф и т е й

А как же! Видишь — пробы трех сортов.
Вот пятилетнее. Отведай.

Д и к е о п о л ь

Я готов.

(Пробует и выплевывает.)

Кислятина. В нем привкус есть чего-то —
Как будто пушек для морского флота.

А м ф и т е й

А вот десятилетнее вино.

Д и к е о п о л ь

(пробует и снова плюется)

И это, честно говоря, дрянцо.

Оно хотя и пьяное,

А горькое, поганое,

Союзниками пахнет нерадивыми,
Воняет проволóчками трусливыми.

А м ф и т е й

А вот тридцатилетнее вино,

С ним ничего на свете не сравнится.

Д и к е о п о л ь

(пробует и приходит в восторг)

О. наконец-то. Вот оно!

Такое может лишь присниться.

Какой неслыханный букет!

О, я мечтал о нем недаром.

Подобного вина у смертных нет,

Ведь это смесь амброзии с нектаром.

Оно не пахнет пушкой и призывом,

А пахнет миром, свежим и счастливым.

В нем нет и привкуса мобилизации,

В нем привкус мира для блаженной нации.

Испив его, не крикнешь: «Марш, вперед!»

А скажешь: «По домам, честной народ!»

Спартанец! Выпью за твое здоровье.

Пожалуйста, любые ставь условия,

Я все равно куплю твое вино,

Уж очень мне понравилось оно.

Пускай ахарняне дерутся, коль им нравится,

Могу теперь с вином домой отправиться.

А м ф и т е й

А я боюсь их, Дикеополь,
Мне страшен их ужасный вопль,
Страшна орда их дикая,
Не вынесу их крика я,
И чтобы не попасть
Коварному врагу
В разинутую пасть,
Я лучше убегу.

(Убегает.)

Д и к е о п о л ь

А мне не страшно. Щит и меч
Я дома положу на псчъ.
Мир заключил я сепаратно
И буду жить теперь приятно.
(Кричит, повернувшись к своему дому.)
Эй, домочадцы, дети и жена!
Для нас уже окончилась война.
Довольно прятаться и подражать улиткам,
Я всех вас мирным угощу напитком.

Жена, дети и рабы выходят из дома. Сцена пашошнется
народом.

Л ю д и Д и к е о п о л я

Ура, ура! Окончилась война.
Мы все напьемся мирного вина.

Д и к е о п о л ь

Теперь, мои возлюбленные чада,
Воздать бессмертным благодарность надо.
В честь Бахуса мы жертвы принесем,
Великий Фаллос в гимнах воспоем.

Все выстраиваются для процессии.

О Фаллос мой, возлюбленный мой Фаллос,
Давненько мне так сладко не певалось!
Тебе поем мы снова, бог любимый,
Бог плодоносный и неутомимый.

Хор

Фалл наш, фалл цветущий,
Радости дающий.

Дикееполь

Радости дающий,
Девушек влекущий,
Счастье нам дарящий,
Мальчиков губящий,
По ночам не спящий,
Как огонь горящий.
Наш верный друг на солнце и в ночи.
Конец войне! На свалку все мечи!

Появляются ахарняне.

Хор ахарнян

(поют наперебой)

Где он? Где он? Где беглец?
Убежал куда подлец?
Все за ним! Вперед! Вперед!
Он далеко не уйдет.
Не уйдет он все равно,
Отберем его вино.
Быть бы только нам моложе,
Получил бы он по роже,
Мы бы задали ему,
Посадили бы в тюрьму.
Где же вор? Топор точи,
Вынем грозные мечи.
Эвоэ! Ловите гада!
Нам неведома пощада.
Будет пойман гнусный вор,
Подписавший договор,
Заклучивший мир с врагом,
Что ворвался в мирный дом,
Потоптал у нас луга...
В ножны мы мечи не вложим
До тех пор, пока врага
Мы вконец не уничтожим.

Мерзок нам предатель тот,
Кто с ним шапши заведет,
Кто брататься будет с ним.
Уничтожим! Истребим!
Истребим и уничтожим!
Нададим врагам по рожам.
Всех порубим мы мечом,
В ступке с перцем истолчем.
Но вот глядите! Вот он! Вот!
Вот он стоит! Вот он идет!
Гад, богохульник, безобразник,
Фаллический справляет праздник.
Он, он! Лови, держи, скорей!
Бей миротворца, бей! Бей! Бей!

Бросаются к нему. Домочадцы Дикеополя с криком убегают.

Д и к е о п о л ь

Что значит эта ерунда?
Что вам угодно, господа?
Зачем свирепо машете мечами?

К о р и ф е й х о р а а х а р н я н

Сейчас твоя башка расстанется с плечами.

Д и к е о п о л ь

За что — позвольте вам задать вопрос?

К о р и ф е й

Он спрашивает, шелудивый пес!
Он заключает мир с враждебным станом
И смеет, негодай, смотреть в глаза нам?

Д и к е о п о л ь

Позвольте изложить вам ряд причин...

К о р и ф е й

Нет, не позволим, сучий сын,
Ты проданся спартамцам — жди расплаты.

Дикееполь

Спартанцы, — потерпите миг один, —
Спартанцы ведь не так уж виноваты.

Корифей

Как? Ты ахарняв оскорбить готов?
Открыто смеешь защищать врагов?

Дикееполь

Они, как вы, и правы, и неправы.
Зачем кричите с самого утра вы?
Берусь я убедить вас до конца.

Корифей

Убить, убить! Не слушать наглеца!

Дикееполь

Эй, старики, зачем кричать так зычно
И поносить без толку земляка?
Зачем себя вести так истерично?
Не лучше ль успокоиться слегка?
Зачем насилие? На свете, право,
Есть справедливость, здравый смысл и право.
Я убедить сумею вас вполне.
Позвольте мне сказать, и я без страху
Немедленно согласен лечь на плаху,
Но дайте только слово молвить мне.
Я жду. Пускай притащат гильотину,
И пусть палач, подняв двуострый меч,
Готовится мне голову отсечь,
Зарезать человека, как скотину.
Так, голову на плаху положив,
Я буду говорить, пока я жив.
Я объясню свое вам поведение,
А если убедить вас не смогу
И научить терпимости к врагу,
Вердикт вы приведете в исполнение.
Вы сами понимаете — тогда
Казнить меня недолго, господа.

Х о р

Что ж, если убедительно,
Разумно, рассудительно,
Красиво, содержательно,
Умно и зажигательно
Произнесешь ты речь,
Тогда начни без страху,
И если дашь ты маху,
То головой на плаху
Тебе придется лечь.
Нас убедить ты дал нам слово,
Самонадеянно хвалясь,
Тебя послушать мы готовы,
Так не ударь же носом в грязь.
Валяй, начни без страху,
Но если дашь ты маху,
И все посулы — ложь,
Тогда ложись на плаху
И голову с размаху
Отрежет острый нож.

Гильотина установлена.

Д и к е о п о л ь

Так вон она какая, гильотина,
Которая мне гибелью грозит.
Но эта смертоносная машина
Своим ножом меня не устрашит.
Нет, каждому воздам я по заслугам
И выскажусь не только о врагах,
Нет, — об обеих храбрых сторонах,
Которые сражаются друг с другом
И все же чувства страхом смущены,
И я не так спокоен, как бывало,
Скажу а parte:¹ будь на мне штаны,
То сердце в них наверно бы упало.
Я знаю пашу публику — она
Тупа, глупа и самовлюблена.

¹ В сторону (*итал.*).

Ведь если будешь говорить с ней честно —
Одобришь в чем-нибудь ее врага
И скажешь о друзьях не слишком лестно,
Она тебя поднимет на рога.
Полиция, цензура, прокуроры
Преступника живьем готовы съесть,
Нагромождая обвинений горы.
Но если с уст твоих слетает лесть
И ты подонкам куришь фимиамы,
Тебя возносят господа и дамы,
В тебе находят доблесть, ум и честь.
 Не миновать того, что будет.
 Мужайся, сердце, и держись.
 Пусть они меня засудят.
 Душой не покривлю ни в жисть.
 Поставив голову на карту
 И выпив мирное вино,
 Я правду расскажу про Спарту
 И про Афины заодно.
 (Поднимается на гильотину.)

Х о р

Он нам казался краснобаем,
Но он бесстрашен, негибает,
Стоит храбрец перед лицом Афин,
И речь держать готов он без боязни.
Ты так хотел — нас много, ты один.
Что ж, говори под страхом смертной казни.

Д и к е о п о л ь

«Друзья, собратья, римляне, внимайте!»
Придется мне политики коснуться
В комедии. Прошу у вас прощенья,
Не говорите, морщась от досады:
«Фу, это политическая песня!»
В комедии, поверьте, тоже можно
О правде говорить, а все, что я
Сейчас скажу, суровая, но правда.
Никто меня не сможет упрекнуть,
Что при чужих я поношу отчизну.
Не правда ли, ведь мы — среди своих?

Союзники не прибыли покамест,
А чуждый элемент мы истребили,
Так вот: и я спартанцев ненавижу,
Они мне разорили виноградник
И потоптали пашни. Посейдон
Пусть на голову им обрушит кровли.
Но будем же честны в своей среде.
Зачем во всем винить одних спартанцев?
Есть и у нас, — нет, боже упаси,
Имею я в виду не государство,
А лишь отдельных граждан... Ну так вот,
Есть и у нас такие горожане,
Которые мегарцам досаждали,
Чинили им препятствия в торговле,
Травили их, в полицию таскали,
Преследовали мелочно и злобно.
На нашей территории все это
Имело место. Верно. Но однажды
Афинянин, какой-то пьяный хлюст,
Похитил ночью девку из Мегары.
Ну, что ж тогда? Мегарские пьянчуги
В ответ украли двух афинских девок.
Не правда ли, какой прекрасный повод:
Три девки. Да, вот повод для войны,
Бушующей теперь во всей Элладе.
Вот отчего разгневался Перикл,
Вот отчего метал он столько молний,
Приказы и эдикты выпуская,
Подобные скорей кабацким песням:
Мегарцев надо в шею гнать!
На море гнать, на суше гнать!
Мегарцев надо в шею гнать,
На рынке и повсюду — гнать!
Мегарцы чуть не умерли в блокаде
И наконец отправились к спартанцам,
Просили им помочь и снять блокаду,
Которой их афиняне подвергли.
Из-за чего? Из-за гулящих девок.
Не раз они нам посылали ноты
И начали в конце концов войну.
«Необходимость вынудила нас» —

Так говорят спартанцы. Но они,
По-вашему, напали беспричинно?
Когда ж бывали поводы серьезней?
Представьте, что афинская собачка,
Не мопс, не фокс,— ублюдок двух дворняг,—
Забрел к соседям, и, нарушив право,
Спартанское правительство его
Конфисковало. Я бы посмотрел,
Как вы спокойно бы сидели дома!
Вы подняли бы весь афинский флот,
Наполнился бы город наш бряцаньем
Оружия, и всюду бы гремели
Оркестры духовые, ну а в лавках
Теснился бы народ в очередях,
Скупая продовольствие и мыло.
Военные поставки, толчея,
На верфях грохот, в переулках брань.
Так вы бы поступили. Почему же
Сурово надо осуждать спартанцев?
«Когда бушует ненависть, Телеф,
Хоть кроток, распаляется, как лев».

К о р и ф ф е й х о р а

Как смеешь ты, собачий сын,
Бранить правительство Афин?

Ропот в толпе ахарнян и в народе звучит все громче и громче.

Х о р

Из-за трех поганных шлюх
Я от голода распух.
Из-за шлюх поганных трех
Весь народ наш чуть не сдох,
Из-за этих проституток
Мы воюем столько суток,
Правду он поведал нам.
Это просто стыд и срам.
Это просто срам и стыд.
Малый правду говорит.

М е н ь ш е е п о л у х о р и е

Нет.

Остальные

Да.

Первые

Нет.

Остальные

Да.

Предводитель меньшего полухория

Правду незачем кричать,

Наш гражданский долг — молчать.

Остальные

Нет.

Меньшинство

Да.

Остальные

Нет.

Меньшинство

Да.

Негодяй! Наглец! Балда!

(С угрожающим видом наступают на Дикеополя.)

Предводитель меньшинства

Сволочь! Предал он афинян.

Остальные

(защищая Дикеополя, становятся впереди него)

Он в измене неповинен.

Предводитель меньшинства

Бей, руби его, топчи!

Остальные

Спрячьте, граждане, мечи.

Как бы вы ногами тут ни топали,

Не дадим в обиду Дикеополя.

Меньшинство

(оттесняемое большинством, стучит в дверь Ламаха)

Ламах, мощный Ламах, ужас сеющий,

Грозною Горгоною владеющий,

Ламах, вождь, учитель и герой,
Ламах, поскорее дверь открой!
Появись, свиреп, огромен, лют.
Помоги нам, Ламах, наших бьют.
Ламах! Ламах!

Ламах выскакивает из дома; на нем нет панциря, но он вооружен копьем, щитом, украшенным Медузой, и на голове шлем с чудовищным султаном из конских хвостов и перьев.

Ламах
(страшным голосом)

О чем тут крик? Кого рубить?
Кого душить? Кого убить?
Кого превратить в кровавое тесто?
От кого не оставить живого места?
Всех истреблю! Всех уничтожу!
Медузу Горгону всем ткну я в рожу.
Кого бы мне молнией поразить?
Кто посмел Горгону мою разбудить?

Дикое поле
(уставясь на Ламаха, с деланным восхищением)

О Ламах, вождь во гневѣ сущий,
Хвостами конскими трясущий
И страх во вражий стан несущий!

Меньшинство
(перебивая друг друга)

О господин, он агитатор,
Властей не уважает он.
Он, вероятно, провокатор
И к нам подосланный шпион.
Он всюду разжигает драку,
Он пораженец и смутьян,
Он диверсант и шарлатан.
О Ламах, накажи собаку!
Не почитая никого,
Он, затаив свое коварство,
Поносит наше государство,
О Ламах, накажи его!

Ламах

(грозно наступая на Дикеополь)

Ты смел пускаться в рассужденья?

Дикеополь

*(вполне смиренно, по-прежнему с деланным
восхищением)*

О господин, прошу прощенья.

Я глупости болтать привык,

Меня попутал мой язык.

Ламах

О чем же ты болтал, прохвост?

Дикеополь

Меня страшит твой конский хвост,

Твой шлем, султан, копье и щит...

Все это так меня страшит,

Что я не помню ничего.

Ужасный щит! Отбрось его!

Ламах

Ну, бросил щит. Теперь ты вспомни.

Дикеополь

Со шлема, Ламах, дай перо мне.

Ламах вытаскивает ему перо из султана.

Ой, братцы, я попал в беду!

Ой, поддержите, упаду!

Едва на шлем взгляну немножечко,

Как сразу же мутит под ложечкой!

(Щекочет пером себе горло.)

Ламах

Невежда, грязное животное!

Мой боевой султан — не рвотное.

Смеешься ты над генералом.

Расправляюсь я с тобой, нахалом.

Д и к е о п о л ь
(*звезапно расправляется и встает во весь рост*)

Кто, я — нахал?

Л а м а х
(*отступая*)

Конечно, ты.

Д и к е о п о л ь

Да, я не прятался в кусты,
Не льстил воинственным бандитам,
Кому война — статья доходная,
Не стал пузатым паразитом,
Богатство не съедал народное,
Не потрошил казну Афин
И в поле не ходил солдатом,
Я просто честный гражданин,
Я на войне не стал богатым,
Как кое-кто из этих...

Л а м а х

Что ты!

Меня ж избрали...

Д и к е о п о л ь

Идиоты.

Все это надоело мне,
И я отставку дал войне.
Седые старцы служат в ротах,
Юнцы же по тавернам пьют,
Таких, как этот, желторотых,
На теплые места берут.
В тылу пижоны строят куры,
Правительству нужны ослы,
Ослам даются синекуры,
Из них вербуются послы.
Мы выбираем глупых самых.
Кто был в Хаонии послом?
Ты? Нет! Ты? Нет! А кто же? Ламах,
И этот, с толстым животом,

С неуголимым аппетитом.
Живется сладко паразитам!

(Обращаясь к старику в толпе.)

Ты был в посольстве, Марилад?

Марилад отрицательно качает головой.

Ты мудр и всеми уважаем,
А много ль у тебя наград?
Нет, не таких мы выбираем.

(Обращаясь к двум другим.)

А ты, Дракил? Ты, Эвфорит?
Вы ездили на остров Крит?
А может быть, в другие страны?
К персидскому царю? В Херет?
К Хаонию? Конечно нет.
Туда ведь ездили болваны,
Как Ламах, этот царь и бог,
Болтун, грабитель, демагог.
Поверьте, люди, казнокрада
Давно на свалку бросить надо.
Цена ему — дырявый грош,
Лишь для помойки он хорош.

Л а м а х

Как можем мы терпеть такую критику?
Он осмеял афинскую политику.
Вы нас избрали, граждане Афин,
И вот при всех какой-то сукин сын
Поносит нас и хочет сжить со света.
Народ Афин! Зачем ты терпишь это?
Мятсжник он, хулитель, сквернослов.
Избранников твоих, твоих послов
Ругать он смеет, да еще при дамах.

Народ безмолвствует.

Д и к е о п о л ь

Ах, Ламах не выносит грубых слов.
Не терпит он, чтоб был обижен Ламах.

Л а м а х

Нет, к партии другой я не примкну.
В политике тверды мои воззрения.

По-прежнему стою я за войну.
До полного врагов уничтожения.
Я тыловых не испугаюсь крыс,
Lex mihi Mars ¹ — навеки мой девиз.

(Гремя доспехами, уходит в дом.)

Д и к е о п о л ь

Я возвещаю мир Элладе.
Мегаре, Фивам, Спарте — мир.
Я знать не знаю о блокаде
И нынче сам справляю пир.
Всех приглашаю для торговли,
Всем мирным эллинам привет.
Товары, деньги приготовлю,
Зову всех — вольных ли, рабов ли,
Лишь Ламаху тут места нет.

(Идет к своему дому.)

Х о р а х а р н я н и г о р о ж а н

Прими же поздравления.
Отбрил его ты здорово,
Добился ты решения
И правого, и скорого.
Так припечатал ты бахвала,
Что удалился он, скорбя.
Ну, генерал, пиши пропало.
Война в Элладе миновала.
О победитель генерала,
Мы все благодарим тебя.
Веди же нас — не в бой, не в сечу,
А светлым мирным дням навстречу.

К р е с т ь я н е и г о р о ж а н е

(перебивая друг друга)

Слышали? Дратся нам больше не надо,
Мир наконец-то вкушает Эллада.
Шепот, и топот, и гомон, и смех —
Новая жизнь наступила для всех.

¹ Я повинуюсь Марсу (лат.).

Бросим щиты, и кольчуги, и племы,
Будем, как прежде, копать в земле мы.

Долго Элладу терзала война,
Ныне вернулась сюда тишина,
Снова на волю из мрака, из плена
Вырвалась к людям богиня Эйрена.
Слышите шаг ее? Вот она, вот!

Мир и свобода у наших ворот.
Вино, как прежде, потечет рекою,
Хмельные кубки сдвинутся, звеня,
Над очагом румянится жаркое,
И мы сидим с друзьями у огня.

Готовится ужин,
Он весел и дружен,

Пылает огонь, закипает вода.

Жена моя в бане. Служанка, сюда!

О жизни подобной мечтал я всегда.

Сев кончен, и дождь благодатный струится

На нивы. Сосед мой заходит ко мне.

«Не спишь? — говорит он. — Скучать не годится,

Друг, выпьем!» — «Пеки, — говорю я жене, —

Пирог, да смотри, чтоб мука — побелее,

И тесто послаще, пусть тает во рту.

Маслинь положи-ка на стол, не жалея,

Тоши, — говорю я, — скорее плити.

Сегодня в саду мы работать не будем.

Давай собирай угощение людям».

На праздничный стол подаются дрозды,

Служанка зажарила в масле бекаса...

Гостям и хозяевам хватит еды,

Нашлось бы, пожалуй, и заячье мясо,

Да кошка из клетки стянула его.

Как издавна водится, сами соседи

К нам яства несут, и в приятной беседе

Веселое наше течет торжество.

Мы пьем, и поем, и ликуем, и пляшем,

И все веселее за ужином нашим.

К нам боги добры, урожай мы ждем,

Мы любим свое государство, свой дом.

А утром я трудиться снова

Отправлюсь в виноградник свой,

В котором бледно-голубой,
Зеленый, синий и лиловый
Лемносский зреет виноград
И гроздья в зелени горят.
Я пробую одну из этих ягод,
Прохладный сок, живительный бальзам!
Я возношу молитву к небесам,
К бессмертным, нас избавившим от тягот,
За то, что мне удел прекрасный дан,
За то, что ныне я и сыт и пьян.

Д и к е о п о л ь

*(снова выходит из дома и выносит столик,
к которому прибит мирный договор)*

Вот рынок мой. Здесь торговать я буду,
Купцов сюда зову я отовсюду.

Для купцов
Со всех концов
Дам я тут свободную торговлю,
На базар
Свой товар
Вынесу и деньги приготовлю.
Я купцам
Все продам,
Птицу, рыбу, виноград, инжир,
Будет рада
Вся Эллада,
Потому что
Заклучил я
Сепаратный мир.

На вывоз и ввоз я снимаю запреты,
Сюда, беотийцы, спартанцы, сюда!
Несите товары, несите монеты,
Мегара, и Фивы, и все города.
Войну я окончил, и горя мне мало.
И Спарта со мной договор подписала.
Войне для себя положил я конец.
Вот кто-то идет: беотийский купец!

Беотийский купец входит в сопровождении слуги,
оба несут огромные мешки и корзины, набитые дичью, ово-
щами и прочим сельскохозяйственным товаром.

Д и к е о п о л ь

Муж беотийский, тебя приветствую в этих пределах.
Муж беотийский, скажи, что ты принес на базар?

К у п е ц

Все, чем Фивы богаты: горох и цветную капусту,
Мяту, горчицу, скворцов, уток, а также ежей,
Чаек, цесарок, а также гусей, перепелок, бекасов,
Белок, а также бобров, кошек, угрей и куниц.

Д и к е о п о л ь

Позволь обнять тебя, посланец неба!
Облобызать тебя хотелось мне бы.
Входи же, беотиец, не робей,
О мудрый врачеватель всех скорбей,
Ты к нам пришел с богатыми дарами,
И верно ли расслышал я? С угрями?

Купец кивает.

Где, где они, желанные друзья?

К у п е ц

Ты, самый жирный из морских тритонов,
Ты, пращур всех угрей, явись на свет
И поклонись любезно господину.

*(Вынимает из корзины огромного угря
и дает его Дикеополю.)*

Д и к е о п о л ь

Любимые угри, привет, привет!
Добро пожаловать на нашу кухню.
Привет тебе, отборный жирный угорь.
Ты радость глаза и блаженство брюха,
Уже я предвкушаю, как мы кончим
Ломать комедию и в тот же час
Съедем тебя в ближайшем ресторане.

(Указывая на остальных актеров.)

Я вместе с ними.

(Обращаясь к публике.)

Завидно небось?

У вас, я вижу, слюнки потекли.
Нет, мы играем! Мы съедим угря!
(Поворачивается в сторону своего дома.)

Эй, все сюда, жена, рабы и дети.
Прекрасный угорь к нам попался в сети.

Дети и рабы выходят из дома.

(Жене.)

Раздуй огонь — пускай дрова, горя,
К обеду нам изжарят царь-угря.
В подливе схорони останки эти.
«Таков удел прекрасного на свете».

Жена, дети и рабы уходят, унося угря и часть других товаров
кунца.

Купец

Постой! Постой! А кто заплатит мне?

Дикееполь

Да, мы не сторговались о цене.
Ты продаешь угрей по новым ценам?

Купец

В такое время лучше жить обменом.
Хочу отдать товар на этот раз
За то, что есть у вас и нет у нас.

Дикееполь

За то, что есть у нас и нет у вас?
Что ж, хорошо. Обдумаем сейчас.
В Беотии, к примеру, есть паштеты,
Угри, цыплята, шпик, окорока,
У нас же — полицейские запреты,
Доносчики и двадцать два шпика.

Купец

Мне кажется, вопрос об этом ясен,
С таким обменом я вполне согласен.
Все заberi — угрей, цыплят и шпик,
Мне нужен только полицейский шпик,

Я посажу диковинного зверя,
Как тигра, в беотийский зоосад,
Пусть беотийцы на него глядят,
Разинув рот, глазам своим не веря.
На всю страну я стану знаменит,
И все купцы откроют мне кредит.

Д о н о с ч и к Н и к а р х
(за сценой)

Контрабанда! Контрабанда! Контрабанда!

Д и к е о п о л ь

А, вот один сюда проник,
Погапый шпик,
Гнилой язык,
Который все охаивать привык,
Никарх, гроза торговцев и базаров,
Инспектор продовольственных товаров.

К у п е ц

Как, тот малыш, который к нам бежит?
Но он вполне порядочный на вид.

Д и к е о п о л ь

Глазам своим верить не нужно:
Он честен, но только наружно.
Хоть жалок и мал его рост,
Но он колоссальный прохвост.

Д о н о с ч и к Н и к а р х
(вбегает)

Кто? Кого? Зачем? О ком?
Ты куда идешь с мешком?
Почему? Чего? Какой?
Предъявите паспорт свой.
На торговлю где патент?
Предъявите документ.
Где поймал столько рыб?
Подозрительный тип!
Где продаешь?
Куда идешь?

Постой, паскуда,
Ты не отсюда.
Где твой талон?
Шпион! Шпион!
Ты Спартой заброшен,
Будешь допрошен.
Почему красный нос?
Напишу донос.
А ну-ка, это что у вас?
За вами нужен глаз да глаз.
Контрабанда! Контрабанда!

Купец

Прохвост, фискал,
Моих мешков не трогай.
Чего пристал?
Ступай своей дорогой.
Сам видишь — я фиванец,
Я беотийский грек,
Не беглый новобранец,
Не нищий оборванец,
А честный человек.

Доносчик

Вот именно! В кутузку!
Тебе не дам я спуска.
Товар твой конфискован,
А сам ты арестован.
Останется в Афинах
Все, что в твоих корзинах.
Угри и гуси, зайцы и ежи.
Бобры, скворцы... Держи его, держи!
Все конфискую,
Всех арестую.
Все запрещаю,
Всех застращаю,
Он диверсант, шпион, изменник,
И за него дадут мне денег.

Купец

Что с ним? Родимчик? Он совсем блажной.
Зачем на рыб и птиц идти войной?

Дик е о п о л ь

Скажи, доносчик, в чем его коварство
И чем опасен он для государства?

Д о н о с ч и к

О публика, этот несчастный глупец
Не может понять, чем опасен купец.
А вам все понятно, почтенные жители?
Вы правду об этом узнать не хотите ли?
(С таинственной важностью.)

Сюда привез он фитили,
Вы разве их не видели?
Один-единственный фитиль
Афины превратит в утиль.
От этих самых фитилей
Сгорят десятки кораблей.
Фитиль он может ночью взять,
Молниеносно привязать
К одной из пойманных стрекоз —
Один пылающий фитиль...
Сейчас, конечно, мертвый штиль.
Но если б ветер вдруг понес
Стрекоз на верфи, к кораблям,
Узнали б цену фитилям.
В одно мгновение тогда
Огонь сожрал бы все суда.
«Стены лютым жаром пышут,
Пламя рушит балки, крышу.
Стекла бьет и дым взмывает,
Дети плачут, мать рыдает...»
И так дальше в том же роде,
Я не помню, — все равно.
Флот, не побывав в походе,
Опускается на дно.
Из-за этих фитилей
Мы лишимся кораблей.
Вот, приятель, почему
Ты отправишься в тюрьму.
Для спасения страны
Мы схватить тебя должны.

Д и к е о п о л ь

Какую ересь он несет!

Он пьян, а может, идиот?

Нет, нас не застращать угрозами

Да фитилями со стрекозами.

Смотри, доносчик, грязный шпик,

Сейчас прикусишь ты язык.

(Наступает на него, обращаясь к своим рабам.)

Вяжите, ребята, шпика,

Намните ему бока,

Наддайте ему по заду,

Салазки загните гаду.

Отнять он грозитя угрей,

Наставьте ж ему фонарей,

Да так, чтобы страх его пронял,

Чтобы больше он за нами не шпионил.

Слуги бьют и вяжут доносчика.

(Купцу.)

Ты получить хотел за свой товар

Доносчика отборный экземпляр.

Вот лучший из шпииков, первейший сорт,

Гляди, как упакован этот черт.

К у п е ц

Мы квиты, друг. Отправлюсь я назад,

Доносчика доставлю в зоосад.

(С помощью своего раба грузит связанного инспектора на повозку.)

Д и к е о п о л ь

Друг беотиец, о тебе радея,

Я дал тебе чудесного злодея.

Нигде такого не найдешь,

В нем подлость, грязь, бесстыдство, ложь,

Паскудство и злоречье,

Порок и бессердечье,—

Двуногая помойка.

Снеси его домой-ка!

Порадуй там своих несчастных земляков,

Которые вовек не видели шпииков.

Счастливым путь в родные Фивы!
Покрепче завяжи пакет.
Пусть узнает целый свет,
Какое есть в Афинах диво.
Одним могу теперь хвалиться я:
Не тронет нас с тобой полиция.

Купец уходит. Его рабы увозят повозку с доносчиком.

Д и к е о п о л ь

*(вместе со слугами нагружается товарами
и несет их в свой дом, напевая в пути)*

Тары-бары, растабары,
Это все мои товары,
Зайцы, барсы, рыбы, птицы,
И лисицы, и куницы,
Все купил я у купца,
Ламца-дрица-а-ца-ца.

С л у г а Л а м а х а

(выходит из дома Ламаха)

Дикеополь!

Д и к е о п о л ь

Кто-то здесь орал?

С л у г а Л а м а х а

Мой хозяин Ламах, генерал,
Приказал мне закупить на праздник,
Дикеополь, у тебя дроздов,
Отпусти ему товаров разных,
Драхму он отдать за них готов.
Да еще угрей клади в придачу
За пять драхм — и не забудь про сдачу.

Д и к е о п о л ь

(делает вид, что мучительно вспоминает)

Кто? Что?

Какой же Ламах? Ламах — это кто?

Я где-то слышал... Разве он знаком мне?

Нет, право же, такого я не помню.

Слуга Ламаха

Ужели Ламаха забыл ты грозного,
Героя, полководца щитоносного,
Военными доспехами бряцающего,
Ужасною Горгоной потрясающего,
К врагам спартамцам ненавистью дышащего,
Огромный трехсултанский шлем колышущего?

Дикееполь

Ах, этот? Нет, уж пусть себе колышет,
К врагам спартамцам ненавистью дышит.
Я только с теми, кто мне мил, торгую,
А он дорожку пусть найдет другую.
Хотя б он отдал мне свой грозный щит,
Его я знать не знаю. Пусть кричит.
Пускай как хочет надрывает глотку.
Здесь для него найду я только плетку.

Слуга уходит.

Это все мои товары,
Их снесу в свои амбары.
Пусть завидует герой,
Я устрою пир горой,
Зажарю я вкусных животных и птиц,
Дроздов и лисиц,
Куниц, перепелок и жирных угрей.
Эй, люди, огонь разжигайте скорей!
(Нагруженный дичью и прочими товарами,
уходит в дом.)

Хор

*(горожане, крестьяне, мужчины и женщины, молодые
и старые — поют, перебивая друг друга)*

Все идите. Посмотрите,
Вот хитрец наш купец.
Он с базара тьму товара
За порог поволок.
Летит к нему все вкусное,
Летит к нему все жирное.
Забыто время гнусное,

Безмясно-бескапустное,
Голодное и грустное,
Настало время мирное.
Жаркое ароматное
Шипит над очагом,
И запахи приятные
Наполнили весь дом.
Мы развлечемся плясками,
Балами деревенскими,
Мы насладимся ласками
Пленительными женскими.

Будет в селах пир, —
Вот что значит мир.

Столы под закусками ломаются,
И девушки с нами знакомятся,
И песни взлетают застольные,
Забористые и вольные,
Кувшины наполнены винами,
Большие блюда — апельсинами,
И всякими яствами пряными,
И пирогами румяными.
Как мирное время радостно
Афинянам со спартамцами.
И как пировать тут сладостно
С лихими, веселыми танцами.
Проклята будь ты во все времена,
Грозная, грязная гидра-война.
Только попробуй приходи к нам обратно,
Ты ненавистна мне, ты мне отвратна.
Тихо и мирно сидел я в дому,
Ты появилась в крови и в дыму,
Хриплые, пьяные песни горланя,
Злобою головы людям дурманя,
Руша порядок и мирный уклад,
Грабя дома и топча виноград,
Нивы сжигая, сады и дубравы,
Испепеляя зеленые травы...
Сколько бы ты ни трубила в свой рог,
Больше тебя не пущу на порог.

Дикое поле выходит из дома и выбрасывает перья ощи-
панных птиц. Затем снова исчезает за дверь.

Х о р

О, как он горд и как доволен,
Как пезависим, весел, волен.
Себе к обеду дичь припас,
А перья выбросил для нас,
Чтоб каждый видел ясно,
Что он живет прекрасно
И что, уйдя от всяких бед,
Спокойно ест он свой обед.

Эйрена! Богиня прекрасная! Диалата!
Родная сестра лучезарной Киприды!
Подруга пленительных граций,
Явись, о, явись нам, возлюбленная богиня!
Не прячь от людей сияющий лик,
Яви его нашим тоскующим взорам.
Позволь нам увидеть твои черты.

Эрос, глядящий на нас в изваяньях,
Радостный бог, венчанный цветами,
О, ниспошли нам богиню мира,
Нашу богиню, владычицу пира,
Пусть снизойдет к нам наша невеста,
Видишь, ей здесь уготовано место,
О, ниспошли сюда Тишину!
Взгляните, женщины, мужчины,
На лик бессмертной Тишины,
И с ваших щек сойдут морщины,
Как снег под веяньем весны.
Сдвигаясь, кубки застучали,
Вино колеблется в кристалле,
Блаженные сверпились сны.
Невзгоды, прочь и прочь, печали!
Как прежде, песни зазвучали
Во славу девы Тишины.
В очах людей блестит отрада,
Всем радостен ее приход,
Сверкают гроздья винограда,
Кружится пестрый хоровод.
Ей сотни рук навстречу тянет
От сна восставшая лоза,

Она спокойна: гром не грянет,
Жестокий враг ее не ранит,
Ушла военная гроза.
К нам из томительного плена
Вернулась юная Эйрена!
Эйрена, Эйрена!

Г л а ш а т а й п р а з д н е с т в а
(*выходит, сопровождаемый толпами народа*)

Внемлите все! Афинский люд!
Сегодня день великий.
Сегодня все едят и пьют
Под праздничные клики.
Кто выпьет больше всех вина,
Царем на пире будет,
А кто не станет пить до дна,
Пускай не обессудит.
Кто победит, получит тот
Бочонок в три обхвата,
Большой и круглый, как живот
Буржуя, что весь век живет
Привольно и богато.

(*Уходит.*)

Народ, теснясь, устремляется следом за ним.

Д и к е о п о л ь
(*при первых словах глашатая вышел из двери.*
Повернувшись к дому, кричит)

Вы слышали? Чего ж возиться долго?
Не забывайте праздничного долга.
Эй, слуги и служанки, все сюда!
Не пожалейте своего труда.
Украсьте дом гирляндами, венками,
Пусть в очаге запылывает пламя.
Несите все — муку, вино, миндаль.
Для праздника мне ничего не жаль.
Сегодня каждый гость любим и дорог.
На вертел — перепелок и тетерок.
(*Ему приносят вертела. Он насаживает на них
оцепанных птиц.*)

Хор

(толпится вокруг него и смотрит завистливо и жадно)

Какая у него сноровка!
Как вертит он свой вертел ловко.
Как он жарит,
Как он варит,
Что за дивный запах тут,—
Слюнки на хитон текут!
Жаркое какое!
А что за салат!
Купчишке жаркое,
А нам — аромат.

А ф и н с к и й к р е с т ь я н и н
(входит)

Горе, горе! Ах и ох!
Жребий мой куда как плох!
Горе, горе! Ох и ах!
Я от горюшка зачах!
Я без крова и без пищи,
Я несчастный, жалкий нищий.

Д и к е о п о л ь

Тогда сюда тебе заказан вход,
Не место здесь для жалоб и невзгод.

К р е с т ь я н и н

Добрый, славный Дикеополь.
Ах, услышь мой горький вопль.
У тебя для пира
Есть напиток мира.
Дай испить мне хоть глоток,
Я устал, я изнемог,
Я несчастен и убог.

Д и к е о п о л ь

За что ж тебя карают небожители?

К р е с т ь я н и н

Фиванцы двух моих волов похитили.
Ко мне ворвались эти беотийцы
И увели моих волов, убийцы.
Увы! С каким трудом я их растил,
Я положил на них так много сил.
Я их отборным кормом
Кормил по высшим нормам.
Ах, вспомнить не могу без слез,
Какой прекрасный был навоз.
Так дай мне, друг, из этих бочек
Вина хоть маленький глоточек,
Капельку хотя бы, и вовек
Не забуду, милый друг, об этом.
Ведь недаром сказано поэтом:
«Добр и благороден человек».

Д и к е о п о л ь

Друг, не читал я этого поэта,
И я не член муниципалитета,
Карманной чахотки я не лечу.
Ступай в больницу, скажись врачу.
Мне жаль тебя, я полон состраданья,
Но, несмотря на все твои рыданья,
Я отвечаю «нет» — без лишних слов.

К р е с т ь я н и н

Ах, жалок тот, кто потерял волов.

(Всхлипывая, уходит.)

Х о р

О, как завиден и прекрасен
Его возвышенный удел.
Вином он мирным овладел,
Но им делиться не согласен.
Он победил, и потому
Вина не даст он никому.

Дикеополь
(говорит, заглядывая в дом)

Теперь поставьте скумбрию на пламя
И дров подкиньте, чтоб огонь не гас.

Хор

Он издевается над нами,
Своей стряпнею дразнит нас.
Его шипящее жаркое
Совсем лишило нас покоя,
Вкушая аромат мясной,
Мы сладкой истечем слюной.

Входят дружка с подругой невесты.

Дружка

Эй, Дикеополь.

Дикеополь

Что? Отбоя нет от них.

Дружка

Меня на пир к тебе прислал жених.
Он шлет привет, на свадьбу приглашенье,
А также маленькое подношение.
Велел поставить он на твой порог
Вот этот скромный свадебный пирог.

Дикеополь

Ну, что ж, спасибо и счастливой свадьбы.

Дружка

Не могли ты ему за это дать бы
Лишь приложиться к мирному вину?
Беднягу посылают на войну.
Он, чем идти на эллинов войною,
Предпочитает воевать с женою.

Дикеополь

(с отвращением и негодованием отклоняя блюдо)

Проваливай отсюда с пирогом.
Дать за пирог вина? Ты больно жирный.
Просил бы хоть о чем-нибудь другом,
А то — подай ему напиток мирный!
Ты, брат, хитер, да я хитрее сам:
И за сто драхм ни капельки не дам.
А это кто?

Дружка

Подруга. Ей невеста
Велела что-то передать тебе.

Подруга

Но только, Дикеополь, тут не место...
Я на ухо скажу...

Дикеополь

(после того, как подруга что-то прошептала ему на ухо, смеясь)

К ее мольбе

Остаться равнодушным я не в силах.
Я сам люблю таких подружек милых.
Как видно, новобрачная жадна,
Ничем не хочет с Ламахом делиться.
Оружьем жениха владеть одна
Желает эта юная жена,
Или, точнее, пока еще девица.

(Обращаясь к рабу.)

Неси вина!

Пускай она

Владеет им со мною вместе.
За женщинами нет вины,
Они ведь не хотят войны,—
Послав бутылочку невесте,
Я не нарушу свой зарок.
Держи, подруга, пузырек.

(Наливает ей вина.)

Скажи невесте: если хочет,
Чтоб муж немедля сдался в плен,
Пускай она ему помочит
Из этой склянки ночью... копье.

Дружка и подруга уходят.

Дик е о пол ь
(рабу)

Неси вино назад и спрячь его.
Сейчас, друзья, начнется торжество.

Хор

Смотрите! Смотрите! Бежит к нам глашатай!
Какой он косматый, какой он измятый!
Ужасные вести несет он, проклятый!

Г л а ш а т а й от армии
(вбегают и стучит в дверь к Ламаху)
Все на коней! К оружию! В бой! В поход!
За Грецию! За Ламаха! Вперед!

Л а м а х
(выбегает из дома без доспехов)
Кто там стучит у ворот моего меднобронного дома?

Г л а ш а т а й
О Ламах, министра немало тревожит,
Что враг наш по случаю праздника может
Внезапно пойти в наступление на нас.
Тебе, полководец, привез я приказ:
Ты должен с отборнейшим доблестным войском
Отправиться тотчас в далекий поход
И, рать вдохновляя в порыве геройском,
Закрывать неприятелю горный проход.
(Убегает, спеша передать другим военачальникам
предназначенные им приказы.)

Дик е о пол ь
(насмешливо)

Я вижу, эти господа министры
На умные приказы больно быстры!

Ламах

Как для меня печальна эта весть!
На празднике не пить мне и не есть!

Дикеополь

А для меня такая весть — отрада!

Г л а ш а т а й п р а з д н е с т в а
(появляется).

Эй, Дикеополь!

Д и к е о п о л ь

А тебе что надо?

Г л а ш а т а й

Скорей! Сейчас начнется торжество!
В честь Вакха мы устроили его!
Поторопись — ступай туда с корзинами,
Набитыми плодами, дичью, винами,
Все ждут тебя — и стол накрыт давно.
Уже в бокалах пенится вино.
Уже вакханки пляшут полуголые
И гости песенки поют веселые.
Какие яства там — угри, анчоусы,
Бараний бок, изюм, коврижки, соусы...
Поторопись! Скорей беги туда,
Где вина, песни, девки и еда!
Дионисии! Дионисии!

(Убегаает, зазывая других гостей и повторяя приглашение.)

Ламах

«Не расстилай ковер столь пестрой жизни!»
Я в смертный бой иду служить отчизне.
Иду я в ночь, в огонь, в крошечный ад,
Вот сколько счастья на пути солдат!
Вперед, за мной!

Д и к е о п о л ь

Видали фанфарона?

Ну, что ж, мне — Бахус, а тебе — Горгона.

Во время последующих реплик раб Дикеополя и раб Ламаха исполняют каждое приказание своего господина.

Л а м а х

Раб, принеси мне меч и шлем!

Д и к е о п о л ь

Мне — заливное, джем и крем!

Л а м а х

Эй, мне копье и скакуна!

Д и к е о п о л ь

Эй, вертел мне для каплуна!

Л а м а х

Консервы! Как смердят отвратно!

Д и к е о п о л ь

Жаркое! Пахнет как приятно!

Л а м а х

Подай мне, раб, для шлема перья!

Д и к е о п о л ь

Подай мне, раб, рагу тетерье!

Л а м а х

Всех распугает мой султан!

Д и к е о п о л ь

Красоток мне! Я сам — султан!

Л а м а х

Ты злишь меня своей насмешкой!

Д и к е о п о л ь

Ступай скорее в бой, не мешкай!

Ла ма х
(озабоченно)

Потрачен молью мой мундир.

Ди ке о пол ь
(радостно)

Потрачу все на пышный пир!

Ла ма х
Врагов я устрашу железом!

Ди ке о пол ь
Рабы! Свинью под майонезом!

Ла ма х
Кольчугу!

Ди ке о пол ь
Сыр!

Ла ма х
А где узда?

Ди ке о пол ь
Подай печеного дрозда!

Ла ма х
Не издевайся — будет худо!

Ди ке о пол ь
А ты не суйся носом в блюдо!

Ла ма х
Вперед! Мы славно повоюем!

Ди ке о пол ь
Вперед! Мы славно попируем!

Ла ма х
Я всех спартанцев перебую!

Д и к е о п о л ь

Я всех афинян перепью!

Л а м а х

Заткнись, невежда, зубоскал!

Д и к е о п о л ь

С рабом я спорил, генерал,
Что лучше — со спартанцем биться
Иль ночьку провести с девицей?

Л а м а х

(грозно наступая на Дикеополя)
Шут!

Д и к е о п о л ь

(пожимая плечами)

Дурням воевать вольно,
А я отправлюсь пить вино.

Л а м а х

Раб, дай мне щит! Бойцы, вперед!

Д и к е о п о л ь

Раб, дай корзину! Ужин ждет!

Л а м а х

Увы, беды хлебнет герой!

Д и к е о п о л ь

Ура, там будет пир горой!

Расходятся в противоположные стороны, за каждым из них
идет его раб.

Х о р

Вперед, вперед, герои, в наступленье!
Но как различен перед вами путь!
Один пирует до изнеможенья,
Другой под стрелы подставляет грудь.

Д и к е о п о л ь возвращается.
Его останавливает ф а б р и к а н т к о с.

Д и к е о п о л ь

Что, друг, случилось?

Ф а б р и к а н т к о с

Не сердитесь, ибо
Я просто вам хочу сказать спасибо.
Станки мои стояли много лет,
Для них, казалось, больше дела нет.
Давно, казалось, позабыли люди
Завод сельскохозяйственных орудий.
Никто за серп не дал бы ни гроша,
Не брала косы ни одна душа,
Никто не сеял, граблями не грабил
И каждый лишь чужую землю грабил.
Пахал усердно разве только крот,
А я, казалось, был уже банкрот.
Но мир пастал, окончились кошмары,
И снова в ход пошли мои товары.
Опять повсюду работает завод
И мне дает неслыханный доход.
Теперь вернулись• воины из боя
И нет от покупателей отбоя.
У каждого, кто повидал войну,
Я сорок драхм беру за борону.
Вот этот серп мы поднести вам рады
От мирных фабрикантов всей Эллады!
(Вручает Дикеополю маленький золотой серп.)

Д и к е о п о л ь

Благодарю!

Фабрикант кос уходит.

А это кто бежит?
Он страшен, он от ярости дрожит!

Торговец оружием
(входит с двумя своими братьями,
нагруженными различным оружием)

Я — поставщик оружия.
Собака! С каждым днем

Живу все хуже, хуже я,
И ты повинен в том.
О, сдох бы в раннем детстве ты,
Грабитель и злодей,
Не дал бы нам в наследство ты
Чудовищных идей!
Торгуя пулеметами,
Владели мы банкнотами,
Ворочали мы тыщами,
Теперь мы стали нищими,
Несчастливыми банкротами.

Дик е о поль

Мне жаль тебя, старик!

*(Берет у него один из шлемов
и внимательно его осматривает.)*

Какой султан!

Он распугал бы весь спартанский стан!
Такой султан отдать обидно даром!
Почем торгуешь ты таким товаром?
Его по сходной закуплю цене,—
Чтоб пыль сметать, годится он вполне.

Торговец оружием

А сколько дашь?

Дик е о поль

Ну, много не получишь.

Одну сухую фигу хочешь?

Торговец оружием

Кукиш!

Горгона разрази тебя совсем!

Дик е о поль

Но только мне в придачу нужен шлем.
Каким бы он по виду ни был страшным,
А пригодится нам в быту домашнем.
Есть польза и в страшилище таком:
Оно послужит мне ночным горшком.
Ну, как, отдашь?

Торговец оружием

Тебе отдать, паскуда?!

Нет, богохульник, шлем мой — не посуда.

Разъяренный, уходит вместе со своими спутниками.
Входит мальчик.

Дикееполь

Прелестный мальчуган! А ну, пострел,
Поди сюда! Что хочешь ты, проказник?

Мальчик

Учитель нам сказал, что завтра праздник,
И выучить красивый стих велел.

Дикееполь

Какой же это стих учить вам надо?
Есть у него название?

Мальчик

Илиада.

Дикееполь

А, сочиненье старика Гомера!
Прочти-ка две-три строчки для примера.

Мальчик

«Рати, одна на другую идущие, чуть
соступились...»

Дикееполь

Ты что сказал, подлец? Как будто «рать»?
Посмей мне только о войне орать!

Молчи уж, бога ради,

Об этой Илиаде!

Не слышал ты, что мир теперь в Элладе?

Мальчик

Гомер, Илиада, Песнь четвертая, стих
четыреста сорок шестой:
«Разом сразилися кони, сразилися копыя и силы

Воинов, медью одеянных, выпуклобляшные
Сшиблись щиты со щитами; гром раздался
разом
ужасный».

Д и к е о п о л ь

Опять сраженья, воины, щиты!
Меня выводись из терпенья ты.
Молчи, дружок, не то рыдать придется!
И горько сам расквешься потом,—
По заднице твоей ремень пройдет,
И грянет над тобой такой же гром,
Как в Илиаде. Кстати, где твой дом
И чей ты?

М а л ь ч и к

Ламаха.

Д и к е о п о л ь

Ну? Полководца?

Я чувствовал, что это так,
Подсказывал мне мой рассудок!
Отца достоин ты, ублюдок,—
В военном деле он мастак!
Вон, идиот, фанатик,
Военный психопатик!

Во внуки ты годишься мне,
А бредишь только о войне.
Эй, вон отсюда, плод союза
Поганца Ламаха с Медузой.
Крикун, карманный солдафон,
Бахвал, вояка, изверг — вон!

Мальчик уходит.

Ребята, пеются кувшины!
Вперед! На вас глядят Афины!
Праздник Вакха! Пышный пир!

Х о р

Праздник Вакха, пышный пир!
Впереди — всеобщий мир!

Д и к е о п о л ь

Ликуйте, жрите без конфуза
И туго набивайте пузо.
Смелее! Помните, что вы
Ничуть не хуже тех героев,
Которые, свой пыл утروив,
Бросались на врагов, как львы!
Глотайте, пейте, жуйте, пойте
На нивах жратвенной войны,
Пошире челюсти раскройте —
Они на это вам даны!

(Уходит.)

Х о р

(поет ему вслед)

Праздник Вакха, праздник песен,
Виночерпию — хвала!
Круг друзей не будет тесен,
Будет мирный пир чудесен,
Места хватит у стола!
Гей, друзья, скорей за дело,
Торопитесь, стол накрыт!
Удовлетворяйте смело
Свой здоровый аппетит!
Нынче праздник небывалый,
Дикеополь — молодец!
Голодали мы немало,
Но сегодня до отвала
Наедемся наконец!

(Уходит.)

Наступают сумерки.

С л у г а Л а м а х а

(елетает в растерянности)

Эй, челядь Ламаха! Эй, латники,
Оруженосцы и привратники!
Скорей, скорей, у нас беда!
Эй, пластырь, мазь, бинты сюда!
Ах, гибнет наше государство!
Какие в доме есть лекарства?

Несите все — касторку, бром...
Над нами разразился гром!
Рыдайте горькими слезами!
Наш полководец, наше знамя,
Наш величайший патриот,
Наш вождь и мощный наш оплот,
Главногокомандующий Ламах
Бесстрашно прыгнул через яму;
Неуязвимый на войне,
Он, — о, внемлите, люди, мне, —
Он, спасший от врагов державу,
Споткнулся и упал в канаву.
Он раздробил о камень кость,
Он оцарапался о гвоздь,
И, в довершение несчастья,
Распался щит его на части.
Горгона, соскочив с него,
Удрала — экое скотство!
Со плема золотая птица —
Орел успел в овраг скатиться,
Песнь лебединую он спел
И, дрыгнув лапой, окошел.
И вот любимец бранной славы,
Покрытый грязью из канавы,
С разбитым племом, без меча,
Устало ноги волоча,
Покинутый своей удачей,
Понурившись и чуть не плача,
С побоища побрел назад.
Увы, у Ламаха — не зад,
Сплошной синяк! О, горе, горе!
Он сам сюда прибудет вскоре.

Ламах

(жалобно стонет, пока его выносят на сцену)

Ой-ой-ой-ой! Пылает грудь!
Ой, не могу никак вздохнуть!
Ой, не могу ни сесть, ни встать я!
Смерть! Дьявол! Двадцать два проклятия!
Ах, Дикеополь, злющий враг,
Теперь меня увидит так!

Д и к е о п о л ь
(пьяный, вваливается, обнимая двух девочек)

Тра-ля-ля-ля! Тра-ля-ля-ля!
Живу не хуже короля!
Не знают блаженства ханжи и брюзги!
Как груди у вас круглы и туги!
Покрепче, девчонки, целуйте меня,
Чтоб губы горели жарче огня!

Л а м а х
О, черный день, о, день позора!
Каким стыдом душа горит!

Д и к е о п о л ь
А это что за дикий вид?
Как? Это Ламах? Вот умора!
Скажи, поверженный титан,
Куда же делся твой султан?
Горгононосец, ты не весел,
Ты нос воинственный повесил!

Л а м а х
Я горемыка!

Д и к е о п о л ь
Мне везет!
Л а м а х
Горит...

Д и к е о п о л ь
От поцелуев рот.

Л а м а х
О, как я бедами измучен!

Д и к е о п о л ь
Зато я с чашей неразлучен.

Л а м а х
Шатаюсь — меня доконала война.

Д и к е о п о л ь

Шатаюсь — я выпил бочонок вина.

Л а м а х

Все рушится в мире, все в мире разбилось!

Д и к е о п о л ь

Все в мире танцует, как будто напилось.

Л а м а х

О, как я страшно опустился!
Нет, мне теперь несдобровать.

Д и к е о п о л ь

О, как ужасно я напился!
Эй, девочки, пора в кровать!
(Хочет уйти.)

Врывается хор — все пьяны, в венках, потрясают факелами.

Х о р

Праздник Вакха, пышный пир!
Впереди — всеобщий мир.
Дикеополь победил в сражение,
Дайте рог ему в вознаграждение.
Дикеополь, Дикеополь молодец,
Так наденьте ж победителю венец!

Дикеополю вручают огромный увитый цветами рог.

Пусть наслаждается в мирном дому!
Рог ему царский и девок ему!
Он победил на войне и в вине,
И потому победитель вдвойне.
Он миротворец и царь забулдыг!
Пусть же гремит торжествующий клик
Всегда и везде:
Эвоэ! Эвой! Оэ!

*(Поднимают Дикеополя на руки и собираются нести
его в дом.)*

Д и к е о п о л ь

Друзья, пока мы не вступили в дом,
Давайте в честь Эйрены гимн споем!

Х о р

Эйрена, о владычица эфира,
Царица пира и богиня мира!
Эйрена, государыня земли!
Внемли, Эйрена милая, внемли!
Услышь, Эйрена, жаждущих покоя
И осени нас всех своей рукою!

Д и к е о п о л ь

Да будь, Эйрена, к эллинам добра!
Не будь лукава, словно та девица,
Которая с мужчинами хитра,
Их заманить и обмануть стремится.
Она в мужчинах зажигает пыл,
Прельщает их улыбкой лучезарной,
А подойдешь — и след ее простыл...
Нет, ты не будь кокетливо-коварной
И вероломно-лживой, как она!
В любви и дружбе людям будь верна,
Любимая богиня Тишина!

Х о р

О, будь верна, прекрасная богиня,
И к эллинам привязанность храни,
Перед тобой они склонились ныне
И стосковались по тебе они.
Избавь людей от ссор и вечной битвы,
Останови струящуюся кровь,
Внемли же нам, внемли словам молитвы,
И пусть на свете царствует любовь.
Пускай не льются в наши уши
Потоки гнусной клеветы,
Пусть ложь не разъедает души,
О дружбе сбудутся мечты.
Пусть язвы исцелит и раны
Твое дыхание навек,

Пусть не клянут друг друга страны,
И человека — человек.
Пусть нашу землю пахут плуги,
Пускай печется хлеб в печи,
Пускай заржавеют кольчуги
И смертоносные мечи.

*(Поднимают Дикеополя на плечи и торжественно
проносят его по сцене.)*

Ликуйте, пляшите и пойте во славу
Того, кто теперь победитель по праву!
Пускай насладится он терпким вином,
Упьется любовью, забудется сном.
Вздымайте же факелов яркое пламя
И дом миротворца украсьте цветами.
Он победитель сегодня вдвойне,
Он победил на войне и в вине.
Он миротворец и царь забудыг!
Пусть же гремит торжествующий клик
Всегда и везде:
Эвоэ! Тенелла! Оэ!

ТЫСЯЧА ДЕВЯТЬСОТ ВОСЕМНАДЦАТЫЙ ГОД

ДРАМАТИЧЕСКИЙ РОМАН

Перевод
И. Горкиной и Р. Розенталя

ОТ АВТОРА

Драматический роман. Ново здесь название, а не сущность. Драматические романы писали индийцы, драматическими романами были трагедии греков, если только правильно понимать их хоры и не вырывать отдельные драмы из их трилогической связи. Драматическим романом является каждая из шекспировских хроник, этих огромных полотен, раскрывающих картину мира. Драматическим романом является «Фауст». Перечень этот можно продолжить вплоть до нашего времени. Драматический роман — противоположный полюс драмы-эпизода, пьесы, которая ограничивается тем, что драматизирует эпизод и, исходя из эпизода, приоткрывает крохотную перспективу на какую-нибудь эпоху, идею, общий нравственный принцип, жизнь, мир.

Роман — это картина мира, не только отдельной судьбы. Это по меньшей мере — картина эпохи, фон, глубинные течения, освещенная с разных сторон окружающая среда, причины и цели, движимое и движущее. Драматический роман — это означает: никаких длительных остановок, никакой плавности в движении, никаких рассуждений; оценка автора, выраженная словами, а не образами, исключается. Дорога круто поднимается вверх по четко высеченным ступеням, сказанное слово является главным средством, а объективность — это все.

Драма — только вершина дерева, сотрясаемого бурей, быть может испуганная птица, поникшая, обес-

силешная. Роман — это все дерево целиком, вместе с почвой, питающей его, с лабиринтом корней, протянувшихся во все стороны, с муравьями, кишащими во мху, с соками, которые струятся в его сердцевине, с рубцами коры, с незаметной жизнью мертвых и цветущих ветвей. Драма — только острие пирамиды, синева над пей и, быть может, одинокий созерцатель на ее вершине. Роман — это вся пирамида, с мешанишками, которые по ней ползают, с шакалами, которые мочатся у ее подножья, с коршунами, которые реют над ней, с бескопечной желтой пустыней вокруг и с мертвыми царями, замураванными в ее чреве.

Драматический роман. Я дам лишь верхушку пирамиды, но вы непременно почувствуете, — об этом все время вам будут напоминать, — что внизу тяжелой громадой покоится ее основание, что вокруг простирается пустыня, что в синеве над нею реют коршуны, что под золотом и бальзамическими специями спят мертвые цари и что любопытные обыватели с бедекерами в руках карабкаются по ее ступеням. Драматический роман. Я не задерживаюсь сам и не задерживаю ваше внимание ни на пустыне, ни на коршунах, ни на царях, и лишь очень мало на любопытных обывателях. Но я их не отбрасываю. Они — здесь. Вы должны чувствовать их дыхание.

Мюнхен, июль 1919 г.

Книга первая

Мировая история — это извечная великая война: война веры с неверием.

Карлейль.

1

Комната Томаса. Ночь. На письменном столе
лампа.

Томас (двадцати четырех лет, темноволосый, худощавое, мрачное лицо; ходит взад и вперед, один). Если бы я был властен над этими образами! Вот — я вижу его, предводителя рабов: в его взгляде ожесточение и отчаяние, он висит на кресте, он хрипит, и замирающие уста его требуют: сотвори меня! Но почему — я? Почему именно я должен его сотворить? Неужели мне суждено довести до конца мой замысел? (*Подходит к столу и перечитывает написанное*).

Она превосходна, эта сцена.

«Жасмину нарвала я и темных цветов боярышника. Не боясь побоев, не страшась мучительно долгих часов у прялки, я проникла в сад. Лучшие цветы в саду собрала я и бросила их на дорогу, где он проходил. Но молодой господин прошел мимо и не заметил меня. Я надела мое самое нарядное платье и стала на дороге, по которой он шел. Но молодой господин прошел мимо и не подарил меня ни единым взглядом».

Но что толку в этой сцене, если она красива и ничего больше? Вправе ли я довольствоваться одной красотой? Нет, это дешево — проникать в цветущие виноградники и красть сочные гроздья. Слишком дешево. К оружию! Хватайте бомбы! Огнем и железом

взорвать их бронированный покой! Встряхнуть их жирную лень! Вгрызаться острым железом в их сытость, буравить, пока не высверлишь хоть крупицу скрытой в них человечности.

Но почему — я? Почему именно я? *(Берет книгу, читает про себя, потом вслух.)*

«...Почему именно мне суждено стать мучеником? Но если каждый так скажет и трусливо отступит, то когда же восстанет борец? Почему — я? Да потому, что я не хочу обманывать бога, оставляя под спудом силы, которые он даровал мне для великой цели...» *(Бросает книгу на стол.)*

Для великой цели. Ему было шестнадцать лет, когда он писал эти строки. Но он выразил самую суть. Для великой цели. Вот — главное. Вот то, что решает. *(Опять подходит к письменному столу.)*

Разве важно, что через сто лет каких-нибудь три эстета будут упиваться красотой этой сцены? Проснется ли от этого спящий? Насытится ли голодный? Прибавится ли в мире хоть на волос справедливости?

Мое искусство! Будь острым клинком, пронзающим сердца богатых. Будь, мое искусство, удушливым пожаром, сжигающим тупые чувства сытых. Будь, мое искусство, бичом и разящим железом, или не будь ничем.

«...Я надела мое самое нарядное платье и стала на дороге, по которой он шел. Но молодой господин прошел мимо и не подарил меня ни единым взглядом».

Нет, не время украшать чувства бутафорией и пестрым тряпьем. Эта сцена красива? Долой ее. *(Рвет написанное.)*

2

Отлогий берег реки. Скамья. Вечер.

Анна-Мари (18 лет, брюнетка, маленького роста, одна). Отсюда не видно его дома. Здесь я сяду и буду ждать, пока стемнеет. А потом я это сделаю.

Восемнадцать лет — это ведь так мало! Как медленно ползет эта маленькая гусеница. Она еще не

успеет переползти через дорогу, как меня уже не будет на свете. Восемнадцать лет. Можно прожить в четыре раза больше. Жизнь даже еще не началась. Почему все говорят, что... это — самое прекрасное в жизни. Но если после... этого все кажется таким... таким отвратительным? Чего же ждать от всего остального?

Может, сначала пойти и отомстить ему? Хорошо бы. Когда он увидит, что деться некуда, его толстая физиономия станет белой как мел, он весь затрясется... Тут уж ему будет не до шуток.

Нет. Явится полиция, начнется расследование. Все выйдет наружу, станет известно дома. Нет. Придется оставить его в покое.

Восемнадцать лет... Нет, только не реветь. Зверь мы все. Всё обман. «О, если бы они вечно зеленели». Вранье. Сначала горит все тело, заснуть не можешь. А потом — ничего, кроме омерзения и тоски.

Может быть, распустить волосы, прежде чем... Это я видела однажды в кино. Все ревели.

Не могу сидеть спокойно. Пойду еще раз на ту сторону. Когда колокольня исчезнет из виду, я это сделаю.

Восемнадцать лет. (*Уходит.*)

Томас и Кристоф входят. Кристоф — чуть постарше Томаса, белокурый, честный, заурядный.

Кристоф. Я верю тебе. Потому что я твой школьный товарищ и друг. И потому, что ты гений, а я почтовый чиновник. Но, в сущности, надо бы рассуждать трезво.

Томас (*настойчиво*). Неужели ты не видишь их? Ведь я нарисовал их тебе, как живых. Предводитель рабов стремится к освобождению попираемых, истерзанных братьев и уже почти достиг цели. Но глупость, равнодушие, нелепый случай предают его. И вот он висит на кресте, и перед ним расстилается дорога от Капуи до Рима, и вся эта пыльная, добела накаленная дорога уставлена крестами, на которых корчатся в предсмертных муках его братья.

Кристоф. Сколько, в сущности, можно заработать на такой пьесе?

Томас. Этого я не знаю.

Кристоф. Томас! Послушай! Нельзя же вечно работать наобум, без смысла, без практической цели, без денег. Почему ты не поищешь должности? В какой-нибудь редакции или что-нибудь в этом роде? А в свободное время...

Томас *(резко)*. Нет, так я не могу.

Кристоф *(смирненно)*. Я не хотел тебя обидеть, Томас. Я говорю только потому, что я тебе друг и верю в тебя. На что это ты так устался?

Томас. Лес, дорога, и небо над ними. Я вижу их, тех, кого хочу воссоздать. Вот они — предводитель рабов и римский военачальник.

Кристоф *(напряженно всматривается, потом огорченно)*. Я вижу только трубу электростанции и железнодорожный мост. Кстати, помнишь, я рассказывал тебе о Фрезенеке, из нашей конторы. Вчера, после работы, мы шли с ним домой. Вдруг видим — толпа. Оказалось, арестовали какую-то женщину: она до полусмерти избилась своего ребенка. А Фрезенек и говорит: неужели мать не имеет права даже на такое удовольствие, как отколотить своего ребенка, когда захочется?

Томас. И ты думаешь, что вот такого Фрезенека можно переделать?

Кристоф *(убежденно)*. Ты мог бы это сделать.

Томас. Ты твердо в это веришь?

Кристоф. Так же твердо, как в мою контору и в чернильное пятно на моем столе. Однако становится холодно. Может быть, подымемся в «Три ворона» и выпьем чего-нибудь горячего, а?

Томас. Я останусь здесь.

Кристоф. Хорошо. Если я тебя здесь не найду, увидимся дома. *(Уходит.)*

Томас *(один)*. Переделать такого Фрезенека, вселить в него другую душу. Ему кажется, что это так же просто, как подать нищему грош. Только потому, что я задался этой целью, он в нее верит. Конечно, свеча не померкнет, если о нее зажигать другие. Но где взять материал, способный воспламениться? Воспламенить воду? А он — верит в меня.

Что это там? Она, кажется, распускает волосы? Что она делает? О!.. *(Вскакивает и поспешно бежит.)*

Господин Шульц (*средних лет, толстый, лысый, одет безукоризненно; входит*). Прекрасный лес, а рядом — электростанция. Приятный вид: сочетание красот природы с дарами цивилизации. Наши современные художники, так много мнящие о себе, пожалуй нашли бы эту зарю безвкусной. Даже мою виллу они назвали бы, вероятно, безвкусицей, халтурой. Если хочешь в свое удовольствие предаться чувствам, не отказываясь от привычного комфорта, они тебе сразу же — безвкусица.

А я люблю безвкусицу. У меня хватает мужества любить ее. Иногда мне хочется пощекотать себе нервы, но не слишком их при этом утруждать. (*Садится.*)

Если верить поучительным историйкам, то мне полагалось бы теперь блуждать со взъерошенными волосами, точно за мной гонятся фурии со скоростью сто двадцать километров в час. Как она стояла передо мной, эта девчонка. Ни дать ни взять Геновева, или Гризельда, или еще какая-нибудь дама из хрестоматии для назидательного чтения.

Судьба, уважаемая фрейлейн, судьба. Знал бы я, что дело со мной так обстоит, я пальцем бы ее не тронул. Глупая индюшка. Почему она не взяла четыреста монет? Пошла бы к врачу, и через неделку-другую все было бы в порядке. Так нет. Непременно истерика. Непременно биться головой об стенку.

Неужели она выкинет какой-нибудь номер? Эти истерические девчонки из простонародья — находка для кинорежиссеров и ниспровергателей.

Что там происходит? Теперь же не время для купанья, господа. Ах, вот как. Неприятное зрелище. Здесь даже земельные участки стали падать в цене из-за этих вечных самоубийств.

Ну, что ж, всякому свое. Я — испаряюсь. (*Уходит.*)

То м а с (*входит, почти неся на руках Анну-Мари*). Так. Здесь я минутку передохну. Потом отведу вас к себе. Это недалеко.

А н н а - М а р и. Оставьте меня! Я не кричала. Почему вы мне помешали?

То м а с. Вы дрожите всем телом. Вы можете простудиться насмерть, если сейчас же не окажетесь в тепле.

Анна-Мари. Я не кричала. Что вам от меня нужно? Я вас не звала. Теперь все было бы уже кончено.

Томас. Вы видите эту Красную виллу? Я отведу вас туда.

Анна-Мари. Нет, нет. Только не туда. Ради всего святого — не туда.

Томас. Тогда ко мне.

Кристоф (*возвращается*). Что случилось?

Томас. Я вытащил ее из реки. Помогите мне отвести ее. Отведем ее ко мне.

Кристоф. Только что я встретил господина Шульца. Почему он не вытащил ее из реки? Всегда с тобой должно что-нибудь случиться. Ни на минуту нельзя тебя оставить одного.

Томас. Идемте, фрейлейн.

3

Комната Томаса. Утро. Поднос с завтраком на столе.

Томас. Кристоф.

Томас (*приподымает занавеску, отделяющую альков*). Как она хороша!

Кристоф. Я думаю, она машинистка.

Томас. Страдание одухотворило ее лицо.

Кристоф. Какая-нибудь сентиментальная любовная история. Кино.

Томас (*с горячностью*). Кино. Если что-нибудь вас так проймет, что вам становится не по себе, вы говорите: кино.

Кристоф. А ты, конечно, попадаешься на всякую удочку.

Томас. Тише. Она шевелится. Фрейлейн!

Анна-Мари. Что? Кто вы?

Томас. Возле вас висит халат. Наденьте. Здесь горячий чай для вас.

Анна-Мари (*выходит из алькова*). Вы очень добры ко мне.

Томас (*смушенно*). Какие пустяки.

Кристоф. Я — служащий почтовой конторы, фрейлейн. А вы — машинистка?

Анна-Мари. Я помогаю матери в нашем магазине.

Кристоф. В каком?

Томас (*стараясь переменить разговор*). Пейте, прошу вас, чай.

Анна-Мари. Вы очень добры ко мне.

Кристоф (*недовольно*). Вы твердите все время одно и то же.

Томас. Да оставь же ее.

Кристоф. Я ведь ничего неприятного не говорю ей. Почему, собственно, вы бросились в воду, фрейлейн?

Анна-Мари. Я... я...

Томас. Вы можете не отвечать.

Кристоф. Почему ей не ответить? Зачем эти церемонии? Надо рассуждать трезво. Ведь мы желаем ой добра.

Анна-Мари. Я... не... могу.

Кристоф. Ну, нет — так нет. Мне пора на службу. Поправляйтесь. А если хотите выслушать совет разумного человека, бросьте ненужные церемонии и давайте прямой ответ на прямой вопрос. А тем, что говорит мой друг, не руководствуйтесь. Все это очень красиво, но годится только для больших праздников. Он, видите ли, гений. (*Томасу.*) До вечера. (*Уходит.*)

Томас. Кристоф, в сущности, добрый малый.

Анна-Мари. Да. Но я не могла говорить. С вами могу. (*У окна.*) Здесь очень хорошо.

Томас (*указывая на скудно обставленную комнату*). Но голо. Вот сверху, из Красной виллы — оттуда красивый вид. Напрасно вы не захотели пойти к господину Шульцу. Там у него не так неуютно. Повар, садовник, камердинер. Часто, когда я сижу ночью за работой, фары его автомобиля нахально заглядывают в мою комнату. А когда у господина Шульца бал, даже сюда доносится музыка.

Анна-Мари. Да, его автомобиль. Красный, лакированный, внутри светло-серая кожа.

Томас. Вы его знаете?

Анна - Мари. Да, потому-то...

Томас. Потому-то?

Анна - Мари. Я вчера хотела это сделать. Да... Он заговорил со мной, когда я стояла перед витриной художественного магазина Гелауера. На нем были чудесные желтые перчатки с отворотами, желтые гамашы. В руках большая трость с набалдашником из слоновой кости. Мы пошли с ним в парк. А потом в ресторан. В какой-то аристократический ресторан. Откуда-то, словно издали, доносилась музыка, и мы пили шампанское. Оно щекотало язык. Второй раз он заехал за мной на машине. Мы поехали далеко в горы. На обратном пути машина как-то неожиданно очутилась перед Красной виллой. Я не хотела войти. Но уже не могла отвертеться.

В зале, где мы ужинали, было много свечей, все очень торжественно. Потом он надел фиолетовый халат. Он был весел, завел граммофон. Вдруг он замолчал, лицо налилось кровью. Я испугалась: все это было так отвратительно. И его руки — бесстыжие руки. О, до чего все было гадко.

Томас. А дальше? Позднее?

Анна - Мари. Дальше? Через неделю... пришлось... пойти к врачу. Стыдно было, невыносимо стыдно! Врач сказал, что у меня... дурная болезнь. Тогда я пошла в Красную виллу. Он пожал плечами и сказал, что очень сожалеет, что он этого не хотел, что при этом всегда рискуешь, но через несколько месяцев все пройдет. И он хотел дать мне денег. Домой я вернуться не могла. Мне было стыдно перед матерью. Работать много мне нельзя, сказал доктор. И я сама себе опротивела. Все во мне вызывало отвращение к себе. И я никому ничего не могла сказать, я была одна в целом мире.

Томас (*встает, берет шляпу и пальто*). Я иду к нему.

Анна - Мари. Нет, нет, не надо.

Томас. Через час я вернусь. Побудьте здесь.

Анна-Мари подходит и целует у него руку.

Не надо. Как могло прийти вам в голову? (*Уходит.*)

На Красной вилле.

Господин Шульц (*сидит за завтраком и читает газету*). Отстроено еще двести пятьдесят километров Восточной дороги. Недурно. В Калабрии и Сицилии — вот где следовало бы строить дороги. Прекрасный ландшафт. Историческими достопримечательностями прямо хоть пруд пруди. Но что толку от них без железных дорог, отелей, лифтов, ватерклозетов. Миллиарды можно бы там загреть.

Шахнер играет Марию Стюарт. Прекрасно сложена девчонка, премилая родинка на левой ягодице. Но достаточно ли этого для Марии Стюарт?

Акции металлургического завода «Софиенхютте» не поднимаются. Почему, дьявол их поberi? Балансы лишены всякого полета фантазии. Всыплю же я директору!

Слуга. Какой-то молодой человек. Никак нельзя выпроводить.

Томас (*следом за ним*). Мое имя — Томас Вендт.

Господин Шульц. А, молодой человек... Вы живете там внизу, в домике через дорогу? Писатель? Поэт, так сказать?

Томас. Да, тот самый.

Господин Шульц. Теперь понятно, почему вы выбрали такой необычный час для посещения. Чашку чая?

Томас. Благодарю, не надо.

Господин Шульц. Но мне уж вы разрешите кончить завтрак. Завтрак — лучший час дня. Созерцание, самоуглубление. Так сказать, богослужение. Стало быть, поэт? Я тоже пробовал силы. Выходило не так уж плохо. Но когда началась вся эта модная канитель: «Ода машине!», «Гимн шуму большого города» и т. д., — мне надоело. Этого у меня и так хватает за день. В конце концов поэзия — это нечто для сердца: просветление, идеал. Лазурь и золото. Или нет? Вы иного мнения?

Да выпейте же стакачик мадеры. Неуютно себя чувствуешь, когда вы стоите так. Точно монумент.

Томас. Я вчера вытащил из реки человека, господин Шульц.

Господин Шульц. Прекрасный поступок. Вы получите медаль за спасение утопающих. «Это — высшее отличие, которое я могу дать», — сказал как-то его величество.

Томас. Это была девушка, ее имя Анна-Мари. Она бросилась в воду потому, что вы спали с ней.

Господин Шульц (*чашка в его руках зазвела о блюде*). Где она?

Томас. Она у меня.

Господин Шульц. Жива?

Томас. Жива.

Господин Шульц. Ну что ж. Значит, все в порядке. (*Продолжает завтракать.*)

Томас. В порядке?

Господин Шульц. Теперь малютка образумится. Возьмет деньги. Я предлагал. Тотчас же. Добровольно. Я не людоед. Четыреста марок. Вполне приличная сумма, на мой взгляд. Две новых сотенных и две старых.

Томас. Деньги предлагаете? Девушка доверчиво приходит к вам, вы наделяете ее черт знает чем и предлагаете денег? Эх, вы. Последняя капля человечности заглохла в вас под толстым слоем жира и сытости.

Господин Шульц. Вы полагаете, что эти четыреста марок следовало предложить ей в конверте?

Томас. Ей надо было предложить нечто иное, сударь, нечто большее, чем деньги. Каплю человечности.

Господин Шульц. Вы говорите о человечности? Красивое слово для юбилейных речей, для партийных программ, для разговоров за чайным столом или для сцены. Но в практической жизни — ломаного гроша не стоит. Может ли девчонка уплатить врачу и аптекарю вашей человечностью?

Томас. Но в воду она бросилась именно потому, что вы не могли ей дать ничего, кроме денег.

Господин Шульц. Четыреста марок — это нечто реальное. С ними открыта дорога во всем мире, от

Капштадта до Гельсингфорса и от Парижа до Иокотамы. За четыреста марок можно найти что пожрать и в пустыне Гоби. А с человечностью можно подохнуть с голоду на углу Унтер-ден-Линден и Фридрихштрассе.

Я вношу предложение, молодой человек: от меня она получит четыреста марок, от вас — порцию человечности.

Стаканчик мадеры? Не желаете?

Томас. Богач, вы самый нищий из всех, кого я знаю.

5

Комната Томаса.

Томас (*один; перед ним рукопись*). Готово. Какое бремя свалилось с плеч. Теперь — в путь, мое творенье. Буди! Разрушай! Действуй!

Был ли я честен до конца? Творил ли я ради красоты? Или успеха? Или ради себя? Нет, я был честен и строг. Я подавил в себе все, что мило сердцу. Я написал не то, что хотел, а что повелевал мне внутренний голос. Да, это хорошо.

Анна-Мари (*быстро входит*). Я была в бассейне. Плавала. Чудесно было. Я так довольна. А аппетит у меня! (*Накрывает на стол, кипятит чай; вдруг весело рассмеялась*.) Знаешь, эта старая галицийская еврейка Маркевич тоже была в бассейне. Помнишь ее? На последнем собрании? Вот потеха. Что у нее за ноги. Волосатые, косматые. Право, ей бы следовало завивать эту шерсть у парикмахера.

Томас. Нехорошо смеяться над ней, Анна-Мари. Она всю свою жизнь отдала делу. Молодость, состояние — все. Семь лет просидела в тюрьме. Нехорошо смеяться над ней.

Анна-Мари (*с виноватым видом*). Не буду. Знаешь, я уговорилась с Эльзой посмотреть сегодня вечером новую танцовщицу в «Эспланаде».

Томас. А на собрание ты не пойдешь со мной?

Анна-Мари. О, я и забыла. Ты ведь собирался выступить сегодня. В первый раз. Если бы только эти

люди не были так уродливы, угрюмы, грязны. И этот табачный смрад. Завтра у меня весь день голова будет болеть. Чай сейчас поспеет. Садись к столу. Ты сегодня опять много работал? Как твоя пьеса?

Томас. Готова.

Анна-Мари (*ликуя*). Готова! И ты — молчишь! (*Бросается к нему на шею.*) Томас, почему ты мне сразу не сказал? Я побегу к Кристофу. Мы разопьем бутылку вина. Ведь это надо отпраздновать.

Томас. Нет, Анна-Мари. Не так.

Анна-Мари. Прости. Я глупая. Я ведь знаю. Поверь, ты не напрасно меня учишь уму-разуму. Я понимаю тебя, Томас, хоть иногда и прорывается старое. Я пойду сегодня на собрание. Конечно, пойду. А для Маркевич куплю яблок, она их очень любит. (*С бурным раскаянием.*) Верь мне! Я хочу стать другой, хочу помогать людям. Верь мне, Томас, если даже мне случится сказать или сделать какую-нибудь глупость.

Томас (*с прояснившимся лицом*). Благодарю тебя, Анна-Мари.

6

Задняя компата в кабачке. Собрание революционеров.

Чахоточный парикмахер. Буржуа каждый день бреется, и всегда подавай ему чистое полотенце. Рабочий может бриться только по субботам. Это справедливо?

Добродушный (*толстый, кроткий, флегматичный человек*). Бомбы надо бросать.

Еврейка из Галиции. Идея должна призвать на помощь динамит. Об этом можно пожалеть, но факт остается фактом: другого средства нет. В мире царит насилие. Еще немного насилия — и воцарится идея.

Кристоф. Надо рассуждать трезво. Все, что здесь говорилось, хорошо и правильно. Но слишком общо и не ведет к конкретному решению.

Анна-Мари. Мне страшно, Томас. Ты такой тихий и добрый. Что общего у тебя с этими людьми? Здесь все какие-то неистовые, кровожадные.

Конрад (*высокий, рыжебородый, с тяжелым черепом, рассудочный*). Не будем уклоняться, товарищи. Вопрос стоит так: голосовать ли на выборах за социал-демократов, выдвинуть ли собственного кандидата или вовсе воздержаться от участия в выборах?

Томас. Братья! Один буржуа совершил преступление, и я пошел к нему и говорил с ним. А он сидел передо мной жирный, сытый, и ничто в нем не шевельнулось, и не было у него других слов, кроме слов о деньгах. Братья! Мир погряз в лени и равнодушии.

Чахоточный парикмахер. Почему рабочий может себе позволить бриться только по субботам? Это справедливо?

Добродушный (*кротко*). Бомбы надо бросать.

Конрад (*деловым тоном*). Главное — за кого голосовать.

Томас. Вы спрашиваете, за кого голосовать. Мир не стал лучше от болтовни в парламентах. В мире не прибавится ни доброты, ни разума оттого, что депутатские оклады получают не восемьдесят, а сто социал-демократов. Братья! Люди отравлены, люди насквозь прогнили. Два тысячелетия мечтатели проповедовали любовь, учили состраданию и смирению. Поймите: любовь обанкротилась. И от Христова учения осталась лишь одна мысль, годная для современности: я несу меч!

Слова больше не доходят до этих людей, ибо душа их обросла жиром и ленью. Словами не распатать железные решетки, за которыми спрятана последняя капля их человечности. Ни горы убитых, растерзанных в клочья во имя того, чтобы эти люди купались в роскоши, ни калеки, превращенные в полуживотных по милости их корыстолюбия, — ничто не откроет им глаза: они слепы ко всему. Это — раскормленные, холеные господа. Они забаррикадировали свою совесть благотворительными учреждениями и социальными законами.

К ним не проникает ни один вопль, ни один луч света. Здесь поможет лишь железная метла. Братья, мы должны стать этой железной метлой.

Движение одобрения.

Революция, братья! Мы загремим у них над ухом тяжелыми снарядами. Мы будем щекотать их штыками до тех пор, пока они не наскребут горсточку человечности из всех углов своего разжиревшего существа. Выборы? К черту! Революция, братья!

Многие. Вы — наши уста! Вы — наш голос!

Конрад (*деловым тоном*). Итак, большинство за то, чтобы воздержаться от выборов.

Томас. И если бы даже я сгорел, как факел, сжигаемый с обоих концов, — не надо жалеть. Мы — лишь искры. Но от них загорится дорога, по которой мы идем.

Многие. Томас Вендт. Наш вождь. Наш голос. Томас Вендт.

Добродушный (*спокойно, кротко*). Я всегда говорил: надо бросать бомбы.

7

Небольшой зимний сад на вилле Георга Гейпзиуса. Георг и Беттина. Георг — тридцати пяти лет, сумрачный, элегантный. Беттина — его жена, 26 лет, высокая, белокурая, красивая.

Георг. Первый теплый день. Я велел запрягать. Поедем в Гейнихендорф?

Беттина. Томас Вендт обещал зайти.

Георг. Кто?

Беттина. Молодой человек, которого я недавно встретила у директора театра.

Георг. Моя Беттина опять откопала гения.

Беттина. Если бы ты его видел, ты бы не смеялся.

Георг. Прости. Социализм — очень распространенная и дешевая мода. Поневоле становишься скептиком.

Беттина. Не думаю, чтобы для Томаса Вендта социализм был чем-то случайным. Томасом Вендтом руководит какой-то внутренний закон.

Георг. Он повинуется закону смены времен. Культ личности сменяется культом массы, как лето

зимою. После Цезаря пришел Христос, после Борджиа — Лютер, после Ницше — социализм. Огонь, которым Томас Вендт горит, — не случайность. Случайность — то, кого этот огонь пожрет.

Беттина. В нем нет противоречий, он весь из одного куска.

Георг. Как тепло звучит твой голос. Достаточно тебе заговорить — и ты уже права.

Беттина (*улыбаясь*). Неужели я кажусь тебе настолько глупой, что со мной и спорить нечего? Вместо доводов ты говоришь мне комплименты. Разве не следовало его приглашать?

Георг. Конечно, следовало. В том-то и беда, что я заинтересовался им. Твой рассказ возбудил во мне живейшее любопытство. Таковы уж мы. Рубят дерево, на котором мы сидим, а мы восхищаемся топором.

Слуга (*докладывает*). Господин Томас Вендт. (*Вводит его.*)

Беттина. Сердечно рада вам. (*Представляет.*) Мой муж.

Георг. Говорят, вы написали хорошую пьесу.

Томас. Хороша ли она, не знаю. Да это и безразлично. Я написал ее во имя нашего дела.

Георг. Какого дела?

Томас. Мы с вами противники. Нам с вами бессмысленно толковать об этом. У вас фабрика, рабочие, рабы. (*Беттине.*) Надеюсь, вы меня понимаете? Вы понимаете, что искусство — ничто, если оно не преобразует людей.

Беттина. Вы несправедливы к Георгу. Каждое произведение искусства преобразует его.

Томас. Я не верю в это преобразование.

Георг. Вы — художник, господин Томас Вендт. Неужели это назойливое выпячивание социальной темы не бывает порой в тягость вам самому. Вы мечтаете о благе народа? Прекрасно. Но надо ли непременно щеголять своей человечностью? Ведь в конце концов человечность — дело частное, надо ли кричать о ней?

Томас. О, этот ваш проклятый такт! Народ должен прятать свою нищету; он должен подыхать в темноте, таясь, чтобы его раны, его гной не оскорбляли

ваше эстетическое чувство; чтобы его вопли не помешали вам пить чай.

Георг. Тридцать лет тому назад открыли личность. Теперь раскрывают объятия массам. Теперь обнаружили, что мир полон страданий, и уже не видят голубого неба.

Томас. За вашим парком дымят ваши заводы. Там нет голубого неба, нет весны.

Беттина. Это не так, господин Вендт. Вы только не хотите, вы отказываетесь видеть весну. Бываете вы когда-нибудь веселы? Смеетесь вы когда-нибудь?

Томас. Мир полон несправедливости. Она лезет вперед, она нагло шагает среди бела дня и никого не стыдится. Она везде. Как ни закрывать глаза, как ни затыкать уши — от нее все равно не скроешься. Она словно пеленой тумана застилает синее небо. Как же верить в весну, как смеяться?

Беттина. Вы достаточно одаренны, чтобы видеть страдание и все же верить в весну. Научитесь смеяться, Томас Вендт.

8

Комната Томаса. Ночь. Анна-Мари и Кристоф входят. Анна-Мари зажигает свет.

Кристоф. Кто бы мог подумать? Это превосходит все ожидания.

Анна-Мари. Как они ликовали. Незнакомые дамы вскакивали на кресла, кричали, махали платками.

Кристоф. Директор вспотел от счастья. Теперь Томас будет зарабатывать массу денег.

Томас входит, окруженный роем молодых людей: тут — студенты, молодые девушки, репортер, молодой преподаватель литературы.

Голоса. Вы — наша гордость. Вы — наш поэт. Вы — поэт завтрашнего дня.

Молодой преподаватель. Сегодня начинается новая глава истории германской литературы. Она называется «Томас Вендт». Стриндберговская одер-

жимость идей, шиллеровская риторика, гуманизм Герхардта Гауптмана — все это живет в произведении Томаса Вендта. Дайте мне все, что вы написали, незаконченные вещи, все. Я проведу семинар, где вас будут изучать, я организую постановку ваших произведений на сцене, чтение их с эстрады, я добьюсь того, чтобы о вас и вашем произведении написали горы статей, брошюр: критика, антикритика. Мои студенты займутся психоанализом каждой вашей строчки — всего, что вы написали, будь то даже ответ на записку кредитора.

Голоса. Томас Вендт — наша гордость. Томас Вендт — наш поэт.

Репортер. Я должен взять у вас интервью для «Нее Винар Цейтунг». Когда родились? Забавные анекдоты из школьного периода? Собак любите? Кошек? Какое-нибудь редкое животное? Хамелеона или что-нибудь в этом роде? Читателю это нравится. (*Обходит его кругом.*) Угловат, несколько груб. Молчалив, мрачен. Так. К сожалению, ничего особенного в костюме. Не занимаетесь ли каким-нибудь оригинальным спортом? Может быть, разводите рододендроны или что-нибудь в этом роде? Ваше мнение о Будде? Что вы скажете о новом чемпионе по теннису? Автомобильная езда не содействует вашему поэтическому вдохновению?

Один из студентов. Какой пламенный язык. Какое дыхание. Видишь новый мир.

Голоса. Томас Вендт — наш. Это наш поэт.

Томас стоит неподвижно.

Кристоф. Благодарю вас. Благодарю вас сердечно от имени моего друга. Вы видите, он еще не пришел в себя от множества впечатлений. Извините уж его сегодня.

Хор голосов. Томас Вендт — наша гордость. Томас Вендт — наш поэт. Да здравствует Томас Вендт. (*Уходят.*)

Томас стоит неподвижно.

Анна-Мари. Томас, какой успех. И деньги у нас теперь будут. Как хорошо, Томас. Скажи же хоть слово.

Томас. Я хотел сделать людей зрячими, я хотел преобразить мир. (*Тихо, с озлоблением.*) Вместо этого — у меня «успех».

Анна-Мари. Я тебя не понимаю.

Кристоф. Надо быть справедливым, Томас. Большого ведь и ждать нельзя было.

Томас (*горько*). Нет, большего, конечно, я не мог ждать.

9

Отдельный кабинет в очень дорогом ресторане. Георг во фраке. Беттина в вечернем туалете.

Беттина. Сегодня этот спектакль производит такое же сильное впечатление, как в первый раз.

Георг. А я сегодня как-то особенно болезненно ощущал тенденциозность пьесы. Сам Томас, право же, не придает теперь этой тенденции прежнего значения.

Беттина. Ты всеми силами стараешься отнять все лучшее, что у него есть, Георг.

Георг. Неужели это лучшее, что у него есть?

Беттина. У него есть все то, чего ты лишен.

Георг (*улыбается*). Это верно. У него молодость и не тронутая критикой любовь к массам. А я стар и скептичен, как черепаха.

Беттина (*умоляюще*). Георг!

Томас (*входит, во фраке*). Меня сильно задержали. Прошу извинить.

Беттина. Какой успех, Томас! На сотом представлении такой же, как и на первом.

Георг. Меня радует, что вы снова включили эту прелестную сцену, которую выкинули в премьере.

Томас. Это — измена.

Беттина. Измена?

Томас. Измена моему делу. Какое отношение имеет эта любовная сцена к борьбе духа с грубой силой? Что общего у нее с моей целью?

Беттина. Но это — искусство.

Томас (*устало*). Незачем спорить. Вы меня сломали. Как противен был мне вначале мой успех. И эти

люди, эти эстеты! Зрелище силы тех, кого они боятся, приятно возбуждает их похоть. Они щекочут себе нервы призраком опасности, от которой лишились бы чувств, стань она действительностью. А теперь? Успех мне нужен, я упиваюсь им. Я привык к его яду. Я привык к вам.

Георг. А где Анна-Мари?

Томас. Она устала, капризничает. Послезавтра собирается в Ниццу, и нужно кое-что подготовить к отъезду.

Георг (*с легкой иронией*). Она тоже привыкла к успеху.

Томас. Да. Она была на верном пути. Теперь она ускользает от меня.

Беттина. Не судите поспешно, Томас.

Томас. Успех. Какая чепуха. Задумал изменить мир. Я. Изменило мир изобретение пороха, железной дороги, воздухоплавания. А что значу я со своими несколькими лоскутками полотна и горсткой загримированных молодых? Я, право, получаю по заслугам. Вместо того чтобы таять от звуков Лорелей в исполнении певческого квартета, обыватель у меня черпает смазочное масло для своего сердца. Моя физиономия ухмыляется со страниц журналов для семейного чтения. Пламенем и сталью хотел я быть, а чего я достиг? Сытый обыватель за недорогую цену массирует свою совесть.

Почему вы не смеетесь, Георг? Люди вашего круга ведь сильнее меня.

Господин Шулльц (*входит*). Прошу извинить за неожиданное вторжение, сударыня. (*Целует руку Беттине.*) Услышав, что господин Вендт здесь у вас, я не хотел упустить случая принести мои поздравления по поводу его грандиозного успеха. Превосходная вещь, честное слово! Когда в последнем действии эти парни висят распятые на кресте... Да, замечательно. Вообще-то я не охотник до серьезных драм. Я больше за оперетку. Но эти вот распятые — это, скажу вам, нечто сказочное, клянусь честью.

Георг наполняет для него бокал.

Господин Шульц (*пьет*). Ваше здоровье, господин Вендт. За вторую сотню представлений вашей пьесы. Кстати, кругленькую сумму приносит пьеска, а? Знаете ли вы, что я положительно горд нашим соседством. Я вижу уже, как у ворот вашего домика прибывают доску: «Здесь творил Томас Вендт» — и так далее. Не премину и свою лепту внести на такое дело. А потом перед вашей мемориальной доской — англичане со своими бедекерами. Ужасно интересно. Помните ваш неожиданный ранний визит ко мне? Как вы тогда в частном порядке прочитали мне лекцию о морали? Испортили мне тогда отличный завтрак. Впрочем, впоследствии вы, наверно, были благодарны мне, а? Малютка расцвела в прелестную бабенку. Да, старый бог жив еще, и добро, которое делаешь людям, приносит проценты. Не буду вас больше обременять своим присутствием, господа. Еще раз — мои искренние поздравления. (*Уходит.*)

Георг. Вы все еще думаете, что это стоит труда — стараться переделать человека?

Томас. Вы богаты. У вас доменные печи, заводы. У вас тысячи рабочих. Вы владеете людьми, в ваших руках власть. Я не доверяю вам.

Георг. Не прячьтесь за возражениями; они для вас слишком мелки. Сегодня, сейчас, вы так же хорошо, как и я, чувствуете, что лучше месяц жизни посвятить искусству, чем целую жизнь политике. Жизнь, наполненная лозунгами и пламенными речами, жизнь, когда постоянно снисходишь к другим и нарочито припнижаешь себя самого, когда вечно общаешься с плохо пахнущими телами и непроветренными душами, — чего можете вы достичь таким образом? Массе свойственна косность. Если ее растормошить, она, может быть, и проснется, может быть, вы и переделаете ее. Но только на час. Через час она снова будет храпеть, и, когда люди разойдутся по домам, господин Губер снова станет господином Губером, а господин Мюллер — господином Мюллером. Я не верю в человека. Я изучил историю человечества за пять тысяч лет и научился не верить в человека.

Томас. Как можно жить, если не веришь в человека?

Георг. Я верю в закон, лишенный всякой сентиментальности: люди пожирают друг друга и на тысячу звероподобных существ с человеческими лицами приходится один человек.

Откажитесь от деяний, Томас Вендт. Деяния забываются. Деяния толкуются превратно, а результаты их обращаются в собственную противоположность. Единственное, что вечно, — это творчество.

Томас. Вы согласны с ним, Беттина?

Георг. Действие — это часть целого, знание — это часть целого, и единственно, что цельно, — это искусство. И вы, вы, рожденный для искусства, хотите оставить эту сферу ради политики?

Томас. Вы никогда не знали лишений. Ваша философия — философия сытости.

Георг. Сытость мыслит логичнее, чем голод.

Томас (*настойчиво*). Вы согласны с ним, Беттина?

Беттина. Вы поедете с нами в деревню, Томас. И там, на покое, напишете новую драму, не думая ни о каких социальных теориях, думая только о своих стихах и образах.

Кристоф и Конрад входят.

Томас. Вы? Вы здесь?

Кристоф. Мы писали тебе. Ты, видно, не получил наших писем?

Томас. Не знаю. В последнее время я так много писем не распечатывал.

Конрад. Дело срочное. Поэтому нам ничего другого не осталось, как повидать вас.

Георг. Кто эти господа?

Томас. Мои друзья. Они занимаются политикой.

Кристоф. Мы не беспокоили бы тебя, не будь наше дело так срочно. Мы давно тебя не видели, Томас. Без тебя наши собрания точно без души.

Конрад. То, что вы написали для театра, может быть, и прекрасно, но вряд ли принесло какую-нибудь пользу. Богатые смотрят спектакль, а потом возвращаются домой как ни в чем не бывало.

Кристоф. То, что ты нам говорил, было частью твоей жизни. Не могло же все вдруг стать для тебя второстепенным, незначительным.

Томас (*с измученным видом*). Что случилось? Чего вы хотите?

Конрад. Я бы предпочел разговаривать о нашем деле где-нибудь в другом месте, не в присутствии этих господ. Этот ресторан и то, что мы должны сказать вам, как-то не вяжутся.

Кристоф. Не сердись на Конрада за резкость. Мы три дня ищем тебя.

Томас. Эти господа — мои друзья. У меня нет тайн от них. Говорите.

Конрад. Нам предложили крупную сумму на организацию газеты при условии, что мы найдем подходящего кандидата на пост редактора. Кроме вас, у нас никого нет.

Томас. А если мы этих денег не возьмем?

Конрад. Они разойдутся по мелочам, на всякие благотворительные дела, ими воспользуются трусливые мещане и соглашатели.

Томас. И я должен...

Конрад. Вы должны говорить сотням тысяч то, что вы говорили трем или четверем сотням людей. Ежедневно.

Беттина. Вы собирались покинуть город. Вы уже почти обещали поехать с нами в деревню. Вы хотели сосредоточиться, писать.

Конрад. Вы не имеете права жить для себя. Вы не имеете права творить для нескольких чувствительных душ. Вы, Томас Вендт, принадлежите нам.

Кристоф. То, что ты делаешь, не может быть неправильно, Томас. Но сказать тебе мы были обязаны. Не правда ли?

Конрад. Если мы упустим этот случай, то останемся разрозненными одиночками, утопистами, дураками. Все в ваших руках. Вы должны сделать выбор, Томас Вендт: жить для человечества или для искусства.

Беттина. Вы собирались завтра ехать с нами, Томас.

Томас. Нет, завтра я не уеду. Я вообще, вероятно, не смогу приехать. Я должен остаться здесь.

Беттина. Томас!

Георг. Вы в самом деле хотите?..

Томас. Вы желали мне добра, Беттина. И вы, Георг. Но мне не по пути с вами. Примите мою благодарность, друзья мои, и будьте счастливы. Мой путь *(указывает на Конрада и Кристофа)* — с ними.

10

Редакция. Томас. Кристоф. Конрад.

Томас *(в руках газета; возбужденно)*. Кто это писал?

Кристоф. Что ты предпримешь?

Томас. Я спрашиваю, кто это писал?

Конрад. Не все ли равно, кто писал, раз это уже напечатано.

Томас *(стучит кулаком по столу)*. Кто писал эти гнусности, желаю я знать.

Кристоф *(пожимая плечами)*. Веннингер.

Томас. Ну, разумеется, Веннингер. *(Звонит курьеру.)* Попросите господина Веннингера.

Конрад. Раньше всего успокойтесь. Учтите его мотивы. Выслушайте его спокойно.

Кристоф. Надо трезво рассуждать. Если ты примешь во внимание...

Томас. Я ничего не желаю принимать во внимание. Я его выпвырну вон.

Веннингер входит. Тщедушный человек, 35 лет, в пенсне; нерешителем.

(Кричит на него). Статью о Георге Гейнзиусе вы писали?

Веннингер *(нерешительно)*. В известной степени.

Томас. Что это значит — в известной степени? Вы писали или не вы?

Веннингер. Стиль, во всяком случае, обрабатывал я.

Томас. Как вам не стыдно? Такой человек, как Георг Гейнзиус! Вы не хуже моего знаете, насколько он лично заслуживает всяческого уважения. И против него вы затеываете такую мерзость. Вы пользуетесь болтовней уволенного портъе, помоями, взятыми с черной лестницы. Вы мараєте этим мою газету. Вы обдаєте грязью Беттину Гейнзиус, которая даже не поймет ваших пошлых инсинуаций.

Веннингер. Георг Гейнзиус — представитель системы, для борьбы с которой основана наша газета. Вы знаете, какие безобразия творятся на его заводах. Вы знаете, с какой радостью мы приветствовали бы забастовку на его предприятиях, как мы подчеркиваем малейшую его несправедливость, как разжигаем возмущение. Я не могу провести черту между предприятиями и предпринимателем. Целясь в Гейнзиуса, мы попадаем в его заводы. Всякий смыслящий в политике человек одобрит мою статью.

Томас. Я уж не раз говорил вам: пишите против системы заработной платы на заводах Гейнзиуса, против действий его директоров, против его мировоззрения, призывайте к стачке, саботажу — сколько угодно. Но ни словом не задевайте Гейнзиуса-человека. Я не борюсь такими средствами, как клевета. Я не потерплю у себя людей, пользующихся отравленным оружием. Вы уволены, господин Веннингер.

Кристоф. Но послушай, Томас...

Конрад. Господин Вендт!

Веннингер. Можпо, значит, идти?

Томас. Да.

Веннингер (*глядя исподлобья; язвительно*). Что ж, это не трудно было предположить. Ваш дружок, этот чистоплотный господин Гейнзиус, — табу, он неприкосновенен, хотя бы все принципы полетели при этом к черту.

Томас. Замолчите!

Веннингер. И не подумаю. Я буду говорить, громко говорить, чтобы все меня слышали. Вы были мне противны, Томас Вендт, с первого мгновения; я не

доверял вам, я видел вас насквозь. Вам нужен социализм с удобствами: сначала бражничать с эксплуататором, спать с его женой, гладкой, холеной дамой, а затем, в поисках острых ощущений, из любопытства, втереться в доверие к пролетариям, провозгласить себя мессией, несущим освобождение рабочему классу. И при этом всегда — чистые руки, спокойная совесть. А если кто-нибудь откроет рот против дорогого дружка...

Томас. Вон!

Конрад. Хватит, Веннингер. Ступайте.

Веннингер. Я иду. Но я сорву с вас маску, Томас Вендт. Пусть все видят ваше настоящее лицо. Я разоблачу вас, знайте это. *(Уходит.)*

Конрад. Вы повредили себе и делу. Сенсация нам необходима. Деньги на исходе. Нужны новые читатели. Я не знаю других средств пропаганды.

Томас. Если успех нашего дела невозможен без такой низкопробной пропаганды, тогда не стоит за него драться.

Кристоф. Вряд ли он сделал это со злым умыслом.

Томас. Он завистлив. Это человеконенавистник, он хотел бы сам очутиться на месте Георга.

Конрад. Чего вы добились? Вместо Веннингера надо посадить другого редактора. И опять все повторится сызнова. Если вы хотите, чтобы газета читалась, вам не обойтись без личных нападок.

Томас. Я веду борьбу против идей, а не против личностей.

Конрад. Вам всегда придется попадать в людей, если вы намерены поразить идею. Вы должны творить несправедливость во имя справедливости, Томас Вендт. Вы хотите одними идеями вершить политические дела? Или вести газету? Вы хотите одними идеями побудить рабочих к стачке?

Томас. Да. Да. Да. Я этого хочу. Я потерял бы всякую веру в человека, если бы мне это не удалось.

Конрад. В таком случае теряйте вашу веру в человека. А я пойду и постараюсь как-нибудь обезвредить нападки Веннингера.

Кристоф (*убеждая*). Томас, надо рассуждать трезво. Не парить в облаках, Томас. Оставаться на земле. (*Уходит.*)

Томас (*один*). Творить несправедливость во имя справедливости. Пользоваться низкопробными средствами, чтобы больше никогда никому не пришлось прибегать к ним. Оставлять за собой кучу грязи, чтобы будущие поколения могли жить в чистоте. (*Опускает голову.*)

Господин Шульц (*входит*). Добрый день, господин Вендт. Как живете? Вид немного утомленный, измученный, побледнели. Вполне понятно. Отчаянно работаете, а?

Томас. Что вам угодно, господин Шульц?

Господин Шульц. Носятся слухи, что вы немного засыпались. Капитал на исходе. Затруднения с типографией и так далее. Я рассчитал так: Томас Вендт и я — добрые старые знакомые, соседи, и потом все это невероятно благородно... Короче говоря: если вы пожелаете, то пятьдесят, шестьдесят тысяч к вашим услугам.

Томас. Вы предлагаете мне...

Господин Шульц. Рассчитываю, разумеется, что ваша газета будет вестись в том же духе, что и раньше. Если, к примеру сказать, вы имеете что-нибудь против меня, валяйте во всеуслышание. Но, пожалуйста, не лично, а как-нибудь поизящнее, в порядке общего вопроса. Ударение — на идее, на принципе. Короче говоря: писать должны вы сами, а не этот господин, например... как его? Веннингер, кажется.

Томас. Вы так думаете?

Господин Шульц (*доверительно*). Против Георга Гейнзиуса пусть себе пишет ваш господин Веннингер. Это пожалуйста. Великолепная статейка, просто замечательная. Стачка на предприятиях конкурента всегда желательна.

Томас. Почему вы мне предлагаете деньги?

Господин Шульц. Младенец вы! Более выгодного помещения капитала я не представляю себе. Собственно, вам бы следовало предложить государственную дотацию. Ибо кто является надежнейшей опорой

трона и алтаря? Капитал. А кто является надежнейшей опорой капитала? Вы.

Томас. Я?

Господин Шулльц. Тут простой расчет. Когда революция пускается в дипломатию, когда она идет на компромиссы, на соглашения, когда выдвигает умеренные требования, вот тогда она спасна. Но делать революцию так, как это делаете вы, почтеннейший, — благородно, в порядке общих идей, — вот это славно, это хорошо. Против такой деятельности никто не будет возражать, за нее и я подниму обе руки. На такие статьи, как ваши, мы все одинаково реагируем — восторг и аплодисменты от Мааса до Мемеля. Да вы знаете это гораздо лучше меня.

Томас. Так вы не боитесь идей, их распространения?

Господин Шулльц. Идей? *(Прыскает со смеху.)* Но, дражайший, почтеннейший. Кто носится с идеями, тот не бьет. Бьет тот, кто голоден, у кого есть кулаки и, по возможности, винтовка.

Томас. Зачем, по-вашему, я издаю газету?

Господин Шулльц. Зачем? *(Смеется.)* Вот еще! У каждого есть какая-нибудь страсть. У меня — это мои фабрики, моя вилла, мои женщины, мои маленькие удовольствия. У вас — ваши драмы, ваша газета, ваша идея. Вам всегда правилось, чтобы о вас шумели. Вы подумываете о небольшом мандатике депутата рейхстага. *(Фамильярно подталкивает его в бок.)* Между нами, девушками: разве это не так?

Стало быть, если понадобятся деньги, повторяю: к вам и вашим идеям чувствую огромное почтение. В благородных начинаниях всегда готов быть компаньоном. До шестидесяти тысяч, как сказано. До свиданья, почтеннейший. И пишите. Да покрепче валяйте. В девяносто лошадиных сил. *(Уходит.)*

Томас один. Сидит опустив плечи.

Кристоф. Пришли Георг Гейнзиус с женой.

Томас *(встрепенувшись)*. Они уже читали?

Кристоф. Не знаю. *(Уходит.)*

Георг и Беттина входят.

Беттина. Мы хотели провести вас.

Георг. Беттина считает, что вы не только народный трибун, но до некоторой степени и Томас Вендт.

Беттина. И наш друг. Так, значит, здесь вы работаете. И пишете теперь исключительно для вашей газеты. И все ваши прекрасные планы...

Томас (*с раздражением*). Я забросил их. У меня более важные дела.

Беттина. У вас плохой вид, Томас. Я от души была бы рада, если бы вы разрешили мне...

Томас. Спасибо, Беттина. Мне ничего не нужно.

Георг. Как поживает Анна-Мари? Я слышал, она все еще у моря?

Томас. Она пишет редко. Я не знаю, как она живет. (*Вспыхив.*) Это невыносимо. Я ничего не могу прочесть на ваших вежливых лицах.

Георг. Что с вами, Томас?

Беттина. Мы пришли провести вас. Ведь мы были когда-то друзьями, Томас. Мы никак не думали, что вы нас так примете.

Томас. Простите, Беттина. Приди вы вчера, я был бы очень рад. А сегодня между нами выросла преграда. Уходите. Прошу вас, уходите раньше, чем вы узнаете. Спасибо за то, что вы пришли, но в глаза вам я не могу смотреть.

Беттина. Успокойтесь, Томас.

Георг. Какая преграда? То, что ваша газета подстрекает к забастовке? Так ведь это не новость.

Томас. Нет. Гораздо серьезней. (*Скороговоркой, запинаясь.*) Один журналист, работник нашей газеты, написал вздорную, злопыхательскую статью.

Георг. Против меня?

Томас. Против вас. Вот. Вам все равно ее покажут. Может быть, лучше, если вы узнаете все от меня. (*Стоит, отвернувшись.*)

Георг и Беттина читают.

Георг (*побледнев*). Это, во всяком случае, недостойно.

Беттина (*тихо*). Это нехорошо, Томас.

Томас. Разумеется, я уволил этого человека. Но статья напечатана, связана с моим именем, и я пойму вас, если вы в будущем презрительно скривите губы при упоминании обо мне.

Георг и Беттина молчат.

Томас (*вспылив*). Отчего вы не набрасываетесь на меня? Ругайтесь. Кричите. К черту ваш проклятый такт, вашу ненавистную вежливость. Ведь вы правы. Что же вы молчите? Начинайте. Вот я. Я готов. Я слушаю.

Георг. Мне жаль вас, Томас, жаль, что вы вынуждены бороться за свои идеи подобными средствами.

Томас (*со злобой*). Дело от этого не тускнеет, дело остается чистым и прекрасным, хотя бы поборник его по горло увяз в грязи.

Конрад (*быстро входит*). Неприятная новость, Веннингер умер.

Георг. Веннингер?

Конрад. Автор статьи, да. Говорят, что он застрелился. Точных сведений пока нет. (*Томасу.*) Он оставил вам письмо.

Томас. Оно у вас?

Конрад. Вот оно.

Томас (*читает*). «Я умираю от ненависти к вам, Томас Вендт. Мне пришлось выстрелить, чтобы заставить мир насторожиться и узнать ваше подлинное лицо. Письмо это, конечно, будет напечатано в газетах.

Вы бражничали за столом богачей и не утолили свой голод, вы проникли в души бедняков и не насытили свое любопытство. Вы — апостол? Вы — избавитель? Вы не знаете разве, что избавитель должен быть скромным и непритязательным? А вы надменны, Томас Вендт. Вы высокомерней...» (*Прерывает чтение, садится, проводит рукой по лбу, протягивает письмо Конраду.*) Читайте, Конрад.

Конрад. В присутствии ваших гостей?

Беттина. Мы уходим.

Томас. Нет, оставайтесь. Вы имеете на это право.

Конрад (*читает*). «А вы надменны, Томас Вендт. Вы высокомерней любого богача, против которого ведете борьбу. Вы хотите вытащить людей из болота, а сами боитесь грязи. Вы хотите уничтожить проказу, а сами брезгаете швырнуть комком грязи. Вы дурак. Вы сентиментальный позер. Вы как обезьяна подражаете спасителю, рядясь в одеяние бедности. Вы себе самому не признаетесь, что все ваши чувства, вся ваша человечность — это только румяна и беллетристика. Я понял, что просто высказать свое мнение о вас — мало, никто не станет меня слушать. Поэтому я предпочел так его изложить, чтобы пуля, пробившая мне висок, всех убедила в его неопровержимости».

Томас. Он — мертв?

Конрад. Да.

Беттина. Бедный Томас! Что за мир окружает вас!

11

Бар в дорогом отеле в окрестностях Трувилля. Время — после полуночи. Слышна музыка. Несколько мужчин во фраках и один морской офицер. Анна-Мари.

Первый господин. О чем вы думаете, Анна-Мари?

Анна-Мари. Я вспоминаю об одном купанье в море, ночью, в Бордигере. Волны поднимались нам навстречу, черные, загадочные, бесшумные. Мы плыли куда-то в неизвестность, в ночь.

Я вспоминаю об одной автомобильной поездке полгода назад. Авто пожирал шоссе. Мы продрогли, несмотря на полуденный зной, и полчаса мы мчались сквозь аллеи серебристых маслин.

Морской офицер. В Тунисе арабские кокотки занимают целую улицу. У каждой свой домик. Они сидят в цветных коротких рубашках, каждая около своего домика, и ждут.

Господин Шульц (*шумно входит*). Наконец-то я вас нашел, господа. Почему никто не был сегодня на благотворительном балу? Только не сдавать, когда

речь идет о развлечениях. Не оправдываться усталостью. Посмотрите на меня. Я старше вас, а всегда свеж и вечно подвижен, как счетчик такси.

Первый господин (*представляет*). Разрешите, господин Шульц, представить вам фрейлейн...

Господин Шульц. Что вы, что вы, ведь мы знакомы. Давно. Мне да не знать фрейлейн Анну-Мари. (*Нахально.*) Мы даже очень близко знакомы, не правда ли? Ведь вы встречались с Томасом Вендтом и его товарищами.

Первый господин. Томас Вендт, известный анархист? Правда ли, что он с головой ушел в политику и не пишет ни строчки стихов?

Господин Шульц. Он совсем свихнулся. Вообразите: человек мог бы зарабатывать сотни тысяч, а живет, как беднейший пролетарий. Купил себе жалкий домишко на городской окраине и окружил себя грязным, вонючим сбродом. Можете вы это понять?

Морской офицер. В известных кварталах Тулона есть одна девушка, большая патриотка. Она такая пламенная почитательница Антанты, что велела вытатуировать у себя на спине портрет царя, а на животе — портрет Пуанкаре.

Первый господин. Что с вами, Анна-Мари? Вы сегодня на себя не похожи. Скажите: о чем вы думаете? Вспоминаете Германию?

Анна-Мари молчит, он после паузы прибавляет:
Вспоминаете Томаса Вендта?

Анна-Мари роняет голову на сложенные на столе руки, всхлипывает.

12

Комната в маленьком отеле. Буднично, голо.
Господин Шульц. Незнакомец.

Незнакомец. Правительство очень заинтересовано в том, чтобы газеты, находящиеся под вашим влиянием, выжали из этого случая все, что можно.

Господин Шульц. Понятно, ваше превосход-

тельство. Исконный враг, оскорбленное национальное чувство, «слава тебе, в венце победителя», бронированный кулак. Ручаюсь, что население именно в этом духе будет реагировать.

Незнакомец. Мы полагаемся на вашу испытанную ловкость. *(Как бы мимоходом.)* Кстати, господин Шульц, вы хорошо сделаете, если примете на вашем заводе соответствующие меры в связи с назревающими событиями.

Господин Шульц. Вы считаете, что спорный вопрос будет разрешен вооруженной силой?

Незнакомец. Правительство, господин Шульц, ничего по этому поводу не считает. Но мое личное мнение...

Голос из соседней комнаты *(неразборчиво)*. Горе вам, непокорным и нечестивым, горе тебе, град безумный! Ваши князья — львы рыкающие, ваши судьи — волки почные, ни одной кости не оставляют они на утро.

Незнакомец. Что это?

Господин Шульц. Не знаю. Какой-нибудь постоялец в комнате рядом. В такой третьеразрядной гостинице трудно избежать подобных неожиданностей. Я предложил это место для нашей встречи, чтобы избежать огласки и всяких кривотолков. Ваше превосходительство считает, стало быть, что бронированный кулак...

Незнакомец. Умный человек страхует себя на всякий случай. Я бы на вашем месте, дорогой господин Шульц, поступал так, словно ожидаемое событие произойдет еще в нынешнем году. Это, как уже сказано, только мое личное мнение. Правительству придется тогда закупать боеприпасы там, где оно их найдет, и по тем ценам, которые за них запросят.

Господин Шульц *(настороженно)*. Вы, стало быть, полагаете, что...

Незнакомец *(углубившись в свои бумаги, как бы мимоходом)*. Я, например, если вы уже сейчас приняли бы необходимые меры в связи с надвигающимися событиями, без всяких разговоров купил бы от четырехсот до пятисот ваших акций.

Господин Шульц (*сияя*). Буду от души рад, ваше превосходительство, если вы позволите приобрести для вас акции в частном порядке: на бирже вы за них неизбежно переплатите.

Незнакомец. Весьма признателен, господин Шульц, весьма признателен.

Голос из комнаты рядом (*несколько отчетливей*). Ваши пророки легкомысленны, ваши мужи — вероломны, ваши жрецы осквернили святыню, оскорбили законы. Я истребил народы, говорит господь; я разрушил их башни, опустошил их улицы, и нет на них путников. Города их обезлюдели, лишились жителей.

Незнакомец. Это какое-то безумие.

Господин Шульц (*звонит кельнеру*). Скажите, черт вас побери совсем: что это вы там, в соседней комнате, всех двенадцать апостолов поселили, что ли? Неужели вы не можете заткнуть пасть этому болтливому Иеремии?

Кельнер. С ним, к сожалению, ничего не поделаешь. Это проповедник. Мы уже попросили его завтра освободить комнату.

Господин Шульц (*незнакомцу*). Бесконечно сожалею. (*Кельнеру.*) Марш!

Кельнер уходит.

Голос рядом становится тише.

А как вы представляете себе дальнейшее регулирование цен на заказы в мае и июне?

Незнакомец. Не думаю, чтобы министерство согласилось на ваши предложения.

Господин Шульц. Как же так, ваше превосходительство! Нельзя забывать о стачке на предприятиях Гейнзиуса. Она оказывает влияние и на моих рабочих, будоражит их. Мне приходится день ото дня увеличивать специальные суммы на подкуп, чтобы надежные элементы успокоительно действовали на других. Вообразите, ваше превосходительство, что забастовка начнется и у меня на заводах. Что же тогда делать правительству с его заказами?

Незнакомец (*с усмешкой разглядывает Шульца*). Вы расходуете специальные суммы только на то, чтобы успокоить ваших рабочих, или также на то, чтобы не успокаивать рабочих Гейнзиуса?

Господин Шульц (*громко хохочет, фамильярно хлопает по плечу незнакомца*). Черт возьми, ваше превосходительство! Вы — единственный человек из правительства, у которого старому Шульцу есть еще чему поучиться.

Голос рядом. Я говорил: бойся меня, повинуйся мне. Иначе я разрушу жилище твое. Но нет, они рано собрались в путь. Все дела их были мерзостны.

Господин Шульц. Этот библейский олух совершенно несносен. Пойдемте в ресторан.

Уходят.

Голос рядом (*очень явственно*). Ваше серебро и ваше золото не смогут спасти вас в день его гнева. Ваша кровь превратится в грязь и ваша плоть — в прах. И настанет день трубного гласа и грома войны.

13

Комната Томаса. Поздние сумерки. Свет не зажжен.

Анна-Мари сидит, ждет.

Томас входит. Анна-Мари всхлипывает.

Томас. Кто здесь?

Анна-Мари. Я, Томас.

Томас (*потрясенный*). Анна-Мари. Ты вернулась! (*Неловкими движениями зажигает лампу.*) Анна-Мари...

Анна-Мари. Не смотри на меня. Мне стыдно.

Томас. Чем я могу помочь тебе?

Анна-Мари. Я стосковалась по болезни, бедности, отчаянию. Потому что на других путях я нигде не могу найти тебя.

Молчание.

Томас. Ты останешься теперь у меня?

Анна-Мари. Ты не спрашиваешь, откуда я?

Томас (*взглядывает на нее; тихо*). Нет.

Анна-Мари (*встает, молча начинает убирать в шкаф*). Хорошо. Так я приготовлю чай, Томас.

14

Библиотека на вилле у Георга.

Георг (*один, читает книгу*). «Мы, европейцы, в общем очень хорошо понимаем поборника справедливости и очень плохо — святого, ибо мы исследователи и скептики, нам нужны мерило и закон. В мире исследователей и скептиков святой всегда недоказателен, к тому же он — юродивый, чудака, беглец, лишний; поэтому наука в равной мере высмеивала его и превозносила справедливого». (*Швыряет книгу прочь*.) Я не хочу думать о Томасе. (*Звонит по телефону*.) Жена еще не возвращалась? Как только она придет, сообщите мне. (*Кладет трубку, шагает взад и вперед*.)

Я никогда не любил дымящих труб моей фабрики, но меня злит, что она замерла. Сказать бы этому сброду два слова — и все было бы в порядке. В конце концов улеживаешь ведь, если нужно, упрямую собаку двумя-тремя ласковыми словами, и при этом у тебя нет чувства, будто ты солгал и унизился.

Я знаю, как двусмысленна болтовня о чести и собственном достоинстве, я не верю в слова. Так почему же я не могу разговаривать с этой сворой? Высокомерие? (*Останавливается перед статуей Будды*.)

Где жил он, там смирение переходит в гордыню, смирение и гордыня схожи, как два близнеца.

Томас (*входит*). Я не помешал вам?

Георг (*вежливо*). Нисколько. (*Указывая на Будду*.) Эту статую я купил две недели тому назад. Взгляните на нее.

Томас. Я пришел по очень важному делу.

Георг. Было время, когда вы не остановились бы перед далеким путешествием ради того, чтобы взглянуть на эту статую.

Томас (*уклончиво*). Это время миновало. (*Пауза.*)

Георг (*любезно*). Что вы хотели мне сказать? Прошу вас.

Томас. Я пришел поговорить о стачке. Ваши рабочие ожесточены до крайности. Тем не менее я беру на себя уладить все на условиях, которые в основном вы уже приняли. Примите их до конца, и через три дня рабочие выйдут на работу.

Георг. Прошу вас, Томас, не надо никаких фокусов, когда мы разговариваем с вами с глазу на глаз. Вы прекрасно знаете, что для меня важнее другое. Эти молодцы хотят выжать из меня деньги — два миллиона — на повышение заработной платы. Отлично. Я должен восстановить на работе обоих зачинщиков. Отлично. Но не называть вымогателя вымогателем, а подлеца — подлецом? Нет. Хотя бы заводы простояли до Страшного суда. Нет.

Томас молчит.

Неужели вы всерьез можете требовать этого от меня? (*Тихо, с гримасой безгласности.*) Вы хотите, чтобы я сел за один стол с этими молодцами, заискивающе похлопывал их по плечу, танцевал с их потными девушками, восхищался их пугливыми, тупыми, хмурыми детьми? (*Встает.*) Нет, дорогой Томас. Деньги — пожалуйста. Но своим «я» не желаю жертвовать ни на йоту.

Томас (*стоя перед Буддой*). Что ему тут делать, если вы так говорите?

Георг. Самоотречение, которому он учит, не имеет ничего общего с вашим пошлым смирением.

Я не желаю произносить дешевые фразы. Я моим рабочим не друг. Я оплачиваю их точно так же, как кормлю своих ломовых лошадей. И точка.

Томас. Очень удобно закрывать глаза. Очень удобно видеть различия и не видеть общего. Очень удобно, когда кто-нибудь зовет на помощь, пожать плечами: я, мол, не понимаю диалекта, на котором ты говоришь.

Георг. Вы — хороший оратор, Томас. Но мы не на митинге. Я не принимаю на веру фразы. Меня вы не ошеломите фонтанами красноречия. Дайте мне факты.

Томас. Если вашим рабочим не доступно ничего, кроме жратвы и распутства, почему они настаивают, чтобы вы извинились? На ваше извинение они хлеба ведь не купят. Почему они не довольствуются деньгами?

Георг. Они, вероятно, не упирались бы, если бы их не подстрекали. Если бы вы, Томас, их не подстрекали. Они были тупы и довольны. А теперь они кричат о «чести» и «человеческом достоинстве». И они несчастны.

Томас. Да, это я подстрекал их. Я разбудил в них недовольство. Я ненавижу тех, кто довольствуется малым. Во всех бедствиях на свете виноваты те, кому не нужно многого.

Георг. Вы как будто только что говорили о смирении? Странное смирение. С винтовками и бомбами. Не кажется ли вам порой самому, что это — та же гордость, только замаскированная?

Томас. Когда я вижу человека бедного, опустившегося, то не разницу между ним и собой я замечаю; нет, я чувствую, что сам несколько не лучше его. Я знаю, что мы — братья, и отношусь к нему по-братски. Это и есть мое смирение.

Георг. Братья. Ерунда. Гете и какой-нибудь людоед не братья. Одного среди тысяч я, может быть, признаю братом. С единственным я могу общаться, пожалуй, даже приду ему на помощь. А масса, множество, человечество — вздор.

Томас. Вы не думаете, что созерцателю, стоящему над человеком, вне человека, разница между так называемой духовно развитой личностью и массой должна казаться до смешного ничтожной? Животное развилось в человека, а вы не допускаете, что духовно неразвитый человек может преодолеть одну крохотную ступень и подняться к нам, развитым? Я верю в это, Георг.

Георг. Верить в человека — это теперь модно. Дешевая, удобная мода, каждый может следовать ей, она

всем к лицу. Очень легко смешаться с массой. Трогательно и удобно говорить каждому встречному: ты мой брат. Вы не думаете, что гораздо трудней защищаться, оградить себя от этой бациллы гуманности?

Томас. Здесь уже никакая логика не поможет. Здесь чувство берет верх над самыми логическими доводами. Я не могу сидеть сложа руки, углубляться в размышления, рассчитывать и взвешивать, читать книги и писать драмы, когда вокруг столько горя.

Выстрел в окно.

Томас *(вздрагивает)*. Что это?

Георг. Будда разбит.

Только бы Беттина скорей вернулась. Она поехала в город. И ничего мне не сказала. *(По телефону.)* Что случилось? Погнались за ним? Прекрасно. Благодарю. *(Кладет трубку.)* Жаль статуи. Мне она доставляла огромную радость.

Я хочу рассказать вам коротенькую историю, Томас. Однажды Будда подошел к небольшой речушке, на берегу которой жил святой старец. Святой был очень старый и очень святой. Такой святой, что он мог перейти через реку, не омочив ног. Это была его специальность. Он показал свой фокус Будде. Действительно, перешел реку туда и обратно, не замочив ног, и был этим очень горд. Будда сказал ему: «Очень хорошо, сын мой, прекрасно. Но почему ты не переехал на лодке?»

Томас. К чему это вы?

Георг. На свете есть много такого, что нуждается в улучшении. Допустим. Но разве нельзя этого уладить административным путем? Организацией? Для чего утруждать дух, душу? *(Тихо смеется.)* Почему вы не садитесь в лодку, если вы хотите переправиться через реку?

Двое слуг *(вводят оборванца)*. Это он, господин Гейнзиус. Мы успели его поймать, когда он перелезал через забор. В полицию уже позвонили.

Георг. Оружие у него отобрано?

Слуга. Да. Вот оно.

Георг. Прекрасно. Он останется здесь до прихода полиции.

Слуга. Вы хотите остаться с ним вдвоем...

Георг. Здесь еще господин Вендт.

Слуга *(не то испуганно, не то презрительно)*. Господин Вендт! *(Слуги уходят, покачивая головой.)*

Томас. Почему вы стреляли?

Оборванец. Он назвал нас подлецами. Зверь и тот кусается, когда его разъярят.

Георг. Гм...

Оборванец. Вот вы стоите здесь, ухмыляетесь, потому что вы отделались благополучно, а я попался. Но погодите, придет другой и уже не промахнется.

Георг *(смотрит на него, ходит взад и вперед перед осколками, затем — неожиданно)*. Уходите скорее. Не то полиция застанет вас здесь.

Оборванец *(вытаращив глаза)*. Что? Я могу...

Георг. Вот выход. Сверните направо, там начинается лес...

Оборванец *(ухмыляется)*. Ну, спасибо. Очень благодарен. *(Исчезает.)*

Томас. На жесты вы мастер, Георг.

Георг. Неприятно запираť зверей в клетку. Только и всего. А вы, Томас, любите сильные эффе́кты, признайтесь. Мои заводы стоят, мои статуи разбивают вдребезги, в меня самого стреляют. Ваши доводы не лишены силы. *(Вспышка света.)* Автомобиль. Наконец-то Беттина. *(Очень любезно.)* Простите мою агрессивность. Ни я вас, ни вы меня не переубедите. К чему тогда спорить? У меня, впрочем, перед вами преимущество: вы меня, как личность, не признаете, а я вас — признаю.

Беттина входит: бледная, окровавленная, лицо перевязано; ее поддерживает под руку горничная.

Георг *(бросается к ней)*. Что случилось, Беттина?

Беттина *(горничная и Георг усаживают ее в кресло)*. Ничего, дорогой. Пустяки.

Горничная. Они бросали в машину камнями. Мы были уже у самой виллы. Осколки стекла попали в лицо.

Георг. Бегите же. Звоните врачу.

Горничная уходит.

Беттипа. Милая Беттина. Очень больно тебе? Чем тебе помочь?

Беттина. Ничего, дорогой, ничего.

Томас *(медленно приближается)*. Беттина.

Георг *(вспылив, но тихо)*. Уходите. Я ненавижу вас.

Томас *(с усилием поворачивается, делает несколько шагов к выходу)*. Прощайте.

Беттина. Подойдите ко мне, Томас. *(Протягивает ему руку.)* Забудьте то, что он сказал.

Томас берет ее руку.

Георг. Уходите.

Томас в большом горе удаляется.

Конец первой книги

Книга вторая

Тот, кто действует, всегда
лишен совести. Лишь у созер-
цателя есть совесть.

Гете.

1

Комната Томаса.

Анна-Мари. Кристоф. Конрад.

Анна-Мари. Вы его не убедите.
Кристоф. Но должен же он понять. Надо
рассуждать трезво. Как быть? Не подставлять же
ему голову под пули только потому, что он гений?

Анна-Мари. Никто не может его теперь понять.
Он часто внушает мне страх.

Конрад. Когда ему вручат приказ о явке, тогда бу-
дет уже поздно. Пока еще довольно легко освободить
его. Надо только, чтобы он захотел этого.

Анна-Мари. Но он не захочет. Он прямо-таки
ждет этого приказа. Уверяю вас.

Конрад. Томас — это сгусток ненависти. С тех пор
как он умолк, его глаза агитируют лучше, чем самые
пламенные речи.

Анна-Мари. Он совершенно перестал спать.
Прошлой ночью он прилег на полчаса и вдруг начал
стонать. Я спросила: «Ты спишь, Томас?» — «Нет», —
отвечает он, встает, одевается, садится к окну и смот-
рит в ночь. Без конца. Я спрашиваю: «Что с тобой?» Он
только взглянул на меня, и взгляд был такой пустой,
что у меня мурашки по спине побежали. И бросился
вон. И вот до сих пор его нет.

Кристоф. Надо с ним поговорить. Вы, Конрад,
должны урезонить его.

Томас (*входит*). Вы здесь? Военный совет держите, а?

Анна-Мари. Ты, наверное, голоден, устал. Приготовить тебе завтрак?

Томас. Да, приготовь мне завтрак.

Анна-Мари уходит.

Я буду пить кофе и, может быть, даже булочку съем, а то и две. Видите, друзья, я благоразумен.

Кристоф (*печально*). Почему ты не разговариваешь с нами? С тех пор как газета запрещена, ты совершенно не говоришь с нами.

Томас. О чем говорить? Вы добры ко мне. Вы преданны нашему делу. Вы отважны. Именно отважны, — это настоящее слово. Но мне нечего сказать вам. При всем желании. О чем говорить, друзья? Каждый из нас может спросить: почему? Но другой ответит ему тем же вопросом: почему? Конрад, умный Конрад, скажите, о чем говорить? (*Похлопывает его по плечу; насмешливо*). Голосовать против военных кредитов, что ли?

Конрад. Да, следовало бы. Среди прочего — и это. Бросать оружия не надо. Чем больше война раздувает отчаянье, тем лучше наши перспективы. Надо уметь спокойно смотреть на кровь, если хочешь быть врачом. Разве это мужество — закрывать глаза при виде крови? Разве это мужество — бежать по ночам в лес и там кричать деревьям о своем отчаянье?

Томас. Нет. Мужественно убить какого-нибудь генерала, зная, что за это убьют тебя. Мужественно обратиться с речью к народу, зная, что тебя бросят за решетку. Я не обладаю мужеством, умный Конрад; я не могу быть трезвым, милый Кристоф. Я вижу, как люди сходят с ума, я вижу, как люди умирают гнусной смертью, и тела их сваливают в ямы, как мусор. Я не могу рассуждать трезво, друзья.

Кристоф. Что ж ты собираешься делать, Томас?

Томас. Ждать.

Конрад. Чего?

Томас. Этого я не могу вам сказать. Этого не выразить словами. Вы себе представьте: пока мы здесь с вами разговариваем, там непрерывно умирают люди.

Железо и огонь мечут они друг в друга; день и ночь они убивают друг друга. Представьте это себе! Я не могу рассуждать трезво, друзья мои!

Конрад (*с силой*). Томас Вендт! Проснитесь! Неужели вы в состоянии сидеть и предаваться горестным размышлениям? Неужели вы не хотите действовать?

Томас. Помните редактора Веннингера? Он носил пенсне, он был уродлив, озлоблен, он смотрел на людей исподлобья. Он пошел и застрелился и взвалил на меня тяжкое бремя. И Беттина. Вы знали Беттину Гейнзиус? Достаточно было увидеть ее, чтобы понять, что такое красота. Теперь ее лицо обезображено навеки. Потом расстреляли рабочих. Семнадцать человек, если я не ошибаюсь. И много рабочих брошено в тюрьмы на долгие годы. На моем пути стоят могильные кресты; много, очень много крестов. Я не хочу действовать, Конрад.

Конрад. Поберегите себя. На будущее. В ближайшие дни вас призовут в армию. Разрешите мне похлопотать о вашем освобождении.

Кристоф. В самом деле, Томас. Ведь это же бессмысленно: позволять глумиться над собой какому-нибудь прохвосту унтеру, валяться в промозглых окопах. Бессмысленно позволять помыкать тобой, как скотиной, и, как скотина, идти на убой.

Томас (*взглянув на него; очень сухо*). Конечно, Кристоф, в этом нет никакого смысла. Так. А теперь я буду пить кофе. Я чертовски устал. (*Говорит в сторону соседней комнаты.*) Анна-Мари, готов кофе? Если желаете составить мне компанию, прошу вас. Но ни слова о войне, освобождении от призыва и о каких-нибудь действиях. Ни слова.

2

Отлогий берег реки. Скамья. Вечер.

Анна-Мари (*одна*). Так я сидела тогда. И так же заходило солнце. Теперь я бы этого больше не сделала. Он уехал, едва взглянув на меня. Когда я купалась в деньгах, я тосковала по нем. Теперь я почти рада его отсутствию. Три недели назад я отерла бы грязь с сапог

последнего нищего. Почему же теперь я всем своим существом жажду нарядных людей, света и музыки? Я не хочу нести чужое бремя — нужду, уродство. Я не могу жить так, как он от меня требует. Я не хочу быть тенью Томаса.

Г е о р г входит.

А н н а - М а р и (*вскрикивает*). Георг! Беттина сказала мне, что вы в плену.

Г е о р г. Был. Обменен, как тяжелораненый. Я хотел повидать Томаса.

А н н а - М а р и. Он ушел в армию.

Г е о р г. Он страдает?

А н н а - М а р и. Он этого жаждал. Когда был получен приказ явиться, он ожил.

Георг удивлен.

Он почти не разговаривает. Не разберешь, что с ним. Он озлоблен. Смотрит сквозь тебя и не видит.

Г е о р г. Надо ему помочь.

А н н а - М а р и. Как? Какими средствами?

Г е о р г. Я освобожу его.

А н н а - М а р и. Он этого не хочет. Он не позволит этого.

Г е о р г. Когда он увидит, что в казарме нет ничего трагического, а всего лишь пустая зловонная скука, он станет сговорчивей. (*Оглядывает ее.*) Знаете ли, Анна-Мари, вы изменились.

А н н а - М а р и. Я?

Г е о р г. Сначала вы были маленькой девочкой. Затем вы жадно потянулись ко всему, что ярко, вы были полны любопытства и какого-то пестрого вздора. А внутри было пусто.

А н н а - М а р и (*чувствуя беспокойство под его взглядом*). Как поживает Беттина?

Г е о р г (*продолжает смотреть на нее*). Все это прошло через вас, и теперь вы опять стали самой собой.

А н н а - М а р и. Как поживает Беттина?

Г е о р г (*мрачнеет*). Рубец останется. Пятна останутся. Лицо останется обезображенным. Никакой надежды. (*Молчание.*)

А н н а - М а р и. Вы много пережили?

Г е о р г. Не мало. Балы в казино, а в пяти километрах смерть и мерзость. Города с измученными, ожесточенными жителями. Плен. Лазарет. Но я не хотел бы упустить ничего из всего этого.

А н н а - М а р и. Вы как будто похудели. Но в сущности не изменились.

Г е о р г. Того, кто способен глубоко чувствовать, книга может потрясти так же, как ужасы боя. Война сейчас так далека от меня, что иное театральное представление кажется мне более реальным.

А н н а - М а р и. Вы не трус, Георг. Это вы показали во время стачки. На фронте вас, вероятно, многое увлекало, нравилось вам.

Г е о р г. На фронте нечем вдохновляться. На второй, третий день ужас превращается в скуку. Трупный запах, вонь отхожего места — все это становится чем-то привычным. Слушаешь гул рвущихся снарядов, треск пулеметов, как тиканье стенных часов. Строишь на обугленные дома, на умирающих или умерших людей так же равнодушно, как на рисунок своих обоев. В конце концов война — не большая бессмыслица, чем все остальное.

А н н а - М а р и (*смотрит на него*). Я легко допускаю: ваш надменный и скучающий вид не оставляет вас даже тогда, когда кругом смерть. Да, теперь вам есть что порассказать Беттине.

Г е о р г. Я ничего не рассказываю Беттине. У меня не хватает духу подолгу бывать с ней. Я не знаю, как сделать, чтобы она не заметила моего сострадания. Вам я охотно буду рассказывать, Анна-Мари. Что вы делаете сейчас, когда Томас в казарме?

А н н а - М а р и. Просто живу.

Г е о р г. Я теперь провожу много времени на фабрике.

А н н а - М а р и. Прежде вы ненавидели свою контору. И любили свой дом.

Г е о р г. Теперь я ежедневно хожу в контору. Я бываю там от одиннадцати до часу. (*Встает.*) Не зайдете ли вы ко мне, Анна-Мари?

А н н а - М а р и. Хорошо, я приду. Как-нибудь.

Георг уходит.

Неужели я дурной человек? Неужели все мы дурные люди? Раскаюсь я потом? (*В порыве возмущения.*) Почему он так суров со мной, почему в нем столько презрения ко мне, словно я отверженная? Пусть бы он дал мне утопиться тогда. Когда он смотрит на меня, точно на какой-то отброс, и молчит — я чувствую, что вся моя любовь уходит. Я — нечто такое, за что он должен бороться, сказал он однажды. Но я — не «нечто». Я не объект для опыта.

Томас, ведь я люблю тебя. Почему ты всегда задаешь мне твои проклятые задачи, такие трудные, что на меня нападает страх, словно в школе, когда я не знала урока? (*Взвешивая.*) Томас? Георг?

Г о с п о д и н Ш у л ь ц (*входит*). А, фрейлейн Анна-Мари! Любуется красивым видом? Давненько мы не виделись с вами. Знаменательные у нас были встречи: Красная вилла, отель «У пляжа». Я по-прежнему ваш искренний поклонник. Моему ожиревшему сердцу приходится серьезно остерегаться вас. А как поживает уважаемый маэстро? На некоторое время — не у дел? Должен довольствоваться идиллиями, элегиями, размышлениями? Или он пламенно воспевае кайзера и отечество?

А н н а - М а р и. Томас в армии.

Г о с п о д и н Ш у л ь ц (*раскрывает от удивления рот*). А? Гром среди ясного неба. Как же так? Кто же так поступает?

А н н а - М а р и. Его нельзя было переубедить.

Г о с п о д и н Ш у л ь ц. Почему же вы не пришли ко мне, малютка? Мы ведь с вами старые знакомые. Мы бы просто за его спиной устроили ему освобождение. Люблю его, вашего Томаса. Пробуждает возвышенные воспоминания: Вильгельм Телль, Толстой, Армия Спасения. Обераммергау. Это дело надо обмозговать, фрейлейн Анна-Мари. Хотите, займемся вместе? За бутылочкой шампанского? (*Подмигивая.*) Помните, какие превосходные марки вин у меня там, наверху? Итак, если есть время и охота, приходите к людоеду, словно

молящая о помощи принцесса. (*Придвинувшись ближе, интимно.*) Хотя я и лью пушки, но, право же, я не такой страшный. Разве каннибализм не бледнеет, когда открывается столько возможностей для сравнения? Так, стало быть, пусть мой проект obeжит прелестные извилины вашего мозга. До свидания. Et on revient toujours...¹ (*Уходит.*)

А н н а - М а р и. Я дала ему договорить до конца. Его жадные глазки так и парили по мне. И я его не задушила. Что же я такое? Кто я? Неужели моя неблагодарность заглушила во мне голос сердца? «Делай все, что хочешь, — сказал он однажды, — но не предавай самое себя». Трудно быть неблагодарной. Трудно взвешивать. Трудно выбирать. (*Взвешивая.*) Томас? Георг? (*Решительно, с сияющим лицом.*) Георг.

3

Здание школы, превращенное в казарму. Комната. На полу тесно положены соломенные тюфяки. Вечер. Солдаты, смертельно усталые, валяются в изнеможении на тюфяках. Некоторые чистят форму. Двое играют в карты. Томас лежит, закрыв глаза.

Первый. Я спрашиваю: почему? Я спрашиваю: ради чего? И небо не обрушится. И бог не накажет виновных.

Второй. Ну, этого от него не дождешься: бог убрался в Швейцарию.

Первый. Но ведь какой-нибудь смысл должен в этом быть.

Третий. В кино я видел картину «Оборотень». Знаешь ты, что такое оборотень?

Четвертый. Это — который кровь сосет? Вот вы, Вендт, ведь вы образованный: скажите, бывают на самом деле оборотни?

Томас (*лежит неподвижно на своем тюфяке*). Чепуха.

¹ Начало французской пословицы, соответствующей примерно русской: «Старая любовь не ржавеет».

Третий. Нет, не чепуха. В афише приводится мнение авторитетов.

Томас (*про себя*). Они верят в оборотня, которого показывают в кино.

Третий. До чего жутко было. Одно удовольствие. Возле меня сидела одна кухарка, так она прямо потела от страха. Но я ее так ущипнул, что у нее сразу страх пропал.

Четвертый. Кто это воздух испортил? Сил нет!

Третий. Ничего удивительного при нашей жратве.

Второй. К вони надо привыкать. В братской могиле еще не так воняет. Эй, ты, балагур, спой нам куплеты о свинье и младенце.

Четвертый. Я зверски устал. Все кости болят.

Второй. Ты разве костями поешь? Или спой нам «Мумпя и сыр».

Третий. В казарме саперов теперь в ходу такая песенка:

Бог, родина... всё ерунда!

Закон войны таков:

Стоим горой за богачей,

Стреляем в бедняков¹.

Многие (*шумно*). Замечательно. Очень хорошо.

Стук в дверь.

Первый. Пришла дама, которая к Вендту ходит.

Томас. Можно ей войти?

Голоса. Да. Конечно. Да, разумеется.

Анна-Мари (*входит; робко*). Здравствуйте! (*Подходит к Томасу.*) Добрый день, Томас.

Томас. Зачем ты пришла?

Анна-Мари. Поговори со мной, Томас. Нехорошо будет, если ты со мной не поговоришь.

Томас. О чем мне с тобой говорить? Если ты не видишь сама, то слова не сделают тебя зрячей.

Первый. Вы слушали, как трепался майор, когда отправляли на позиции третий эшелон?

Третий. С души воротит от их красивых речей.

¹ Перевод В. Микушевича.

Пусть сами подставляют под пули голову, если это такое удовольствие издохнуть за отечество. Велика радость — вместо правой ноги принести домой Железный крест?

А н н а - М а р и. Ты не чувствуешь, как мне страшно, Томас? Неужели ты вытащил меня из воды для того, чтобы я теперь задохнулась?

В т о р о й. Выгружали первый эшелон, и вдруг — комбинированная воздушная атака. Трех убило, семейных ранило — еще до того, как они попали на фронт.

П е р в ы й. Я наверняка буду убит. Трижды мне снилось, будто я еду в каком-то открытом вагоне, лежу и не могу сдвинуться с места, а с обеих сторон на меня сыплется угольная пыль, все сильнее, сильнее. А я никак не могу пошевелиться.

А н н а - М а р и. Георг Гейнзиус возвратился с фронта. Он бы тебя без всякого труда освободил.

Т о м а с. Все та же песня.

А н н а - М а р и. Я предприняла кое-какие шаги. Тебя отпустят. Надо лишь захотеть.

Т о м а с. Я не хочу.

А н н а - М а р и. Я кое-что привезла тебе. Шоколад.

Т о м а с. Благодарю. У других тоже нет шоколаду.

А н н а - М а р и. Ты можешь дать и другим. Это Беттина посылает.

Т о м а с (*берет*). Беттина? Так.

А н н а - М а р и. Ты не проводишь меня немного? Здесь не поговоришь.

Т о м а с (*устало встает*). Ты меня мучаешь.

В т о р о й. Это жена его или любовница?

Ч е т в е р т ы й. Не знаю. Но, по-видимому, она ему гекупак.

Т р е т ь и й. Не гекупак, а гекуба. Это греческое слово. Означает: «на черта она мне сдалась».

Ч е т в е р т ы й. Спасибо, господин почтовый ящик.

В т о р о й. Только из-за того, что здесь Вендт, они над нами так измываются.

Т р е т ь и й. Как странно, что ему не скажешь «ты».

Ч е т в е р т ы й. «Величие и достоинство служат преградой к сближению» — как сказал Шиллингер.

Т р е т ь и й. Ему дьявольски трудно. Но он не увиливает, не жалуется, а стискивает зубы и молчит.

Первый. Иногда мне кажется, что он-то и мог бы сказать — зачем, чего ради?

Второй. Пока что от него только и есть пользы, что из-за него к нам придираются.

Совсем молоденький солдатик (*яростно*). Придираются? К вам? Ко мне придираются! Из всей роты только ко мне одному.

Четвертый. Погляди-ка. Грудной младенец раскрыл рот. Еще в утробе матери, а уже лопочет.

Третий. За что это к тебе придираются, сосунок?

Молоденький солдат. Могу вам сказать. За то, что я однажды застал фельдфебеля в офицерском нужнике, когда он там примерял монокль.

Четвертый. Вот еще обезьяна, вот еще проклятая образина!

Второй. Лезет в офицеры.

Третий. А тебе что там понадобилось, в офицерском нужнике?

Молоденький солдат. Чистить мне его велели. И вот с тех пор он ко мне придирается. (*Кричит.*) Не могу я больше. Сил нет. Я застрелюсь. Лучше сразу на тот свет, чем так вот медленно подыхать.

Общее замешательство.

Второй. Ну, ну, друг, успокойся.

Первый (*раздумывая, тихо*). По-моему, надо было бы сказать об этом Томасу Вендту.

Молоденький солдат. Вендт сам уже кое-что заметил. Он как-то так взглянул на меня, пожал мне руку. Я понял, что он все знает. Я — из деревни. Хоть разок бы еще взглянуть на поля, на землю, на деревья и небо, а отпуск я не получал ни разу. Никогда. Может быть, в это воскресенье... Да нет, ничего не будет. (*Пауза.*)

Четвертый. Тут у меня стихотворение.

Второй. Смешное что-нибудь? Вроде «Мумия и сыр»?

Четвертый. Ну, нет, не смешное. Это Вендт писал.

Первый. Вендт?

Многие. Вендт?

Четвертый. Называется «Песня павших».
Второй (*разочарованно*). Ну, значит, уже не смешное.

Голоса. Заткнись!

Четвертый.

Мы здесь лежим, желты, как воск¹,
Нам черви высосали мозг.
В плену могильной немоты
Землей забиты наши рты.
Мы ждем...

Первый (*про себя*). Мы ждем... Да, мы ждем!

Четвертый.

Плоть наша — пепел и труха,
Но как могила ни глуха,
Сквозь немоту, сквозь сон, сквозь тьму
Вопрос грохочет: — Почему? —
Мы ждем...

Первый (*вскакивает*). И он, значит, тоже спрашивает? И он, значит, тоже спрашивает?

Многие. Не мешай. Читай дальше!

Второй. Да это совсем не смешно.

Четвертый.

Пусть скорбный холм травой зарос,—
Взрывает землю наш вопрос...

Томас (*вернулся*). Что это? Почему вы замолчали? Вы говорили обо мне? Ну и продолжайте.

Третий. Он прочел ваше стихотворение.

Томас. Стихотворение? Вот как? Со стихотворениями далеко не уйдешь. Между прочим, друзья, почему вы со мной на «вы»? Читай дальше.

Первый. Пусть он читает. Он сам. Вы должны прочесть.

Молоденький солдат. Читай, друг. Прошу тебя.

Томас (*читает, без особой выразительности, со скрытой злобой*).

Пусть скорбный холм травой зарос,—
Взрывает землю наш вопрос...

¹ Перевод Л. Гинзбурга.

Он, ненасытен и упрям,
Прорвался из могильных ям.
Мы ждем.
Мы ждем. Мы только семена.
Настанут жатвы времена.
Ответ созрел. Ответ идет.
Он долго медлил. Он грядет.
Мы ждем.

Тишина.

Молоденький солдат (*тихо, робко*). Чего ж они ждут? Скажи нам.

Первый (*настойчиво*). Растолкуй нам, Томас Вендт, непременно. Зачем это — война и все такое. Видишь, ведь и мы все спрашиваем. Видишь, ведь и мы умираем. Ты должен нам растолковать, Томас Вендт.

Фельдфебель (*с шумом распахивает дверь*). Что здесь такое?

Солдаты стоят навтыжку.

Почему вы все скучились, как овцы перед грозой? (*Молчание. Молоденькому солдату.*) Эй, ты, сопляк. Что это тут опять за свинарник? Не положено, чтобы тюфяк виднелся из-под одеяла. Неряха. Чтобы этого больше не было.

Молоденький солдат (*боязливо*). Честь имею доложить, господин фельдфебель, одеяло слишком короткое. Я по-всякому старался.

Фельдфебель. Что? Противоречить? Вшивый мальчишка! Вот я тебя проучу! Твой воскресный отпуск — пиши пропало.

Томас (*тихо, но очень ясно*). Вы придираетесь к этому солдату, господин фельдфебель.

Фельдфебель. Что? Кто посмел?

Томас (*негромко*). Вы придираетесь к этому солдату, господин фельдфебель.

Фельдфебель. Ах, вы? Конечно, вы. Я вас подведу под военный суд. Бунтовщик. Скотина чертова. (*Выходит, хлопнув дверью.*)

Томас (*тихо*).

Он долго медлил. Он грядет.
Мы ждем.

Сад на вилле Георга. Поздняя осень. Вечер. Издалека доносятся песни играющих детей. Беттина.
Анна-Мари.

Анна-Мари. Ваши руки на солнце совершенно прозрачны, Беттина.

Беттина. Да, мои руки не изменились. Ты прелестно одета, Анна-Мари. Белое платье и флорентинская шляпа очень тебе идут.

Анна-Мари. Я собираюсь в Мариенклаузе.

Беттина. И Георг туда, кажется, поехал верхом.

Анна-Мари (*нерешительно*). Вот как.

Беттина. Что с Томасом?

Анна-Мари. Завтра будто бы отправляют на фронт.

Беттина. И ты только теперь говоришь мне об этом?

Анна-Мари. Я все сделала, чтобы его удержать. С ним не сговоришься. Он и не смотрит на меня. Может быть, все было бы по-иному, если бы он со мной поговорил.

Беттина. Чего хотят эти ребята у решетки?

Анна-Мари. У мальчика мяч залетел в сад. Он не решается войти.

Беттина. Открой ему, пожалуйста, калитку.

Анна-Мари идет.

Беттина (*напевает.*)

Играй, душа моя, и пой
Чудесной летнею порой.

Анна-Мари входит с маленьким мальчиком.

Мальчик. Тетя, это невеселая песенка.

Беттина. Подойди ко мне, маленький Иозеф.

Мальчик. Ты не можешь спеть что-нибудь веселое?

Беттина. Что, например?

Мальчик (*поет, точно петушок*).

Птички лесные
Поют так чудесно
В родимом краю.

Беттина. Чего только не умеет маленький Иозеф?
Как поживает мама?

Мальчик. Она получила письмо.

Беттина. От отца? С фронта?

Мальчик. Папа пишет, что там — настоящий сви-
нарник. И ему не дают отпуска. А дядя Стефан рас-
смеялся и сказал: вот видишь, этого хочет бог и кайзер.
И схватил маму вот так, крепко. И, должно быть, ей
было больно. А то она не ревела бы целую ночь.

Беттина. Кто это дядя Стефан?

Мальчик. Это кучер из пивоварни, где такие чуд-
ные лошадки. Иногда он мне позволяет покататься
верхом — гоп-гоп! Но раз он не хотел меня снять, и я
так испугался и закричал. А дядя Стефан смеялся и не
снял меня. А на руке у него красивые синие ри-
сунки. Но я его не люблю. Оттого, что мама меня всегда
высылает вон, когда он приходит. Что это с тетей?

Анна-Мари с трудом овладевает собой.

Беттина (*смотрит на нее; тихо*). А, вот что!

Мальчик. Дядя Стефан говорит, что папу убьют.

Беттина (*гладит его по волосам*). Маленький
Иозеф.

Мальчик. Ребята играют. Слышишь: «Заяц бе-
лый, куда бегал?» И я хочу с ними. Мне здесь не нра-
вится. Тетя сейчас заплачет, а ты тоже невеселая.

Беттина. Иди, иди, Иозеф. В следующий раз, как
придешь, получишь конфет.

Мальчик убегает.

Беттина (*тихо*). Вот, значит, как. Вот как.

Анна-Мари. Этого вы мне никогда не простите,
Беттина?

Беттина. Тебе?

У Анны-Мари.

Георг. Ты была с господином Шульцем в кабаре?
 Анна-Мари (*вызывающе*). Да.

Георг. С Шульцем!

Анна-Мари. Мне захотелось света, вина, танцев.
 Ты ведь не мог пойти со мной. Или не хотел.

Георг. Вчера вечером, когда мы читали с тобой новый том стихов, ты чувствовала малейшую шероховатость. На прошлой неделе, когда мы говорили о Томасе Вендте, у тебя были такие глаза, что я не смел до тебя дотронуться. А потом ты идешь с Шульцем в кабаре.

Анна-Мари. Я и сегодня с ним пойду, если будет охота. Ты что, запретишь мне?

Георг. Да.

Анна-Мари. А я все-таки пойду. Это и разлучило нас с Томасом, что я не всегда оставалась такой, какой он меня впервые увидел. Оставаться завтра такой же, как сегодня? Нет.

Георг. Анна-Мари...

Анна-Мари. Я не позволю производить над собой опыты. Бери меня такой, какая я есть. Я не позволю себя «лепить».

Георг. Кто же ты? Сегодня ты чувствуешь себя больной от дерзкого взгляда, а завтра ты бежишь с Шульцем на танцы.

Анна-Мари. Да. И это хорошо. И я не хочу, чтоб было иначе.

Георг. Прощай, Анна-Мари. (*Уходит.*)

Анна-Мари (*одна, медленно, тихо, упрямо*).
 И это хорошо. И я не хочу, чтоб было иначе.

Сад на вилле Георга. Начало лета.

Беттина (*одна, вздрагивает*). Кто там?

Георг (*входит*). Это я. Я шел по траве. (*Целует ей руку, тихонько гладит по волосам.*) Беттина.

Беттина. Ты вернулся?

Георг. Долго я отсутствовал?

Беттина. Для меня время тянулось долго. Очень было тяжело расставаться с ней?

Георг. Сегодня можешь лепить из нее все что угодно, а завтра все опять распадается. (*После паузы, резко.*) Ему следовало оставить ее такой, какой она была: тупой, довольной. Теперь она мечется от одного чувства к другому, бросается из одной крайности в другую; у нее нет точки опоры. Ужасно подумать, кому она сейчас бросилась на шею.

Беттина. Быть может, она была для него только образом. Ведь он во всем видит только образы. Быть может, она была для него только образом той косной массы, которой он хочет помочь.

Георг. Он сеет несчастье всюду, где появляется. Он одержимый, меченый.

Беттина. Разве тебе не жаль его? Подумай только, он валяется в какой-нибудь яме, под огнем, ожесточенный, безмолвный; вокруг — ни единой души, которая бы поняла его.

Георг. Он этого хотел. И ты еще защищаешь его, Беттина, после всего, что он причинил тебе.

Беттина. Он страдает больше, чем те, кого он заставляет страдать.

7

Воронка, вырытая снарядам. Знойное солнце.

Группа солдат, из них некоторые ранены.

Томас.

Первый (*раненый*). Пить! Пить!

Второй. Тебе нельзя пить. Не то взвоешь от боли.

Третий. Хоть бы стрелять начали. Эта тишина невыносима.

Четвертый. А там они спят теперь по разным кафе. Играет музыка. Газетчицы выкрикивают названия газет. Перед кино — давка. Молодые люди слопаются, курят и бегают за первыми вечерними прости-

тутками, дежурят у служебных входов в упивермаги, поджидают продавщиц.

Первый. А тут лежи и подыхай. Хороша справедливость. Ведь должен быть какой-нибудь смысл в том, что происходит.

Второй. Почему должен быть?

Третий. Вот и я так думаю. К черту эти розовые бредни. Надо быть трезвым. С девчонками фасон держать не штука. Вот когда каждую минуту тебя может прихлопнуть — тогда держи фасон.

Второй. Этого ввек не забыть: лежишь и ждешь смерти, а над тобой само небо горит.

Четвертый. Вы видели, какой смешной был лейтенант?

Третий. Хороший парень. Не слишком мозговитый. Жалко, что его так сразу накрыло.

Четвертый. Он упал навзничь. А монокль остался в глазу. Очень смешно.

Томас (*глядя перед собой, со злобой, тихо*). Выжечь все это у себя в мозгу. Запечатлеть в глазах, в ушах. Всосать в кровь.

Второй. «Пупсик, звезда моих очей». Я так люблю музыку. До смерти хочется вспомнить какой-нибудь хороший мотив. Не выходит. Все точно ветром сдуло. Только все та же избитая, глупая песенка. «Пупсик, звезда моих очей...» На зубах навязло.

Первый. Пить, пить, товарищи! (*Стонет. Что-то бессвязно лепечет.*)

Второй. Что с тобой, друг? Кончаешься? Может, сказать что-нибудь хочешь?

Первый. Что сказать? (*Судорога проходит.*) Чепуха. Если ты запомнишь, что я скажу, а я уже буду падалью, то что мне с того? Дружба? Ерунда. Любовь? Чуть. Отечество? Обман. Все это — бумажные деньги, сплошной обман.

Молоденький солдат (*ранен*). Когда мы были на отдыхе, я пошел к проститутке. Первый раз в жизни. Она разделась, она была тугая, круглая. У меня дыханье сперло. Я взял да убежал, она мне вслед

хохотала. И вот я умираю, так и не узнав женщины.

Томас (*про себя, тихо*). Я не умру. Я вернусь, чтобы все увидели то, что я вижу. Я заставлю их видеть.

Третий. Никогда не знал женщины этот малыш. Скажи пожалуйста! Когда лежишь и в тебе копошатся черви и ты превращаешься в прах, что толку, если у тебя было не меньше женщин, чем у кронпринца?

Четвертый. Умереть от жажды. Страшное дело. Надо же было, чтобы дьявол нас занес как раз на южный фронт. Досаднее всего, что приходится подыхать у этих макаронников.

Третий. Поглядите-ка на Вендта. Так ничего от него и не дождались. Трубили о нем в газетах, пили за его здоровье, кричали, что он необыкновенный парень. А он лежит и подыхает, и ни одной собаке нет до него дела.

Четвертый. И даже если бы у них хватило благородства не брать его и позволить ему писать свои стихотворения и произносить свои возвышенные речи, все равно, и он бы ничем не помог. Ни один человек в мире не может помочь.

Томас (*про себя, сквозь зубы*). Я не умру. Хорошо бы умереть. Но я не имею права. Я должен рассказать миру правду. Я должен перестроить мир.

Первый. Проклинать? Плакать? Молиться? Или... а-а...

Третий. Язык держать за зубами, тысяча чертей! Мутит от этой вечной трескотни. Просто голова кругом идет. И всегда долговязый заводит волюнку. Не желаю больше слушать весь этот вздор.

Второй. Мне кажется, товарищ, тебе нечего кипиться.

Третий. Почему?

Второй. Он уж на том свете, по-моему.

Четвертый. Бедняга. Самое лучшее для него.

Третий. Вот и трескотне конец. Теперь хоть подохнуть можно будет спокойно.

Кабаре. Господин Шульц, Анна-Мари, господин из австрийского посольства. Мужчины, девушки. Со сцены доносится музыка модных танцев и ритмическое шарканье ног танцующих.

Господин из австрийского посольства (*аплодирует двумя пальцами*). Пр-э-э-лестно! Пре-э-э-лестно!

Анна-Мари. Ну и лодыжки у этой козы. С такими лодыжками не лезут танцевать. Да еще горб на спине.

Господин Шульц. Да, Анна-Мари, у нас насчет этого ассортимент лучше. (*Хлопает ее по спине.*)

Какой-то господин. В моем лице вы видите величайшего неудачника нашего столетия. До войны я жил в тропиках. Десятки лет занимался проблемой, как приспособить тропики для европейцев. Я изобрел систему центрального охлаждения для отдельных домов и целых кварталов. Вдруг... эта проклятая война, пришлось все бросить и вернуться. Что же теперь прикажете делать с моим центральным охлаждением здесь, в Центральной Европе, где даже летом требуется паровое отопление!

Анна-Мари. Ну, что это за танцы? Все как деревянные, как калек. Мертвые они, что ли? (*Кельнеру.*) Капельмейстера сюда!

Тайный советник. Что вы задумали, сударыня?

Анна-Мари. Мне нужен настоящий темп.

Господин Шульц. Только подумать, милостивые государи и государины: второй год мировой войны! Икра, шампанское, цветник прелестных дам, музыка, танцы, на фронте доблестные герои, сыны отечества, грудью своей защищают это отечество от вторжения врага. Чудесно, если вдуматься. Я и в самом деле начинаю верить в провидение. Словечко: наш великий небесный союзник,— это вам не шуточки. Выпьем же за великого союзника.

Пьют.

Кельнер, остудить еще шампанского.

Анна-Мари (*вошедшему капельмейстеру*). Сыграйте еще раз то же самое. Но в три раза быстрее. Я буду танцевать.

Тайный советник. Восхитительная идея, сударыня!

Анна-Мари. Идемте! (*Уходит с одним из мужчин.*)

Господин Шульц. Вакхические порывы приветствую. Тем более что в ней есть нечто от мадонны — и это частенько дает себя знать. Сильный привкус Гретхен, «Садовой листвы», «Сборника практических советов для женщин», «Журнала для домашних хозяек». В общем, предпочитаю тип Саломеи типу Лулу. А ваше мнение, многоуважаемый граф?

Господин из австрийского посольства. Конечно, дорогой господин фон Шульц, я считаю, что самое важное в девушке — темперамент. Только не рыхлая сдоба. Я — за стиль Кокошка.

Господин Шульц (*шумно*). Совершенно верно. Совершенно верно. Ваше здоровье, граф!

Тайный советник. Танцует очаровательно ваша малютка.

Господин Шульц. Сначала девочка никуда не годилась. То и дело впадала в возвышенный тон. Была близка с Томасом Вендтом, бунтарем. Остались кой-какие пережитки. Но сейчас она у меня великолепно обьежена. Не правда ли?

Тайный советник (*не спускает с нее глаз*). Да. В девочке чувствуется порода. Черт возьми! Вот это танец — так и пробирает тебя всего.

Господин Шульц. Интересуетесь? Желаете, чтобы она как-нибудь поужинала с вами? А может быть, предпочитаете к ней на чашку чая? Устрою с радостью. Оборудовал ей восхитительную квартирку. На Аугсбургерштрассе. Бывший владелец ее — мой должник. Офицер. Убит на фронте. Всю его рухлядь приобрел с аукциона.

Тайный советник. Очаровательно, честное мое слово. В высшей степени отрадное явление. Оазис в пустыне нынешнего бытия.

Господин Шульц. Нуждаюсь в такой отраде в

немногие минуты досуга. Почтительнейше прошу взвесить: мы, организаторы тыла, всегда наготове. Нервы вечно напряжены. Неусыпные заботы, ответственность. Например: в твоём распоряжении железо, сахар, селитра, глицерин. Что делать? Поставлять сковородки домашним хозяйкам или Гинденбургу — пушки? Сахар для варенья, селитру для копчения, глицерин для женских ручек или все это Людендорфу на военные нужды? Проблема! Дилемма! Флюгер. Геракл на распутье.

Кстати, рассчитываю на небольшое одолжение, господин тайный советник. В вашем ведомстве работает один господин. Он во что бы то ни стало хочет вырвать для потребительских надобностей пару тысяч тонн сахара, реквизированных мною. Чуть! Пусть народ поглощает немножко меньше повидла. Главное, чтобы наши доблестные фронтовики и так далее.

Ну-с, так когда же Анна-Мари будет иметь честь видеть вас у себя?

Тайный советник. Вы серьезно хотите это устроить? Чудесно! Чудесно! А что касается сахара, то мы уж как-нибудь урезоним нашего друга народа. Нельзя же вечно потворствовать излишества черни!

Анна-Мари (*возвращается, залпом выпивает шампанское*). Горю!..

Тайный советник. Чудесно. Монада. Врожденная гармония в движениях.

Господин из австрийского посольства (*аплодирует двумя пальцами*). Прэ-е-лестно. Прэ-е-лестно. Стиль Кокошка.

Господин Шульц. Одобряю. Темп. Движение. Мотор в крови.

Изобретатель центрального охлаждения (*снова начинает рассказывать*). О невезении я могу сложить целую поэму. До войны я жил в Бангкоке... приспособить тропики для европейца... система центрального охлаждения... а теперь, в Центральной Европе...

Шансонетка в костюме сестры милосердия. Поет куплеты. Раненый появляется. Бледный, очень молод. Оглядывается. Нерешительно подходит к соседнему столику.

Кельнер (*враждебно*). Что угодно господину?
Раненый. Кружку пива, пожалуйста.
Кельнер. Пива у нас нет. Только шампанское,
Шансонетка (*поет припев*).

Да, красный крест мой стяг¹.
Да, я решила так.
Да, красный крест,
Да, красный крест,
Ура, ура, ура!

Господин из австрийского посольства
(*аплодирует двумя пальцами*). Прэ-э-э-лестно. Прэ-лестно.

Шансонетка поет вторую строфу.

Раненый (*медленно, в раздумье*). Ну что ж, тогда, пожалуй, придется уйти.

Анна-Мари (*с момента появления раненого все время с интересом следит за ним*). Посмотрите-ка.

Господин Шульц. Что там такое? Ну да, конечно. Никакого такта у этих парней. Одичали на фронте. Мозолят глаза своим видом. Для чего, я вас спрашиваю, оплачиваются все эти дорогие госпитали и лазареты?

Анна-Мари. Я не хочу, чтобы он так ушел.

Тайный советник (*пылко*). Ну, конечно же, конечно же, мы позовем нашего воина сюда, сударыня. Сочувствие раненым героям — высшая добродетель немецких женщин.

Господин Шульц (*пожимает плечами*). Рецидив настроений в стиле мадонны. (*Тайному советнику.*) Как вам угодно. Эй, вы! Фронтовик. Камрад! Герой! Присаживайтесь к нашему столу.

Раненый оглянулся и, не останавливаясь, идет дальше.

Анна-Мари (*догоняет его почти у дверей; настойчиво, тихо*). Мы не хотели вас обидеть. Мы очень просим вас.

¹ Перевод В. Микушевича.

Раненый. Что ж, если это так... (*Следует за ней.*)

Господин Шульц. Ну, первым делом хорошенько смочить горло. Вам, надо полагать, немножко странно здесь, а? После грохота и мерзости фронта — вдруг мирные, солидные бюргеры уютно сидят за стаканом вина. Цветник красивых женщин. Песенка. День для труда, вечер для отдыха. Вечерний досуг. Ну-с, а теперь расскажите нам что-нибудь вы.

Раненый. Нет. Мои рассказы здесь не к месту. Я не стану ничего рассказывать, пока эта девка там распевает.

Неловкое молчание.

Господин Шульц. Ого-го! Вот это называется — рубить сплеча. (*Шумно.*) Люблю гордых испанцев. Не хотите рассказывать — не надо. В конце концов — зачем отбивать хлеб у военных корреспондентов?

Пауза. Слышно лишь пение шансонетки.

Шансонетка.

Да, красный крест мой стяг.
Да, я решила так.
Да, красный крест,
Да, красный крест,
Ура, ура, ура!

Раненый. Я лучше пойду. Я только мешаю.

Тайный советник. Что вы, что вы. Герой — всегда желанный гость.

Господин Шульц. Даже если он лишен салонных манер.

Анна-Мари. Я вас не хотела обидеть. Верьте мне, прошу вас. (*Протягивает ему руку.*)

Раненый (*берет ее руку*). Благодарю. (*Уходит.*)

Господин Шульц (*качает головой*). Сумасшедший дом.

Тайный советник. Очаровательно. Очаровательно. Подлинная немецкая женственность.

Шансонетка (повторяет припев).

Красный крест сюда,
Да, этим я горда.
За красный крест, за красный крест
Ура!..

Господин из австрийского посольства
(аплодирует двумя пальцами). Прэ-э-э-лестно. Прэ-э-э-лестно.

9

Крестьянский двор. Отец Томаса — старый крестьянин, одет в полугородской костюм; суровое, недоверчивое лицо.
Старик чинит деревянные грабли.

Анна-Мари (входит). Вы — господин Матиас Вендт?

Отец Томаса. Да.

Анна-Мари. Я знакома с вашим сыном.

Отец Томаса. Приходит много людей, которые знают моего сына.

Анна-Мари. Здесь, значит, он родился. (Осматривается. Широкий холмистый ландшафт. Вдали — смутные очертания гор.)

Отец Томаса (с мягкой насмешкой). У нас тут и глядеть не на что, фрейлейн.

Анна-Мари (взглядывает на него). Не любопытство привело меня сюда.

Отец Томаса. Было бы умнее, если бы он остался здесь. Скот не бывает благодарным или неблагодарным. Пашня не бывает благодарной или неблагодарной. Люди же всегда готовы убить того, кто хочет им добра.

Анна-Мари. Он в списках пропавших без вести. Я очень беспокоюсь.

Отец Томаса. Беспокоиться нечего.

Анна-Мари. Вы что-нибудь знаете о нем?

Отец Томаса (тихо, ровно). Я его вижу.

Анна-Мари. Вы его видите?

Отец Томаса. Да, иной раз. Томас лежит на дне

глубокой ямы. Он бледен и не может шевельнуться. Время от времени сверху скатываются комья земли.

А н н а - М а р и (*наклонившись вперед, напряженно слушает*). Вы это видите?

О т е ц Т о м а с а. Он не один. Но никто не может ему помочь. Он шевелит губами. Он говорит...

А н н а - М а р и. Что он говорит?

О т е ц Т о м а с а. Он говорит: «Не забывайте». (*Безразлично.*) Ну, мне пора. (*Берет грабли.*) До свиданья, фрейлейн. (*Удаляется.*)

А н н а - М а р и. На эти деревья он лазил, по этим лугам он бегал, срывал, может быть, цветок, от которого произошел вот этот. О Томас, я могла бы умереть за тебя, когда тебя нет со мной. А когда ты со мной, у меня нет ни одного слова для тебя.

10

Улица. Торопливо идущие люди.

Р а н е н ы й (*стоит на углу*). Все куда-то торопятся, все чем-то заняты. Как ни в чем не бывало. На уме — дела, женщины, развлечения. Разве эти люди не знают, что все они у меня в долгу? Ну, не наглость ли это? Они смотрят сквозь меня, точно и я — частица этой улицы. Подойти бы вон к тому толстяку с самодовольной рожей, ткнуть его в пузо: «Эй, дружок. Руку у меня оттяпали, видите? Вы должны мне руку». Воображаю, как бы он вытаращил на меня глаза!

А н н а - М а р и приближается.

Р а н е н ы й (*установившись на нее*). Заметит ли она меня? Нет. И она, конечно, пройдет мимо.

А н н а - М а р и (*замечает, останавливается, колеблется, быстро подходит*). Почему вы стоите здесь? Ждете кого-нибудь?

Р а н е н ы й. Да, жду.

А н н а - М а р и. Жаль. А я хотела попросить вас проводить меня. Я должна вам кое-что сказать.

Р а н е н ы й. Я не жду кого-нибудь определенного.

А н н а - М а р и (*про себя*). У него лоб Томаса. Вы проводите меня?

Р а н е н ы й. Вы хотите, чтобы я пошел с вами?

А н н а - М а р и. Да.

Р а н е н ы й (*оглядывая свою потертую военную форму*). Вот в таком виде мне можно пойти с вами?

А н н а - М а р и. Да, конечно. Идемте.

Р а н е н ы й (*возбужденно*). Подумайте только, какой я дурак. Я стоял здесь и смотрел на людей и думал: люди злы, думал я, люди неблагодарны, бессовестно неблагодарны. Но вы посмотрите на ту девушку. Какие у нее добрые, веселые глаза. А этот седой господин, верно, ни одного пиццего не пропустит, чтобы не подать ему. Люди вовсе не злы. Только загнанны, только забот у них ужасно много. Люди друг другу помогают, люди добры. Надо только поближе к ним присмотреться.

А н н а - М а р и (*улыбаясь его горячности*). Ну, конечно, конечно. Идемте же.

11

Южная Италия. Пустынный ландшафт. Ширь. Вдали море. Знойное солнце, вибрирующий воздух. Античный храм. Видны только высокие ступени и подножие облупившихся колонн, землистосерых, огромных: все это — на фоне глубокой синевы неба.

Т о м а с (*сидит на ступеньках, один, сгорбившись, затерянный в огромном просторе ландшафта*). Если ты обрек меня на деяние, боже, зачем ты связал мне руки, забросил сюда, окружил меня соблазнами? Здесь слышен голос моря, здесь земля звенит, здесь кровь моя пульсирует в ритме стиха. Я не могу заглушить свои песни, они звучат все громче. Глаза мои наполнены страданием тысяч. Но я не пал духом. Я проникся муками каждого солдата. Ибо ты так повелел, боже. Неужели же все это напрасно?

Я не могу больше вынести этой звенящей тишины. Она растворяет крик, живущий во мне, крик миллионов, которым я нужен. То, что я с такой мукой вырвал из

моего сердца — певучая красота, равнодушная, безжалостная, — она опять со мной.

Унеси меня из этой страны, боже. Открой мне путь к деянию, к которому ты приговорил меня. Защити меня от меня самого, боже.

Незнакомый пожилой господин (*появляется на нижней ступени храма. Одет во все белое. Носит темные очки*). Вы из немецких военнопленных?

Томас. Да.

Незнакомец. Почему вас в числе других не послали на водопроводные работы?

Томас. Я болен.

Незнакомец. И вас никуда не переводят из этой малярийной местности?

Томас. Я надеюсь, что вскоре буду обменен. Вы — член следственной комиссии?

Незнакомец. Нет. Я произвожу здесь раскопки.

Томас. Во время войны?

Незнакомец. Прошлое остается все тем же прошлым, несмотря на войну.

Томас. Чудовищное настоящее обрушилось на все живое, а вы роетесь в прахе прошлого?

Незнакомец. В этих местах стояли большие города, велись сражения, государства возникали и рушились, бурлило тщеславие, стонали рабы, сверкало искусство, наживалась алчность, жажда деятельности толкала людей за моря. А для чего? Для того, чтобы я стоял здесь, растирал между пальцами щепотку пыли и размышлял.

Я не хочу быть одним из миллиардов, которые для будущего человека явятся щепоткой пыли и пищей для минутного размышления; я предпочитаю быть тем, для кого эти миллиарды жили.

Томас. Что это? Бред? Вы, сударь, усвоили себе философию, которая парализует всякое хорошее побуждение. Борьба против войны — это не бессмыслица! Она не может быть бессмыслицей!

Незнакомец (*прислонившись к колонне; тихо*). Действие загрязняет душу. Лишь созерцание — благо.

Томас. Я не мог бы жить, если бы это было так. Все во мне кричит: иди и действуй!

Незнакомец. Видите ли, молодой человек, и я когда-то «действовал».

Я входил в правительство одной из наших колоний. Что это значит, здесь, в этой части света, имеют лишь слабое представление. Тамопные правители обладают большей властью, чем любой король в Европе. Я стоял перед вопросом — посылать или не посылать войска для покорения одного ненадежного горного племени. Я послал войска, я начал войну. Тысячи людей погибли. Но я победил. Край был усмирен. В нем стали насаждать цивилизацию: построили железные дороги, школы, больницы, комфортабельные гостиницы. Был организован транспорт, торговля, лучшие памятники искусства отправлены в европейские музеи... *(Он умолкает — неподвижная, белая фигура на фоне одной из колоссальных коричневых колонн. Тишина. Зной.)*

Томас. А дальше?

Незнакомец. Удовлетворения, однако, я не чувствовал. Я подал в отставку и вернулся в Европу.

Я сидел в своем парке, прекраснейшем парке, унаследованном мною от многих поколений. Я сидел и размышлял. Все мои предки были энергичными людьми. Среди них были воины, мореплаватели, крупные государственные деятели. Школьники заучивают их имена, вписанные *(с мягкой иронией)* «в анналы истории», как принято говорить. Не удивительно, стало быть, что я предпринял упомянутую экспедицию. *(Снова умолкает.)*

Томас, сгорбившись, сидит неподвижно.

Спустя три года я сделал удивительное открытие.

Горцы, о которых я рассказывал, посылали в Европу послов. Без моего ведома. К очень высокопоставленному лицу. С трепетной просьбой — отменить мою карательную экспедицию. Высокопоставленный господин был растроган и собирался предпринять известные шаги, ибо в ту пору он читал филантропические книги. К тому же судьбой горцев заинтересовалась и некая чувствительная дама, близко стоящая к означенному господину. Но господин был еще и спортсменом, а в эти дни яхта его потерпела поражение на гонках. Это по-

глотило его внимание, и он упустил из виду дело горцев или даже совсем забыл о нем.

Т о м а с. Что же было дальше?

Н е з н а к о м е ц. Ничего не было.

Будь сила ветра в тот день на одну десятую балла больше или меньше, сманеврируй команда яхты чуть ловчее,— и я бы не двинул моей карательной экспедиции, не погибли бы тысячи людей, не были бы построены железные дороги, ребят этого народа не посылали бы насильно в школы, музеям пришлось бы обойтись без драгоценных произведений искусства. Я, возможно, остался бы на моем посту в колониях, «действовал» бы уже не столь энергично и был бы, следовательно, лишен удовольствия познакомиться с вами.
(Прикасается к шляпе.)

Т о м а с. Кто вы?

Н е з н а к о м е ц. Некто, изменивший лицо мира в результате простой случайности. (Кланяется и уходит.)

12

У Анны-Мари.

Убранство комнаты нарядное, несколько кричащее, в крайню современном вкусе.

А н н а - М а р и (входит с раненым). Идемте. Не бойтесь. Я вас не съем.

Р а н е н ы й (нерешительно следует за ней). Вы подобрали меня на улице. Вы меня не знаете, вы добры ко мне. Какую цель вы преследуете?

А н н а - М а р и. Я чувствую, что с вами поступили несправедливо. Это все.

Э ко н о м к а появляется на ее звонок.

Луиза, подайте нам что-нибудь вкусное. Холодное мясо, сыр, торт — все, что есть в доме. Чай я приготовлю сама.

Р а н е н ы й (с внезапной подозрительностью). Богатые произносят пышные речи, похлопывают нас по

плечу, угощают на вокзалах жидким кофе и дешевыми сигаретами. Издеваются они над нами, что ли? (*Настойчиво.*) Ведь вы не такая, правда?

А н н а - М а р и. А если бы я была такой?

Раненый с ужасом смотрит на нее, собирается встать.

(*Смеется над его наивным испугом.*) Успокойтесь. Просто вы мне нравитесь.

Р а н е н ы й. Извините. Но богачи обычно соловьем разливаются: ты, мол, и герой, и кровь свою проливал, и всякое такое. А когда протягиваешь руку за помощью, никого дома нет. Все это так бессмысленно. Ты — калека, женщины даже не хотят смотреть на тебя, сам себе становишься в тягость. За что? Кто теперь верит в отечество? Вы верите в отечество?

А н н а - М а р и. Может быть, в этом все-таки есть какой-то смысл. Я помню одно стихотворение. Называется «Мы ждем».

Р а н е н ы й. А, знаю. Это Томаса Вендта. Да. Хорошее стихотворение. Но иной раз, когда вспомнишь, что ты калека, — никакое стихотворение не помогает.

А н н а - М а р и. Ну вот. Чайник закипел. Посмотрим, что нам принесла Луиза. Гм. Неплохо. (*Ест. Протягивает ему.*) Закусывайте.

Р а н е н ы й. Здесь так уютно, так хорошо. Красивые вещи вокруг. (*Показывая на маленькую статуэтку.*) Как этот дикарь язык высунул!

А н н а - М а р и. Это редкая вещь. Привезена с Явы.

Р а н е н ы й. Странно. Чего только не бывает на свете. Вот сидишь — и около тебя красивая девушка, и она кормит тебя всякими вкусными вещами. Странно.

А н н а - М а р и. Сколько вам лет?

Р а н е н ы й. Девятнадцать минуло. Какие у вас белые руки. Я хотел бы дотронуться до них.

А н н а - М а р и. Почему вы этого не делаете?

Р а н е н ы й. Вы хотели мне что-то сказать.

А н н а - М а р и. Да. Хотела. (*Гладит его по волосам.*) Но вы дрожите весь.

Р а н е н ы й. Я дрожу?

Анна-Мари встает. Ходит взад и вперед.

(Следит за ней взглядом.) Я никогда не знал настоящей девушки. Только таких — с улицы. В этом городе живет одна девушка, она когда-то любила меня. Но такой, каким я стал, я все не могу решиться пойти к ней. Вот уже шесть дней... *(Умолкает, не спуская глаз с Анны-Мари.)*

А н н а - М а р и. Почему вы замолчали? Как вас зовут? Р а н е н ы й. Пауль.

А н н а - М а р и *(стоит перед зеркалом, старается поймать в зеркале его взгляд, медленно.)* Когда ты меня наконец поцелуешь, Пауль?

Раненый целует ее шею, плечи, грудь.

Г о с п о д и н Ш у л ь ц *(входит с тайным советником)*. Простите. Мы помешали.

Т а й н ы й с о в е т н и к. Тысячу извинений. Следуя настойчивому приглашению господина Шульца...

Р а н е н ы й. Кто этот господин? Что угодно этому господину? Какие права у этого господина? Неужели вы тоже из... из таких?

А н н а - М а р и *(Шульцу)*. Как вы смели без предупреждения?

Г о с п о д и н Ш у л ь ц. Прошу без кинодрам, мой ангел. Перед господином советником нам ведь стесняться нечего. Ну, словом, прежде всего сядем. *(Садится.)* Ситуация, по-моему, достаточно ясна. Я позвонил, не застал тебя: пора пить чай, мы сами себя пригласили. Твой гость нисколько нам не мешает. Правильно? Можно ли что-нибудь возразить против такого великодушного толкования вещей? *(Раненому.)* Кстати, ваше лицо мне знакомо. Ага! Наш гордый испанец из «Скачущего кенгуру». Феноменальная память на лица, верно? А теперь давайте чай пить. Так-то.

Р а н е н ы й. Я ничего не понимаю. Это страшнее, чем на фронте. Я ничего не понимаю.

Г о с п о д и н Ш у л ь ц. Незачем все понимать, почтеннейший. Знание — смерть или что-то в этом роде, как говорит наш великий национальный поэт. Сначала чай, затем философия, говорю я, Густав-Лебрехт Шульц, крупный промышленник из Мюльгейма-на-Руре. Великолепна эта яванская статуэтка. Не правда

ли, дорогой советник? Привез ее как-то из небольшого кругосветного путешествия.

А н н а - М а р и. Хватит. Не желаю больше. Ты тогда толкнул меня в грязь. Теперь я на верной дороге. То, что я сегодня сделала и хотела сделать, это хорошо. Назад возвращаться не хочу. Уходи.

Г о с п о д и н Ш у л ь ц. Гром среди ясного неба. Сорокадвухсантиметровый снаряд. Господин советник, подтвердите: я вел себя абсолютно по-джентльменски. Светский человек извиняет капризы. Смотрит сквозь пальцы на игру нервов. Но теперь точка. Я не желаю превращать мою тускуланскую виллу в бедлам. Точка.

А н н а - М а р и (*горячо*). Это не каприз. Это игра нервов. Я тебя знаю. Ты готов всякое доброе побуждение обратить в гнусность, совесть назвать игрой нервов. До чего же ты мне противен! Я привела к себе этого юношу потому, что мне жаль его, потому что я хотела сделать ему добро, потому что каждая минута радости, которую я ему дам, — это что-то хорошее, а каждая минута пребывания с тобой... срам. Потому что я хочу вырваться отсюда. Потому что я хочу назад — к Томасу Вендту.

Г о с п о д и н Ш у л ь ц (*посвистывая сквозь зубы*). «О чем поешь, соловушка». Не любовная историйка, значит, а общественный подвиг, этика, гуманность, Томас Вендт. (*Короткая пауза, затем отрывисто, энергично.*) Спасибо. Этим меня не соблазнишь. Теперь такие вещи опасны. Бунт — подавлять в корне.

Стало быть, фрейлейн, вам угодно, чтобы я именно так расценивал ситуацию? (*С часами в руках.*) Даю две минуты на размышление. Затем делаю выводы. Понятно?

А н н а - М а р и. Не нуждаюсь в ваших двух минутах. Что сказано, то сказано.

Г о с п о д и н Ш у л ь ц. Как вам угодно. Контракт с домовладельцем заключен на мое имя. Квартиру вы освободите.

Т а й н ы й с о в е т н и к. Помилуйте, дорогой господин Шульц...

Г о с п о д и н Ш у л ь ц. В течение трех часов. Платье, тряпье можете забирать, мебель, драгоценности остаются здесь.

Тайный советник. Милостивая государыня, я безутешен. Если я...

Анна-Мари. Мне ни к чему эти три часа. Я уйду немедленно.

Раненый (*тяжело ступая, идет к двери*). Я...

Анна-Мари. Мы пойдем вместе, Пауль. (*Уходит с раненым.*)

Господин Шульц. Пауль. Гм. Этика мчится на всех парах.

Тайный советник. Чрезвычайно неприятно. Как могли вы такое восхитительное создание просто взять да выпхрунуть?

Господин Шульц. Можете подобрать это создание. Но не советую. У меня большой опыт с этими высокопоставленными женщинами. Утомительная штука.

Тайный советник. Я уже почти ничему не удивляюсь. Но эта девочка — как она стояла здесь. Возмущенная добродетель. В высшей степени волнующая картина, крайне привлекательно. (*Молчание.*)

Господин Шульц. Давайте-ка сядем. Ведь мы пришли сюда чай пить. Так и сделаем. (*Звонит.*) Луиза, поджарьте свежие гренки.

Экономка уходит.

Впрочем, минутку. (*У телефона.*) Подстанция? 4-16-57. Алло! Фрейлейн Лиана собственной персоной? Говорит ягненочек. Да, ягненочек. Слушай, моя киска, спляши танец диких и восхвали господа бога нашего и твоего ягненочка. Что случилось? Не рехнулся ли я? Немножко. Дело в том, что я только что снял для тебя восхитительную квартирку. Аугсбургерштрассе. Спальня бидермайер. Гостиная Людовик Шестнадцатый, кухарка, пылесос, горячая вода, аппетитная экономка, телефон у кровати, прелестная ванная. Можно немедленно въехать, да. Золотой мальчик, правда? Вашу благодарность, мадам, я сам себе возьму. До свиданья. (*Кладет трубку. Задумчиво.*) Ну, что ж. Белокурые волосы больше подошли бы к обоям, чем темные. Будь мирное время, я взял бы себе английскую гёрл. Всем теперь приходится страдать. C'est la guerre. Вам ром или сливки, господин советник?

Южная Италия. Пустынный ландшафт. Ширь. Вдали — развалины храма. В воздухе веет лихорадкой. Площадка перед бараками немецких военнопленных. Вечереет. Кругом пленные — слабые, отупевшие, измученные.

Учитель гимназии. Видите там парусное судно? Оно, наверное, плывет в Грецию.

Лавочник. Вечно это море, вечно это солнце — глаза даже начинают болеть.

Кельнер. Как убить время? В скат, что ли, пойти срезаться? Или хвосты ящерицам рубить?

Лавочник. Малярия в воздухе. Нас двадцать три человека. Было пятьдесят семь, когда нас сюда пригнали. А настоящее лето и с ним настоящая малярия только начинаются.

Шестнадцатилетний. Самое скверное, что бабы нет. Ночью, когда никак не заснешь и москиты так тоненько, как стеклышко, звенят над ухом и горит все тело, — это просто отвратительно. Зачем я пошел добровольцем? В конторе была ужасная тоска. Снимать копии с писем, выписывать счета — изо дня в день, изо дня в день. Но такой одуряющей скучищи, как здесь, даже в конторе не было.

Учитель гимназии. Тебя, Вендт, по твоему состоянию с наступлением лета наверное отошлют назад.

Томас. Я тоже думаю, что меня скоро освободят.

Кельнер. Они это сделают — уже ради одного того, чтобы досадить нашему милому отечеству. Его величество и генерал Людендорф с удовольствием предоставили бы тебе дополнительно летний отдых в Италии. Везет же человеку. *(Вздыхает.)* Завтра опять ползать на коленях вдоль канала. Это будет стоять нам немало поту. Я с удовольствием заболел бы легким расстройством желудка, только бы не гнуть колени над водопроводом.

Лавочник. Лавка наша разваливается, жена работает до изнеможения и все-таки не может справиться со всем.

Дети растут без отца, дичают. Дети! Девочка принесла великолепные отметки. Мальчику ученье трудней дается. Особенно с тех пор, как у них начали проходить греческий.

Молчание. Издалека слышна пастушечья свирель.

Учитель гимназии. По-эллински. Что ни говори, Вендт, а есть какое-то утешение в том, что сидишь здесь, на земле Гомера.

Кельнер. Что и говорить, знатная пустыня. Но одной местностью сыт не будешь. Если бы не голод, не тиф, не блохи, не грязь, не скверная вода, не жара и не малярия — здесь еще можно было бы кое-как жить.

Учитель гимназии. Завтра, когда ты пойдешь к развалинам храма, Вендт, захвати-ка моего Гомера. Ты лучше, чем кто другой, почувствуешь в этих стихах море, и солнце, и масличные деревья. Мне не нужно лучшего утешения в смертный час, сказал однажды Гумбольдт, чем слышать стихи Гомера, даже из списка кораблей.

Томас. Его, однако, не трудно было утешить.

Учитель гимназии. Тот же Гумбольдт говорит: «Империи рушатся, конституции истлевают, а прекрасный стих живет вечно».

Томас. Этот человек был министром. Гете тоже был министром. Но никто никогда не слышал, чтобы духовная культура народа в его герцогстве была выше, чем в других. Народ остался таким же темным, каким был раньше, и по-прежнему говорил на своем саксонском диалекте.

Кельнер. Эй, ты, профессор, у этих самых греков тоже было так много блох? Что, если Ахиллес, Лукреция, Акрополь все время почесывались, как мы? Смешно, а?

Учитель гимназии. Ты не можешь не чувствовать, Вендт, дыхание этой земли. Нигде красота так глубоко не проникала в человека, как здесь. Сиракузяне отпустили на волю пленных афинян, потому что те пели в каменоломнях хоры Эврипида.

Кельнер. Начни я петь, нынешние итальянцы вряд ли отпустили бы меня на все четыре стороны. А? Вряд ли.

Томас. Не могу я утешаться тем, что где-то в прошлом было величие духа, была красота. Сегодня — вот моя задача. Мой день — сегодня. Сегодня я и должен действовать.

Шестнадцатилетний. Опять пришли эти две девушки. Хоть бы сегодня разговорить их!

Две молоденькие девушки — местные жительницы ходят; босые, на головах глиняные кувшины.

Учитель гимназии. Buona sera, signorine ¹.
Первая девушка (*робко*). Buona sera ².

Вторая девушка смущенно хихикает.

Учитель гимназии говорит с ними по-итальянски.

Шестнадцатилетний (*глядя жадными глазами*). С каждым днем их бедра словно становятся пышнее. Сколько лет им может быть?

Лавочник. Самое большее — четырнадцать.

Кельнер. Что они говорят?

Учитель гимназии. Они спрашивают, верно ли, что у нас зимой волки бегают по улицам.

Кельнер. Само собой. В прошлую зиму я сидел у Ашингера в пивной, вдруг вбегает волк и дочиста съедает мои сардельки, точно их и не было. Я, конечно, потребовал, чтобы мне сейчас же вернули мои пфенниги, которые я уплатил за них.

Учитель гимназии. Им жаль, что у них только два апельсина. А chі, signorina? ³

Первая девушка (*указывая на шестнадцатилетнего*). А chistù. Е così giovane ⁴.

¹ Добрый вечер, синьорины!

² Добрый вечер.

³ Кому их отдать, синьорина?

⁴ Вот этому, он так юн.

Вторая девушка (*указывая на Томаса*).
E a chiddù. E così triste. A rivederci, signori ¹.

Уходят.

Шестнадцатилетний (*жалобно*). Опять ушли. Девочки! Девочки! Как они покачиваются. У высокой сквозь порванное платье видны волосы под мышкой.

Кельнер. Почему мне не досталось апельсина? Почему именно этим двум?

Учитель гимназии. Они сказали: «Ему, он так юн. И ему, он так печален».

Лавочник. Печален. А мне что сказать? У меня больше причин быть печальным. Жена у него, что ли? Дети? Лавка, которая хиреет? (*С растущим волнением.*) Я этого больше не выдержу. Вечно это дурацкое солнце. Воздуха, свежего воздуха! Набрать полный рот свежего воздуха. Здесь задыхаешься. Здесь слепнешь и дуреешь. Мозг закипает от этого зараженного воздуха. Убейте меня. Если в вас сохранилась крошечка сострадания, убейте меня.

Общая подавленность.

Учитель гимназии. Ну, ну. Нехорошо так. Нельзя распускаться.

Кельнер. Немножко поворчать, как тетушка Шмидт при виде разбитой кофейной чашки, это еще можно — это облегчает душу. Но к чему сразу лезть на стену? Так не годится.

Лавочник. А ваши голоса! А ваши дурацкие лица? Всегда одни и те же обалделые рожи! И все те же разговоры, все тот же вздор. (*Кричит.*) Не могу я больше. Сейчас вот вцеплюсь вам в рожи, буду дубасить по вашим постылым физиономиям, пока вы не издохнете!

Кельнер. Не горячись так, эй, ты. Еще неизвестно, у кого из нас физиономия глупее.

Лавочник. Молчи, говорю. Молчи! Или я... (*Бросается на него.*)

Остальные (*разнимают их*). Успокойся, черт! Да перестань ты орать! Ведь тебе никто ничего не сделал.

¹ И этому: он так печален. До свиданья, синьоры.

Шестнадцатилетний. Тише. Начальник идет. Начальник карабинеров (*входит, статный, толстое добродушное лицо, лихие нафабранные усы*). Signor Wendt, la vostra petizione è approvata¹. (*Добродушно смеется, говорит ломаным языком.*) Вы свободны. Gratulazioni. Buona sera, signori².

Учитель гимназии. Поздравляю. Поздравляю от всего сердца.

Шестнадцатилетний. Тебе везет.

Кельнер. Почтительнейше поздравляю, господин Вендт.

Томас. Почему ты вдруг называешь меня — господин Вендт.

Кельнер. Теперь все кончилось. И вы опять господин Вендт, а я — кельнер Густав Пеннемаш из Лихтерфельде.

Лавочник. Он свободен. А я...

Снова, на этот раз очень слабо, доносятся издалека грустные звуки пастушьей свирели.

Кельнер. Там жизнь — город, кафе, кино.

Шестнадцатилетний. И девушки, и женщины.

Учитель гимназии. И книги, театр, музыка. (*Тихо.*) И свобода.

Томас (*переводит взгляд с одного на другого*). Не знаю, братья, хорошо ли мне будет там. Не знаю, братья, какая это будет свобода...

14

Комната в густонаселенном доме, унылая, бедно обставленная.
Анна-Мари. Раненый.

Раненый. Ты утомлена, Анна-Мари, измучена. Оживление, которым ты светила, погасло в тебе. Этой ночью ты думала, что я сплю, и плакала.

¹ Господин Вендт, ваше прошение удовлетворено.

² Поздравляю вас. Добрый вечер, синьоры.

А н н а-М а р и. Я люблю тебя, Пауль.

Р а н е н ы й. Я знаю, чего тебе не хватает. Тебя гнет безобразная, голая комната, улица, наводящая тоску, полная озлобленных, усталых, измученных людей. Горничной нет, платья потрепанные, измятые, все вечера сидишь ты в этих жалких четырех стенах. Ты этого не вынесешь, я знаю.

А н н а-М а р и. Я люблю тебя, Пауль.

Р а н е н ы й. Верю. Но представить себе не могу: ты — и без денег. Деньги неотделимы от тебя, они часть тебя самой. Ты без денег — это как танец без музыки. Ты, наверное, чувствуешь себя, как парализованная, точно калека, вроде меня.

А н н а-М а р и. Не надо так говорить. Это неправда. Я не хочу, чтобы это было так.

Р а н е н ы й. Ты защищаешься, но знаешь, что я прав. Ты, Анна-Мари, не та, что раньше. Твое лицо застыло, глаза утратили блеск. Ты очень страдаешь. Мы оба страдаем, Анна-Мари.

А н н а-М а р и. И ты тоже?

Р а н е н ы й. Да, и я переменился. Раньше мне было довольно того, что ты здесь. Теперь я постоянно чувствую все, чего здесь нет. Я повсюду натываюсь на преграды. Где бы я ни был, я вижу твои лишения, твою нужду. Я сам стал как ты. Мне дурно от запаха бедности, от убогой комнаты, от некрасивых вещей, от плохих кушаний.

А н н а-М а р и. Что ж нам делать?

Р а н е н ы й. Скажи честно: у тебя не бывает минут, когда тебя тянет назад, в твою квартиру на Аугсбургерштрассе?

А н н а-М а р и. Не надо так, Пауль.

Р а н е н ы й. Не хочешь отвечать. Ты, может быть, запрещаешь себе даже думать об этом. Но твои руки выдают тебя: они брезгливо отдергиваются от уродливых вещей. Как отвратительна, как ужасна жизнь, Анна-Мари! Ни одного лица, не обезображенного себялюбием. Никакой веры. Никого, кому бы можно было верить. Обманщики и обманутые, обдиралы и обдираемые. Лучше всего присоединиться к тем, кто с холодным

бесстыдством делает из всего этого выводы. (*Берет шляпу.*)

А н н а-М а р и. Куда ты?

Р а н е н ы й. Раздобыть денег. Я не вернусь, пока не смогу сказать тебе: вот деньги, ты можешь быть такой, какой ты была. (*Уходит.*)

А н н а-М а р и (*одна*). Как он прав! До чего я слаба, до чего я устала...

Т о м а с входит.

Томас. Мне говорили, что ты вернулся. Но я не решалась пойти к тебе. И вот ты пришел ко мне, Томас.

Т о м а с. Я услышал, что ты опять живешь в бедности. И я пришел к тебе.

А н н а-М а р и. Только поэтому?

Т о м а с. Да. Я хотел спросить тебя, Анна-Мари...

А н н а-М а р и. Спрашивай.

Т о м а с. Вышло так, что теперь моя жизнь еще тяжелее, чем раньше. Хочешь помочь мне?

А н н а-М а р и. У тебя появились седые волосы, Томас. У тебя седеют виски.

Т о м а с. Тебе пришлось бы от многого отказаться, Анна-Мари. Хочешь помочь мне нести мое бремя?

А н н а-М а р и. Не знаю.

Т о м а с. Я немного могу прибавить к тому, что уже не раз говорил тебе. Мне было бы легче от сознания, что ты со мной. Ты совсем другого склада, чем я. И поэтому мне так нужно, чтобы ты была со мной.

А н н а-М а р и. Ты меня мучаешь. Все говорят, что я слаба и глупа, ни на что серьезное не гожусь.

Т о м а с. Скажи мне, способна ты обречь себя на лишения?

А н н а-М а р и (*терзаясь*). Я, право, не знаю. Ведь я не могу предвидеть, какой буду завтра, через неделю, через год.

Т о м а с (*устало*). Да. Тогда я, пожалуй, пойду. Прощай, Анна-Мари.

А н н а-М а р и. Прощай, Томас.

Томас уходит.

Задняя комната пивной Собрание.

Ю н ы й р у с с к и й с т у д е н т. В Петербурге, в Москве не зевали. Впереди — вожди. Масса за ними. И вот час настал. Где Томас Вендт?

К р и с т о ф. Он придет. Непременно. С минуты на минуту он должен быть здесь.

Е в р е й к а и з Г а л и ц и и. Все отсрочки да оттяжки. Вы так инертны, настоящие профессора. Одно слово — немцы. Если нужно действовать, вы всегда говорите: через три недели.

Д о б р о д у ш н ы й. Не волнуйтесь, соседка. В один прекрасный день бомбы обязательно полетят, я всегда это предсказывал. Но если Вендт говорит подождать, — значит, подождать.

С о ц и а л - д е м о к р а т и ч е с к и й д е п у т а т. Нам еще нужны подписи, гарантии. Нет смысла выступать преждевременно. Будьте благоразумны. Помните: неудавшуюся революцию называют государственной изменой.

Е в р е й к а и з Г а л и ц и и. У вас всякое предложение сейчас же тонет в море оговорок. Все растекается у вас между пальцев. Сегодня, как всегда, мы разоидемся, не приняв никакого решения.

Т о м а с п о я в л я е т с я.

Ю н ы й с т у д е н т. Томас Вендт.

Все устремляются к нему.

Е в р е й к а и з Г а л и ц и и. Наконец-то вы опять с нами.

Ю н ы й с т у д е н т. Руки ваши в морщинах. В волосах седина.

Е в р е й к а и з Г а л и ц и и. Вы-то уж не потерпите этих канительщиков, этих водолеев с их вечными оговорочками?

Ю н ы й с т у д е н т. Вы принесете нам огонь, вместо... статистических таблиц.

К о н р а д. Огонь разрушает. Мы хотим созидать.

К р и с т о ф. Надо рассуждать трезво. Дайте ему сначала выслушать всех.

Т о м а с. Я слушаю.

С о ц и а л - д е м о к р а т и ч е с к и й д е п у т а т. Настроение достаточно подготовлено. Через три-четыре недели можно выступить. За это время, конечно негласно, не впуская крупных вождей, следует организовать несколько вооруженных нападений на правительственные учреждения.

Т о м а с. Цель?

С о ц и а л - д е м о к р а т и ч е с к и й д е п у т а т. Надо спровоцировать полицию, чтобы она стреляла в народ. У нас будут убитые. Великолепный повод к демонстрации, как мне кажется.

Т о м а с. Вам так кажется, господин депутат? Посылать людей на смерть, чтобы вы могли произнести речь? Вы продекламируете пролог, мы вам подадим в качестве декораций несколько трупов, и наконец финал — демонстрация под звуки труб и литавр. Сколько вам понадобится трупов для выхода во втором акте?

С о ц и а л - д е м о к р а т и ч е с к и й д е п у т а т. Несколько человек не в счет, все дело поставлено на карту.

К о н р а д. Вы не правы, Томас. Одним энтузиазмом политика не делается. Нужна режиссура, нужна организация.

Т о м а с. Не будем наперед пережевывать каждую возможность. Революцию рассчитать нельзя. Революцию нельзя «делать». Она должна разразиться. Ей нельзя приказать: повремени-ка, теперь ты нам не нужна, приходи потом.

С о ц и а л - д е м о к р а т и ч е с к и й д е п у т а т. Но ведь мы должны создать какой-либо непосредственный повод.

Т о м а с. Непосредственный повод, сударь, — это трупы. Трупы во всем обитаемом мире, белые и чернокожие, вздутые от морской воды, высушенные зноем пустыни, трупы детей и трупы женщин.

С о ц и а л - д е м о к р а т и ч е с к и й д е п у т а т. Но ведь необходима какая-то организация, нужно распре-

делить обязанности, работу. Честь и слава вашему справедливому гневу, но что мы сделаем, если завтра кончится хлеб, а послезавтра деньги? Повремените. Нужны только три недели. И тогда все необходимое будет подготовлено.

Томас. Еще три недели. Вечно — «еще три недели». Война позади вас, перед вами, вокруг вас. У вас убитые, пленные, искалеченные. У вас одичание, ложь, голод, хищничество. Умиравшие дети, изголодавшиеся женщины. Всякого, кто посмеет поднять голос против беснующейся стихии, дубиной валят наземь. Все это у вас есть, все это нагромождалось одно на другое четыре года подряд. Если таких четырех лет еще недостаточно, неужели вам помогут три недели?

Молодой студент. В России решились без проволок. И когда начали, на все нашлись люди.

Еврейка из Галиции. И так будет всюду, где возьмутся за дело.

Социал-демократический депутат. А если неудача?

Томас. Революции происходили во все времена, и, по сути дела, они никогда не удавались. Но они двигали человечество вперед, порою едва ощутимо, но неизменно. Не удастся нам переворот — мы будем знать, что умираем за правое дело, умираем добровольно, тогда как теперь тысячи людей умирают поневоле и за дело несправое.

Социал-демократический депутат (*собирает свои папки с делами*). Здесь ни у кого нет чувства действительности. Я ухожу. Я один буду продолжать работу в партии. Кто со мной? (*Конраду.*) Вы идете?

Конрад (*колеблется; решил*). Нет.

Социал-демократический депутат удаляется.

Томас. Не поймите превратно, братья. В том, что он говорит, есть доля правды. Надо отдать себе ясный отчет: мы пускаемся в неизведанный путь. Правое дело само по себе — еще не гарантия успеха. Мы не дол-

жны бросаться в бой в угаре дурмана, как шла на эту войну молодежь, которой вскружили голову ложью. Мы пойдем без песни, реющей над нами, без лучезарного знамени впереди. Мы пойдем просто и сурово, крепко стиснув зубы, зная, что предстоят тяжелые испытания и что успех не обеспечен. Вы обдумали все это, друзья? Вы готовы отважиться?

В с е. Мы обдумали. Мы готовы.

К о н р а д. Будет нелегко, и уверенности в победе нет, но мы пойдем.

Д о б р о д у ш н ы й. Ну вот наконец полетят бомбы.

Конец второй книги

Книга третья

Живешь — видишь людей,
сердце разрывается или леденеет.

Шамфор.

1

Библиотека на вилле Георга.
Георг один, читает, курит. Анна-Мари входит.
Георг поражен.

Анна-Мари. Да, это я. Я пришла к тебе. Это бесстыдно, но я пришла. Я бросаюсь тебе на шею. Ты очень презираешь меня? Я тебя люблю.

Ты покинул меня. Я осталась одна, и мне нужно было опьянение. Мне пужны были деньги, свет, платья, мотовство, исполнение моих причуд, танцы. Я пошла к Шульцу. Ушла от него, вернулась к жизни простой, без блеска. Потом пришел Томас. Но от него ко мне нет больше пути. Он требует от меня смирения, он требует, чтобы я решилась жить в бедности. Но я не могу. У меня нет для него слов. Я не могу больше оставаться с человеком, сила которого — в смирении. Ты же горд, ты ясен, ты надменен, красив, умен, богат. В моей жизни за последние годы было много мужчин. Но в памяти у меня остались только два лица — Томаса и твое. Томас многое мне дал. Но стать такой, как он, я не могу. Может быть, я дурная. Пусть лучше я буду дурной по-своему, чем хорошей по чужой указке.

Тебя я люблю, Георг. Презирай меня. Делай со мной что хочешь. Скажи, что ты презираешь меня. Пусть глаза и губы твои будут надменны. Но позволь

мне приходиться к тебе. Позволь мне любить тебя. Я люблю тебя, Георг. Я люблю тебя. Я люблю тебя. *(Прижимается к нему.)*

Георг резким движением привлекает ее к себе.

2

На Красной вилле. Предутренний час. Шампанское. Ликеры. Черный кофе. Мужчины и дамы в вечерних туалетах. В соседней комнате танцы.

Первый господин. Итак, завтра это начинается.

Второй господин. Симпатичная страна. Революция в ней начинается по железнодорожному расписанию. Начало революции: девятое ноября, шесть часов десять минут утра. Опоздавшим вход разрешается только в антракте.

Третий господин, изобретатель центрального охлаждения. Вы видите в моем лице величайшего неудачника нашего столетия... До войны — Бангкок... проблема, как приспособить тропики для европейцев... система центрального охлаждения... В Центральной Европе, где даже летом нужно отопление...

Господин Шульц. Трое из моей прислуги попросили сегодня отпустить их по случаю революции.

Первый господин. Вы смотрите на вещи с птичьего полета, господин Шульц.

Господин Шульц. Я холоден, как лед. Что такое революция? Меняется флаг, сущность остается та же. Политика — вопрос второстепенный, хозяйство — это все. Денежное обращение должно во все времена так или иначе регулироваться. Всегда нужны люди, отводящие денежный поток по каналам. Это понимают немногие. Поэтому у меня мало конкурентов.

Беспокоиться мне нечего. Государство — это хозяйство.

Раненый. А хозяйство — это вы.

Господин Шульц *(указывая на раненого)*. Посмотрите, вот наша молодежь. Проливает немного

раскачивало их из стороны в сторону. Один водолаз сошел с ума.

Отдаленная трескотня пулемета.

Первый господин (*вздрагивает*). Что это?

Господин Шульц. Легкий пулемет. Репетиция. Пристреливаются. Прошу не беспокоиться.

Пауза. Джаз в соседней комнате заглушает пулеметную стрельбу.

Первый господин. Вы ведь знакомы с Томасом Вендтом, господин Шульц?

Господин Шульц. Да. Писал когда-то драмы. Очень пикантны сцены распятия. Ему надо было остаться драматургом. Широкий размах, идеалы, этика — хороши в романе, на сцене. Юродивый. Впрочем, симпатичный человек. Молодой, строгий, живой, симпатичный, интересный.

Действительный тайный советник медицины. Вы, бесспорно, правы, господин Шульц. Томас Вендт — юродивый. Мы — психиатры — иначе и не рассматриваем революцию, как явление психопатическое. В состоянии нервного переутомления, возникающего на почве общего недостатка питания... (*К лакею, обносящему гостей кушаньями.*) Пожалуйста, еще один бутерброд с икрой... Пациент не замечает препятствий, стоящих на пути к избранной им цели. Он стремится, невзирая на эти препятствия, кратчайшим путем достичь цели, даже если это невозможно. В науке мы называем это законом кратчайшего пути. Некоторые идеи оцениваются чрезмерно высоко. Так, например, в настоящее время переоценены идеи справедливости и всеобщего счастья.

Раненый (*охмелев*). Если я правильно вас понял, то история морали совпадает с историей душевных заболеваний.

Действительный тайный советник медицины. Конечно, милостивый государь, конечно.

Три лакея (*входят*). С вашего позволения, господин Шульц, мы сейчас пойдем. Иначе мы пропустим последний пригородный поезд и опоздаем на революцию.

Г о с п о д и н Ш у л ь ц. Ступайте, ребята, и если сможете достать, купите мясные консервы. Наши запасы на исходе.

Лакеи уходят.

Д а м а. Ягнечок мой, давай и мы поглазеим на революцию, а? Я постараюсь говорить попроще и изобразить красотку с военного завода.

П е р в ы й г о с п о д и н. Жарко. Разрешите? (*Раздвигает портьеры, открывает окно.*)

Серое утро. Пулеметная стрельба доносится громче.

Музыка обрывается. Все прислушиваются. Тишина.

Р а н е н ы й (*вскакивает на стул. Среди полной тишины, невнятно*). Храбрость — идиотизм, мораль — сентиментальность, порядочность — вздор, искусство — блеф. Шампанское — это нечто реальное, женщины — это нечто реальное, деньги — это нечто реальное. Реально все, что идет в глотку, в нутро, в карман. То, что у меня есть, не отнимет у меня больше никакой жид, никакой большевик. Оплакивать скорби мира? Подставлять грудь под пули во имя блага человечества? Пить надо, танцевать, блудить...

Общее замешательство.

К р и к и. Он пьян. Закройте окно! Музыку!

Окно закрывают. Музыка.

3

Открытая площадь. Взыгравшая толпа.

Х о р м е л к и х б у р ж у а. Ну и времена! Ну и времена! (*Шушуканье.*) В восточной части города грабят. Взорван, говорят, военный завод. Поезда не ходят. Нет подвоза продовольствия.

Г а з е т ч и к. Декларация правительства! Воззвание Томаса Вендта!

Н а р о д (*вырывает друг у друга газеты. Кто-то читает вслух*). Независимое государство! Социализация

прессы! Национальное собрание! Свобода и личная ответственность гарантируются.

Рабочий. Красный флаг на полицейском участке. Красные флаги на вокзалах. Наконец-то. Земля — трудящимся. Да здравствует Томас Вендт!

Еврейка из Галиции. Я ранена. Они попали мне в руку. О, как это хорошо. Кровь разжигает, кровь превращает порыв ветра в бурю. Как я счастлива, что могла пролить кровь за свободу.

Буржуа. Вообразите. Мой парикмахер сегодня не явился. Двадцать три года он приходил каждое утро в восемь часов десять минут. В первый раз за двадцать три года я не брит.

Другой. И трамвай не ходит, и поезда городской железной дороги стоят, и письма не доставляются, и магазины закрыты.

Хор мелких буржуа. Ну и времена! Ну и времена!

Нарастающий ропот. Все продовольственные управы разгромлены. Девять военных заводов взлетели на воздух. Город голодает.

Изувеченный солдат. Мы были на фронте. Нас морили голодом, отдавали на съедение вшам, заставляли кричать ура, посылая на смерть. Над нами глумились, глумились четыре года подряд. Теперь мы кричим ура, теперь мы командуем, теперь мы будем глумиться. Ура!

Голоса. Да здравствует революция. Да здравствует Томас Вендт.

Актер. Вчера вечером мы ставили «Тетку Чарлея», ерундовый фарс. Сбор был полный, в двухстах шагах от театра стреляли, непрерывно, с первого акта до последнего. Но смех зрителей заглушал пулеметную пальбу.

Офицер. Я перестаю понимать мир. Все, что до сих пор считалось честным и хорошим, вдруг стало плохим. Биться за отечество — позор, умереть за отечество — позор. Храбрость — позор. Чего они хотят? Чтобы всем было одинаково плохо, чтобы все были трусами, чтобы все смешалось в грошовый винегрет? Они с ума сошли.

Подростки (*шушукаются*). Ты что-нибудь видел? Ты что-нибудь слышал? В газетах писали, что они бесчестят женщин, насилуют их. Где же? Когда же? Как они это делают? Ведь они застенчивее гимназистов на танцах.

Толпа (*все громче*). Все продовольственные управы горят, все военные заводы взорваны. Город осажден. Два верных королю армейских корпуса идут на город.

Женщина с окраины. Я захватила шесть отличных меховых шубок. И у меня их отняли все до одной. Подумать только. Старой потомственной пролетарке нельзя социализировать несколько несчастных шуб. На кой мне тогда ваша революция.

Старичок-рабочий. Кхе-кхе. Дожил-таки, дожил. Я пьян от радости, точно вылакал бочонок пива. На площади перед дворцом я кричал: «Леман, — кричал я. — Леман, поцелуй меня в ...». И все смеялись, и ни один фараон не появился. Ах ты. Дожил, так-таки дожил.

Рабочий. Все газеты мы взяли штурмом. Все казармы в наших руках. Да здравствует революция. Да здравствует Томас Вендт.

Хормелких буржуа. Ну и времена. Ну и времена.

4

Дворец. Кабинет короля.

Король (*около тридцати пяти лет, цветущий вид, умен, высокомерен, утомлен; обращается к портрету на письменном столе*). Теперь, пожалуй, ты перекочуеть в какой-нибудь музей, дедушка. Странно. Вчера еще все это имело смысл — твои золотые цепи, твоя порфира и держава, твоя корона, многие столетия царствования, порой жестокого, порой милостивого; а сегодня мы — анахронизм. Игрушка для детей, драматургов и историков. У этих людей с пулеметами никакого страха перед львами нашего герба. (*Листает папки с делами.*)

Двадцать три тысячи двести шестьдесят семь марок на борьбу с филлоксерой в королевских угодьях. Дополнительное требование к бюджету королевских театров.

Разумеется, бюджет превышен. Двести пятьдесят девять тысяч двести двенадцать марок. Не подпиши я, подпишет кто-нибудь другой, кому эта штука так же безразлична, как и мне. Только вместо имени будет фамилия.

Это совсем не просто, когда вдруг приходится за все отвечать самому. Никаких традиций, никакого этикета — все нужно решать по собственному почину. Неужели нет правил хорошего тона для властителей в моем положении? Неужели ни один гофмаршал не написал нового «Книгге» — «Хороший тон для монарха на все случаи жизни»? Королю, последовательному в своих действиях, полагалось бы произнести какое-нибудь изречение для исторической хрестоматии и застрелиться.

Если как следует вдуматься — эти люди правы, громя все. Если бы только они не делали это так безвкусно и «непреклонно» и не пахли бы так скверно...

Чем мне заключить мое царствование? Отпустить двадцать три тысячи марок на филоксеру или двести пятьдесят девять тысяч на придворные театры?

А д ю т а н т и кто-то второй (*вбегают*). Ваше величество, они идут...

Король. Мы этого ждали. Вы, господа, можете удалиться — мне вы все равно не поможете.

А д ю т а н т. Если его величество разрешит, мы остаемся.

Люди (*за сценой*). Нигде никого. Конечно. Улетели. Грязная банда. (*Врываются. Увидев короля, останавливаются у двери и не знают, что делать.*)

Голоса (*обращенные назад*). Он здесь. Томаса Вендта сюда. Томас Вендт.

Томас входит. Шум стихает.

Король (*сидя у письменного стола*). Что вам угодно?

Томас. Мы требуем, чтобы вы подписали этот документ.

Король. От чьего имени это требование?

Томас. От имени народа.

Король. Этого вот?

Томас. Народа, который штурмовал ваши казармы, занял ваши правительственные здания, прогнал ваших чиновников и офицеров.

Король. Я мог бы вам возразить, что я сижу здесь от имени народа восемьсот лет; по сравнению с той кучкой людей, которые штурмовали казармы, мой народ представляет собой значительное большинство.

Томас. Нам с вами нет смысла сейчас пускаться в обсуждение исторических проблем. Мы вряд ли найдем общий язык. Я еще раз предлагаю вам подписать этот документ, освобождающий солдат и чиновников от присяги.

Король. Присягали не мне. Присягали (*показывая на портрет*) этому человеку в такой же степени, как и мне. Но это мне трудно будет вам объяснить. (*Вежливо, чуть ли не любезно.*) Вы — господин Вендт?

Томас. Да.

Король. В одном своем стихотворении, обращенном ко мне, вы говорите: «Никаким венком лавровым кровь с меча ты не сотрешь». Вы заметили, вероятно, что такие атрибуты не очень ко мне подходят. Вы пользуетесь известным авторитетом у этих?

Томас. Да.

Король. Что со мной будет?

Томас. Вы можете устраивать вашу жизнь как вам угодно. Подписав этот документ, вы становитесь частным лицом, не лучше и не хуже всякого другого.

Король. Машину, Ландсгоф. Могу я обратиться к людям с несколькими словами?

Томас. Ваше положение может растрогать чувствительные сердца. Но мы — победители, и мы можем себе позволить быть великодушными. Пожалуйста, говорите.

Король (*сидя у письменного стола, вполоборота к толпе*). Послушайте, я желал вам добра, но вы не понимали меня, а я вас. Вы полагаете, что я виноват, если вам плохо живется, и вы недовольны, и вы хотите меня убрать. Я не думаю, что вы от этого много выиграете. Письма вам будут доставлять республиканские почтальоны вместо королевских, ездить будете по республиканским железным дорогам, а если проворуетесь или подделаете вексель — вас приговорят не именем

короля, а именем господина Вендта. Если я уйду отсюда, расстояние от земли до солнца не уменьшится, не изменится скорость вращения земли, и зимой по-прежнему придется топить, а летом вы будете потеть, и филлоксера не исчезнет сама по себе, и дефицит придворных театров тоже. Готова машина, Ландсгоф?

Да. И еще одно я хотел сказать вам. *(Встает, одергивает китель.)* Господа и слуги — были, есть и будут. Приказание и повиновение — были, есть и будут. И, наверное, тот, кто столетиями учился повелевать, делает это лучше, чем тот, кто только сегодня начал этому учиться. *(Его голос крепнет, его глаза, глядевшие куда-то поверх людей, останавливаются на них.)* И если я подпишу эту бумажку, это будет лишь пустой формальностью. Я не могу освободить вас от присяги, даже если бы я и захотел. Я знаю, что король — я и что останусь им, даже если вы меня выгоните отсюда. *(Он стоит возле письменного стола, молодой, высокомерный; тихо говорит.)* Вы можете выпустить другие почтовые марки, можете переплавить монеты с моим профилем. Но землю этой страны вы не можете изменить. Я стою на ней тверже, чем тот, кого вы выберете своим вождем, — и тут вам ничего не сделать.

Молчание. Масса неподвижна.

Т о м а с. Если желаете, я дам вам людей, чтобы вы могли беспрепятственно покинуть город.

К о р о л ь. Благодарю вас. Я не нуждаюсь в охране. *(Удаляется.)*

Толпа молча расступается перед ним. Он проходит по коридору, образованному расступившимися людьми, которые на всем пути его до выхода из замка молча снимают перед ним шапки.

5

На вилле Георга. Беттина одна.

Т о м а с *(входит с Кристофом)*. Вы хотели меня видеть, Беттина.

Беттина. Георг арестован. Своими рабочими. Я не могу узнать, что с ним сделали. Вам известно, что

Георг никогда не занимался политикой. Вам, Томас, это известно.

Томас. Нужно ли об этом говорить, Беттина. Я сделаю так, как вы хотите. *(Пишет.)* Пожалуйста, отправляйся немедленно на завод. *(Передает записку Кристофу, который сейчас же уходит.)*

Беттина. Стало быть, вы у цели, Томас?

Томас. Нет. Я не у цели. Самое важное — впереди.

Беттина. Неужели ваша борьба по-прежнему требует бешеного потока действий? Неужели действия по-прежнему должны осквернять ваши идеи?

Томас. Что мне в идее, если она не является зародышем действия? Я начинаю интересоваться идеей только тогда, когда она воплощается в действие. Я верю во власть идеи. Америка открыта силой идеи. Только потому, что Колумб твердо верил в свою физико-математическую идею, он шел, собираясь, от двора к двору, он отважился ринуться в грозную беспредельность. Почему же истина математическая должна мне быть дороже, чем истина моральная? Идея остается для меня фразой до тех пор, пока я не претворяю ее в жизнь.

Беттина. Тогда претворите ее в ваше искусство. Разве кто-нибудь живет полнее, чем поэт? Разве поэт не исчерпывает до дна всех возможностей, и разве эти возможности не богаче реальной действительности? Крайности человеческой жизни — действие и отречение, созерцание и активность — разве они не сливаются у него воедино?

Томас. Я не принадлежу себе.

Беттина. Было время, когда вы ощущали искусство как часть самого себя, Томас. Вы были свободны. И ведь вы никогда не теряли и не потеряете себя.

Томас. Это звучит как утешение. Разве я нуждаюсь в утешении? Разве я не победил?

Беттина молчит.

Томас *(настойчиво)*. Вы думаете, что я нуждаюсь в утешении, Беттина?

Беттина. Может быть.

Комната Кристофа. Кристоф лежит на кровати. Анна-Мари. Санитар.

Санитар (*Анна-Мари*). Прострелена тазовая кость. Ничего сделать нельзя. Чудо, что он еще жив. (*Уходит.*)

Кристоф (*устало*). Анна-Мари.

Анна-Мари. Да, Кристоф.

Кристоф. Томас придет?

Анна-Мари. Я дала ему знать. Он, наверно, сейчас будет здесь.

Кристоф (*вспокоившись*). Машина.

Анна-Мари (*у окна*). Это не он.

Кристоф. Больно. Адским огнем горит все нутро. Только бы Томас пришел уже.

Томас (*входит*). Ну, как?

Анна-Мари делает жест безнадежности.

Томас (*с минуту молчит, затем овладевает собой, подходит к Кристофу; тихо, с нежностью*). Кристоф!

Кристоф быстро поворачивается на голос.

Не шевелиться, Кристоф, не двигаться.

Кристоф. Ты пришел. Как я рад. Я знал, что ты придешь. Ты хороший друг.

Томас. Не надо говорить, Кристоф. Ведь это естественно.

Кристоф. Ничего естественного. Я не был бы на тебя в обиде. Надо рассуждать трезво. В конце концов у тебя есть более важные дела. Я даже не успел разыскать Георга Гейнзиуса. Меня ранили по дороге на завод.

Томас. Не надо так много говорить, Кристоф. Лежи спокойно, не двигайся.

Кристоф. Анна-Мари так заботлива. Она хорошая. Ты прав, Томас, люди в большинстве своем добры.

Томас. Вот и тебя настигло. Еще один будет смотреть на меня из мрака и что-то требовать от меня.

Кристоф. Не горюй обо мне, Томас. Очень тебя прошу, не горюй. Кем я, в сущности, был? Почтовым чиновником. Я ел, пил, исполнял свои служебные обязанности. Так бы я и состарился и умер. Но в том, что мне довелось быть твоим другом, Томас, есть смысл. Я рад умереть за то, в чем есть смысл. Надо рассуждать трезво. *(Умирает.)*

Томас. Кажется, все кончено.

Голоса на улице. Идите к нам, Томас Вендт. Народ кричит — зовет вас. Вы нам нужны.

Конрад появляется в дверях.

Анна-Мари. Ты не закроешь ему глаза?

Голоса. Томас Вендт, идите к нам, Томас Вендт!

Томас колеблется; затем поворачивается и быстро уходит. Анна-Мари одна, неподвижно смотрит ему вслед, лицо ее отражает изумление, почти испуг. Затем она садится около покойного.

7

Гауптвахта. Революционные солдаты и люди в штатском сидят, курят, пьют. Арестованные, в том числе Георг; арестованный офицер.

Георг *(к другим арестованным)*. Я не могу сказать своим рабочим: ваша примитивность, ваша ограниченность лучше моего интеллекта. Может быть, это глупо с моей стороны, может быть, это жест; но даже если бы от этого зависела моя жизнь, я все же не мог бы сказать так.

Дрожай старичок. Я ничего, решительно ничего не сделал. Я всегда был социалистически настроен. Я всегда хлопал по плечу своего портье, хотя он был завзятым социал-демократом. А когда он как-то захворал тяжелым гриппом, я дважды посылал ему тарелку мясного супа. И все-таки они потащили меня сюда. А здесь от одного страха умрешь.

Девушка *(входит, обращается к часовым)*. Франц Горнинг здесь?

Ч а с о в о й. Не знаем никакого Франца Горнинга. Идемте-ка, фрейлейн, выпейте глоток вина. Вино хорошее. Оно вам понравится. Генеральское.

Д е в у ш к а. Некогда. Мне надо разыскать Франца Горнинга.

С о л д а т. Франц Горнинг от вас не уйдет. А такое вино не каждый день бывает. По особому заказу для такой складной девчонки, как вы.

Д е в у ш к а. Ну ладно, выпью глоток, раз уж вы такой кавалер.

Д р о ж а щ и й с т а р и ч о к. Только бы нас не расстреляли. Пусть заберут наши деньги, пусть погонят на работу, как поденщиков, — с этим я уже примирился.

Д р у г о й а р е с т о в а н н ы й. Но они требуют от нас большего: они требуют, чтобы мы изменились внутренне, стали высокоморальными людьми.

Д р о ж а щ и й с т а р и ч о к. Я стану высокоморальным, я изменюсь, только бы не убили.

Д е в у ш к а. Франц Горнинг, скажу я вам, далеко пойдет. Он в таких делах всегда впереди. Еще на прошлой неделе он сказал господину тайному советнику: «Голова-то у вас большая, но пустая». Вот он какой образованный. Он даже умеет писать на пишущей машинке. И кинооператором был. Я думаю, он будет министром, или районным инспектором, или фельдфебелем.

Ж е н щ и н а (*входит; отупевшая, усталая, на руках неухоженный грудной ребенок*). Мужа моего нет здесь? Людвиг Гофман его зовут, высокий такой, худой, тридцати восьми лет, с длинными рыжими усами.

Ч а с о в о й. Нет, такого у нас здесь нет.

Ж е н щ и н а. Можно присесть на минутку? Весь день сегодня бегаю по городу, разыскиваю его. В двух или трех местах мне сказали, что он расстрелян.

Ч а с о в о й. Садитесь. Вот сюда. Немножко пива ребенку не повредит. Пиво-то жидкое, военного времени.

Ж е н щ и н а. Спасибо. Я ему всегда говорила, чтобы он не совал всюду нос. Да его не уймешь. Так надо, говорил он. Во всеобщей стачке он тоже участвовал. Тогда-то его и посадили.

Один. Людвиг Гофмана я знаю. Почет ему и уважение. Перед ним — шапки долой.

Второй (*утешая*). Вряд ли они его расстреляли. Мало ли что люди болтают от нечего делать.

Третий (*шепотом другому*). Я думаю, что ему крышка. Мне кажется, что я слышал его имя, когда говорили об убитых.

Женщина. Говорите громче. Рано или поздно, а правды мне не миновать.

Тишина.

Что же мне теперь делать? (*Устало подымается.*) По крайней мере для детей будет одной хлебной карточкой больше. (*Выходит.*)

Молодой человек (*из арестованных*). Где были наши глаза? Разве мы раньше всего этого не видели? Мы сами виноваты.

Георг (*резко*). Со времен Адама и Евы, что ли? Первородный грех? Очень романтично говорить о виноватых, когда дело касается социологии. Счастье одного строится на страдании многих — это закон. Один живет за счет другого — это закон природы. (*Повышая голос.*) Слышите, это не вина, это закон.

Дрожащий старичок. Не кричите так. Ради бога, не говорите так громко.

Начальник караула входит.

Часовые. Господин комендант! (*Вскакивают.*)

Начальник караула (*оглядывая арестованных*). Ага. Есть тут кто из буржуйской банды? Ну, голубчики? Что? Теперь уже нельзя топтать нас ногами? Кончилось? Мы уж теперь не сброд для вас? Вы уже не моете руки, если случится нечаянно дотронуться до нашего брата? Научились вести себя по-другому? Встать, когда я говорю!

Дрожащий старичок. Господин комендант, я совершенно ни в чем не виноват. Господин комендант... Я...

Георг и арестованный офицер остались сидеть.

Комендант. Что? Вы все еще задираете нос? Встать!

Те продолжают сидеть.

Вывать из-под них скамью!.. Так. Теперь — приседание! Смирно! Я вас выучу. Раз-два, раз-два.

Георг (*ему в лицо*). Собаки! Собаки! Собаки!

Комендант и другие бросаются на него.

8

Революционное празднество.

Томас (*обращается к народу*). Уничтожить гнилой, старый дух — это еще не все. Наша конечная цель — завоевать всех людей доброй воли. Доброта, всеобщее счастье — в этом смысл нашей революции, нового времени, нашего времени.

Клики ликования. Из кликов рождается хор «Да славится господь на небесах!».

(*Людям, стоящим вокруг него.*) Взгляните на лица. Люди действительно сбросили с себя свое мелкое, ничтожное «я». Их воля к человечности, к счастью едина.

Конрад. В ранней юности я мечтал иногда о таких вещах. Но в глубине души я никогда не верил, чтобы моя мечта могла сбыться. И вот — свершилось. И хотя я видел собственными глазами, как все пришло — все-таки мне еще не верится.

Молодые рабочие, девушки. Раньше все только говорили и говорили, вы же совершили деяние, Томас Вендт. Мы будем работать. Мы будем добры. Счастье пришло. Это уж не сказка. Теперь мы знаем, ради чего трудимся.

Томас. Однажды я пережил успех. Как он был ничтожен и горек. Какие гримасы он корчил, как закатывал глаза. От него становилось тяжело на сердце и тошнота подступала к горлу. Теперь я знаю, что выбрал правильный путь. Я верю в человека. (*Глубоко вздыхает.*)

Молодые рабочие и девушки (*попеременно — то хором, то в одиночку*).

Они приходят. Как мы сильны!

Кто бы мог подумать, что жизнь так хороша.

Кто бы мог подумать, что быть счастливым легко.

Да, это правда. На крыльях счастье летит.

Это ты, Ева? Как ты хороша!

Как глаза твои блещут! Ты словно картина.

О, если бы люди из плоти и крови были подобны тебе.

Как мы сильны! Как мы добры!

Все мы едины. Один — это все.

Мы все — одна воля. Одна рука.

Теперь мы знаем, что значит «жизнь».

Теперь мы знаем, что значит «добро».

Кто бы мог подумать, что жизнь так хороша¹.

Беттина (*подходит*). Я слышала, Томас, как вы говорили. Я слышала ликование народа. Я видела, как очерстевшие, отупевшие старики молодели при виде того, что вы сделали. Вы — воистину поэт, Томас Вендт.

Томас. Все еще только поэт? Не более чем поэт, Беттина? Разве не реально то, что происходит? Бывает ли более действительная действительность?

Беттина. Я боюсь, что это — хмель. Я боюсь, что настанет отрезвление.

Томас. Смешно. Простите меня, но я невольно смеюсь над таким неверием. Это в вас говорит Георг, Беттина. Взгляните на этих людей. Неужели вы думаете, что они лгут? Неужели вы думаете, что тот, кто это почувствовал, может быть злым?

Беттина. Теперь — нет. В эту минуту — нет. И поэтому я надеюсь, что с Георгом ничего не случилось.

Томас. Он все еще не вернулся?

Беттина. Нет, потому я и пришла.

Томас (*к окружающим*). Где Конрад Ортнер? Не бойтесь, Беттина. Я вам доставлю его.

Беттина уходит.

¹ Перевод В. Микушевича.

Толпа. Томас Вендт! Склонить знамена перед Томасом Вендтом!

Конрад входит.

Томас. Георга Гейнзиуса освободили?

Конрад. Нам не удалось сразу выяснить, куда его увели. Но сейчас уже, вероятно, все в порядке. Я велел телефонировать повсюду. Есть другие, более важные дела. В северной части города распространился слух, что на нас движется армия кронпринца. Конечно, это вздор. Но надо быть наготове. Надо принять меры. Там избили арестованных. Тяжело избили.

Томас. Сейчас же пошлите туда кого-нибудь. Или нет, отправляйтесь сами. Этот день нельзя омрачать. В этот день насилия быть не должно.

Конрад уходит.

Толпа. Томас Вендт! Да здравствует Томас Вендт! Склонить знамена перед Томасом Вендтом!

Анна-Мари протискивается через толпу.

Томас (*ей навстречу, с сияющим видом*). Анна-Мари, как хорошо, что ты пришла. Знаешь, мою радость опять пытались убить. Но теперь ты здесь, Анна-Мари. Теперь все будет хорошо. Взгляни на людей. Смотри, как раскрываются их замкнувшиеся сердца. И видишь — они добры.

Анна-Мари (*с искаженным от ненависти лицом*). Опять все слова и слова? А Георг?

Томас. Что с Георгом?

Анна-Мари. Я отвезла его в лазарет. Его избили. Над ним издевались.

Томас. Георг...

Анна-Мари. Его я любила. Только его. Он хороший. Он красивый. А ты — с твоей слюнявой добротой. Ты ненавидишь все прекрасное. Шарлатан, фразер...

Томас. Анна-Мари. (*Хочет взять ее руку.*)

Анна-Мари. Не тронь меня. Все, что ты делал, было на горе. Ты злой. Иначе ты не приносил бы не-

счастье всюду, куда ни ступишь. Я ненавижу тебя. Ты мне противен.

Т о м а с. Анна-Мари!

А н н а - М а р и. Я иду к нему. (*Уходит.*)

Ю н о ш и, д е в у ш к и. Томас Вендт! Склонить знамена перед Томасом Вендтом!

Теперь мы знаем, что такое жизнь.

Теперь мы знаем, что значит быть добрым.

Кто поверил бы, что жизнь может быть так прекрасна...

9

Зал в одном из правительственных зданий.

Т о м а с (*один*). Вот я сижу здесь. Свергнут трон, пролита кровь, мое искусство заживо похоронено, мое «я» изнасиловано. Шум, чудовищный шум. И ничего не сделано. Всюду компромиссы. Все непрочное. Со всех сторон алчно тянутся люди, и свобода для них — что для скота корыто. Что я? Кто я? Плохой актер, покинувший спектакль, в котором ему доверили главную роль? Или плоха роль, и я — обманутый?

К о н р а д входит.

Солдаты из казармы саперов здесь?

К о н р а д. Какие?

Т о м а с. Которые избили арестованных.

К о н р а д. А! Нет еще. Пришел господин Шульц.

Т о м а с. Вы договорились с ним?

К о н р а д. Да.

Т о м а с. Противно. Ведь эти люди жиреют за наш счет так же, как за счет наших предшественников.

Ш у л ь ц (*входит*). Вот и мы. От души приветствую вас. Итак, дело доведено до благополучного конца. Страна в развалинах. Спаситель в лице Томаса Вендта. Феникс из пепла. Торжество духа. Превосходная картина!

Т о м а с. Вы возьмете на себя руководство министерством финансов?

Шульц. Так и быть. Только ради вас. Ведь старые же знакомые. Сердцем был всегда на вашей стороне. Был отцом своим рабочим. Высоко держал знамя человечности. «Обнимитесь, миллионы!» Во всех домах для рабочих — канализация...

Томас (*Конраду*). Вы точно определили обязанности и полномочия?

Шульц. Все. Идеи, конечно, осуществляются не так быстро, как вы, господа, себе представляете. Финансовый аппарат — щекотливая вещь. Пройдет год-два, прежде чем забрезжит какой-нибудь свет. А пока что — прекрасные директивы, великолепная программа, грандиозные планы работы, будущность пролетариата — розовым по золоту. Сказочно!

Томас. Вот приказ о вашем назначении.

Шульц. Я, правда, бешено перегружен. Монументальные проекты для периода после подписания мира. Трестирование южноамериканской промышленности по консервированию конины. Оживление туризма в Южной Италии. А теперь, кроме того, еще создание розовых перспектив для пролетариата. Ну, что ж. Будет сделано. Господин Шульц все может сделать. Только для вас. Пока. Мое почтение, господа. (*Уходит.*)

Томас. Ужасно! Работать с этим хищным себя-любом.

Конрад. Он нам нужен. Без него мы через неделю очутимся без денег. Он — пристяжная. Минет надобность, и мы стряхнем его с себя. (*Уходит.*)

Томас (*один*). Он сбросит нас, когда начисто все обгложет. Да, теперь наступает самое трудное. Повседневная борьба с грызунами, с хищниками. Нужны нервы, как капаты, и вера, которую ничто не поколеблет.

Конрад входит с раненым.

Раненый. Вы меня звали.

Томас (*очень усталый*). Такие юные глаза. Такой чистый, честный лоб. (*Пристально его рассматривает.*)

Раненый (*побледнев*). Уже все известно?

Томас. Знаете ли вы, что вы сделали? Утаивать продовольствие, обкрадывать самых бедных, самых го-

лодных — это делается ежедневно. Это делают тысячи людей, на этом они жиреют и только удивляются, что другие не поступают точно так же. Но вы, молодой человек, вы поступили еще хуже. Вы разыграли передо мной пылкую душу. Негодование против общества. Вы копировали мои чувства и сделали из них наглый фарс. Вы, с вашими чистыми глазами, с вашим честным лбом. Я выложил перед вами самое лучшее, что у меня было — мою веру, а вы воспользовались ею как отмычкой, чтобы отпереть кормушку бедноты. Все это сделали вы — с вашими честными глазами, с чистым лбом.

Р а н е н ы й (*с ожесточением, глухо*). Я украл, да. Я утаил продовольственные запасы. На двадцать семь тысяч марок. Я вор. Расстреляйте меня. Мне нечего возражать. (*Молчание.*)

К о н р а д. Значит... Предать революционному суду?

Р а н е н ы й (*внезапно, настойчиво*). Поверьте мне, Томас Вендт. Я не играл, когда пришел к вам. Я пришел к вам не потому, что хотел красть. Расстреляйте меня, но верьте мне.

Т о м а с. Почему вы украли?

Р а н е н ы й. Разве нельзя верить в правое дело, даже если ты — вор?

Т о м а с. Почему вы украли?

Р а н е н ы й (*указывая на Конрада*). Пусть он вдет.

К о н р а д. Не слушайте его. Дело ясное, улики налицо. Предайте его суду. Этого требует народ.

Р а н е н ы й. Расстреляйте, но верьте мне.

Т о м а с (*про себя*). Я устал. Нет сил даже для ненависти. Только отвращение. Оставьте нас одних, Конрад.

Конрад уходит.

Что же вы хотели мне сказать?

Р а н е н ы й. Вы знаете Анну-Мари?

Томас отшатывается.

Она приютила меня. Мне было тогда очень тяжело. Все, во что меня учили верить, вдруг превратилось в бессмыслицу. И вот пришла она и полюбила

меня. А потом мы обеднели, и она ускользнула от меня. Вы знаете Анну-Мари.

Томас. Я ее знаю, да.

Раненый. Надо было во что бы то ни стало достать деньги. Я стал секретарем у господина Шульца.

Томас смеется.

Что с вами?

Томас. Ничего. Дальше.

Раненый. Господин Шульд — это был ключ к деньгам, власти, любви. Кипучий источник всех благ. Я пил допьяна из этого источника. Деньги текли через мои руки. Но их было слишком мало, чтобы я мог к ней вернуться.

И вот пришла революция. Она была сильнее, чем образ Анны-Мари, чем Красная вилла, чем поток хрустящих ассигнаций. Она не превращалась в пар от пристального взгляда, не рассыпалась в прах, когда человек хватался за нее, словно за якорь. И я пришел к вам.

Однажды я проходил мимо ювелирного магазина — деньги были у меня в кармане. Я вдруг увидел шею Анны-Мари. Я пошел дальше. Вскочил в трамвай. Я заговорил с какой-то девушкой. Но шея Анны-Мари была у меня перед глазами. Тогда я вернулся и купил ожерелье и велел послать ей.

Две тысячи двести марок еще осталось у меня. Они замурованы у меня в комнате, в правой стене. Я не воспользовался ими. Я жил как собака, я голодал. К этим деньгам я больше не прикасался. Я только купил ожерелье и велел послать ей.

Не отнимайте у нее ожерелья, Томас Вендт. Она не знает, кто прислал его. Может быть, догадается, когда я умру.

Томас (*после долгого молчания*). Идите.

Раненый. Я? Что?

Томас (*подписывает пропуск*). Вот. Идите.

Раненый уходит.

(*Один.*) И она — один из грызунов, подтачивающих мое дело. (*Слабо.*) Все вгрызаются в меня. Все вгрызаются в меня.

К о н р а д (*входит*). Вы отпустили его? Вы понимаете, что вы делаете? Народ кричит, что надо ставить к стенке спекулянтов и мошенников, а вы их освобождаете. Вы отдаете себе отчет, какое возмущение это вызовет?

Т о м а с. Знаю, Конрад. Не хуже вас. Но так нужно было. (*Видя, что Конрад хочет возразить, повторяет срывающимся голосом, почти кричит.*) Я не мог иначе поступить! (*После паузы.*) Солдаты из казармы сапёров уже пришли?

К о н р а д. Да.

Т о м а с. Впустите их.

К о н р а д. Отложите этот разговор. Обдумайте еще раз это дело. Люди были возбуждены. Ждали прихода правительственных войск. Если мы будем судить строго, мы испортим отношения с гарнизоном. Не принимайте пока никакого решения.

Т о м а с. Впустите их.

Конрад пожимает плечами, выпускает солдат с гауптвахты.

К о м е н д а н т (*широкоплечий, угрюмый человек*). Мы явились.

Т о м а с. Вы избивали арестованных, доверенных вашей охране. Ваша грубость принесла нам больше вреда, чем какое-либо поражение.

С о л д а т ы. Эти черти дразнили нас. Вели себя нагло. Ругали нас. Они не подчинялись нашим распоряжениям.

Т о м а с. Свидетели показали, что над арестованными издевались. Кто это разрешил?

Молчание.

Кто разрешил?

Солдаты смотрят на коменданта, вокруг него образуется пустое пространство.

Вы действовали по чьему-нибудь приказу или собственной властью?

К о м е н д а н т. Я был на фронте. Четыре дня мы лежали в окопах. Потом нас отправили в тыл. Мы уже

были одной ногой в могиле. Наутро лейтенант посадил меня на двое суток под арест за то, что его сапоги недостаточно блестели. Я ничего не сделал. Только за это. Лейтенанту показалось, что сапоги его плохо начищены.

Они вели себя нагло. Говорили нам всякие гадости. Мы вправе были так поступить.

Только оттого, что его сапоги недостаточно блестели. Четыре дня я был под огнем.

Что же такое революция, если даже этого нельзя от нее получить? Четыре года я носил в себе свою ненависть. А теперь я должен быть кротким, как овечка? Нет. Не пройдет.

Если бы пришлось, я бы опять все повторил сначала.

Солдаты. Он прав. Господа еще не смирились. Какие были, такие и остались. Зажимают нос, если в трамвае приходится сесть рядом с нашим братом. Наше право. Наша месть — это наше право.

Т о м а с. Мучить безоружных. Быть жестоким потому, что другие были жестоки. И это вся ваша свобода? (*Конраду.*) Уведите их.

Солдат уводят.

Передать дело прокурору. Поместить заметки в печати. Судить со всей строгостью. Никаких послаблений. Никакого помилования.

К о н р а д. Где надо наказывать, вы освобождаете, а где надо миловать, вы действуете огнем и мечом. Гарнизон не помирится с этим. Вы разбиваете свое собственное творение.

Т о м а с. Я больше не могу. Я не могу этого вынести. Я думал: быть революционером — значит быть человеческим. Я думал, революция — это человечность для всех. А теперь я должен наказывать тех, кто проявляет человеческие чувства, и падать тех, кто потерял облик человека. (*Кричит.*) Оставьте меня. Я не хочу больше. Не хочу больше никакой политики. Я хочу быть самым собой, самым собой.

Площадь. Народ. Два рассудительных господина.

Толпа. Долой Томаса Вендта. Спекулянтов он освобождает, а честных солдат — под замок. Да где он вообще? Его нет в городе. Удрал. Убить его надо. Долой Томаса Вендта.

Первый рассудительный господин. Вы слышите, что они кричат? А две недели назад они рукоплескали ему.

Толпа. Революция — это та же спекуляция. «Большеголовые» не переводятся. Они загребают теперь еще больше денег.

Второй рассудительный господин. Эти люди не могут понять идеальных побуждений. Они даже не верят, что такое существует.

Толпа. Томас Вендт переправил свои деньги в Голландию. Он заодно с евреями. Он сам еврей. Смерть ему.

Первый рассудительный господин. Гм, да. Это действительно вопрос, существует ли нечто подобное.

Толпа. Его нет в городе? Где же он? Наверно, удрал в Голландию вслед за деньгами. Он купил два дома в Швейцарии. Целый миллион переправил он в Голландию.

Второй рассудительный господин. Гм, да. Ворона спросила орла: скажи мне, отчего ты летаешь так высоко? Просто — радостно парить, ответил орел. Врешь, ответила воропа, наверное там тьматмущая дождевых червей.

Толпа. Он такой, как и все. Всюду одно жульничество, один обман. Разве наш король не был славным, обходительным, приветливым человеком? Говорят, у него от горя заболело сердце. Бедняга, он желал нам добра. Разве сейчас живется лучше?

Первый рассудительный господин. Гм, да! На что следует возразить, что орел летает так высоко оттого, что сверху ему больше видно и легче выследить добычу.

В толпе. Справедливости не прибавилось. И с пивом не лучше стало. Где он, Томас Вендт? Надо его найти. Смерть ему. Долой Томаса Вендта.

Второй рассудительный господин. Гм, да. И в этом вы тоже правы.

11

Холмистая местность. Ранняя весна. Невдалеке
дом отца Томаса.

Томас (*бросается на землю*). Вот я лежу, ненужный и бессильный, бесполезный, как камень на пашне. В землю зарыться. Слиться воедино с землей. А люди не хотят единства. Дай мне силы, земля. Неужели мы так злы? Неужели мы только проказа на твоём теле? (*Царапает ногтями землю*.) Дай силу, земля. Веру. Силу. (*Ударяет кулаком по земле*.)

Отец Томаса входит. Томас приподымается.

Отец Томаса. Ты? Значит, все кончилось?

Томас. Я хотел только блага, отец.

Отец Томаса. Каждый хочет этого на свой лад. Люди думают, что сыр существует для них. Черви думают, что это корм для них. Неизвестно, кто прав.

Томас. В чем благо, отец?

Отец Томаса. Не надо ломать голову над этим. Если начать об этом думать, то и яйца не съесть: всё будешь размышлять, что из него может вылупиться — петух или курица.

Томас. Что мне делать, отец?

Отец Томаса. Пахать землю — хорошо. Разводить скот — хорошо. Рубить дрова, проводить канавы через болотистые луга — тоже хорошо.

Томас. А люди, отец?

Отец Томаса. Если кто-нибудь придет и будет кричать, что не знает, как быть дальше, — покажи ему дорогу. И, пожалуй, помоги ему. А если не удастся... (*Пожимает плечами*.) Ты остаешься здесь?

Томас. На ночь.

Отец Томаса. Так помоги мне расчистить грядки.

12

Заседание народных представителей.

Томас. Прошу вас высказаться, Конрад.

Министр почты (*элегантный господин; обращается с часами в руках к своему соседу*). У меня не больше восьми минут времени. Я ни в коем случае не могу заставить даму ждать. В качестве министра почты я за пунктуальность. Блондинка, мой милый, да какая. Рядом с ней даже самая доподлинная покажется крашеной.

Конрад. Я полагаю, тут не может быть колебаний. Этот город отказывается признать авторитет существующей власти. Поэтому остается одно: карательная экспедиция.

Томас. Ваше мнение, господин Шульц?

Господин Шульц. Благодетельная строгость. Чтоб другим неповадно было. Экспедиция — штука дорогая. Потребуется сорок тысяч человек. Расходы — больше полумиллиона в день. Если сложить эту сумму из ассигнаций по тысяче марок, то получится столбик вышиною в восемь сантиметров. Восемь сантиметров тысячемарковых ассигнаций в день, милостивые государи. Но это окупится. Порядок, как уже сказано. Благодетельная строгость.

Томас (*юному русскому студенту*). А вы?

Юный студент. Меня удивляет, что войска не были посланы еще вчера. Если другие последуют примеру мятежников, к чему это приведет?

Министр почты. Что касается меня, то я, к сожалению, должен идти. Спешные дела по моему ведомству. Впрочем, я присоединяюсь к мнению большинства. Даже в интересах регулярной доставки корреспонденции я за немедленное вооруженное подавление мятежа. (*Своему соседу.*) Я бы охотно досидел до конца. Но блондинка, мой милый. До свидания. (*Уходит.*)

Т о м а с. Итак, вы полагаете, что нет иного выхода, кроме насилия? Вы все за посылку войск? Все? Единогласно?

У з к о л о б ы й д е п у т а т (*скрипучим голосом*). Самое важное — это разрешить вопрос: каких цветов должно быть знамя, под которым будет подавлен мятеж? Красное с золотом, или просто красное, или черно-красно-золотое? И еще о погонах.

Т о м а с (*не обращая на него внимания, беспомощно обводит взглядом окружающих; усталым голосом*). Вы — все? Единогласно? Все?

Молчание.

(*Как бы разговаривая сам с собой.*) В одном предместьи убили реакционера. Мозг вытек наружу. Подбежала собака и стала жрать мозг. Хозяин хотел ее отогнать. И солдаты, солдаты из наших сказали: «Не мешайте собаке, мяса ведь теперь нет». Так сказали солдаты из наших.

Молчание.

А теперь я, значит, должен послать экспедицию? Опять расстреливать людей, тысячи людей, проливать кровь, видеть судороги умирающих, ставить к стенке полудетей. Все за экспедицию? Все? (*Взгляд его беспомощно переходит с одного на другого.*)

Молчание.

(*Кричит.*) Не хочу! Не хочу больше крови. Я вижу только кровь, ничего больше. Я не могу.

Ю н ы й с т у д е н т. Кто кладет свою руку на плуг и оглядывается назад, тот недостоин царства небесного.

Т о м а с (*про себя*). На съедение собакам в поле и птицам в воздухе...

Г о с п о д и н Ш у л ь ц. Если целый народ должен подняться по лестнице на небо, то поистине не важно, что несколько человек отдадут богу душу. Мы здесь не Армия Спасения и не индусские отшельники. И не

поэты, господин Томас Вендт. По крайней мере здесь, при исполнении служебных обязанностей. Энтузиазм — прекрасная вещь. И доброта тоже. Но все в свое время. В пьесах все гладко. В пьесах можно все проделывать с энтузиазмом, говорить о человечности и других прекрасных абстракциях. А в действительности надо считаться с тем, что реально: хозяйство, экспорт, импорт, валюта.

Томас (*тихо, согнувшись словно под бременем*). Опять кровь. Судить. Ставить к стенке. Арестованных, полудетей, с желтыми лицами, с погасшим взором, с заложенными за головой руками.

Господин Шулльц (*негромко, но энергично, почти угрожающе*). Коллега, мы очень чтим ваш поэтический гений, но у нас нет времени для лирических излияний или для нервных припадков, как бы понятны они ни были. Прошу перейти к голосованию.

Корректный господин (*скрипучим голосом*). Не проголосовать ли раньше вопрос о цветах?

Конрад. Еще одно. Если народные представители постановят послать войска, как вы поступите, Томас Вендт?

Томас (*смотрит на него, говорит тихо, отчетливо*). Я не подпишу приказа.

Конрад. Значит ли это, что вы сделаете соответствующие выводы?

Тишина. Все неподвижны, напряжены.

Томас (*тихо, твердо*). Уйти, да. (*Еще раз, глубоко вздохнув, почти ликуя*.) Уйти, да!

Корректный (*скрипучим голосом*). Так будьте добры, коллега, поставить на голосование.

Томас. Кто против экспедиции, пусть встанет. (*Никто не встает. Конраду.*) И вы тоже? (*Юному студенту.*) И вы тоже? Посылка экспедиции, следовательно, принята. Так. Ну что же, мне остается уйти. (*Пауза.*)

Господин Шулльц (*вдруг, деловым тоном, быстро, в то же время ележно*). Прежде чем господин премьер-министр навсегда нас покинет, нам надлежит выразить благодарность и сожаление.

К о н р а д *(повелительно)*. Замолчите!

Г о с п о д и н Ш у л ь ц *(ворчит)*. Ну, ну...

Т о м а с *(тяжело поднимается)*. Да, ну что же, я ухожу. *(Уходит.)*

К о р р е к т н ы й *(скрипучим голосом)*. Я предлагаю временно передать председательство господину Шульцу.

Г о с п о д и н Ш у л ь ц. Если никто не возражает.

К о р р е к т н ы й *(скрипучим голосом)*. Теперь мы можем наконец спокойно обсудить вопрос, примем ли мы черно-красно-золотое знамя или только красное. *(Продолжает говорить.)*

13

Библиотека Георга. Г е о р г одиш. А н н а - М а р и входит.

Г е о р г. Ты опоздала.

А н н а - М а р и. Я не могла пробраться. Демонстрация в честь господина Шульца в связи с вторичным избранием его в премьер-министры. Знамена, крики, процессия, музыка.

Г е о р г *(с презрением)*. И ради этого жил Томас!

А н н а - М а р и *(тихо, печально)*. Ради этого жил Томас.

Г е о р г. Ради этого изуродована Беттина.

А н н а - М а р и. Ради этого отдали жизнь тысячи людей, ради этого страдал Томас, сильнее, чем эти тысячи. *(Очень тихо.)* Ради этого я страдала.

Г е о р г. Чтобы господин Шульц стал премьер-министром. *(После короткой паузы.)* Властвовали предводители племен, герцоги, императоры, парламенты. Думается, что настоящим властелином всегда был господин Густав-Лебрехт Шульц, крупный промышленник из Мюльгейма.

А н н а - М а р и. Опять объявляют о постановке пьесы Томаса. Ее снова репетируют.

Г е о р г. Да. Его считают настолько безвредным. Подготавливают даже фильм, в котором будет показана его революция.

А н н а - М а р и. Его революция?

Издалека доносится военная музыка, крики ликования.

Г е о р г. Это — овации господину Шульцу. Даже сюда доносятся.

А н н а - М а р и (*повторяет*). Его революция...

Военная музыка приближается.

14

Море. Ночь. Облака. Двое рыбаков.

П е р в ы й р ы б а к. Кто там на острие мыса?

В т о р о й. Тот приезжий, что живет у меня. Каждую ночь он убегает на мыс.

П е р в ы й. Он мечется, как рыба, когда ей преграждают выход в море. Вот, послушай-ка.

В т о р о й. Он кричит. В пустоту. (*Пожимает плечами.*) Днем он кажется совсем разумным человеком.

П е р в ы й. Вот послушай.

Молчание. Слышны только крики над морем. Оба рыбака прислушиваются.

Не верится, что это кричит человек.

В т о р о й. Не хотел бы я быть на его месте.

15

Кинотеатр в предместье. Идет демонстрация фильма. В зрительном зале темно, так что едва можно различить отдельные лица. Когда умолкают разговоры, слышно жужжание аппарата. Среди зрителей Т о м а с и Г е о р г.

Г е о р г. Все же мы напрасно не пошли в театр на представление вашей пьесы.

Т о м а с. Ни малейшего интереса. Революционную тенденцию почти совершенно вытравили. Теперь центральное место в пьесе — это любовная сцена, которую я сначала вычеркнул.

Г е о р г. В Курляндии большевики вытащили давно похороненных герцогов из могил, хорошо сохранившиеся трупы на машинах повезли в кино. Там мертвых герцогов усадили в кресла и продемонстрировали им большевистское настоящее. Подумать, что фильм о вас идет в этом второразрядном кино. Что за публика, что за воздух!

Т о м а с. Фильм обо мне? Фильм — о нас всех. И публика для фильма в самый раз, и воздух в самый раз.

Г е о р г. Но кто заставляет вас, Томас, смотреть на ваше невеселое прошлое?

Т о м а с. Моя революция — чрезвычайно подходящий материал для кино: очень много движения и ни на йоту души.

Г о л о с к о н ф е р а н с ь е. Перед нашей главной картиной «Призрак в оперном театре» мы покажем вам сцены из недалекого прошлого Германии. Название: «Бурные дни».

М о л о д о й ч е л о в е к (*своей подруге*). Н-ну, Луиза, что касается сына моего отца, то он предпочитает бурные ночи.

К о н ф е р а н с ь е. Вы видите многолюдное собрание в Фолькстартене тотчас же после предложения о перемирии.

Т о м а с. Там впереди, справа, — он хватается за руку человека, — это мой друг Кристоф. Он тоже умер.

Г е о р г. Не поехать ли нам лучше в театр, Томас?

Т о м а с. Чепуха. Я не сентиментален.

К о н ф е р а н с ь е. Перед вами революционное празднество на Марсовом поле.

Д е в у ш к а. От этих политических фильмов уже с души воротит. Революция прямо в зубах навязла.

П а р е н ь. Ты права, Луиза. Но «Привидение в оперном театре» — это, должно быть, здорово. Если не прийти заранее, достанутся места за колоннами.

К о н ф е р а н с ь е. Вы видите массовые процессии. В празднестве участвовало более полумиллиона человек.

Ч е й - т о г о л о с. Ну, уж и полмиллиона.

Т о м а с. Вглядитесь в лица. На всех та же глупая, счастливая улыбка, точно у акробатов в минуту напря-

жения. Тогда мне казалось, что все добры и воодушевлены. Но я только опьянил их своими речами. Несколько гектолитров спирта произвели бы такой же эффект.

К о н ф е р а н с ъ е. Человек, который обращается в эту минуту с речью к массам, — это Томас Вендт.

Несколько робких хлопков, тотчас же заглушенных свистками.

Т о м а с. Неужели это я? Неужели это был я?

П ы л к и й г о с п о д и н. Да здравствует Томас Вендт!

Р а б о ч и й. Заткнитесь, почтеннейший.

П ы л к и й г о с п о д и н. И не подумаю.

Р а б о ч и й. Заткнитесь, говорю я вам. Вы, интеллигенты, вообще во всем виноваты. Вы, интеллигенты, прощляли революцию.

Г е о р г. Что вы скажете на это, Томас?

Т о м а с. Этот человек прав.

К о п ф е р а н с ъ е. Здесь вы видите Томаса Вендта в апогее его власти. Вы видите, как перед ним склоняются знамена.

П ы л к и й. Да здравствует Томас Вендт. Склонить знамена перед Томасом Вендтом.

Свистки.

Р а б о ч и й (*пылкому господину*). В последний раз, сударь, если вы не придержите язык, вам придется собирать свои кости.

В о з г л а с ы. Да тише там. Замолчите.

К о н ф е р а н с ъ е. Господин, который выходит из автомобиля, — это Густав-Лебрехт Шульц. Он направляется на заседание народных представителей, чтобы взять в свои руки управление финансами.

Аплодисменты.

Г о л о с (*насмешливо*). Какими финансами?

К о н ф е р а н с ъ е (*с достоинством*). Финансами государства.

Аплодисменты.

Теперь мы отправляемся на площадь перед государственной канцелярией. Томас Вендт старается успокоить возбужденные массы.

Рабочий. Сначала он нас подстрекает, а как запахнет порохом, так становится кроткой овечкой и норовит в кусты.

Конферансье. Лицо Томаса Вендта крупным планом.

Девушка-подросток. Какой интересный! Душка.

Рабочий. Ах, фрейлейн! Незачем прикрашивать истину: от страха у него бывало мокро в штанах.

Рассудительный господин. Теперь видно: то, что прежде казалось нам в этом лице выражением тяжелой внутренней борьбы, на самом деле было не более как позой.

Рабочий. Внутренняя борьба, поза — чужь! Половодье в штанах — вот что!

Конферансье. Вы видите Густава-Лебрехта Шульца, окруженного журналистами. Он идет в государственную канцелярию, чтобы в момент наивысшей нужды решительно повернуть руль.

Шумные аплодисменты.

Луиза. По нему сразу видно, что он всей душой за народ. А тот скроил такую физиономию, что молоко может скиснуть.

Конферансье. Томас Вендт спускается по лестнице государственной канцелярии тотчас же после решающего заседания, на котором его вынудили отказаться от своего поста.

Георг. Неправда. Никто его не заставлял. Он ушел добровольно.

Голоса. Помолчи-ка, парень. Выгнали его, уже это верно.

Рабочий. Половодье в штанах.

Голоса. Выгнали. Вышвырнули. Выставили за дверь. Пулей вылетел. Поделом ему. К стенке бы его поставить.

Томас. Ложь. С первого же дня он хотел уйти. Он

ушел добровольно. Добровольно. Вот как было дело. Но он во всем виноват. Это тоже правда.

Многие голоса. Заткните глотку, наконец. Выкиньте его, если он не замолчит.

Рассудительный господин (*Томасу*). Лучше бы вам в самом деле помолчать. Что вы понимаете в революции и Томасе Вендте? Молокосос.

Конференсье. На этом кончается наш добавочный номер — фильм о германской революции. После двухминутного перерыва вы увидите наш коронный фильм, сенсационную драму «Привидение в оперном театре».

Конец

БЕЗОБРАЗНАЯ
ГЕРЦОГИНЯ
МАРГАРИТА
МАУЛЬТАШ

РОМАН

Перевод
В. Станевич

Книга первая

Между городом Инсбруком и монастырем Вильте-ном, на широком ровном поле, стояли палатки и флагштоки, были построены трибуны, отгорожены ипподромы для турниров и иных спортивных забав дворянства. Многим тысячам людей приготовили здесь место и простор для развлечений. Уже второй год стояли эти шатры на Вильтенском поле в ожидании пышной торжественной свадьбы, которую собирался справить Генрих, герцог Каринтский, граф Тирольский, король Богемский. Монастырская братия следила за тем, чтобы ветер не сорвал палатки, чтобы арена не заросла травой, трибуны не подгнили. Однако празднество все откладывалось, второй проект женитьбы, видимо, рухнул так же, как и первый. Инсбрукские жители и вильтенские монахи ухмылялись, горы равнодушно смотрели вниз. Жены инсбрукцев гуляли среди дорогих расшитых полотен, дети ловили друг друга, бегая по трибунам, парочки находили в палатках желанное убежище.

Стареющий король Генрих — вся Европа добродушно и без насмешки оставила за ним королевский титул, хотя он давно уже лишился своего королевства Богемия и ныне владел только графством Тироль и герцогством Каринтия, — недовольный ехал верхом между палатками. Он откушал в аббатстве Вильтен; легкий завтрак состоял из форелей с имбирной подливкой, кур в миндальном молоке, десерта и конфет. Но они там, в

Вильтене, ничего не смыслят в подлинно изысканной кухне: тонкости нет. Аббат — разумный добрый настоятель и неплохой дипломат, а в кулинарных нюансах ничего не смыслит. Во всяком случае, ему, королю, завтрак показался невкусным, и если после еды его настроение обычно повышалось, сейчас он еще больше впал в уныние. До Инсбрука было недалеко, и он ехал без доспехов. Узкая модная одежда стесняла его; что говорить, он толстеет с каждым месяцем. Но он человек светский, великолепно сидит на своем породистом разубранном коне, и не в меру длинные широкие рукава нисколько ему не мешают.

Повеял легкий ветер, погнал хлопья снега, вздул полотняные стенки шатров, забил, захлопал ими. Небольшая свита отстала, король ехал один, лениво. Он сердито оглядел широко раскинувшееся поле с возведенными для праздника сооружениями. Его чисто выбритые щеки висели, дряблые и жирные, рот был выпячен, большой, безобразный, с толстой нижней губой. Светлые водянистые глаза рассерженно скользили по полотняному городку, по трибунам, по ограде арены. Оя, конечно, человек сговорчивый. Но и его долготерпение имеет границы. Иоганн Люксембуржец опять надул его: во второй раз посулил невесту, обо всем торжественно договорился и снова оставил ни с чем.

Король сопел, тяжело дыша коротким плоским носом, дыхание густыми облачками пара повисало в холодном и мглистом снежном воздухе. Говоря по правде, он на Иоганна, на Люксембуржца, не сердится; Генрих вообще не умсет сердиться. Иоганн с позором выгнал его из Богемии, так что от его королевства остался один только титул; но потом Генрих легко помирился с этим элегантным любезным человеком, когда тот предложил ему денежную компенсацию и руку своей пригожей молодой сестры Марии. И даже тогда, когда Люксембуржец обещания не выполнил и не склонил сестру на брак, Генрих не стал ломаться и изъявил готовность удовольствоваться другой невестой, тоже предложенной ему Люксембуржцем, его двоюродной сестрой, Беатрисой Брабантской. Но вот и та не едет, это уже слишком.

День святого Варфоломея, в который она должна была прибыть, давно прошел, а любезная брабантская кузина Иоганна не приехала, красивые шатры на Вильтенском поле ждали напрасно. Люксембуржец, наверно, опять как-нибудь ловко вывернется. Но на этот раз король Генрих уж не даст столь легко уговорить себя. Даже долготерпению многострадального христианского короля есть мера и предел.

Он сердито взмахнул хлыстом, изукрашенным драгоценными камнями. Он помнил очень хорошо свое последнее свидание с Иоганном в мае, они тогда обо всем договорились. Люксембуржец, надо отдать ему должное, явился тогда в сказочно изысканной одежде. На нем, как и на всех господах его свиты, было платье особого покроя, который только что входил в моду в Каталонии и Бургундии и оставался еще неизвестным в Германии: платье это, допелъзя узкое, прилегающее вплотную — двое слуг с трудом могли напялить его на Иоганна, — было сшито из многоцветной ткани, с отделкой в шахматную клетку и широчеными рукавами, почти до колен. Сам он, король Генрих, придавал особое значение модной одежде; однако Люксембуржец, спору нет, перещеголял его. Богемско-люксембургские господа и причесаны-то уже по новой моде: борода'и волосы длинные — и когда только они успели отрастить их — вместо бритого лица и коротко остриженных волос, как было в обычае при дворе с тех пор, как он себя помнит. Ему импонировали и казались прямо удивительными та легкость и уверенность, с какой Люксембуржец, чуть ли не в одну ночь, освоился с новой модой. Поэтому Генрих, полный тайного восхищения, беседовал с Иоганном только о модах да еще о жемчужинах, лошадях, спорте, а политику и неотложные деловые вопросы, связанные с его браком, предоставил своим советникам. Члены его свиты — осмотрительный, преданный аббат Вильтенский, начитанный, речистый аббат Иоанн Виктрингский, осанистый бургграф Фолькмар, любезные и умные господа фон Вилландерс, фон Шенна — действительно разбираются в этих нудных и неприятных денежных делах гораздо лучше, чем он, и гораздо надежнее передать разработку предвари-

тельного проекта в их верные искусные руки. Поэтому он и ограничился светским разговором, и, когда король Иоганн принялся восхвалять преимущества парижских и бургундских дам, с которыми охотно пускался в похождения, Генрих противопоставил им дебелые прелести тиролек, очень, очень хорошо ему известные, причем круг его наблюдений все расширялся. В конце концов его любезный секретарь аббат Иоанн Виктрингский положил перед ним готовый проект договора, процитировал латинский стих «Дело бы так обрело свое окончанье благое», заверил, что все теперь улажено и в порядке; король наверняка получит в день святого Варфоломея невесту и тридцать тысяч марок веронским серебром. И что же, вместо этого — разъезжай вот по полю, предназначенному для празднества. Тут и палатки, и флагаштоки, и площадь для турниров, однако нет ни невесты, ни денег.

У самой дороги король заметил мальчугана. Тот не слышал топота приближавшейся лошади; он деловито присел на корточки в углу одной из палаток, приподнял платье и, тужась, справлял нужду. Король, увидев такое осквернение своей свадебной территории, хлестнул мальчика. Но как только тот заревел, Генрих пожалел его, бросил ему монету.

Нет, так продолжаться не может. Эти палатки, которые стоят и ждут, унижены для его величества. Пора покончить с Люксембуржцем и его ненадежными лапами. В Инсбруке он встретится с Австрийцем, с герцогом, с хромым Альбрехтом. С ним заключит он соглашение — пусть Австриец раздобудет ему невесту. Разве на Люксембуржце свет клином сошелся? Подумаешь! То, чего не может или не хочет сделать Люксембуржец, сделает Габсбург.

Генрих не привык слишком долго предаваться досаде. Едва он принял решение, как разрядил свой гнев в холодный, бодрый божий воздух. Совсем иными, веселыми глазами посматривал он вокруг себя на праздничные сооружения. Смейтесь на здоровье! Все это скоро пригодится. Он выпрямился, стал насвистывать задорную песенку, прищипорил коня, так что господам из свиты пришлось догонять его.

Проезжая верхом через обширный полотняный городок, пятеро господ, составляющих ближайшую свиту Генриха, обменивались шутливыми намеками насчет задержавшейся свадьбы короля. Все пятеро были гораздо смышленнее своего господина, они по мере сил доили его — особенно свирепый бургграф Фолькмар, — выжимали из него все новые лены и откупа. При всем том, они по-своему любили этого полнокровного, покладистого государя: щедрый, набожный, охотник до пиров и спорта, веселый собутыльник, любитель женщин, преданный новшествам моды и всяческим удовольствиям, он не был лишен фантазии, легко увлекался любой затеей, хотя обычно очень скоро остывал. В эпоху, когда политика зависела целиком от личности государя, такой человек не мог надеяться на особенно блестящие перспективы, а со времени богемского эпизода он был из большой европейской политики навсегда исключен. И если сам об этом не догадывался, то тем более твердо знали это господа приближенные. Они знали: не он хитрит в политике, а с ним хитрят политики.

С этой точки зрения они оценивали и его брачные планы, и эти пустовавшие палатки имели для них совсем иной, чем для доброго короля, глубоко иронический смысл.

Кормило Римской империи держали в своих руках три государя: удалой, блестящий, изменчивый Иоганн Люксембургский и Богемский; неуверенный, нерешительный тяжелодум Людвиг Виттельсбах; цепкий, дальновидный Альбрехт Габсбургский, в котором паралич развил особую жесткость, так что он стал руководителем своих братьев, деливших с ним власть. Все три государя были равны по могуществу, все трое тянулись к власти над империей и всем христианским миром, все трое были начеку, подстерегали друг друга; зарились на страну в горах, на Каринтию и Тироль, где сидел Генрих, стареющий вдовец, без наследников мужского пола. Вот она, возможность, и притом единственная, значительно расширить свою власть и владения. Эта горная страна, богатая, плодородная, прославленная, простиралась от бургундских границ до Адрии, от баварского плоскогорья до Ломбардии, служила мостом между

австрийскими и швабскими владениями Габсбургов, между Германией и Италией: это был ключ к Римской империи. Добиться расположения его господина, этого добродушного стареющего прожигателя жизни, стать его наследником казалось каждому из трех государей вполне достижимым. Его тоска по настоящему законному наследнику после многочисленных внебрачных сыновей и двух законных дочерей играла немалую роль в их расчетах, и они завлекали его соблазнительными брачными планами.

Пятеро приближенных — три рыцаря в доспехах и оба аббата в дорожной одежде весьма светского покроя, про себя улыбались при мысли о том, как старается король Генрих скрыть от самого себя истинную подоплеку всех этих проектов. Он делал вид, будто и Люксембург, и Виттельсбах, и Габсбург лишь из княжеской любви и верности и просто по дружбе хлопочут о подыскании ему невесты. Наиболее откровенно повел себя Люксембуржец: обещал Генриху свою красавицу сестру, юную Марию, и двадцать тысяч марок веронским серебром, взамен требуя брака одной из дочерей Генриха с одним из мелких люксембургских князьков. Он раззадорил сластолюбивого старого вдовца портретами Марии, а сам этой блистательной утонченной принцессе даже словечком не обмолвился. Вполне понятно, что юная и прелестная люксембургская принцесса, дочь императора, всеми силами противилась браку со старым потасканным кутилой. Она якобы дала обет вечной девственности — мужчины ухмылялись, намекая на этот обет, — что, однако, не помешало ей спустя несколько месяцев выйти за короля Франции.

Вероятней всего Иоганн знал заранее, что никогда ему не уговорить сестру стать женой Генриха, и он просто водил за нос старого короля, который заранее наивно радовался будущему статному наследнику. И уж не оставалось никаких сомнений в том, что при втором сватовстве, к Беатрисе Брабантской, Иоганн вел в отношении старого короля бесчестную игру. Обещанием еще гораздо более богатого приданого он ловко выманил у Генриха договор, по которому малолетняя дочь Генриха, Маргарита, должна была стать женой одного из

младших сыновей Иоганна, и в случае, если Генрих скончается без мужского потомства, унаследовать его земли. Таким образом, он получал возможность после смерти старого государя и при отсутствии наследника сына наложить руку на Каринтию, Герц и Тироль. Тщательно проверив многочисленные любовные похождения Генриха, он установил, что быстро отцветший король за последние четыре-пять лет больше не имел детей ни от одной из своих возлюбленных. Однако даже врач, даже самый опытный прожигатель жизни не могут предсказать ничего наверняка. Чем дольше Люксембуржец оттягивал женитьбу короля, тем проблематичнее становились расчеты на мужское потомство и тем более крепла его собственная надежда заполучить через своего маленького сына страну в горах, а тем самым и Римскую империю.

Господа приближенные видели насквозь все эти хитрости, они отлично понимали, что в них-то и сокрыта главная причина, почему так унылы и пусты праздничные шатры. И если любезная брабаутская кузина Люксембуржца, дочь сира Лувенского и Гэсбекского, племянница покойного императора Генриха Седьмого, колебалась, на том будто бы основании, что она-де единственная опора родителей и что ей вовсе не улыбается менять свою прекрасную Фландрию на чужую, загадочную страну в горах, — то Люксембуржец, видно, и не настаивал.

В глубине души господа приближенные относились к самому плану женитьбы, представлявшему собой основу всей политики альпийских стран, неприязненно и предубежденно. Правда, бургграф Фолькмар, выглядевший особенно грузным и свирепым в своих грозных доспехах, заявил скрипучим голосом, что пусть Люксембург, пусть Габсбург — все едино, только бы уж невеста поскорее очутилась в постели короля; из-за этого супружества, которое все оттягивается, его величество, а через него и его советники и вельможи становятся всеобщим посмешищем, от Сицилии до северных границ. Все же это заявление прозвучало несколько натянуто и неискренне, так что и хитрый молчаливый Тэген фон Вилландерс и Якоб фон Шенна, младший из советников

короля, изысканный, худоцавый, к усталой скептической физиономии которого не шли рыцарские латы,— оба выразили на лице сомнение. Король Генрих так приятно ничего не смыслил в финансах, он целиком предоставил управление страной своим советникам, а когда те, при сдаче отчетов, жаловались на непосильные труды и накладные расходы, он рассыпался в благодарностях и, несмотря на всегда пустую кассу, не скупился на раздачу ленов, привилегий и откупов. При нем жилось легко и удобно, жирели и угодя и сундуки. Если теперь — вздыхали эти господа — в их уютное болото заберется чужак, то наживаться, как ни вертись, будет уж не так легко.

Искренне довольны были оба прелата, хитрый тощий аббат Вильтенский и речистый, обходительный Иоанн Виктрингский. «Благо для всех и урок — созерцать деянья великих!» — процитировал последний античного классика, и оба про себя, с чисто спортивным интересом наслаждались дипломатическими ходами Люксембуржца. Их дело маленькое: Генрих, Люксембург или Габсбург — они из каждого сумеют выжать то, что им нужно для любезных их сердцу гостеприимных и жирных аббатств. Поэтому они ожидали с почти бесстрастным любопытством исхода борьбы между Альбрехтом Австрийским и Иоганном Богемским и снисходительно посматривали на толстую, благочестивую, жизнерадостную пешку, какой являлся в игре этих трех могущественных немцев король Генрих.

Господа приближенные догнали короля, который теперь сидел выпрямившись, увидели, что лицо его посветлело, угадали его решение во что бы то ни стало раздобыть себе невесту через Габсбурга. Конечно, так или иначе, а этой истории должен же когда-нибудь прийти конец. Ладно, будем ориентироваться на Габсбурга.

И когда шатры два-три месяца спустя наполнились свадебными гостями, невестой действительно оказалась совсем другая Беатриса, та, которую предложил Альбрехт Австрийский, — Беатриса Савойская; однако и тут не обошлось без Иоганна Люксембуржца. Иоганн Люксембургский сватал, он же подписал и гарантировал брачный договор, Иоганн Люксембургский выплачивал

приданое — обещал по крайней мере выплатить, — а его младший сын Иоганн был объявлен женихом Маргариты Каринтской и наследником страны в горах.

Двенадцатилетняя Маргарита, принцесса Каринтии и Тироля, отбыла из своего родового замка под Мераном в Инсбрук, чтобы сочетаться браком с десятилетним принцем Иоганном Богемским. Ее отец, король Генрих, предложил ей ехать ближайшей дорогой через Яуфенский перевал. Но она предпочла сделать огромный крюк, избрав путь на Боцен и Бриксен, так как хотела насладиться приветствиями многочисленных поселков, расположенных на этой дороге.

Она путешествовала с большой свитой. Мужчины медленно следовали верхом; разукрашенные фургоны дам скрипели, подпрыгивая по горным дорогам вверх, вниз, в них жестоко трясло. Многие дамы предпочитали мулов, хотя это было, собственно, не принято, или же ненадолго пересаживались на седла к мужчинам.

Маленькая принцесса ехала в запряженных лошадьми носилках с гофмейстеринной, некоей фрау фон Лодрон, и камер-фрейлиной Гильдегардой фон Ротенбург, сухопарым, невзрачным, чрезмерно услужливым созданием. Обе дамы то и дело вздыхали и жаловались на пыль, на скверную дорогу, на вонь от лошадей, на непрерывную тряску; но принцесса переносила все тяготы пути без малейшей жалобы.

Молча и серьезно сидела она, разряженная, торжественная. Ее стан был так затянут, что она задыхалась; рукава из тяжелого зеленого атласа, преувеличенно модные, свисали до полу. Нарочный привез ей из Фландрии драгоценную сетку для волос новейшего фасона, их только что начинали носить. В вырезе лифа сверкало тяжелое ожерелье, на пальцах — крупные перстни. Так сидела она, с серьезным лицом, потев под грузом пышных украшений, между кислыми, ноющими женщинами.

Она казалась старше своих двенадцати лет. На коренастом теле с короткими конечностями сидела большая уродливая голова. Правда, лоб был ясный, чистый, и глаза — умные, живые, испытующие, пронизательные;

но под маленьким приплюснутым носом рот обезьяны выдавался вперед, с огромными челюстями и словно вздутой нижней губой. Волосы медного цвета были жесткие, прямые, без блеска, кожа — известково-серая, тусклая, дряблая.

Так ехала девочка из Карантии по стране, под сияющим сентябрьским небом. Всюду, куда она приезжала, ее приветствовали рожки и трубы, звали колокола, развевались флаги. В Бриксене епископ и его капитул присоединились к свите наследницы их сюзерена. Именные аристократы-феодалы встречали ее на границах своих ленных владений. У городской черты ее ожидали с праздничным приветствием местные власти.

На звучной латыни, твердо и совсем по-взрослому отвечала Маргарита приветствовавшим ее верноподданным. Почтительно глазел на нее народ, склонялся перед ней, как перед святыней, поднимал детей, чтобы они видели свою будущую государыню.

Но когда она отъезжала, люди переглядывались, ухмылялись. «Рот-то вывернутый! Чисто у обезьяны!» — издевались те женщины, которые сами были тощи и невзрачны; красивые жалели ее: «Бедняжка! До чего она безобразна!»

Так ехала девочка по стране, известково-серая, коренастая, серьезная, обвешанная украшениями, точно идол.

В большом шатре полотняного городка перед Вильтемом пестрели красками роскошные гобелены и ковры, торжественно шуршали знамена, важно высились гербы Люксембурга, Каринтии, Крайны, Герца, Тироля. Десятилетний принц Иоганн стоя ожидал свою невесту, с которой должен был сочетаться браком; худой, не по летам высокий мальчик; его узкое удлинненное лицо было довольно красиво, но глубоко сидевшие глазки словно притаились, злые, маленькие. Смущенно ерзал он в стеснявшем его узком модном платье, под тяжестью мучительно сдавливавших грудь декоративных лат, надетых им впервые ради торжества. Потая, странно неуверенный, прятался он среди пятнадцати богемских и люксембургских рыцарей, составлявших его свиту.

Трубы, склоняющиеся знамена. Принцесса появилась. Архиепископ Ольмюцкий выступил вперед, в

звучной искусной речи приветствовал ее от имени принца. И вот дети стали друг перед другом, нарядный мальчик в декоративных латах и обвешанная украшениями девочка. Испытующе разглядывали они друг друга. Неприязненно щуря злые глазки, застенчиво и злобно поглядывал Иоганн на свою безобразную невесту; холодно, почти презрительно смотрела Маргарита на длинного, как жердь, неуверенного жениха. Затем церемонно, нерешительно они протянули друг другу руки.

Явились отцы. Восхищенно смотрела Маргарита на громадного лучезарного короля Иоганна. Какой мужчина! И тут Люксембуржец, который был весьма искусным дипломатом, превозмог себя. Не отпрянул. Высоко поднял он сильными руками безобразную девочку, приносившую его сыну в приданое Каринтию, Крайну, Тироль, Герц, и на глазах у всех поцеловал ее, дрожащую, изнемогающую от счастья, в толстые, по-обезьяньи выпяченные губы. Стареющий король Генрих был обрадован и растроган, его светлые глаза казались еще водянистее, чем обычно. Мясистой, слегка дрожащей рукой кутилы пожал он покрытую холодным потом бесильную, костлявую руку своего маленького зятя, заговорил с ним как со взрослым. И вот зазвенели рога, загремели литавры, пир начался. Пурпуром и золотом сверкал шатер, в котором дети вкушали праздничную трапезу. Три стола гнулись под тяжестью обильных свадебных блюд. Епископства Триент и Бриксен одолжили свое чудесное столовое белье, города Боцен, Меран, Штерцин, Инсбрук, Галль — роскошную посуду. Тяжело и пышно висели над головой жениха и невесты штандарты с неуклюжими геральдическими зверями. На своих высоких и тяжелых, разубранных боевых конях, предшествуемые музыкантами, знатнейшие вельможи Богемии, Каринтии, Тироля подвозили яства для княжеской четы детей. После каждой смены рыцари подавали воду, полотенца, наливали вино, парезали кушанья. Торжественно, под золотом и пурпуром, со старческими лицами восседали дети за столом.

Добрый король Генрих таял от счастья. Он проследовал к молодой своей супруге, робкой, худосочной, вечно зябнущей Беатрисе Савойской, председателъ-

ствовавшей за столом придворных дам, ласково похлопал ее по руке, выпил за ее здоровье. Снова не спеша подошел к Люксембуржцу, первому рыцарю, галантейшему кавалеру всего христианского мира. Хорошо сидеть с ним рядом, чувствовать себя на равной ноге. Люксембуржец — не то что всегда рассудительный пресный Баварец, король Людвиг, у которого только и разговору, что о политике да о войне. А этот — свой брат, он такой же, как и сам Генрих. Ведь он, Генрих, немало блуждал и блудил по своим замкам Ценоберг, Гриз, Триент, а также по замкам своих вассалов, и их дамам бывало лестно и приятно доказывать государю свою преданность. И во время путешествий не уклонялся он ни от каких походов, любил, чтобы городской магистрат торжественно пригласил его посетить местный веселый дом. Но этот Иоганн — ей-богу, клянусь чертом девятихвостым — превзошел даже его. Не оставалось ни одного города от испанской границы до глубин Венгрии, от Сицилии до Швеции, где бы тот не показал себя. По улицам, ночью, крадся он, переодетый, похотливый, как кот, заводил интрижки с женами горожан, дрался с оскорбленными любовниками. Вся Европа говорила о его необыкновенных, дерзких, блестящих, упоительных похождениях. В блаженном настроении захмелевший Генрих придвинулся к Люксембуржцу; он был искренне ему предан, без всякой зависти. Разумеется, Генрих постарше, позрелее, но, в общем, он узнавал в этом Иоганне свое отражение, видел как бы своего младшего брата. В беспечном неведении он считал, что и мир видит Иоганна таким, каким тот представляется ему самому.

Он выпил залпом вино, с затуманенными глазами, похрюкивая, фамильярно толкнул в бок Люксембуржца, забормотал ему на ухо непристойности. Умный, блистательный Иоганн ласково выслушивал простодушную старческую болтовню короля, не давая заметить ни одним движением, что считает его старым болваном. Оба короля шептались, обняв друг друга за плечи, рассказывали флиртности, фыркали.

Остальные мужчины тоже оживились, их лица покраснели. Богемцы, люксембуржцы, тирольтцы плохо

или же вовсе не понимали друг друга. Это служило поводом для множества шуток. Громче всего раздавался дребезжащий смех обоих побочных братьев короля, Генриха фон Эшенло и Альбрехта фон Каммиан.

Девочка Маргарита поглядывала удивленными умными глазами на своих веселых дядей. Ее статс-дамы, фрау фон Лодрон, фрейлейн фон Ротенбург, жеманно просили мужчин не рассказывать так громко столь рискованные анекдоты при детях. Обе увядающие придворные дамы выпили сладкого вина, на их щеках выступили пятна, они улыбались кисло-сладко, возбужденно.

За дамским столом сидела и младшая сестра Маргариты, болезненная калека Адельгейда. Нелюдимая девочка гораздо охотнее осталась бы у монахинь в монастыре Фрауенхимзее. Но Маргарита настояла, чтобы сестра присутствовала на свадьбе. И вот она сидела среди праздничного гула, хохочущих рыцарей, среди знамен и парадных блюд, внучка мощных завоевателей страны, дряблая, горбатая, больная, очень похожая на придворных шутов и карликов, которые кривлялись перед нею, отпуская унылые, грубые шутки. Кроткая Беатриса Савойская, ее мачеха, улыбалась ей, гладила ее руку.

Мрачный, неподвижный, стесненный парадной одеждой, сидел маленький принц Иоганн, жених, на почетном месте. Дети едва успели обменяться несколькими словами. Он искоса посматривал на сидевшую рядом с ним невесту, такую уверенную в себе, без тени робости. Чтобы как-нибудь преодолеть свое смущение, он ел много и торопливо, без разбору, пил пряное вино. В конце концов его затошнило; он насупился, старался удержаться, но потом не вытерпел. Архиепископу Ольмюцкому пришлось его вывести. Гости кругом посмеивались, добродушно, весело шутили. Маргарита смотрела прямо перед собой, холодно, презрительно.

Когда принц вернулся, он был уже без доспехов, ему стало легче. С хмурым и упрямым лицом принялся он за фисташки, фиги, пряники, лекарственные леденцы, конфеты. Это путешествие, эта безобразная гордая девочка — его невеста, пир, отец и этот старый толстяк, который стал его тестем, — все было ему глубоко

противно. Хотелось очутиться в грязной богемской деревушке, возле замка его матери, хотелось гонять с деревенскими мальчишками, всякими Вячеславами, Богуславами, Прокопами. Он был рослый, сильный и трусливый. Он безжалостно тузил и кусал товарищей своих игр. Когда они защищались, он еще кое-как мирился с этим. Но если ему грозило поражение, он вдруг становился королевским сыном, негодовал, жаловался, требовал суровых наказаний. Он воспитывался у матери, Елизаветы Богемской, которая принесла Люксембуржцу королевство. Это была истеричная дама, неистово влюбленная в своего лучезарного супруга, отчаянно ревнивавшая его к бесчисленным любовницам. Особенно яростно ненавидела она вдову покойного короля Рудольфа, королеву из Граца, непристойная связь которой с Иоганном вызвала гражданскую войну и обличение. В атмосфере этих внезапно сменяющихся чувств, то восторженной преданности своему супругу, то бурной ненависти и проклятий, воспитала она и маленького Иоганна. Они с отцом едва понимали друг друга: отец не говорил по-чешски, а сын — по-французски, приходилось изъясняться по-немецки, а этим языком оба владели плохо. Да мальчик и редко виделся с отцом — лишь на недолгий срок шумных празднеств в периоды бурных возвратов короля в это королевство, которого он терпеть не мог, из которого лишь выжимал деньги, предпочитая ему свой Люксембург, свои живописные прирейнские земли. Тогда мать, по капризу, заставляла мальчика изображать то ненависть, то любовь к отцу. Отсюда в ребенке рано развились скрытность, мстительность, упрямство, застенчивость.

Солнечная нагорная страна Тироль, где все было омыто таким ясным, ярким светом, не нравилась ему. Он тосковал по своей облачной, туманной Богемии. Он жмурился, он чувствовал, что сыт. Вино возбуждало его, хотелось действовать, приказывать, терзать.

Юный паж, стоявший за его стулом, полил ему на руки из золотого кувшина. Иоганн прикрикнул на него, пусть будет поосторожнее, он обливает ему рукава.

Паж вспыхнул, его пухлые губы дрогнули, он хотел возразить, пересилил себя, промолчал.

Маргарита повернула голову, скользнула взглядом быстрых глаз по лицу пажа. Мальчик был года на три-четыре старше Иоганна, стройный, открытое загорелое лицо с крупным носом и маленьким пухлым ртом, длинные волнистые каштановые волосы.

— Как зовут пажа, ваша милость? — сказала она своим теплым звучным голосом.

Иоганн подозрительно покосился на нее.

— Крэтиен де Лаферт, — отозвался он ворчливо.

Крэтиен был вот уже год как приставлен к нему отцом в качестве старшего товарища игр, он должен был оказывать принцу придворные услуги и обучать его французским и бургундским аристократическим манерам.

— Дайте мне вон тех конфет, Крэтиен! — медленно, спокойно сказала Маргарита и посмотрела на него.

Крэтиен услужливо подал ей вазу со сладостями. Взяв конфету, она, словно так и надо, разломилась на три части, оставила одну себе, другую протянула Иоганну, третью смущенному Крэтиену.

Мужчины за своим столом отметили этот эпизод и принялись подшучивать над стремлением детей подражать галантностям взрослых. Постепенно шутки становились злыми. Издевались над исключительным безобразием невесты. «Бедный мальчик! — сказал один из богемцев. — Дорого ему обойдутся его страны». — «По мне уж лучше завоевывать мечом, чем так», — сказал другой. «Чтобы такое рыло показалось заманчивым, — заметил третий, — оно должно быть густо смазано». Тирольские бароны сначала сдерживались, но в конце концов нехотя присоединились к насмешкам. Девочка Маргарита посмотрела в их сторону. Слышать их она никак не могла, все же ее большие серьезные глаза казались такими всезнающими, что мужчины, смущенные, умолкли.

Среди них сидел и Якоб фон Шенна, самый младший из советников и доверенных короля Генриха. Он не раз гостил в замках короля. Девочка Маргарита часто видалась с ним. Он был единственный, кого она

любила, кому доверяла. Он не говорил с ней тем тоном дурацкой снисходительности и напускной ребячливости, каким обычно говорили взрослые, глубоко возмущая ее. Он обращался с ней, словно она большая.

Он видел, как она, разряженная, торжественно сидит за столом, видел маленького грубого богемского принца; с которым у нее не могло быть ничего общего, видел, как она пыталась завязать знакомство с пажом Кретиеном. Он слышал тупоумные издевательства над ее бедным телом. Тогда он встал, поплелся к ее столу, остановился перед ней сутулясь, в присущей ему небрежной позе, вежливо глядя на нее серыми, благожелательными, очень старыми глазами, завел с ней непринужденную серьезную беседу. О том, как блестяще выглядит ее тесть, богемский король, о том, что все его труды не оставили на нем никакого следа, что предполагаемое пребывание короля в Южном Тироле ей, Маргарите, очевидно, тоже причинит немало хлопот, ибо король, вероятно, займет своей свитой и войском все ее замки. И о том, каких денег будет стоить возможный ломбардский поход. Маленький Иоганн косился на них, пораженный разумными ответами Маргариты.

Вскоре после этого трапеза кончилась. Маргарита, перед тем как удалиться, имела еще небольшую куртуазную беседу со своим будущим супругом. Она спросила его, нравится ли ему Тироль, двор ее отца; рад ли он предстоящему турниру; пожелала ему поскорее освоиться. Мальчик отвечал неумело, глупо, с выражением какой-то упрямой тупости на почти красивом лице. Когда она уходила, паж Кретиен встретил ее у выхода, откинул перед ней полы шатра. Она поблагодарила спокойно, холодно, далекая, царственная.

Затем она приказала отнести себя в свой шатер; она все же ужасно устала. Ее фрейлины раздели ее, усердно болтая, хихикая, пересуживая отдельные эпизоды, отдельных участников пира. Она уже лежала в постели, а женщины все трещали. Наконец они удалились. Ее тело было освобождено от тесной парадной одежды, и она с облегчением вытянулась. Теперь она крепко заснет. Она это заслужила. Собой она была довольна. Держалась хорошо, совершенно как взрослая, очень дар-

ственно, ничем перед люксембургскими и богемскими господами себя не осрамила. Этот Иоганн, конечно, не бог вещь какая находка.

— Ну, ваш принц не бог вещь какая находка,— хихикая, заметила за стеной, с трудом сдерживая грубый голос, прибиравшая после пира служанка.

— Сравнить с вашей принцессой,— насмешливо огрызнулся слуга-богомец, который помогал служанке и за ней приударял,— так он сущий ангелок. А уж она-то! Рыло! Зубы! У нас такую сейчас же после рождения утопили бы, как кошчонку.

А король Генрих тем временем расплачивался за свадьбу. Свадьба вышла на славу. Понятно, что она и обошлась недешево, но он не скупердай. С щедрой готовностью предложили ему приближенные эти огромные суммы, с щедрой готовностью отблагодарил он их за любезность широкой раздачей в залог деревень, поместий, пошлин, налогов и других доходных статей. Почему бы не предоставить милейшему бургграфу Фолькмару Визиаун и Мэлтерн? Он дал ему в придачу еще и Раттенберг. И аббат Вильтенский, которому приходилось столь долго оберегать праздничный полотняный городок, вполне заслуженно получил озеро между Иггсом и Виллем. А уж раз так, то пришлось подарить чем-нибудь и монастырь Викtring; награди он одних только вильтенцев, его добрый секретарь Иоанн имел бы полное право обидеться. Поэтому хутора и повишности получил и Викtring. «Большого счастья нет, чем радовать друга подарком»,— процитировал древнего классика речистый аббат.

Люксембуржец присутствовал при том, как король Генрих беззаботно, бесшабашно, милостиво и весело, сильно под хмельком, подмахивал эти дарственные и откупные грамоты. Он и сам человек щедрый, но на такое нахальство его бароны не решились бы. Не мешаешь наложить узду на старого весельчака. А то раздарит всю страну, да еще спасибо скажет, что взяли, а мальчик в конце концов останется при одной невесте, только и радости. Бледная кроткая Беатриса, молодая жена короля Генриха, тоже смотрела с испугом на то, как ее повелитель швыряется богатыми поместьями. Дома ее

приучили хозяйничать скаредно, с оглядкой; а этак, пожалуй, скоро сорочки служанок позаложить придется. И она решила прибрать финансы к рукам; в ее бледном, робком лице вдруг появилась какая-то ожесточенность.

На ближайшие дни был объявлен турнир. По этому случаю многим молодым дворянам предстояло посвящение в рыцари. Маргарита не преминула ходатайствовать перед мальчиком-супругом, чтобы он посвятил в рыцари и своего пажу — Крэтиена де Лаферт. Глаза Иоганна стали еще меньше, упрямее: он что-то проворчал. Маргарита настойчиво повторила свое пожелание. Принц Иоганн злобно буркнул, что и не подумает. Из всех сил ткнул он пажу в бок костлявым кулачком.

— Вот ему посвящение! — насмешливо бросил он, иронически скривив длинное лицо.

— Бесконечно благодарен вашему высочеству за милость, — сказал Крэтиен принцессе, весь побагровев, — но раз он не желает...

— Я, я желаю! — пылко сказала Маргарита своим звучным низким голосом. Она побежала к отцу, к королю Иоганну. Смеясь, они дали согласие. Крэтиен поблагодарил принцессу, охваченный самыми противоречивыми чувствами. Уж и так товарищи отпускали грубые шутки насчет его зазнобушки.

В назначенный день состоялся блестящий турнир, которого Тироль ждал много лет. Праздник вышел на славу. Четырех рыцарей закололи, семерых смертельно ранили. Все находили, что давно уж не было так весело.

Король Иоганн тоже принял участие в побоище. Но так как до его сведения дошло, что из страха победить его, короля, противники частенько бились с ним только для виду, он выехал с гербом некоего Шильтгарта фон Рехберга. Между жителями альпийских стран и чужеземцами уже не раз вспыхивала ревнивая вражда; к тому же тирольские, каринтские господа опасались, как бы влияние люксембуржцев на доброго короля Генриха не стало угрожать их благоденствию. Таким образом, за веселой игрой таилась весьма серьезная, ожесточенная ревность, и если тот или другой противник разбивался, зрители испытывали удовольствие. И вот случайно или потому, что кто-то выдал Иоганна, скрывавшегося под

чужим гербом,— но он скоро оказался вовлеченным в поединок с самым грузным и лютым из всех тирольских рыцарей, со свирепым бургграфом Фолькмаром. С беспощадной яростью схватились они, и в конце концов король, прошедший перед тем бурную ночь, был сбит с коня, извалян в грязи, едва не затоптан, и когда его извлекли из свалки, оказалось, что он сильно помят и исцарапан. Ему пришлось выкупить у бургграфа своего коня за шестьдесят марок веронским серебром. Но король затаил злобу на то, что его победил именно этот неуклюжий, жадный, противный человек, он шуточно и с достоинством, невзирая на хромоту и досаду, любезно и красноречиво, как знаток, восхвалял подготовку и высокое искусство участников тирольских спортивных забав.

Вечером король Генрих сидел усталый в своей палатке. Радость от веселого праздника была уже омрачена, посыпались счета за счетами. Мясники из Боцена требовали денег, очень много следовало уплатить ипсбрукским горожанам; добрый и ученый аббат Марсиенбергский не знал, куда деться от кредиторов, которых мог бы без труда удовлетворить, верни ему король хоть часть своего долга. Генрих был бы рад платить да платить, но кассы опустели. Правда, король Иоганн остался ему должен сорок тысяч марок — сумму обещанного приданого; этой огромной суммы хватило бы на то, чтобы покрыть с лихвой все обязательства. Однако неудобно же напоминать королю! А тем более сегодня. Он чувствовал по себе, как эти вещи способны испортить праздник.

Так пребывал он в великом затруднении. Тогда его придворные привели к нему трех людей, тишедушных, подобных теням. Они были очень молчаливы, очень смиренны, очень невзрачны. У них были юркие глаза, которые умели, однако, выражать величайшую преданность. Эти трое были очень похожи друг на друга. Королю казалось, что где-то он видел их, но не мог вспомнить, где и как. Что вполне естественно: они ведь такие маленькие, такие ничтожные. Они усердно кланялись, говорили тихими голосами. Это были: мессере Артезе из Флоренции,— у него на откуп было право

чекапить монету в Меране,— и его два брата. Эти господа и на сей раз готовы были услужить столь милостивому христианскому королю своим ничтожным капиталцем. При одном только маленьком условии: пусть его величество предоставит им доходы с соляных копей в Галле. С этих славных маленьких копей.

Король Генрих отшатнулся. Соляные копи в Галле! Главный источник государственных доходов! Дорого же станет ему свадьба дочери! Даже его беззаботные советники и те, услышав о таком условии, призадумались. В конце концов отправили для переговоров его молодую жепу, которая добилась того, что копи были сданы только на два года. Флорентинцы усиленно кланялись. Отсчитали деньги, взяли документы. Ускользнули — серые, подобные теням, невзрачные, очень похожие друг на друга.

Господину фон Шенна Маргарита сказала:

— Вы верите, что Крэтиен де Лаферт мог дурно говорить обо мне? Скажите честно, господин фон Шенна, верите вы, что и он смеется вместе с другими над моим безобразием?

Якоб фон Шенна собственными ушами слышал, как юноша Крэтиен, над которым товарищи издевались, пазывая его рыцарем самой безобразной дамы всего христианского мира, сначала отмалчивался, затем не выдержал и превзошел товарищей в глумлениях над Маргаритой. Якоб фон Шенна увидел большие выразительные глаза девочки, устремленные на него с настойчивым вопросом.

— Не знаю, принцесса Маргарита,— ответил он.— Я недостаточно знаю молодого Крэтиена. Но считаю маловероятным, чтобы он дурно говорил о вас.— И он положил свою большую тонкую бессильную руку ей на голову, словно ребенку, и она охотно допустила на сей раз, чтобы он обходился с ней как с ребенком.

В замке Ценоберг король Иоганн торговался с тирольскими баронами. Как опекун своего малолетнего сына, он уже сейчас требовал присяги на случай смерти Генриха. В принципе эти господа были согласны, но

желали получить взамен подтверждение своих привилегий, гарантию, что Люксембуржец не посадит на ответственные места иноземцев. Помимо того, каждый завуалированно или прямо хотел получить деньги, земельные угодья, торговые монополии, пошлины.

На обещания и гарантии Иоганн не скупился. Он готов был ставить свою подпись и печать на чем угодно. В Богемии он набрался опыта: знал, что в конечном счете все это — вопрос власти. Добудет он денег и солдат, так посадит на шею этим наглым горцам наместниками французов, бургундцев, прирейнцев. Не добудет ни капитала, ни армии, — что ж, придется, с помощью божьей, сдержат обещание. А пока что его нотариусы писали до мозолей на пальцах: «Мы, Иоганн, божьей милостью король Богемский и Польский, маркграф Моравский, граф Люксембургский, сим заявляем и доводим до всеобщего сведения и письменно подтверждаем за надлежащей печатью...» С деньгами Иоганн был поосторожнее. Он хоть давал понять этим жадным, ненасытно торгующимся господам, что видит их насквозь. А в конце концов по-рыцарски щедро и презрительно швырял им требуемое. Деньги чистоганом — нет, их у него не водилось, но долгосрочные векселя — да! Пришлось и доброму королю Генриху с грустью убедиться в том, что не скоро он получит свои сорок тысяч марок веронским серебром. Добродушно, фамильярно, удалым жестом обнял его Люксембуржец за плечи, уступил ему, не задумываясь, судебные доходы Куфштейна и Китцбюгеля, — их он получил от своего зятя, герцога Нижней Баварии, которому заложил взамен что-то другое, — надавал обещаний на весну, похвалил его длинные модные башмаки, а также красивую, ядреную особу, с которой танцевал Генрих. Ну, разве после этого заговоришь о финансах!

Вечером король Иоганн играл в кости с каринтскими и тирольскими баронами. Он ставил чудовищные суммы. В конце концов никто уже не мог противостоять ему, кроме бургграфа Фолькмара, с его бычьей шеей. Люксембуржец ненавидел этого грузного, грубого человека, посрамившего его во время турнира. Он так повысил ставку, что даже король Генрих затаил дыхание.

Проиграл. Заявил небрежно, через плечо, что проигрыш за ним. Бургграф что-то прорычал, стал угрожать. Иоганн отпаривал, сверкнув гибкой ядовитой остротой.

Как ни странно, но, хотя в Богемии и начались волнения, Иоганн туда не вернулся. Страна облегченно вздохнула. Она содрогалась, когда он приезжал. Его пребывание всегда было кратким, и стремился он к одному: выжимать деньги. Хорошо, что он не едет.

Да, он остался в Тироле. Направился во владения епископа Триентского. Праздно сидел там светлый государь, первый среди рыцарей христианского мира, что-то подстерегая, словно поблескивая сквозь загадочный туман; ни один человек не знал, что у него на уме.

Епископу Генриху Триентскому гость этот был весьма в тягость. До какой степени можно потворствовать ему, не рискуя раздражить папу или императора? И всегда вокруг этого богемского короля какой-то смутительный полумрак. Куда ни придет — начинается бешеная сумятица. Курьеры всех европейских дворов гонятся за ним и не находят, ибо король редко остается подолгу на одном месте: так и носит его по свету, точно текучую воду. И неизвестно, куда, как, зачем. Ах, ну что бы ему, проклятому, вернуться в свою страну! Так нет, пусть она пропадает! Ее вот он не любит, эту хмурую, туманную страну. И уж конечно, предпочитает ей более солнечный Запад, Рейн, свое графство Люксембург, Париж.

Епископ, крупный, плотный человек, с резко очерченным смуглым итальянским лицом, сидел, озабоченный, в своем замке Боноксиль, изливался другу, аббату Виктрингскому, ласковому, рассудительному. Оба духовных отца изрядно бранили Иоганна. Язычник он! Иероваам! Безжалостно облагает поборами свои церкви и монастыри! Не остановился даже перед могилой Альберта Святого, приказал обшарить и ее в поисках сокровищ! Осквернитель церквей! Ирод! «Время придет — и восстанет из праха нашего мститель!» — процитировал ученый аббат древнего классика.

Да, это за много лет самый опасный, самый обременительный гость. Помазанник божий, но,— епископ заявил напрямик,— негодяй и преступник. Если бы не корона, его бы уже сто раз повесили. Нечисто играет. Аббат подтвердил: он только что опять сплутовал в Инсбруке. Самый неисправный должник и отчаянный мот нашего века. А тут еще эта предосудительная близость с обеими богемскими королевами. Правильно сделали два года назад в Праге. Он затеял тогда большой турнир, начались грандиозные приготовления, дома на рыночной площади были снесены, чтобы очистить место для палаток и трибун, а затем вместо двух тысяч приглашенных, вместо императора, короля, князей, вельмож явились только семь паршивых подозрительных рыцарей и один генуэзский банкир.

К сожалению, в данное время с ним так не поступишь. Вот в чем беда. Его слава и репутация изменчивы, как луна. Еще совсем недавно его чурались, точно прокаженного, а нынче уж превозносят как героя, как светоч христианского мира, и даже его нищей, ограбленной Богемией овладело ослепление, когда он возвратился после своих блистательных побед.

Настойчиво предостерегал аббат епископа, чтобы тот ни в коем случае не связывался с Люксембуржцем. Вся его политика в конечном счете бесцельная потеха.

Волны, блистая, мерцая, усталого путника манят;
Бросься доверчиво в них,— тут же затянут на дно,—

процитировал он. Благодушно, с присущим поклоннику литературы пристрастием к анализу, разбирал он Люксембуржца и его поведение: Иоганн, при всей своей утонченной рыцарственности, не довольствуется тем, чтобы отыскивать в лесной чаще великанов и закованных в броню людей. Он предпочитает гораздо более пестрые приключения в мире политики. Не успех влечет его, влечет опасная жажда беспорядка, хаоса. Где бы в оголтелой Европе ни начиналась свара — вражда ли между императором и папой, или между королем и претендентом на корону, между Францией и Англией, между ломбардскими городами, между маврами и кастильцами,— нигде без Люксембуржца не

обойдется. Затевать союзы и соглашения, сватать, устанавливать связи и разрывать их, вести войну и заключать мир, быть всегда в гуще свалки, наживать врагов, друзей, захватывать солдат, страны, отдавать их...

— Только не деньги,— вздохнул епископ.

Аббат закончил, любуясь изяществом своего красноречия: от этого гениального прожектера не укроется ни одна отдаленнейшая возможность, он покушается на весь Запад, ко всему протягивает руки, захватывает, роняет. В то время как его Богемия хиреет, он заглатывает все новые привилегии, страны, города, разбросанные за всеми рубежами, чудовищно раздувается. Степенный ласковый аббат выпрямился, заговорил, словно с церковной кафедры:

— Но как бы этот господин Иоганн ни носился по свету, смеющийся, расфранченный, всегда без денег, всюду нарушая клятвы, всюду чаруя пылкой победоносной любезностью,— все же и ему положен предел. Его деяния не принесут плодов, они безумны, в них нет бога. Иногда Богемец представляется мне куклой, призраком. «Мера присуща всему, и всему существует граница»,— процитировал он древнего писателя.

Епископ тоже так думал. Но до тех пор может пройти еще немало времени. Пока, во всяком случае, бог не положил предела Богемцу, и он, бедный епископ, заполучил его на свою шею. Речистый аббат не знал, что еще прибавить, и оба прелата молча стали смотреть в окно на рыжую тучную землю, на смелые очертания коричневато-фиолетовых гор, отягощенных плодами, созревавшими в садах и виноградниках.

Нет, пока Богемцу не был положен предел. Напротив: Иоганн сидел в солнечном Триенте весело и крепко, развываясь, потягиваясь. Предоставлял мягким ветрам южной осени играть его длинными волосами и красивой пышной бородой. Любезничал с тирольскими дамами — немками и итальянками. По всей Ломбардии разносилась весть, по богатым, могущественным городам, по замкам непомерно гордых баронов: Иоганн Богемский здесь, король Иоганн, сын Генриха Седьмого,

римского императора, Иоганн, рыцарь из рыцарей Запада, звезда гибеллинов. Бургундские, богемские, рейнские рыцари и военачальники в эту чудесную благословенную осень перевалили со своими отрядами через Бреннер. Из Мюнхена недоверчиво косился на все это император Людвиг. В Авиньоне забеспокоился папа Иоанн XXII. И снова весь Запад взирал на лучезарного, непостижимого причудника.

Главарь партий и дворяне из долины По наперебой старались привлечь его на свою сторону, засылали к нему послов, подарки. От Мастино делла Скала и его брата, властителей Вероны, пришли две великолепные арабские лошади. Но Брешия предложила ему через своего викария Фредерико дель Кастельбарко не только коней, она предложила ему себя в пожизненное владение. Альдригетто из Лицианы приказал выдать четыре тысячи марок веронским серебром казначею Иоганна, просил короля, под защитой которого находились Тоскана и Ломбардия, отдать ему в ленное владение брешианское побережье озера Гарда. Очутился здесь вдруг и мессере Артезе из Флоренции, банкир, серый, невзрачный, подобный тени, с двумя братьями, очень на него похожими, и с очень большими деньгами.

И тогда, без особых предупреждений, втихомолку, Иоганн тронулся в путь. Его сопровождали лишь несколько тысяч всадников. Но все — великолепно вооруженные, отборные воины. Сверкая, прошумела светлая рать по сытой, зрелой горной стране. Стояла сладостная, сочная, солнечная осень. Огромные грозди, тугие плоды. С фиолетовых смугловатых гор серебристый стальной поток изливался на Ломбардскую равнину. Словно невеста стлалась она под ноги пришельцам. Бергамо, Павия, Кремона отдались ему без единого взмаха меча. Знамена, колокола; представители власти на коленях подносят ключи от городов. Славные бароны смиренно умоляют о подтверждении их ленных прав. Новара, Верчелли, Модена, Реджо заняты его рыцарями. Торжественный въезд. С балконов пестрых домов разряженные женщины смотрят во все глаза на победителя, который не в трудах, поту и пыли завоевывает эту огромную обильную страну, но празднично, словно

танцуя. Император, крайне встревоженный, отправляет особых послов, сначала бургграфа Нюрнбергского, затем графа Нейфенского выяснить, чего, собственно, ищет Богемец в Италии. Иоганн невинно отвечает: оп-де не замышляет никакого зла против Людвига, то, что он берет, он берет для империи; он желал бы только посетить могилы своих родителей — римского императора Генриха Седьмого, чья могила в Пизе, и матери, чья могила в Генуе, и, если возможно, перевезти их останки на родину. В то время как на рождество все колокола в Мюнхене молчали под папским интердиктом, а император Людвиг в дворцовой часовне, воздев обнаженный меч, как защитник всего христианского мира, перед небольшой свитой читал рождественские евангелия, состоялся блистательный въезд Иоганна в Брешию. Прибыл ли он ради императора? Или папы? Или же только ради самого себя? Никто этого не знает. Знает ли он сам? Он называет себя наследником императора, миротворцем. Гонзаги в Мантуе, Висконти в Милане склоняются перед ним. Все Ломбардское королевство само падает ему в руки, как плод, сорванный с ветки.

Его резиденция — на обоих берегах реки По; ни один римский император не держал столь пышного двора. Он заставляет присягать себе все страны — от Адриатики до Лигурии, улыбается непроницаемо, сыто, загадочно. Был ли у него твердый план, когда он спустился на равнину? Ныне он могущественнейший властитель христианского мира. Владеет землями вверх и вниз по Рейну, и в большей части самой Франции ему принадлежат и земля и власть. Владеет Богемией, Моравией, Силезией, забрался в глубь Польши. Владеет Нижней Баварией через дочь, Каринтией, Крайной и Тиролем — через сына. Охватил, словно тисками, Виттельсбаха, окружил кольцом Габсбурга. Владеет теперь богатым, пленительным королевством Северной Италии. Потягивается. Дышит полной грудью. Устраивает празднества. Привлекает к своему двору красивейших женщин. Временами — невзрачный, подобный тени — появляется вместе с братьями и флорентинец мессере Артезе, ждет на почтительном расстоянии, скромно, усердно кланяется.

Девочка Маргарита росла в замках Ценоберг, Гриз, Тироль. Училась охотно и много. Расспрашивала рассудительного, речистого и ласкового аббата Иоанна Виктрингского обо всем, что видела и слышала: почему, как. У аббатис Штамского и Зонненбергского монастырей училась теологии. Пышность, торжественная стройность литургии вызывали в ней восхищение. Она бегло говорила и писала по-латыни и по-итальянски. Пламенно интересовалась вопросами политики и экономики. Внимательно слушала лекции ученого аббата по истории, и в то время как другие, скучая, посмеивались над его отвлеченными политическими теориями, она, бывало, не наслушается его. Обстоятельно знакомилась через многочисленных иноземных гостей отца с жизнью других стран и дворов. Узнав, что Людвиг фон Виттельсбах, Баварец, избранный римским императором — четвертый носящий это имя, — не говорит по-латыни, она насмешливо фыркнула.

Она много путешествовала по стране. В экипаже и в носилках, запряженных лошадьми. Вверх и вниз по горным ущельям, по уступам, мимо плодовых садов. Проезжала, глядя вокруг внимательными, умными глазами, через красочные города Мераґ, Боцен. Разглядывала горожан, их каменные дома, ратушу, рынок, стены, позорный столб, постоянные дворы, бани, трупы казненных перед городскими воротами. Внезапно, властно входила в крестьянские хижины, в шалаши виноградарей.

Добродушный король Генрих мало интересовался ею. Пусть делает что ей вздумается. Иногда с нежностью осведомлялся, достаточно ли у нее платьев, не нужны ли ей еще украшения, лошади, слуги. Самое большее, спрашивал ее мнение о новом фландрском поваре или о том, идет ли ему только что сшитый гепуэзский плащ. Он был поглощен вопросами моды, пожертвованиями в монастыри, пирами, приемами, турнирами, женщинами. Правда, когда она беседовала с его секретарем, рассудительным аббатом Виктрингским, он посматривал на нее растроганно, говорил Беатрисе, ее мачехе, говорил своим гостям:

— Милая девочка! Что за умница!

От монахинь Маргарита научилась петь, и было удивительно, как из-под этого приплюснутого широкого носа, из этого по-обезьяньи выпяченного рта может литься такой красивый, теплый, выразительный голос. Принцесса Маргарита обычно не стеснялась выказать свои познания и говорила не робея, но она почти никогда не пела при посторонних. Вечерами, под плодовыми деревьями, пела она свои песни, замысловатые — из Италии, из Прованса, и простые, немецкие, как их пел вокруг нее народ. И даже когда она бывала одна, она вдруг обрывала пенье. Ведь ее могли услышать гномы. Гномы жили во всех пещерах. Они пили и ели, играли и тапцевали с людьми. Но незримо. Только владетельный государь может их увидеть, если он по праву господствует над страной, где они в данное время пребывают. Ее отец видел гномов, а также бриксенский епископ, в чьи владения они иногда заходили. Якоб фон Шенна рассказывал ей подробно о гномах. Они пишут письма, у них есть государство, законы и правитель, они исповедуют католическую веру, тайно проникают в жилища человека, благосклонны к нему. Они носят при себе драгоценные камни, с помощью которых могут становиться невидимыми. Она спросила господина фон Шенна, зачем они делают себя невидимыми. Господин фон Шенна уклонился от ответа. Случайно, от служанки, узнала она причину. Оттого, что они стыдятся своего безобразия. Ее бледное лицо стало мертвенно-белым. Она судорожно глотнула.

Тщательно и заботливо холила она свое тело. Каждый день принимала паровую ванну, мылась настоящим из отрубей, французским мылом. Она завертывала зубной порошок в баранью шерсть перед тем, как чистить свои большие, косо торчащие вперед зубы. Она втирала в кожу масло из винного камня, пользовалась румянами из сандалового дерева и белилами из растертых в порошок почек цикламена. На ночь надевала восковую маску, чтобы улучшить нечистый цвет кожи. Педантично, не щадя себя, подчинялась она всем новейшим прихотям моды.

Но когда она замечала, что любую ядреную чумазую крестьянку мужчины провожают взглядом, а ее —

никогда, она сразу переставала думать обо всем этом, набрасывалась с лихорадочным усердием на ученье и политику. В сотый раз взвешивала и сравнивала власть, возможности, сферу влияния Габсбургов, Виттельсбахов, Люксембургов, ибо Габсбурги, Люксембурги, Виттельсбахи не были для нее отвлеченными политическими понятиями. Люди, носившие эти имена, их знамена, их страны, геральдические звери на их гербах, их горы, реки, церкви слагались для нее в цельные и многозначительные образы. Альбрехт Габсбургский был, например, чертовски умен, энергичен, озлоблен, но он хромотал. С ним хромотали и его земли, Дунай, город Вена, лапа его геральдического льва. Король Иоганн, Люксембуржец, не только галантный, выдавший виды, светский человек: Тоскана и Ломбардия — это его ноги, Рейн и Эльба — его артерии, солнечный Люксембург — его сердце. А Баварию она не могла себе представить без длинного задумчивого носа императора Людвига и без его громадных, странно мертвенных голубых глаз. Когда эти три государя, выслеживая, подкрадывались друг к другу, договаривались, воевали, в их лице воевал и насмеялся над собой весь мир, а в облаках геральдические звери их знамен вели между собой жестокую мистическую борьбу.

Своего супруга — принца Иоганна — она видала не очень часто. Рослый и долговязый, он казался все же не по летам отсталым. Его худое, почти красивое лицо становилось все грубее, тупее, а из-за маленьких глубоко сидящих глазок — все злей. Он ненавидел книги, едва умел писать. Любил физические упражнения. Дрался с мальчиками, с сыновьями слуг, предпочитал их своим товарищам из дворян, охотился, ездил верхом. Ставил силки на птиц, был искусен в соколиной охоте, ловил дичь капканами. Мучил животных. Над крестьянами шутил злые шутки. Один крестьянский парень, не знавший принца в лицо, поколотил его. Был пойман, посажен в колодки, бит плетью. Принц жадно смотрел на это, подзадоривал палачей.

Маргариту он высмеивал за ее нелепую поповскую ученость, при случае вырывал у нее ее рукописи, трепал прическу. Она терпела. Необходимо ведь, чтобы ее

мужем был Люксембуржец. С его неотесанностью приходилось мириться. Но в ее сердце безмолвно росли гнев и презрение. И Крэтиен де Лаферт, адъютант и паж принца, желал своему молодому господину провалиться на самое дно преисподней. Маргарита видела стройного юношу крайне редко. Мало обращала на него внимания. Ласковый, речистый скептик аббат Виктрингский, который все пересуживал, иной раз дразнил ее этим юношей. Она, против обыкновения, резко парировала его намеки.

Охотнее всего бывала она в обществе Якоба фон Шенна. Этот еще молодой, худощавый, сутулый человек, с тонким, старообразным лицом неизменно бывал рад встрече с ней. Девочке минуло четырнадцать лет, ему было около тридцати. Но между ним и ею существовала какая-то радовавшая обоих связь. То, что он делал и говорил, казалось, выношено ею. Его внутренний мир был ей родным. Между нею и другими людьми царил холод. Они смеялись над ней, смотрели на нее с отвращением, в лучшем случае — с жалостью, так как она была безобразна. Но она была принцессой, и они делали это тайком. Однако она отлично видела и впотьмах: о, у нее были зоркие глаза, и она знала, как люди к ней относятся. От фон Шенна к ней шло душевное тепло и дружелюбие, его большие мягкие руки, его умные благожелательные серые глаза, все его существо выражало уважение к ней, сердечность, чувство товарищества.

Якоб фон Шенна был богаче и могущественнее своих братьев Эстлейна и Петермана. Ему принадлежало семь крепких замков, обширные виноградники, доходы с десяти судебных округов, привилегии, пошлы и деньги. Обычно он говорил о своих владениях пренебрежительно и с некоторой иронией. Но был привязан к ним, ласково гладил листву своих лоз и озаренные солнцем камни своих замков. Ведь это были его лозы, его замки. Пусть собственность и вес в обществе, сами по себе, презренны; но, увы, люди, как правило, отравляют жизнь тому, кто этих двух вещей не имеет. Частенько говорил он девочке о том, что тирольские и каринтские дворяне бессовестно грабят доброго короля

Генриха. К сожалению, ему тоже приходится в этом участвовать, иначе его долю просто захватит другой, менее достойный. Поэтому грабил и он, скептически, с хладнокровной жалостью, сердечно сочувствуя оппаниному королевскому величеству.

В этой нагорной стране его замки были красивее и содержались лучше прочих. Замки остальных дворян строились только с расчетом на прочность и безопасность; внутри же были неудобны, комнаты — тесные, сырые, темные, душные, всюду воняло конюшней. Его же замки, и прежде всего любимые резиденции — Шенна и Рункельштейн — были светлы и полны солнца. Их строили итальянские архитекторы: покои были полны красивых вещей, ковров, пышной утвари. В то время как в замках других баронов стены были кое-как выбелены и, самое большее, в часовнях — украшены изображениями святых, его залы немецкие и итальянские мастера расписали фресками. Даже наружные стены замков фон Шенна покрывала живопись. Яркий и светлый пагал там Рыцарь со львом, Тристан плыл на своем корабле, разворачивались приключения Гареля из Цветущей долины.

Господин фон Шенна весьма любил стихи, в которых повествовалось об этих приключениях. Маргарите они были чужды. Она понимала красоту латинских стихов, которые речистый аббат Викtringский любил цитировать, понимала Горация, «Энеиду». Там был смысл, закон, благородство, строгая связь. Эти же немецкие стихи казались ей дичью, не лучше дурацких выдумок ее придворных карликов и шутов. Разве достойно серьезного человека рассказывать в витиеватых выражениях о том, чего никогда не было и не будет? Господин фон Шенна пытался объяснить ей, что эти люди, Тристан, Парцифаль и Кримгильда, оживали и становились действительностью для каждого, кто о них читал и проникался их судьбой. Но Маргарита не хотела их признать. Эти истории продолжали оставаться для нее причудливыми, отталкивающими измышлениями; она не могла постичь, как умный, серьезный человек может восхищаться подобным враньем и вздором.

Императора крайне тревожили быстрые успехи Иоганна в Италии. Да и старший Габсбург, хромой, умный, озлобленный Альбрехт, тоже смотрел со все растущей, скрежещущей злобой на то, как возникало из небытия сияющее Ломбардское королевство Иоганна. Что это? Неужели легкомысленный ветрогон Люксембуржец дерзким ходом оттеснит от власти их, серьезных, уравновешенных государей, возвысится над ними? И они перемигивались, медлительный тяжелодум Баварец и цепкий, озлобленный Габсбург. Они всегда ненавидели друг друга. Но, коль скоро третий вознамерился их обогнать, они объединились против него. Украдкой встретились они — Людвиг, высокий, длинноносый, с массивной шеей и выкаченными голубыми глазами, и Альбрехт, хромой, с поджатым ртом. Обнюхали друг друга, кивнули, стоворились.

Порешили, что южное королевство должно быть у Люксембуржца отнято. В случае смерти короля Генриха Каринтия отойдет к Габсбургам, Тироль — к Виттельсбахам. Император Людвиг, с той же торжественностью, с какой год назад закрепил право наследовать Каринтию за Люксембургами, теперь обещал ее Габсбургам. Что касается Ломбардии, то они условились совместно напасть на Люксембуржца. Император предложил своим пфальцским кузенам потревожить Иоганна в его рейнских владениях, призвал к тому же своего зятя из Мейссена и своих сыновей — Людвига Бранденбуржца и Стефана. Герцог австрийский с королями венгерским и польским должны были напасть на Моравию.

Тем временем Люксембуржец царственно правил Тосканой в разгар ее весны. Он пригласил к себе сыновей: старшего — Карла, младшего — Иоганна. Иоганну не захотелось ехать. Маргарита вызвалась заменить его. Она ехала с небольшой свитой, предводителем которой был Крэтиен де Лаферт, навстречу ломбардскому марту. По берегам насыщенных блеском озер, по склонам, серебрившимся оливками, мимо тенистых апельсиновых и лимонных рощ. Всюду поля нарциссов. Легкое розовое цветенье миндаля. Пестрые, шумные города, дворцы, быстрые, голосистые люди. Поблизости

от города, служившего резиденцией епископу Аквилейскому, почетным фогтом которого был ее отец, открылось море — покачивались отважные корабли, манила даль, бесконечная, сулящая необычное...

Лучезарный триумф Иоганна. Его празднества под открытым небом, радостные, сказочные. Нарядные, цветущие, недоступно гордые женщины. Она чувствовала, что очень одинока и убога, держалась в стороне от молодых женщин, показывалась лишь в обществе старух, лишенных привлекательности. Но и эти, видимо, ее презирали, в лучшем случае — жалели. Правда, теперь они увяли и иссохли, но некогда цвели и они. Она же в пору своего расцвета — обделена, лишена всякой прелести. Под этим небом еще меньшую цену имело то, что она благороднейшей крови, умна и учена. Под этим небом было видно только одно, только это: что она безобразна.

Но она не была малодушна, не пряталась, глотала всю горечь подобных открытий. Появлялась за столом, в ложе на турнирах, на танцах. Замечала, как при виде прекрасного Кретиена, следовавшего за ней, губы женщин приоткрываются, взгляд становится ярким, зовущим; как этот взгляд затем пренебрежительно, насмешливо скользит по ней самой, по обезьяньему выпяченному рту, по дряблой противной коже. Но она не отворачивала свое лицо от подобной насмешки. В ее взоре, встречавшем иронические взгляды, был холод и такое всезнание, что нередко люди смущенно, почти пристыженные, опускали глаза.

В Брешии Маргарита впервые встретила с принцем Карлом, старшим сыном Иоганна. Шестнадцатилетний юноша казался совсем взрослым. В Богемии он уже не раз самостоятельно решал вопросы управления; он владел собой, хорошо держался. Пусть блеск отца не ослепляет его, внушала ему мать. Спокойными карими глазами Карл посмотрел на Маргариту, увидел, что она безобразна и умна. С ней можно было говорить. И вот, в то время как Иоганн во дворце сеньории танцевал в первой паре с красавицей Джудиттой дель Кастельбарко и горели праздничные свечи — столь огромные, что их едва могли поднять три человека, —

среди музыки, знамен, серебряных рыцарей, подобострастных подданных, оба подростка, сын короля и невестка короля, беседовали трезво и деловито о влиянии ломбардских событий на суверенитет епископа Триентского, о трудностях финансового положения.

До июня продолжалась праздничная власть Иоганна над Италией. Невзирая на все свое критическое отношение к нему, Маргарита не могла не поддаться действию театральности и блеска этого сплошного триумфального шествия. Затем вести из Германии и Богемии стали настолько угрожающими, что Иоганн, оставив заместителем своего сына Карла, вдруг отбыл, бросился в Богемию. А за его спиной немедленно рухнула и его бутафорская власть над Италией. Широко раскрыв испуганные глаза, смотрела Маргарита на то, как ломбардские рыцари, едва король уехал, словно очнулись от хмеля, объединились, стакнулись с Робертом Апулийским и, несмотря на храброе и искусное сопротивление принца Карла, в две-три недели выгнали Люксембургов из страны. Разбитые, опозоренные, унылые, потные, бежали серебряные рыцари из Ломбардии, в которой кипело знойное лето. Иоганн уже во время катастрофы, наспех и отчаянно торгуясь, ухитрился еще заложить некоторым немецким дворянам итальянские города, которых он давно лишился. Но этого хватило, чтобы покрыть лишь малую часть тех чудовищных сумм, которых ему стоил тосканский поход. И еще много лет спустя в Париже, в Праге, в Трире, где ему приходилось жить, появлялся, подобно тени, невзрачный мессере Артезе со своими двумя братьями и, усердно кланяясь, предъявлял закладные и векселя, эти единственные остатки Ломбардского королевства.

Как ни странно, но итальянская авантюра Иоганна именно из-за своей неудачи приобрела в глазах Маргариты особую яркость и значение. Теперь эта авантюра кончена и завершена, теперь она стала былью, стала историей. Даже стихи господина фон Шенна, его неправдоподобные легенды казались Маргарите уже более

реальными, живыми. Деяния короля Иоганна в Ломбардии напоминали эти небылицы. И все же это было действительностью. Маргарита видела все собственными глазами.

Главное — сохранить ясность мысли. Если смотреть на дело спокойно и трезво, то Иоганн потерпел крушение из-за недостатка денег. Деньги, правда, не все; тем не менее сила их огромна. Жаль, что ее отец понимает это столь же мало, как и ее свекор. Она часто беседовала об этом с Иоанном Виктрингским. Вот папа — совсем другое дело. Иоанн XXII, этот древний старец в обличии гнома, сидел в своем дворце в Авиньоне и копил деньги. Копил монеты, слитки, серебро, золото, векселя, закладные. Ох, и следил же он, не спуская глаз, чтобы каждый аккуратно вносил десятину и сборы. Едва какой-нибудь епископ опоздает, как папа сейчас же грозит ему отлучением. Бедный епископ Генрих Триентский! Что дала ему ревностная борьба в защиту законного папы! Он не смог уплатить те шестьсот сорок дукатов, которые с него требовал Авиньон, и папа метнул в него молнию отлучения! А как искусно папа умел распределять высшие церковные должности! Каждый новый епископ обязан был внести в курию все свои доходы за целый год. Если же какой-нибудь епископ умирал, то папа не сажал на его место нового прелата, нет, он назначал кого-нибудь из уже имевших епископство, так что со смертью каждого епископа освобождался ряд папских ленов. Поэтому среди высших иерархов происходило постоянное перемещение: они приходили и уходили, точно на постоялом дворе. А святой престол собирал жирные аннаты. «Оборот! Оборот! Оборот!» — твердил папа и его кассиры. Да, папа Иоанн знал в этом толк. Не мудрено, ведь он был родом из Кагора, города бапкиров и биржевиков. Большая часть западноевропейского золота текла в его кассы. Папа был влюблен в деньги; он не в силах был заставить себя опять пустить их в дело. А мог бы с их помощью снова завоевать Рим и Италию. Однако он был слишком привержен к деньгам, не способен с ними расстаться. Он сидел в своем Авиньоне, этот древний старец, точно гном над сокровищами, разглаживал

векселя и закладные, перебирал золото, и оно струилось между его высохшими гномьими пальцами.

Но если умному, энергичному папе вредила в политике его жадность, то дипломатия императора, а также Люксембургца и Каринтийца страдала от их финансового легкомыслия. Внимательно слушала Маргарита, когда аббат объяснял ей, сколь крепко построил ее дед, Мейнгард, свое денежное хозяйство. Горестно, нахмутив лоб, следила она за тем, как у ее добродушного отца доходы растекались между пальцев и он, чтобы спасти от гибели один заклад, всегда жертвовал более крупными и ценными.

Ее мачеха, бледная робкая Беатриса Савойская, тоже страдала при виде безрассудной и расточительной финансовой политики короля Генриха. Практичные родители приучили ее к бережливому ведению хозяйства, и хотя она робко и скромно держалась в тени, но в конце концов не стерпела и стала пилить его за мотовство. Она была болезненна. С унылой и слезливой покорностью король Генрих убеждался, что ему и от нее нечего ждать наследника. Она же не теряла надежды. Экономила, копила, заставляла мужа дарить ей право сбора налогов и пошлин, ценой упорной борьбы добилась даже того, что, после выплаты долга мессере Артезе из Флоренции, доход с соляных копей в Галле был передан ей. Постепенно стала черствой, жадной, скупой, и все для сына, которого больше никто уже не ждал, кроме нее.

Она нередко советовалась с Маргаритой, как поправить то тут, то там расстроенные финансы. Хотя Маргарита и сочувствовала таким попыткам, но мачеха вызывала в ней отвращение. Какая она бесцветная, какая не царственная, пропыленная и высохшая, несмотря на свою молодость! Маргарита не хотела сознаться самой себе, что не в этом главная причина ее неприязни к мачехе. Та относилась к ней кротко и ласково, чувствовала родственность их судеб. У нее нет сына, а падчерица, бедняжка, так безобразна! Обоих, в их женской сущности, бог обидел и обделил. Но Маргарита не хотела сблизиться с ней, не отвечала на пожатие ласковой руки. Ведь Беатриса стояла

между нею и властью. А что оставалось ей, уроду, кроме надежды на власть? Если Беатриса все же родит сына, исчезнет и последнее.

Король Генрих принимал опеку жены с улыбкой и добродушной воркотней. Только в одном он не терпел никакого вмешательства, да Беатриса на это никогда и не отважилась бы: его щедрость по отношению к многочисленным нравившимся ему женщинам и к их детям не имела границ.

Так же как он лелеял своих незаконных братьев Альбрехта фон Камиан и Генриха фон Эшенло, окружал их почетом и щедро одаривал титулами и землями, так же растил он по своим замкам и поместьям собственных внебрачных детей. Он был слишком добродушен, чтобы упрекать Беатрису. Все же приятно было сознавать: не его вина, что у него нет наследника; просто невезенье, несчастная звезда. И старый прожигатель жизни с гордостью и удовлетворением проходил через белокурую и темноволосую стайку своих ребят. Он растроганно ласкал их: «У этой мой глаза! А у того мой нос!» О большом мальчике: «У него точь-в-точь моя походка! Он будет брать призы на турнирах!» Крошечного малыша, который еще и на человека-то не был похож, он подбрасывал, восклицая: «Ну вылитый я!» И он баловал детей, дарил им игрушки, сласти, а также луга, леса, замки.

Маргарита относилась дружелюбно к своим побочным братьям и сестрам. Больше всего любила она почти взрослого Альберта; король Генрих посвятил его в рыцари и отдал в лен суд в Андрионе. Этот белокурый юноша унаследовал добродушие отца, к тому же в его манере держаться была какая-то крепкая, жизнерадостная уверенность, мягкая, ровная веселость. И никогда ни тени насмешки над Маргаритой. Сам он не чувствовал никакого влечения к книгам и теориям, но искренне восхищался ее разумностью и ученостью. Она была благодарна ему за то, что он уважал ее, невзирая на безобразие.

Женщин, с которыми она встречалась, — все новые, где бы отец ни находился, — Маргарита рассматривала очень внимательно. Это были женщины всех сословий,

всех темпераментов, немки и итальянки; одни, легко шурша, будто проскальзывали по коридорам, другие проходили, ступая тяжело и лениво; словно звонкие колокольчики смеялись одни, другие говорили низкими тягучими голосами; но все, встретившись с принцессой, робели, смущались, точно замыкаясь в какой-то черствой неприязненной жалости. Ах, если б иметь право жить, как они, так же легко и небрежно! Ей это не было позволено, она безобразна и она — принцесса. Она должна быть строга к себе. Она не имеет права прошуршать, словно ящерица, она должна идти своей крутой и трудной дорогой, прямо и не останавливаясь, словно разубранное вьючное животное, тяжело нагруженное драгоценностями и сокровищами, предназначенными какому-то могущественному властелину.

Она много размышляла над этим. Говорила с аббатом Виктрингским. Или ее безобразие — кара божья? Чего хочет бог от нее? Аббат процитировал Ансельма: «Вечно меняются вещи быстрее мимолетного часа: тщетно к земной красоте, преходящей и тленной, стремиться». Увидев, что подобное утешение не действует, он спросил ее: предпочла бы она родиться в ничтожестве, дочерью крестьянина, но правиться мужчинам? «Нет, — поспешила она ответить, — нет! Нет! Не это!» Но, оставшись одна, она воскликнула: «Да, да, да! Лучше целый день навоз возить и быть красивой, чем жить в замке, но с таким ртом, с такими зубами, с такой кожей!»

Она говорила с настоятельницей монастыря Фрауенхимзее. Маргарита приехала туда навестить свою болезненную младшую сестру, калеку Адельгейду. И вот Маргарита сидела с утонченной, увядшей, кроткой аббатисой на крошечном острове.

— Моя мать не была красавицей, — сказала девочка, — но она не была и безобразной.

Старуха положила маленькую легкую руку на ее медно-рыжие жесткие волосы.

— Я не стану говорить о боге и о потустороннем мире, — сказала она, улыбаясь, — где не наружность имеет цену. Но как быстро и здесь, на земле, покрывается морщинами самое гладкое лицо! Еще пятна-

дцать, ну еще двадцать лет ты сохранила бы его! Я теперь очень довольна, — закончила она, — что никогда не была красива.

Обе женщины смотрели в белесую даль широкого озера, неярко светило солнце, кричали чайки.

В следующем году вдруг слегла ее мачеха Беатриса и не встала. Она никогда не была крепкой, а теперь разочарование оттого, что у нее нет детей, еще больше подорвало ее силы. Уже причастившись, она все-таки успела сказать мужу, чтобы он непременно высек своего придворного портного и выгнал его в шею. Тот обычно утаивает слишком большую часть дорогих тканей, предназначенных для гардероба короля. Да, и еще пусть Генрих закажет себе новый кожаный чехол для парадных доспехов. Затем она предала душу богу, умерла.

Иоганн и Маргарита стали теперь бесспорными наследниками страны в горах, ибо никто не подозревал о тайном соглашении между Габсбургами и Виттельсбахами. Даже мальчик Иоганн воодушевился, узнав, что он наследный принц. Он перечислял свои будущие титулы: герцог Каринтии, Герца, Крайны, граф Тирольский, фогт епископств Хур, Бриксен, Триент, Гурк, Аквилея. Рисовал себе удивительные старинные церемонии восшествия на престол в Каринтии, они очень привлекали его. Как государь в крестьянской одежде приходит и сгоняет свободного крестьянина с камня, на котором тот сидит. Как он, стоя на камне, размахивает мечом во всех направлениях. Как пьет из крестьянской шляпы свежую воду. И мальчик Иоганн казался себе очень важной особой.

Маргарита, взволнованная смертью мачехи и чувствуя, что от сердца у нее отлегло, так как она теперь бесспорная наследница, как-то встретила Кретиена де Лаферт. Она заговорила с ним сердечнее, теплее, чем обычно. Она хотела бы — о, как сильно! — услышать от него хоть одно ласковое человеческое слово. Он же церемонно склонялся перед ней, отвечал почтительно, как своей государыне.

После смерти супруги добрый король Генрих стал еще набожнее. Правда, он пил и ел еще обильнее,

держал еще больше женщин. Но зато и молился больше, чем раньше, часто исповедовался, всегда казался угнетенным и еще щедрее жертвовал на монастыри и церкви.

В Хурском епископстве находились земли некоего Петера фон Флавон, вассала епископа Хурского. Господин фон Флавон пал еще в молодые годы во время одного из итальянских походов короля Генриха. После него осталась вдова, лет тридцати, и три дочери. Вопрос о том, должны ли оставленные им поместья последоваться только по мужской линии или также по женской, оказался спорным. Епископ Иоанн Хурский и его капитул вознамерились отобрать поместья. Госпожа фон Флавон со своими несовершеннолетними детьми пришла искать защиты у короля Генриха. Опустилась перед ним на колени, плакала. Ее добрый молодой храбрый муж! Ведь и погиб-то он, служа королю Генриху! А теперь этот насильник епископ Хурский намерен отнять у нее ее вдовье достояние, ввергнуть в пучду и нищету бедных сирот! Три хорошенькие дочки в черных платьях, розовощекие и аппетитные, стояли на коленях рядом с ней, всхлипывали. Добрый король Генрих был очень растроган.

Написал епископу Хурскому. Горячо защищал права госпожи фон Флавон. Епископ написал короткий и обиженный ответ. Не отступил ни на пядь от своих притязаний. Вдова же, которую тем временем гостеприимно приютили в замке Цепоберг, нравилась королю со дня на день все больше. А с епископом дело дошло до резких споров, даже до вражды и насильственных действий. В конце концов король добился для госпожи фон Флавон только очень невыгодного соглашения.

Тем временем дама стала официальной подругой короля. Было бы неудобно ограничиться убогими подачками. Неужели эти бедняжки, чей отец отдал свою жизнь за него, должны расти, точно мелкопоместные барышни? Нет, король Генрих не такой скупердяй. Он предоставил им владения Тауферс и Вельтурнс.

Правда, из-за этого пришлось поторговаться с епископом Бриксенским, который объявил свои притязания на эти освободившиеся лены. Но король Генрих уперся. В конце концов выплатил епископу деньгами; даме оставили оба поместья.

Она и ее дочери держались крайне вызывающе. Под защитой короля дама чувствовала себя в безопасности. Это была красивая женщина с очень белой кожей, очень белокурая, крепкая и кругленькая. Она любила посмеяться и неизменно бывала на танцах и турнирах. В ее замках не умолкал праздничный гомон. Она вечно суежилась, во все вмешивалась, с важным видом болтала самый бессмысленный вздор, всюду вносила путаницу. Вдруг ей взбрело в голову перевезти тело супруга в часовню замка Тауферс. Из года в год настойчиво добивалась она своей цели, в конце концов поехала в Ломбардию. Похороненного там на скорую руку покойника отрыли, бросили тело, как было принято, в кипящую воду, чтобы мясо отошло от костей, отправили кости в Тауферс и там торжественно, под громкий плач и причитания дам фон Флавон, похоронили. Не было, однако, уверенности, что это подлинные останки господина фон Флавоиа.

Три девочки росли, почти не получая воспитания, своевольные и очень избалованные. Они то и дело дрались, из-за каждого пустяка между ними вспыхивали ссоры, иногда презлые. Всякий раз, когда приезжал добрый король, ему приходилось успокаивать их, мирить. Они не слушались матери и, объединившись, нередко бунтовали против нее. Мать жаловалась королю на дочерей, а те — на мать. Потом они так же ни с того ни с сего мирились, шумливо хвастались своей дружной семьей. Девочки носились по своим огромным поместьям, мешали служащим, мучили крестьян, изводили людей и животных.

Все три были очень хорошенькие, белые, гладкие, розовые, пышные. Но самой красивой была средняя, Агнесса фон Флавон: выше ростом, чем сестры, волосы темнее и более блестящие, лицо удлиненное, не такое круглое, нос не такой кукольный, маленький, и очертание губ смелее. Все три сестры отличались крайним

тщеславием. Агнесса при всей своей молодости — она была лишь года на два старше принцессы Маргариты, — считалась бесспорно самой красивой дамой между Эчем и Инном. На всех турнирах рыцари сражались в ее честь; она раздавала призы. Если кто-нибудь принимался славить красоту итальянских дам, немецкие рыцари единодушно восклицали: «Агнесса фон Флавон!» И итальянцы вынуждены были умолкнуть. Мать, прибывшая в Триент по каким-то делам, взяла ее с собой во дворец епископа, и вот толпа, ожидавшая перед дворцом, закричала с воодушевлением: «Ангел сошел на землю! Благослови нас, прекрасный ангел!»

Агнесса знала о своей красоте. Ей казалось вполне естественным, что король, рыцари, народ исполняют каждую ее прихоть. Она считала себя госпожой Тироля.

Король Генрих из добродушного такта старался не допускать встреч между красивыми сестрами и его дочерью Маргаритой. Правда, иной раз этого не удавалось избежать. Агнесса, хоть и соблюдала все требования учтивости, относилась к Маргарите с каким-то насмешливым снисхождением, нестерпимо раздражавшим принцессу. Однажды, когда обе девушки были одни, а при них только Крэтиен де Лаферт, и обе уже в течение получаса обменивались колкостями, Агнесса вдруг сказала, прощаясь:

— Проводите меня, господин Крэтиен!

— Господин Крэтиен останется здесь! — сказала Маргарита необычно сухо и жестко. Но когда Агнесса, пожав плечами, с насмешливой и злой улыбкой вышла, поспешила добавить: — Идите, Крэтиен, идите! — Растерянный, смущенный, последовал молодой человек за девицей фон Флавон. Принцесса же, оставшись одна, изменилась в лице, она тяжело дышала, фыркала.

Маргарита сидела однажды с господином фон Шенна над украшенной рисунками рукописью стихов. Бланшфлер была похожа на Агнессу, господин фон Шенна и принцесса рассматривали яркую миниатюру.

— Да, — сказал господин фон Шенна спустя мгновение, — она похожа на Агнессу.

— Она удивительно красива, — сказала Маргарита сдавленным, словно угасшим голосом.

— Но у фрейлейн фон Флавон глаза гораздо глупее,— заметил господин фон Шенна.

— Давайте читать дальше! — сказала Маргарита, и ее голос зазвучал, как прежде, низко, выразительно и тепло.

Король Генрих начал стареть очень рано, дряхлел на глазах. Его руки дрожали, он часто терял дар речи, лепетал. Тоскливый страх перед наказанием на том свете охватывал его. Сколько раз видел он на церковных порталах, на картинах изображение Страшного суда, разверстой преисподней, гнусных чертей, усмехавшихся среди серных паров. Все это теперь придвинулось, пугало своей близостью. Он удвоил благочестивые пожертвования, богато одарил Мариенберг, Штамс, Ротенбух, Бенедиктенбайерн. Но это могло так же мало успокоить его, как утешительные заверения аббата Виктрингского. Для умерщвления плоти он приказал поставить в часовне Ценоберга погребальные носилки и пролежал на них целую долгую зимнюю ночь. Но тут ему явились люди, которых он ограбил, замучил, убил; хоть он и был человеком добродушным, их все же оказалось слишком много. Затем женщины, с которыми он блудил; их лица улыбались, но когда они отвертывались, видно было, что их спины до самых внутренностей изъедены гнойными червями. Вся часовня наполнилась мерзкими бесами, тянувшими к нему когти. Он стал кричать. Но сам же отдал приказ накрепко запереть часовню и запретил кому-либо находиться поблизости, чтобы остаться до утра наедине со своими грехами и своим раскаянием. Наконец ему стало невтерпеж. Он полез — страх придал ему ловкости — вверх по стене, выпрыгнул в окно. Заполз, стуча зубами, покрытый холодным потом, в свою постель.

С этого дня он начал хиреть. Часто разговаривал с самим собой, кашлял глухо и беспомощно. Маргарита много бывала с ним, но относилась к отцу довольно безучастно. Итак, он умрет. Жаловаться ему не на что, он взял от жизни все, что было можно. Он охотно окружал себя своими детьми, особенно самыми малень-

кими. Бродил среди этого крошечного народца, среди лепечущих, семенящих на кривых ножках, падающих малышей, там утирал сопливый носик, тут успокаивал задыхающегося от отчаянного рева розового карапуза. Он брал детей на руки, садился рядом с ними на пол, вздыхая, рассказывал им о своих денежных затруднениях, о церковном покаянии, о высокой политике, а они сосредоточенно и бессмысленно слушали.

Наступил апрель. Небо было лазоревое, воздух полон пыльцы с цветущих миндальных и персиковых деревьев. И тут король почувствовал, что близок его конец. Он приказал отнести себя в часовню святого Панкратия. Кроткая голубая дева Мария ободряюще улыбалась ему. Пестрое цветное окно часовни приветливо светилося в ярком солнце. Возле него, тараща глазенки, стояли маленькие дети и кроткий ласковый аббат Виктрингский. Здесь настигло его последнее кровоизлияние и задушило.

Тело выпотрошили, набальзамировали. Сердце и внутренности надлежало похоронить в замке Тироле,— остальное же, позднее, с большими почестями, в княжеском склепе монастыря святого Иоанна, в Штамсе.

Епископ Бриксенский, получив весть о кончине короля Генриха, тотчас отбыл в замок Тироль и, путешествуя даже ночью, услышал на дороге топот многих ног. Он спросил своих людей, не видят ли они чего-нибудь. Они тоже слышали шум, однако ничего не обнаружили. Когда же епископ попристальнее всмотрелся в ночной мрак, он увидел, что это гномы, которые густой толпой поспешно уходили на север. Но так как на пальцах у них были надеты их драгоценные камни, видеть гномов мог только он. Епископ остановил одного и спросил. Тот ответил, что так как добрый король Генрих умер, то они больше не чувствуют себя в безопасности и вынуждены покинуть страну.

В тот же день выехали нарочные, чтобы нести весть о кончине короля во все концы страны. Один — через горы на итальянскую равнину и в Верону. Обрадовались братья делла Скала. Теперь начнется смута в горах! Можно будет опять протянуть руку к северу, отхватить себе кусок. Другой поскакал в Вену. Там

вечно зябнувший хромой герцог Альбрехт сидел у камина, небритый, тощий, хворый. Он насторожился, послал за братом, вызвал секретарей, стал диктовать им, забывал поесть, погруженный в планы и работу. Третий поскакал в Мюнхен, к императору Людвигу. Тот посмотрел на курьера большими простодушными глазами, голубевшими над длинным носом, и тут же не замедлил в обстоятельной и достойной речи излить свою скорбь по поводу кончины горячо любимого дяди, а сам, тяжело ворочая мыслями, обдумывал, под каким бы предлогом всего легче отнять у своей маленькой кузины ее земли.

Маргарита рассматривала себя в зеркало. На обрамлявшей стекло оправе из слоновой кости был вырезан рельеф, изображавший взятие замка богини любви. Ну да, на богиню любви она, Маргарита, ни лицом, ни телом не похожа. Но зато она — герцогиня Каринтская и графиня Тирольская. Так вот, значит, какие бывают герцогини. Она разглядывала себя с горькой усмешкой. Ну-ка, посмотрим! Глаза и лоб еще куда ни шло. Самое худшее — рот, вывернутые обезьяньи губы. Что ж, зато у нее Каринтия. Вялые свисающие щеки — куда это годится! Но разве за них не вознаграждает графство Тироль? А серое с пятнами лицо? Положите на весы Триент, Бриксен, Хур, Фриуль. Разве оно тогда не станет ровным и чистым? Иоганн, ее супруг, ужасно заважничал. Теперь он государь и властитель. Он в столь приподнятом настроении, что стал почти любезен. Маргарита разглядывала его. В сущности, красивый мальчик. Удлиненное, властное лицо, прекрасные волосы. И глаза его казались ей теперь выразительней, смелее. Он же думал: «Она не красавица, но прекрасны страны, которые она принесла мне». Он сказал ей: «Что, Гретль?» И сердечно поцеловал в безобразные губы. Больше того, он заявил, что ей следует как-нибудь поехать с ним на соколиную охоту.

Затем дети усадились рядом и принялись очень серьезно обсуждать свои первые государственные мероприятия. Положение складывалось нелегкое. Ладить с баронами будет трудновато, те, наверно, попытаются использовать осложнения, связанные с переменой

правителя. Мальчик Иоганн напустил на себя важность. Он приберет их к рукам. Он укрощал самых диких коней. Прежде всего необходимо вызвать отца, короля Иоганна; он, вероятно, еще в Париже, на турнире, у своего шурина, французского короля. Затем надо отправить послов к императору, к герцогам австрийским. Дети вызвали к себе аббата Викtringского, возложили на него эту миссию, торжественно и все же с притворной небрежностью поставили свои имена под верительной грамотой: Иоганн, божьей милостью граф Тирольский, и Маргарита, *Dei gratia Carinthiae dux, Tyrolis et Goritiae comes et ecclesiarum Aquilensis Tridentinae et Brixensis advocata*¹.

Но когда аббат Викtringский вручил грамоту по назначению, большинство этих стран было его доверителями уже утеряно. В Линце император с хромым Габсбургом обсуждал меры к осуществлению договора, по которому страну в горах надлежало поделить между Габсбургом и Виттельсбахом. Неуклюжий, грузный Баварец старался все забрать себе, не желал выпустить из цепких пальцев ни одной, самой маленькой деревушки. Неотступно, упорно торговался хромым герцог, не скупился на резкости, не уступал. Они сидели, поглощенные картами и списками, смотрели на вздувшийся Дунай, шел дождь, оба навалились на жирный кусок, каждый тащил его к себе. После яростной торговли они наконец столковались: «Каринтия, Крайна, Южный Тироль — Австрийцу, Северный Тироль — Баварцу. В это время прибыл аббат Викtringский с письмами и поручениями от обоих детей. Очень вежливо приняли его оба государя. Внимательно прочли письма. С неуловимой иронией заговорил Австриец относительно того, как, мол, смерть его дяди, достойного и высокородного государя, старшего в семье и их общего отца, мучительно ранит его сердце. Как он сочувствует своей маленькой кузине и юному ее супругу. Но Крайна теперь его собственность. Каринтию же

¹ Божьей милостью герцог Каринтии, граф Тироля и Горитии, и защитница церквей Аквилейской, Триентской и Бриксенской (лат.).

даровала ему щедрость императора, войска уже выступили, чтобы занять ее. Если он чем-нибудь иным может помочь или оказать услугу своей маленькой кузине, он охотно это сделает. В том же роде высказался и сам император, прямодушно глядя на аббата большими голубыми глазами. Только речь его была более звучна и торжественна, оттого что он был императором. К сожалению, дети со своими просьбами опоздали: он все решил со своими любезными австрийскими дядями. Однако он еще милостиво подумает.

Дети в замке Тироле, увидев, как плохи их дела, гнали гонца за гонцом в Париж к отцу и опекуну, королю Иоганну. Но тот был тяжело ранен на турнире. Он лежал разбитый, почти ослепший, обвязанный и забинтованный, и смог послать в Тироль только бессильное утешение, советуя детям не отчаиваться; как только здоровье позволит ему, он придет сам и защитит их и их земли. Видно, это злой рок, что вот он вынужден беспомощно лежать в постели, а между тем император и Габсбург делят между собой те богатые страны, которые он укрепил за своим домом, идя долгим путем искусной дипломатии. Но Иоганн был по натуре игроком и фаталистом, и его не сразило даже это несчастье. Он привык к внезапным переменам и, несмотря на свое немощное и жалкое состояние, все же легкомысленно острил насчет женщин и стран, теперь от него ускользнувших, и ждал с хладнокровием игрока счастливого поворота судьбы.

Тем временем Каринтия и Крайна были без боя заняты Габсбургами. Города воздавали им почести, ленная грамота императора повсюду торжественно читывалась. Владетельные бароны и чиновники признали совершившийся факт, принесли присягу новым властителям. Знатнейшие дворяне, во главе с величественным Конрадом фон Ауффенштейн, наместником покойного короля, наградившего его и богатейшим состоянием и всяческим доверием, играли при этом весьма двусмысленную роль. Население примирилось с изменой детям, после того как герцог Отто Австрийский,

представлявший своего брата, неукоснительно выполнил патриархальный церемониал, принятый в Каринтии при восшествии на престол государя, тот самый церемониал, которому так радовался наперед маленький Иоганн: он надел крестьянское платье, приказал нарочно посаженному для этого крестьянину встать с камня, выпил воду из крестьянской шляпы и проделал еще ряд подобных же старинных церемоний. Впрочем, герцог Отто, щеголеватый, утонченный молодой человек, казался себе в крестьянском платье очень смешным, он и его приближенные еще долго потом острили. Но населению эта верность старинным обычаям чрезвычайно понравилась, оно было растрогано и решительно стало на сторону нового государя.

Маргарита никогда не была натурой патетической. Она вовсе не ждала, что Каринтия, из верности законному царствующему дому, вдруг пылко поднимется на ее защиту. Все же та оскорбительная легкость, с какой люди, словно так и надо, отрекались от права и переходили на сторону силы, попутно стараясь урвать кое-что и для себя, наполняла ее сердце отвращением и гневом. Поэтому она не возражала, когда герцог Иоганн, яростно топая ногами, срывающимся голосом приказал разрушить Ауффенштейн возле Матреи, родовой замок изменника, каринтского наместника. Рассудительный господин фон Шенна находил, правда, что благоразумнее было бы просто отобрать его.

Но если Каринтия была потеряна, то события в Тироле складывались для детей весьма благоприятно. Тирольские бароны имели от Люксембуржца решительные гарантии того, что на высокие посты в стране не будут посажены чужеземцы; во всяком случае, с детьми легче столковаться, чем с Виттельсбахом, который был в денежных делах чрезвычайно прижимист. Итак, тирольские рыцари перемигнулись, поняли друг друга, решили соблюсти традиционную тирольскую верность, стоять за свою законную государыню; они готовили вооруженное сопротивление, поддерживали в стране благомыслие.

Таким образом, старший брат герцога Иоганна, маркграф Карл, которого король Иоганн пока послал

в Тироль вместо себя, нашел графство готовым к обороне, и, после короткой, чрезвычайно решительной, суровой и беспощадной войны, трем подросткам удалось удержать страну в горах. Маленький герцог Иоганн обнаружил в этой войне упорную отчаянную храбрость, которая произвела на Маргариту известное впечатление.

Тем временем встал с одра болезни и король Иоганн. Правда, его зрение уже нельзя было спасти. Вместо внешнего мира он видел теперь только слабое мерцание и знал, что скоро не будет видеть и его. От этого в нем появилась какая-то усталость, склонность к философии и миролюбию. Устал от борьбы и Габсбург, хромой Альбрехт. Он видел, что, кроме Каринтии, ему пока ничего не добыть, что, продолжая войну, он в конце концов сражается за интересы императора, а тот, чуть дошло до платы, в этот раз, как и всегда без всяких объяснений, высокомерно и подло прикрыл свою скаредность императорским титулом. Поэтому Альбрехт скоро столкнулся с Иоганном, признал Люксембургов законными властителями Тироля, в ответ на что Иоганн признал власть Габсбургов в Каринтии, но, разумеется, он потребовал также материальной компенсации: десять тысяч марок веронским серебром.

Увлеченный договорами, он предложил сделку и императору: Бранденбург в обмен на Тироль. Людвиг, у которого была особая страсть ко всяким сделкам, тотчас согласился, и оба государя принялись весьма горячо обсуждать детали этого проекта. Но тут верность тирольцев своей государыне вспыхнула ярким пламенем — при господстве Виттельсбахов бароны были бы материально весьма ущемлены; дело дошло до резких заявлений, и народ так заволновался, что король Иоганн был вынужден торжественно заявить, будто никогда и не помышлял об обмене. Его сын и наместник, маркграф Карл, счел положение настолько сложным, что потребовал от отца священной клятвы не выменивать и не продавать Тироль. И тот, пожимая плечами, с любезной улыбкой обещал.

Впрочем, молодые супруги отнюдь не собирались выполнять обязательства, данные Иоганном касательно Каринтии. Маргарита в самых резких выражениях

высказала свое негодование по поводу того, как подло опекун продал ее интересы; она и ее молодой муж продолжали полностью поддерживать свои притязания на Каринтию и Крайну. Юный герцог Иоганн воспользовался этим для совершения патетической, пышной церемонии. Он собрал тирольских дворян и потребовал, чтобы они, став живописной группой, с обнаженными мечами, поклялись на кресте, что до тех пор не будут знать ни отдыха, ни срока, пока Каринтия не окажется снова в его и Маргаритиных руках.

Слепой король Иоганн нашел, что его сын — маленький осел. Ибо единственным результатом этой пылкой декларации было то, что Австрия не уплатила ему десяти тысяч марок веронским серебром. Каринтия фактически осталась у австрийцев, напыщенные тирольские бароны, несмотря на клятву, вложили меч в ножны, а в покоях короля Иоганна снова появился, усердно кланяясь, невзрачный, подобный тени, мессере Артезе из Флоренции.

Герцог Иоганн вырос, возмужал. Лицо его оставалось скрытным, злым, но тело утратило свою деревянность, оно уже не было таким тощим и долговязым, оно приобрело крепость, статность, не слишком ловкое, но уверенное. Он был хорошим охотником, мастером соколиной охоты, показал личную храбрость в бою. Он нравился Маргарите. Можно было найти мужчин красивее, умнее, обаятельнее. Но во время трудной борьбы за Тироль он вел себя не плохо, он уже не мальчик, он очень рано стал мужчиной, и он был ее мужем. Он избегал ее. Что ж, верно, Иоганн робок от природы; разговорчив, доверчив он бывал только со своими охотниками; приходилось его завоевывать. Она старалась постоянно попадаться ему на глаза. Тщетно: пренебрежительно проходил он мимо.

Она заполняла свой день сотней разнообразнейших дел, нарядами, представительством, политикой, наукой. Но ее мысли все вновь и вновь возвращались к нему. Отчего ей не удастся подойти к нему? Ее ночи были полны им. Почти навязчиво искала она его общества. Находила всевозможные предлоги, как только он бывал у себя, проникать к нему. А он вечно спешил,

ворчливо уклонялся от всякой сердечности. Она никогда не объясняла это нежеланием, ни минуты не сердилась на него. Винула только себя, свою неловкость.

Ей необходимо было кому-нибудь открыться, попросить совета. Но у кого? Ее придворные дамы черствы и глупы, добродушный аббат Виктрингский начнет сыпать сентенциями и назидательными цитатами. После бессонной ночи она обратилась к фон Шенна.

Он сидел перед ней сутулый, долговязый, закинув ногу за ногу, опершись слегка увядшим лицом на крупную руку. Между легкими колоннами лоджии открывался вид на далекие горы, на яркоцветную, обильную, залитую солнцем страну. Вдоль стен лоджии шагал очень пестрый, слишком тонкий Тристан, стояла Изольда, выпрямившись, подняв отстраняющим движением руку. У ног Маргариты распластал перья ручной павлин. На Маргарите было сиреневое шелковое платье, волосы отливали медью в ярком свете дня, хотя этот же свет особенно грубо и беспощадно подчеркивал ее безобразие, — она говорила запинаясь, недомолвками. Заранее обдумала она все, что хотела спросить; и все-таки обычное красноречие изменило ей, она ограничилась намеками. В конце концов Иоганн все же ее муж. Кто-нибудь должен ему об этом напомнить. А самой ей неудобно.

Она посмотрела на господина фон Шенна. Но тот сидел молча, щурился от солнечного света, не отвечал. Еще неувереннее она продолжала. Ведь бывало же раньше, что княжеская чета, повенчанная в детстве, позднее еще раз торжественно справляла свое вступление в брак. Иоганн так любит церемонии. Считает ли господин фон Шенна уместным, чтобы она предложила Иоганну такое празднество.

Господин фон Шенна немного повременил с ответом. В солнечной тишине кричал павлин, снизу, из виноградников, очень издалека доносились крики играющих детей. Господин фон Шенна знал, что молодой герцог с другими женщинами вовсе не робок и не глуп. Наконец он заговорил медленно, с особой бережностью. Поскольку он знает своеволие молодого герцога, он думает, что тот едва ли будет склонен

поступать по чужой указке. Может быть, представится случай навести его на эту мысль так незаметно, что он примет ее за собственную. Но надо быть очень, очень осторожным. И выжидать.

Затем, обрадовавшись, что можно переменить тему, указал на всадника, медленно подъезжавшего к замку под палящим солнцем: «А вот и Берхтольд!»

Поклонившись герцогине с глубокой почтительностью, Берхтольд фон Гуфидаун приблизился. Этот статный рыцарь — смугловатое смелое лицо, голубые глаза при темных волосах — был лучшим другом Якоба фон Шенна. Господин фон Шенна говаривал: «Хоть он и вдвое глупее меня, но в десять раз порядочнее». Маргарита очень благоволила к этому решительному, прямому, глубоко преданному ей человеку.

Господин фон Шенна приказал подать вино и фрукты. День клонился к вечеру, мирно текла беседа. Вдруг, во время паузы, Маргарита спросила:

— Скажите, господин Гуфидаун, ведь вы имеете дело со столькими людьми: каково мнение народа обо мне?

Честный Гуфидаун, застигнутый врасплох, смущенно пробормотал, что народ любит и чтит ее, как подобает. Но покрылся испариной под ясным, серьезным взглядом девушки. Шенна поспешил на выручку. Всем известен ее ум и находчивость и то, что она спасла страну от Габсбурга и Виттельсбаха.

Маргарита отлично чувствовала, что осторожность, которую ей рекомендовал Шенна, очень уместна, — больше, чем он мог при его воспитанности сказать. Но она не желала в этом сознаться. Она просто была не в силах бездействовать и дальше смотреть, как Иоганн пренебрегает ею. Хорошо, пусть ее лицо безобразно, в фигуре нет ни благородства, ни прелести. Но она здорова, славного рода, она хочет, она способна и имеет право зачинать и рожать княжеских детей. Мужчины дураки, они ждут, чтобы их подтолкнули; наверно, так оно и есть. Мальчик сам не догадается, его надо натолкнуть.

Она спросила, с трудом сдерживая волнение и словно мимоходом, когда и где Иоганн считал бы наиболее желательным отпраздновать их вступление в

брак. Монастырь Вильтен, город Инсбрук ждут этого. Он осмотрел ее с головы до ног, яростной насмешкой исказилось его лицо, глаза стали крошечными. Еще и праздновать? Он же на ней женился! Напраздновались. Он и не подумает вторично справлять свадьбу. Пусть потрудится подождать, оставит его в покое. Он кричал. Голос срывался. Он иронически хмыкнул, стал хохотать. С ее жестких медных волос его взгляд скользнул вдоль ее короткого, неуклюжего тела вниз до самых ног. Он напоминал коварную обезьянку. Маргарита судорожно глотнула. Она отвернулась, ушла.

Оставшись одна, она предалась неистовой ярости. Сам-то он кто? И похож на злую безобразную дворянку. Не будь он герцогом, кто бы на него позарился? А герцогом она его сделала. И вот теперь — кто поможет ей? — она должна сносить это столь дерзкое издевательство. Для того ли она герцогиня? Когда еще женщину так постыдно отвергали и оскорбляли? Она исцарапала себе грудь, бедное безобразное лицо. Металась, визжала, выла, стонала так, что прибежали перепуганные фрейлины.

На другой день Маргарита словно оделась корой льда. Бросилась в политику. Маркграф Карл, старший брат Иоганна, уехал на Рейн. Истинным регентом был умно руководивший герцогом Иоганном епископ Николай Триентский, бывший канцлер маркграфа в Брюнне, человек энергичный, сметливый, искренне преданный Люксембургам. Теперь Маргарита стала вмешиваться во все мелочи, вежливо, но с непоколебимой настойчивостью заставила епископа посвятить ее во все подробности управления государством.

С герцогом Иоганном она избрала тон ледяной официальности, называла его «господин герцог» и положенными титулами. Она привлекала его к решению всех политических вопросов, но, сохраняя изысканную вежливость, вновь и вновьставляла перед тирольскими баронами глупым, вздорным мальчишкой. Испрашивая его согласия, она ловко умела свести это к простой формальности, причем он, невзирая на свой гнев и раздражение, ни в чем не мог обвинить ее, когда она спокойно удивлялась и недоумевала.

Финансы страны были в лучшем состоянии, чем при короле Генрихе, но еще отнюдь не в порядке. Приходилось осторожно лавировать, изворачиваться. Герцог Иоганн, наскучив этой кропотливой возней, призвал всемогущего мессере Артезе из Флоренции, он знал его еще по делам отца. Могущественный банкир, невзрачный, подобный тени, бесконечно услужливый, вдруг появился в замке Тироля. Разумеется, он с огромным удовольствием выручит. Взамен он потребовал совсем ничтожной услуги: отдать ему в виде залога только что открытые серебряные рудники.

Герцог Иоганн был готов дать немедленное согласие. Маргарита с расчетливой дальновидностью возражала лишь вскользь, не уговаривала, предоставила ему окончательно запутаться. Лишь когда план был разработан до мельчайших подробностей, она решительнейшим образом протестовала. Иоганн вскипел, его жилы вздулись, точно змеи.

— Итальянец получит рудники! — завизжал он.

Маргарита, трепеща от торжества:

— Он их не получит!

Герцог в ярости. Что? Он обещал банкиру право на серебро и не сможет выполнить обещания? И только потому, что эта ведьма, эта отвратительная уродина, потаскуха, не желает? Он получит их! Он получит их,— и он бросился на нее, дал ей пощечину, вцепился в нее зубами.

Она, счастливая тем, что удар попал так метко, ликовала, и ее звучный голос вплетался в его визг:

— Он их не получит! Никогда не получит! Никогда!

Задыхаясь, обессилив от пожирающей его злобы, он выпустил ее.

Маргарита отправила нарочных к маркграфу. Оторвавшись от важных дел, рассерженный, вернулся он в Тироль, чтобы рассудить дело. Ясно, Маргарита права: конечно же нельзя отдать флорентинцу серебряные рудники. Маргарита тактично вмешалась, избавила супруга от явного поражения. Но когда они остались одни, старший брат так разнес герцога, что у того кровь закипела от ярости.

Трезвый, практичный маркграф не мог не оценить государственную мудрость своей невестки. Из Богемии и Люксембурга слухи о ее дипломатическом искусстве распространились и по европейским дворам. Правда, официальные переговоры велись с герцогом Иоганном: но во всех государственных канцеляриях было известно, что на самом деле нагорной страной правит единолично безобразная молодая герцогиня.

Вскоре после кончины короля Генриха умерла как-то вдруг и госпожа фон Флавон, владелица Тауферса и Вельтурнса. Гуляя однажды в обществе младшей дочери и собирая с радостными возгласами альпийские цветы, красивая полнотелая дама сорвалась с откоса и убилась насмерть. Дочери, среди всеобщего соболезнования, пышно похоронили ее рядом с сопительными останками Петера фон Флавон, привезенными ею из Италии. Три хорошенькие барышни оказались в весьма затруднительном положении. Теперь, после смерти их покровителя короля Генриха, епископ Хурский возобновил свои былые притязания на их западные владения, а епископ Бриксенский требовал, и не без оснований, возврата замков и поместий Тауферс и Вельтурнс.

Три молодые дамы, белокурые, прелестные и беспомощные, долго вели переговоры с финансовыми советниками епископа. Многие пытались за них вступиться. Но против законных требований могущественных епископств бороться было трудно. В конце концов дело перешло в последнюю инстанцию — к герцогу.

Агнесса фон Флавон явилась в замок Тироль, преклонила колена перед молодым герцогом. С мальчишеской важностью стоял он перед коленопреклоненной, на его удлиннном узком лице губы были серьезно сжаты. Его властолюбию льстило, что это хрупкое создание в своей черной одежде, прекрасное и скорбящее, покорно распростерто перед ним, взирает на него снизу вверх манящими, темно-голубыми глазами. Так и должно быть.

Так повелел сам бог. Пусть та, другая, безобразная, лает на него. А эта вот, нежная, прелестная, красивей-

шая женщина страны, склонилась перед ним, смотрит на него смиренным, преданным, полным доверия взглядом. Он обошелся с ней весьма милостиво.

Агнесса засвидетельствовала свое почтение и герцогине. Маргарита мужественно устояла перед искушением унижить красавицу. Была с ней очень милостива. Тепло выразила свое соболезнование по поводу смерти госпожи фон Флавоп. Ведь ее отец, король Генрих, относился всегда особенно благожелательно к их семейству, добавила она с непроницаемым лицом. Да, очень жаль, что, как она слышала, юридическая сторона дела складывается не в пользу барышень. Она лично готова, конечно, в любую минуту оказать им поддержку из своих собственных средств.

Агнесса заранее решила не раздражать Маргариту. Но при этой загадочной, вдвойне оскорбительной насмешке она не выдержала. Как? Девушка с таким лицом и такой пастью осмеливается подпускать ей шпильки? Да будь та хоть римской императрицей, а Агнесса — холодкой, она возмутилась бы. Она посмотрела на Маргариту долгим, пренебрежительным взглядом. Сказала затем, что обстоятельства складываются, по ее мнению, вовсе не так уж плохо. По крайней мере господин герцог был к ней очень милостив и утешил ее. Маргарита довольно сухо закончила:

— Ну да, будет заслушано мнение сведущих лиц и все, что говорит в пользу сестер, будет милостиво принято во внимание.

Перед тем как покинуть замок, Агнесса встретила Крэтиена де Лаферт, который выразил ей в надлежащих словах свое соболезнование. Агнесса выслушала его серьезно и поблагодарила с достоинством. Он просил разрешения сопровождать ее на обратном пути домой. Она и тут соблюдала приличествующий ее положению меланхолический тон, хотя время от времени, невзирая на пристойную скорбность, позволяла себе лукавую кокетливую шутку и чрезвычайно смутила молодого человека столь внезапной сменой настроений.

Положение Крэтиена при тирольском дворе стало нелегким. Пока принц Иоганн был мальчиком, обязанности Крэтиена не вызывали сомнений. В качестве

услужливого товарища ему надлежало незаметно исправлять и сглаживать многочисленные нарушения придворных манер и обычаев, допускаемые своевольным маленьким принцем. Король Иоганн был убежден, что более тактичного адъютанта для его невоспитанного сына, чем этот красивый, выдержанный, скромный юноша, трудно найти. Однако сам принц Иоганн никогда не испытывал особого влечения к красивому прямодушному товарищу. Он то и дело обижал его, дразнил, унижал, подстерегая своими маленькими волчьими глазками, не возмутится ли этот юноша и не подаст ли повод прогнать его.

Крэтиен, младший отпрыск обедневшей дворянской французской семьи, вынужден был искать счастья при дворе. Но сидеть лучшие годы своей жизни в Тироле, без всяких надежд, не имело никакого смысла. В походах короля Иоганна Крэтиен сражался доблестно и храбро. Однако случая особенно отличиться ему не представилось. Что ему делать у злобного молодого герцога, который постоянно его унижал, во всяком случае — не благоволил к нему? Он лелеял мысль вернуться ко двору короля Иоганна, или уехать во Францию, или, еще лучше, к королю Кастильскому. В битвах с маврами можно добыть и деньги и славу.

Маргарита в течение долгого времени не выказывала особого благоволения к молодому рыцарю. Лишь когда она убедилась, что все пути к герцогу Иоганну для нее закрыты, начала она опять завлекать Крэтиена. Возлагала на него небольшие, но деликатные дипломатические поручения, задавала ему невинные вопросы, подчеркивая их значительность особой интонацией. Он был очень сдержан, полон сомнений, не хотел понимать. Большая удача — заслужить благосклонность столь высокопоставленной особы; по счастью это было обоюдоострым. Ведь немыслимо же ломать копья за столь безобразную женщину. Правда, никто не осмелится, как прежде, смеяться над ним в лицо. Однако все в нем возмущалось при мысли о насмешливых улыбках и грязных намеках за его спиной. Вместе с тем до него доходили слухи о том, с каким уважением отзываются при всех дворах о дальновидности и разумности

герцогини. Ему льстило, что дама, пользующаяся подобной репутацией, избрала именно его. Она импонировала ему, он был ей благодарен, уже не избегал ее. Он стал отвечать ей в том же тоне, его глаза затуманивались при виде ее, его голос, когда он говорил с ней, звучал глухо.

Однажды, только что вернувшись после довольно продолжительного отсутствия, он просил доложить о себе герцогине. Ее не оказалось в покоях, сухопарая фрейлина фон Ротенбург повела его в отдаленную часть вечереющего сада. Из-за купы деревьев доносилось пение. Фрейлина приложила палец к губам, сделала ему знак остановиться, молчать. Теплый звучный голос пел простую песенку, ликуя парил над землей, рыдая нисходил в пропасти страдания, скорбел, благодарил, постигал все заблужденья. Молодым человеком овладело такое же чувство, как в церкви, в большой праздник. Он снял шапку. «Герцогиня?» — прошептал он, не веря. Но она уже шла к ним по аллее. Она прочла на его выразительном лице глубокое взволнованное изумление. Медленно протянула ему руку. Он склонился над ней.

Тем временем разбор вопроса о наследстве госпожи фон Флавон дошел до той стадии, когда откладывать решение стало уже невозможно. Все юридические и политические основания были за то, чтобы отдать освободившиеся лены епископам, оказавшим немалые услуги дому Люксембургов. Однако советники отыскиали множество сомнительных оснований в пользу дам фон Флавон. Дело в том, что Агнесса побывала у каждого из них, пустила в ход хитрость, печаль, очарование молодости, беспомощность, и до тех пор уговаривала их, пока совсем не опутала. Иоганн самовольно решил — оставить поместья барышням. Но Маргарита возражала — упорно, веско, так что спорить было трудно. В конце концов порешили на следующем: замок и поместье Вельтурнс оставить сестрам, западные владения вернуть Хуру, Тауферс — Бриксену, однако с условием, чтобы епископ Бриксенский мог передавать

его в ленное владение только лицу, предложенному замком Тироль.

Сестрам, уже поделившим было между собой огромные владения, пришлось удовольствоваться одним Вельтурисом. Они были крикливы, упрямы, несговорчивы. В замке Вельтурис не смолкали злобные распри. Как ни странно, приятные голоса дам становились во время ссор необыкновенно визгливыми и резкими, как у павлинов. Впрочем, в обществе сестры всегда прикидывались очень дружными, ходили обнявшись, прелестные, улыбающиеся, подобные цветам.

Кандидатом на освободившийся Тауферс Маргарита предложила Крэтиена де Лаферт. Герцог возмущенно запротестовал. Как? Посадить в это тучное поместье голодранца, лицемера, который как будто и воды не замутит, а сам, дорвавшись до власти, нападет на тебя из-за угла? Однако Маргарита настаивала. Герцог Каринтский и граф Тирольский не может позволить себе быть скупым. Не может так долго пользоваться услугами человека, а потом поступить как скряга и выжига. Если Крэтиен без награды и благодарности уйдет теперь к другому двору, она сама будет опозорена столь низкой скаредностью! Когда же Иоганн продолжал упираться, она пригрозила ему призвать для окончательного решения маркграфа Карла, и герцог, ворча, наконец согласился.

Маргарита лично сообщила Крэтиену об этом решении:

— Епископ Бриксенский отдает вам в лен замок и округ Тауферс. Покажите себя на деле, господин фон Тауферс! Ваш успех будет мне гордостью, а ваша неудача — позором.

Худое загорелое лицо Крэтиена покраснело до корней непокорных волос. Медленно опустился он на одно колено. Он уже не видел ни по-обезьяньи выпяченного рта, ни серой отвисшей кожи.

— Герцогиня! — пролепетал он. — Всемиловнейшая, дорогая герцогиня! — И он вложил необычную горячность в общепринятую формулу: «*Pour toi mon âme, pour toi ma vie!*»¹

¹ Тебе моя душа, тебе моя жизнь! (франц.)

В угрюмом прадедовском замке тирольского ландсгауптмана Фолькмара фон Бургшталь с десятка наиболее влиятельных баронов сидели за вином. Редко звал к себе гостей этот грузный человек, а если и звал, то так грубо, что это звучало как приказ. Зал, в котором они сидели, был душный и низкий, стены голы, пол едва прикрыт сукном. Консервативный хозяин презирал такие новшества, как оконное стекло. Молодой жизнерадостный Альберт фон Андрион, незаконный брат Маргариты, смеялся над тем, что сейчас, в холодное время года, оконные отверстия просто-напросто забиты досками. Точно сидишь в погребе. Все закоптело от камина, свечей и смолистых факелов. Да такой зал и не натопишь! Бароны недовольно ерзали на скамьях: с одного бока поджариваешься, с другого мерзнешь. Нервный господин фон Шенна покашливал, сопел, у него разболелась голова в этой неприятной душной пещере, где так противно воняло остывшим навозом конюшен. Но кушанья — дичь и рыба — были приготовлены отменно и подавались целыми грудами, и вино, спору нет, было превосходное. Присутствующие знали хозяина, им было ясно, что он позвал их не из гостеприимства. Но он был груб и скуп на слова: не рекомендовалось спрашивать его, пока он сам не заговорит. Итак, гости пили, болтали о пустяках, ждали.

Наконец несколькими сварливыми, отрывистыми замечаниями Фолькмар навел разговор на политику. Угрюмо вытянул из собеседников то, что хотел. Да, Люксембургами недовольны. Первый, заявивший об этом совершенно открыто, был граф фон Ротенбург. Маленький кряжистый человечек — грубое, красное лицо, черная щетинистая борода — пришел в азарт, стучал кулаком по столу, выкрикивал угрозы. Разве за то, что он отказался уплатить некоторые подати, они не разрушили его замок Лаймбург? Отличный замок под Кальтерном, который строили его отец, дед, прадед. А пожелал этого молодой герцог, коварный волчонок. Приказ же отдал епископ Триентский, этот мрачный богемец, заладивший одно: «Авторитет! Покорность!» Пусть взяли бы в залог часть его пашен, виноградников, ну деревню. Но — только чтобы разозлить его —

разрушить целый замок, хорошо укрепленный, из мощных камней, в своей, не во вражеской стране, это же дураость, прямо язычники какие-то. А госпожа Маргарита не одобрила этого, маленькая герцогиня. А все потому, что она — законная государыня и чувствует заодно со своей страной. Но эти чужаки — богемцы, Люксембурги, что они могут чувствовать? Деньги хотят они выжать из Тироля, и больше ничего, так же как Люксембуржец выжимает их из Богемии. И он, Генрих фон Ротенбург, утверждает, что в тот раз король Йоганн, сколько он теперь ни клянись в обратном, все-таки собирался отдать Тироль в обмен на Браденбург.

Молча внимали остальные опасным речам. Взвешивая каждое слово, начал тогда холеный осторожный Тэген фон Вилландерс. Формально Люксембурги все-таки блюдут договор и чужеземцев на важнейшие посты в стране не сажают. Ведь нельзя же отрицать, что ландесгауптман — господин фон Фолькмар, а ландсгофмейстер — господин фон Ротенбург. Разве нет? Выхоленный, бритый, несколько старомодный барон посмотрел на обоих так серьезно, что они не поняли: издевается он, что ли, и чего он, собственно, хочет?

Маленького Ротенбурга взорвало. Уважаемый барон, верно, считает его дураком? Ландсгофмейстер! Ландесгауптман! Нынче самый глупый крестьянин уже давно раскусил, что все это только титулы, а кто управляет на самом деле? Плосконосый епископ Николай Триентский, богемец, не говорящий ни слова по-тирольски.

Честный Берхтольд фон Гуфидан смотрел на все это, обливаясь потом, высоко и смущенно поднимая брови. Его мужественные голубые глаза неодобрительно поглядывали на строптивых, непокорных баронов. Не подобает вести такие речи против помазаных богом государей. Молодому Альберту фон Андрион тоже стало неловко. Правда, Люксембурги устроили и ему неприятность, весьма чувствительно урезав доходы, назначенные королем Генрихом своим многочисленным внебрачным детям. Однако юный Альберт был малый бесхитростный и добродушный, к бунтарским идеям отнюдь не склонный, он глубоко почитал свою

сестричку, герцогиню. Но ведь никакого подстрекательства и не было: речи господина фон Бургштала не содержали в себе ничего конкретного, а речи умного господина Вилландерса — и того менее; неуместные угрозы выкрикивал, в сущности, только маленький Ротенбург, но он был сильно пьян. И все же эта история как-то неуволимо пахивала бунтом.

Осторожный Тэген фон Вилландерс снова вытянул щупальца. Да, у них у всех верное чувство: законная династия, выросшая на родной земле и в родном воздухе, предназначена самим богом властвовать над Тиролем. Тут он замолчал. Маленький пылкий буйнобородый Ротенбург подхватил его мысль. Пусть Люксембурги правят там, куда их посадил бог или черт: в Люксембурге; а если богемцы позволят, так и в Богемии. А что они сидят и правят в Тироле — это дело рук человеческих, не божьих, и это — ошибка. От них самих, от дворян, зависло после смерти Генриха впустить в страну Габсбурга, Виттельсбаха, Люксембурга. Ясно, что Тиролем может править только тот, кого захотят сами тирольцы. Бог так расположил в этой стране горы, доли и ущелья, что чужак не может овладеть ею силой. Они верны, они за Маргариту. Но с Люксембургом они связаны не соизволением божьим, а лишь договором. Герцог Иоганн и другие богемцы плохо выполняли свою часть договора. Поэтому он как бы расторгнут, потерял силу.

Бароны смотрели на его губы, тяжело дышали. Ясно. Бунт. Никаких сомнений.

Как же это сделать, стал нащупывать почву господин фон Вилландерс, как разделить Маргариту и священный долг верноподданства от Люксембургов?

Шенна, глядя перед собой, намеками выразил свою мысль: особенно счастливой герцогиню назвать нельзя, насколько он знает. Наследника ни ей, ни стране от герцога Иоганна ждать не приходится, насколько ему известно. И нужно думать, дело не в ней. При этом он, улыбаясь, кивнул головой на живое подтверждение плодовитости ее отца, короля Генриха, на Альберта фон Андрион, который сидел среди них румяный, свежий, смеющийся, польщенный.

Господин фон Вилландерс подытожил: ничего не сказано, не решено. Можно себе представить и лучшее, более национальное правительство, чем иноземцы Люксембурги. Все остаются непоколебимо верны богом данной герцогине Маргарите. Может быть, уместно спросить о ее мнении и желаниях. Он полагает, что самый подходящий человек для этого — господин Альберт фон Андрион.

Все шумно согласились. Молчал только честный Берхтольд фон Гуфидан, терзаемый сомнениями. Юноша Альберт, сначала колебавшийся, но сильно охмелевший и польщенный уговорами остальных, в конце концов согласился довести до сведения сестры мнение этих господ и осведомиться о ее отношении.

Маргарита теперь полюбила бывать одна. Часто улыбалась тихой, сытой, непонятной для ее придворных дам улыбкой. На узком цоколе ее скудной любви фантазия воздвигла чудесную грезу — маленького, невоспитанного, скрытного мальчика, каким был в действительности ее супруг, она превратила в мощного тирана, который ее не понимал и из темных глубин своей властолюбивой души терзал ее. Молодого Кретиена она украсила всеми добродетелями тела и души. Он был и Эриком, и Парцифалем, и Тристаном, и Ланцелотом, и Рыцарем со львом. Все светлые подвиги, когда-либо совершенные героями в истории и в поэзии, — это он совершил их или мог совершить.

Счастье и милость, что небо обошлось с ней так строго и отказало в банальной прелести лица и тела. У женщин, женщин повседневности, окружавших ее, были мужья, возлюбленные, они удовлетворяли с ними глухое звериное сладострастие в душных спальнях или за кустами. Ее любовь чиста и возвышенна, грязное, земное ей с первой же минуты заказано, для нее закрыто. Ее любовь, светлая, иная, парила над мелкими, убогими, душными желаньями и отвратительным телесным блудом других. Сладостно быть такой строгой и чистой перед собой и людьми. Сладостно не участвовать в скотских, грязных сплетениях людской плоти.

Она стала болезненно чувствительна ко всему шумному, громоздкому, телесному, к грязи. Ей претило чужое прикосновение, запахи людей доставляли страдание.

Стоял март. Из Италии мягкими теплыми порывами дул ветер, будивший тоску в крови. Вершины гор стояли в снегу, по подножья склонов уже покрылись нежными хлопьями распускающихся миндальных и персиковых деревьев. Она смотрела из лоджии замка фон Шенна на холмистый яркоцветный пейзаж. Над ней шагали пестрые, слишком тонкие Ланцелот и Джипевра, ехал по морю Тристан, Дидона бросалась в пламя. Теперь Маргарита была подобна им. Стихи, так долго казавшиеся ей пустыми, лишенными смысла, словно раскрылись, и ей было дано вкусить от их темной, блаженной полноты.

Приветствую тебя, высокий строгий рок! Приветствую тебя, безобразие! Приветствую, княжеский венец и скипетр!

Почти благодарна была она своему суровому тирану — супругу, ибо через его суровость обрела любимого. Сладостный друг! Он постигал ее сущность. Он знал, что эта серая, дряблая, пористая кожа, этот ужасный рот, эти мертвые волосы — только внешняя оболочка, а что под ней она нежна и полна прелести.

Маргарита редко видела его, почти никогда с ним не говорила, никогда между ними не было произнесено таких слов, которые нельзя было бы сказать во всеуслышание.

Все же она ни на миг не сомневалась в том, что он ее любит. Маргарита не забыла его преданный горячий взгляд, когда она пела и затем вышла к нему из обвитой виноградом беседки, и его голос, и как он млеял перед ней, когда она сообщила, что дает ему в лен поместье Тауферс. Правда, это была иная любовь, чем та, пошлая, которую она видела вокруг себя, с поцелуями, слащавыми будничными словами и всякими ужимками. Через этот взгляд, через его томность он принадлежал ей, Маргарите, совсем иначе, гораздо полнее, чем обычно кавалер принадлежит своей даме, как бы он ни был влюблен. Пусть остальные телесно

владеют своими любовниками. Это дешево стоит и обычно, как еда и питье. Ей, герцогине, подобает иная любовь, более высокая и суровая. Вероятно, легко все вновь пробуждать и подогревать низменную любовь через внешнюю прелесть, через наслаждения звериной темной похоти. Ей же приходилось все вновь бороться со своей внешностью, все вновь отвоевывать любовь своего друга у его отвращения к ее безобразию.

Блаженна горечь такой борьбы! Она благодарила бога и деву Марию за столь сложную, суровую, поистине царственную любовь.

Она не уставала наделять образ Крэтиена все новым сиянием и блеском. Крэтиен не был честолюбцем. Она была честолюбива за него. Его блеск оттого не открывается другим, что она удерживает Крэтиена в Тироле, а здесь не представляется случая. Она, Маргарита, виновата в том, что в глазах света он остается ничтожным, не имеет случая возвыситься. Она его должница, ее долг представить ему этот случай.

Тем временем Крэтиен вступил во владение поместьем Тауферс. Теперь ему принадлежали деревни Луттах, Занд, Кематен, Невесталь, Рейнталь. Все это при дамах Флавон пришло в некоторый упадок. Он радовался возможности поднять благосостояние своих владений.

Ему доставляло огромную безудержную радость, после долгих лет при дворе, чувствовать, что он снова сам себе господин. Бессодержательно, пестро и несносно было время, проведенное у герцога Иоганна. Обязательные церемонии, постоянные щелчки по самолюбию, необходимость молчать в ответ на обиды, глубокие поклоны, коленопреклонения, сменяющиеся наглым зубоскальством исподтишка, гнусный торг на турнирах, блестящая и все же нищенская жизнь, вечный страх перед кредиторами. Он поднимал худое загорелое лицо с крупным носом и волнистыми длинными волосами, дышал этим воздухом, его воздухом. Он разъезжал по деревням, крестьяне благожелательно,

полные почтения, смотрели на своего стройного, ловкого, уверенного господина. Женщины и девушки таращились на него благоговейно, точно в церкви.

При тирольском дворе он дольше не выдержал бы. Он охотно и с легкой душой уехал бы на своем коне искать приключений. Теперь все вышло по-другому, и он чувствовал себя отлично. Жажда деятельности вполне удовлетворялась перспективой поднять хозяйство в своем имении. Конечно, он будет ездить и ко двору, участвовать в военных походах, появляться на турнирах. Но тащиться в Африку, воевать с маврами или рубиться с турками и сарацинами из-за гроба господня, — нет уж, спасибо! Пока он не чувствует к этому ни малейшей охоты. Мужественный и довольный, разъезжал он по своей земле и наслаждался своей молодой властью.

Однажды его посетила герцогиня. Он был глубоко и смиренно ей предан. У него и в мыслях не было смешивать свои мимолетные и очень реальные отношения к той или иной женщине со своими чувствами к ней. Маргарита была для него образом, в создании которого немалую роль играли представления, полученные им от певцов и шпильманов. Эти отношения были для него чем-то поэтическим и воздушным, правда, они принесли чрезвычайно удачный и осязаемый плод — дарованный ему Тауферский леп, — но в остальном с действительностью никак, даже отдаленнейшим образом, не соприкасались. Юноша и не подозревал, как он дорог Маргарите, какую роль играет в ее жизни.

Он принял герцогиню радостно, с преданной сердечностью. В его голосе было то многозначительное томное смущение, которое вызывало в ней трепет. Правда, его речи были банальны и трезвы. Он рассказывал ей об изменениях, которые задумал произвести в своих поместьях, о более рациональных методах земледелия, о том, чтобы не давать спуска крестьянам. Она вдруг прервала его и, указывая на глетчеры, одинокие, ясные и падменно-далекие, врезавшиеся зубцами в светло-синее небо, спросила:

— Вам никогда не хочется, Крэгген, очутиться на одном из этих глетчеров?

Крэтиен посмотрел на нее растеряннo и глуповатo. Он сказал, и теперь его голос звучал очень ясно, в нем уже не было никакой тайны:

— Нет, для чего же? — И заговорил опять о том, как хороши и плодородны подножья этих гор.

Через несколько дней явилась Агнесса фон Флавон. Она бывала уже не раз у Крэтиена в замке Тауферс. То и дело находились какие-то мелочи, о которых еще надо было договориться; Крэтиен тоже довольно искусно находил все новые вопросы, требовавшие разъяснений и личных переговоров. Агнесса была белокура, трогательна, беспомощна и всякий раз сызнова прощалась с замком и горами, окидывая их печальным взглядом.

Тем временем старшая сестра, Мария фон Флавон, вышла замуж за какого-то баварского рыцаря и предоставила замок Вельтурнс обеим младшим сестрам. Но баварцу надо было выплатить немалое приданое: на поместье Вельтурнс и так было много долгов. Агнесса, невинно глядя на Крэтиена большими голубыми глазами, попросила совета. Крэтиен приехал в Вельтурнс, увидел, с какой небрежной, элегантной расточительностью хозяйничают сестры, порекомендовал кое в чем сократить расходы; это было очень практично, но превращало барское поместье просто в доходную крестьянскую усадьбу. Агнесса завидовала сестре. Ей-то хорошо, она теперь выбралась из нищеты. Правда, баварец груб, неотесан, да и нелегко менять яркоцветный Тироль на тусклую баварскую равнину. Но в конце концов и сй самой, вероятно, ничего другого не останется. Ее лицо, нежное и смелое, с выразительными глазами, было повернуто к стройному загорелому Крэтиену, а он стоял перед ней глуповато и смущенно.

Заговор против Люксембургов созрел. Фолькмар фон Бургшталь, Тэген фон Вилландерс, Якоб фон Шепна, посеяв семена недовольства, неприметно отступили в тень. На переднем плане оказался теперь маленький пылкий Генрих фон Ротенбург и, наполовину против воли, веселый, добродушный Альберт фон Андрион, брат Маргариты. Сама Маргарита с лихорадочным и страстным рвением сплетала нити заговора. Наконец-то

она увидела возможность поставить Крэтиена туда, где ему надлежало быть, дать ему возможность совершать великие дела, выполнить по отношению к нему свой долг.

Бароны колебались посвятить Крэтиена в заговор и тем более предоставить ему ответственное место. Он был незнакомый, чужак, довереннейший паж герцога Иоганна. Маргарита вынуждена была сослаться на то, как низко желчный Иоганн всегда обращался с ним и как Крэтиену больше всех приходилось страдать от издевательских выходок ее супруга-тирана.

Сам Крэтиен был немало изумлен, когда Маргарита заговорила с ним об этом плане. Разумеется, он был настолько рыцарь, чтобы сейчас же принять участие в освобождении дамы из рук ее притеснителей — тем более что он столь глубоко ее чтил и был стольким ей обязан. Но особенного воодушевления он не выказал. Он был занят трудами по имению, лучше, если бы все это произошло попозже. Помимо обязательного, но в данный момент несколько обременительного исполнения рыцарского долга, он видел в этом одну выгоду, и то довольно скудную. Этим способом он мог упрочить свое положение среди местного дворянства: господин фон Гауферс-Лаферт, принявший участие в тирольском, чисто местном заговоре, едва ли мог по-прежнему считаться чужаком.

Маргарита, пылая нетерпением, мучила, подстрекала, подливала масла в огонь, высматривала и оценивала своими умными живыми глазами все благоприятные возможности. Сумела устроить так, что вместе с Альбертом фон Андрион и Генрихом фон Ротенбург во главе заговора оказался и Крэтиен.

Тем временем в замок Вельтурнс приехал некий Джулио из Падуи — невзрачный, неповоротливый, неразговорчивый, вечно улыбающийся господин, казавшийся полудиотом. Однако дядей его был капитан Падуи, а ему самому принадлежали богатейшие земли на побережье озера Комо. Агнессе он был по-собачьи предан, и Крэтиен вдруг испугался, что она решится последовать за ним в Ломбардию, как последовала за баварцем год назад ее сестра. Когда он думал об этом,

его замок Тауфферс, его деревни и долины казались ему вдруг потерявшими цену, померкшими.

Но с Агнессой, вероятно, нельзя вести себя как с другими женщинами. Ее нельзя просто взять. Она такая хрупкая. В объятиях она может умереть от страха. Бережно заговорил он с ней. Если ей неприятно жить в обремененном долгами Вельтурнсе, то не хочет ли она поселиться с ним в Тауфферсе.

О, как она умела прикидываться удивленной! Она приказала своим глазам затуманиться, губам застенчиво улыбнуться, сделала рукой движение, отстраняющее и в то же время смущенно зовущее, пролепетала отрывочные слова, в которых был и испуг и обещание.

Он красивый юноша, спору нет, не то что эти неотесанные тирольские бароны. Смелое, худое лицо с крупным носом, небольшой полный рот. Должно быть, приятно перебирать его волнистые длинные каштановые волосы. Да и Тауфферс — богатое поместье. Но в конце концов ее волосы, глаза, ее драгоценная хрупкость и прелесть стоят — гром и молния! — десяти таких имений. Когда она вспоминала, как итальянцы пожирали взглядом ее белокурую красоту, как бледнели при одном лишь взгляде на нее, то говорила себе, что могла бы пойти в Ломбардии и не такого еще рыцаря, побогаче. Царить на положении супруги какого-нибудь Висконти или какого-нибудь Скала в Милане, в Вероне, среди шумного восхищения этих блистательных городов, явилось бы триумфом гораздо более славным, чем состоять при тирольском дворе на ролях супруги господина Тауфферс-Лаферт.

Крэтиен видел, что она колеблется, медлит с ответом. Он почувствовал, что должен придать себе больше веса, значительности. И он посвятил ее в план заговора против Люксембургов.

Агнесса слушала с загадочной, глупой, странно довольной улыбкой. Она вдруг поняла, что гораздо большее торжество стать супругой Крэтиена, чем Мастино делла Скала или Висконти в Милане. Победа ли — вырвать этого человека из рук безобразной герцогини, мордастой, вислокожей? Да, да! Победа! Она вдруг поняла, что давно ждет этой победы, всеми способами

приманивает ее. Единый поток увлекает ее и Безобразную, они качаются на одних качелях. Правда, та уродина, но на ее безобразных волосах покоится герцогская корона, глаза на ее безобразном лице горят дьявольским умом и жгучей энергией. Победить ее, герцогиню, гораздо труднее, чем иную красавицу. Ненависть между Агнессой и той была чем-то очень живым, главным стимулом и в ее жизни и в жизни той. Как та боролась за любимого человека! Она ограбила ее, Агнессу, и ограбленное отдала ему, искусно нагромождая события, чтобы поставить его на их вершину и возвеличить. А вот ей, Агессе, которая была нищей, чье единственное достоинство — красота, оказалось достаточно поманить его пальцем, и он тотчас спрыгнул с высокого пьедестала, возведенного той с таким трудом, и упал к ее, Агессы, ногам. Она испила до дна блаженство этого сознания, она преполнилась им, она плавала в нем. Нет, она останется в Тироле, померится силами с герцогиней, которую несправедливо, отнимет у нее больше, чем этого человека. Как упорно взмыть на качелях в столь блаженную высоту и увидеть соперницу далеко внизу, уничтоженную.

Крэтисен вступил в опасную борьбу с Люксембургскими так, словно это был турнир. Он был счастлив, что заручился взаимностью Агессы. Ни на миг не пришло ему в голову, что, связавшись с ней, он оскорбит герцогиню. Маргарита — это одно, Агесса — другое, его отношения с той, его чувство к этой совсем разного порядка. Он спешил со свадьбой, так как события пазиревали. Агесса поддерживала его в этом; ей доставляла острое наслаждение мысль, что именно ее мужу Маргарита будет обязана своим освобождением.

Герцог Иоганн и маркграф Карл во главе большей части богемо-люксембургских войск собирались в конце недели покинуть страну на несколько месяцев, чтобы помочь отцу в польской войне. Агесса спросила Крэтисена, когда и как сообщат они герцогине об их жемпите. Крэтисен собирался было пригласить Маргариту на свадьбу. Под настойчивым, невинно-насмешливым взглядом темно-голубых глаз барышни фон Флавои он вдруг заколебался. Сначала решил известить Марга-

риту, ушедшую с головой в подготовку мятежа, после свадьбы, затем — подождать до последнего совещания с нею. Но когда они вместе обсуждали последние детали заговора, ему показалось, что следует сообщить ей о своей женитьбе лишь после того, как люксембургские управители, сборщики податей и войска будут изгнаны и она окажется единственной госпожой своей страны. Впрочем, когда он прощался с нею, чтобы снова увидеться уже после благополучно завершившегося государственного переворота, в его голосе была та же томная многозначительность, которая давала ей столько счастья в высшие минуты ее привязанности.

Вскоре после ухода Крэтиена перед Маргаритой предстал в полном вооружении герцог Иоганн, чтобы, «свою очередь, проститься с герцогиней. Маркграф Карл выступил уже раньше с основной массой люксембургской гвардии. Холодно, презрительно слушала Маргарита язвительные речи Иоганна. В заключение он сказал со злобой:

— Воображаю, что здесь начнется, когда вы будете править без меня. На примере Тауферса видно, каковы результаты, когда действуют вразрез с моими распоряжениями.

— Тауферса? — не удержалась она от вопроса.

— Ну да, Агнесса хоть так, да вернула себе замок. Можно было ей просто оставить его. — Маргарита дальше не спрашивала. Она вдруг все поняла. Пока герцог был здесь, она держала себя в руках. Она не упала в обморок, голос не изменил ей, ее взгляд спокойно и насмешливо выдержал взгляд его маленьких, злых, подстергающих глаз.

Когда она осталась одна, взрыв ее гнева был ужасен. Кто еще бывал так обманут, как она! Томным голосом говорил он с ней, выразительным, бесконечно преданным взглядом смотрел на нее, каждым жестом выказывал глубокое понимание. Он внушил ей уверенность, что сквозь безобразную оболочку прозревает строгую, суровую красоту ее внутреннего мира. Притворялся, что вместе с пей отрывается ее отречением, вместе с ней

одерживает мучительные победы, вместе с ней уходит из уютных долин будничных радостей на холодные, одинокие, иступленно-строгие высоты. И тут же предал ее ради красивой пустой личины. Кто знает, может быть, они сейчас вместе смеются над ней?

Хитро он все подстроил, ничего не скажешь! Заставил дьявольски дорого заплатить себе за комедиантство, за восторженные гримасы, за притворную преданность. Такой ценой, как поместье Тауферс, можно было купить шутов, певцов, скоморохов, шпильманов всего государства. А теперь он еще милостиво разрешил ей поставить его во главе заговора против Люксембургов. Вероятно, падеялся, что станет бургграфом, ландсгауптманом, фактическим регентом Тироля. И потому до сих пор скрывал от нее свой брак с Агнессой. Удался бы переворот, и власть бы очутилась в его руках. Тогда бы ему уже незачем было страшиться ее гнева. Мог бы хозяйничать в стране как избавитель от иноземцев, даже против ее воли.

Как он и та женщина, вероятно, издевались над ней, глупой, безобразной герцогиней, над душой, поверившей, что подарками да утонченными переживаниями можно заставить забыть о своем безобразии! Как будто для женщины самая лучезарная душа может значить больше, чем выпяченный рот и отвислые щеки. Она неистовствовала. Она кипела яростью на самое себя. В один миг рухнуло столь искусно возведенное здание мечты, в котором она спасалась. О, как лживы были все эти фантазии относительно ее суровой высокой миссии, эти благословения, какими она награждала свое безобразие! Смешна была она, просто смешна, разряженная в модные платья и выпревшие чувства, она, которую бог отверг, наделив ее отталкивающей наружностью, и над которой вдвойне насмеялся, дав ей при этом столь высокий сан.

И она еще смотрела сверху вниз со своей кристально чистой высоты на Агнессу, на эту маленькую, яркую, глупую бабочку! А теперь сама лежала в дерме, где ей и место, отвратительное насекомое, а Агнесса улыбалась с голубой высоты узкими, алыми, ах, столь изящно изогнутыми губами.

Ненавидит она Агнессу? Нет, ненависти она к ней не чувствует. Ведь иной та и быть не может. Хорошо красоте улыбаться — почему бы и нет, — высокомерно взирая на безобразие. Но он, Крэтиен! Какая ложь! Как он смотрел на нее, обратив к ней смелое, смуглое, открытое лицо, с молитвенной собачьей преданностью в глазах! Как трепетал его голос теплом и волнением! И как мог человек с таким открытым, честным лицом так лгать! И господь допустил это, и земля не разверзлась! Пес! Обманщик! Гнусный лжец!

В своей ярости она выкрикивала все проклятья, все ругательства, самые непотребные, какие знала, бессмысленные, случайно услышанные, громоздила их друг на друга. Долго бушевала Маргарита, пока без сил не упала на ковер. И вот лежала, раскинув неуклюжие набеленные руки, неспособная шевельнуться, охрипшая, среди рассыпавшихся прядями жестких медных волос.

Когда она наконец поднялась, она была другая. Принялась за дела, словно замороженная, с холодной неукротимой энергией, ясно сознавая, чего она хочет. Диктовала, сама писала письма, слала курьеров. Писала еще, еще подписывала, еще слала курьеров. Так продолжалось два дня. Потом она погрузилась в бездействие, столь же глубокое, сколь перед тем была напряженна ее деятельность. Никого не принимала. Волоча ноги, бродила по своим покоям. Часами смотрела в окно, и ее губы приоткрывались странно-похотливой, грозной улыбкой. Ждала. Не ела. Не говорила. Ждала.

Не успели маркграф Карл и герцог Йоганн доехать до границы, как их нагнал нарочный с письмом от епископа Николая Триентского, который был слепо предан Люксембургам. Епископ извещал, что получил из самых различных мест анонимные предостережения. В стране беспокойно. По слухам, во главе заговора стоят Крэтиен фон Тауферс, Генрих фон Ротенбург, Альберт фон Андрион. Он настойчиво советует герцогу и его брату немедленно идти с войсками обратно.

Люксембурги вернулись ускоренным маршем. Поймали Альберта фон Андрион и Крэтиена фон Тауферс в потаенном месте, где те скрывались. Восстание по-

терпело неудачу, еще не успев начаться. Мятёжные бароны уползли обратно в свои замки; никто из них будто бы ничего не знал и не ведал о недовольстве правлением Люксембургов, а тем более о предполагавшемся вооруженном восстании. Подлинные зачинщики — Бургшталь, Вилландерс, Шенна — вели себя с самого начала достаточно разумно и остались в тени. Точно весенний снег исчезли бунтовщики перед люксембургскими войсками. Генриху фон Ротенбург удалось было скрыться, но добрые друзья, стараясь обелить себя, его выдали.

После того как восстание было подавлено так скоро и легко, маркиграф Карл решил, что ему незачем дольше задерживаться в Тироле. Он порекомендовал своему брату и епископу Триентскому рядовых участников не преследовать, но зато беспощадно покарать вожаков. Оставил усиленную охрану в замке Тироля и в важнейших крепостях, с остатком войск двинулся на помощь отцу в Польшу.

В замке Зонненбург под Инсбруком сидел епископ Николай Триентский, угрюмо, сосредоточенно слушал протокол, который читал секретарь герцога Иоганна. Сам Иоганн стоял опершись о стол, смотрел со злой, торжествующей полуулыбкой на сидевшего перед ним наупленного прелата.

Да, теперь ясно, что епископ был прав. Он считал это политически неправильным, а если ничего не выйдет, так и просто вредным. Но он, Иоганн, настоял, смело пренебрег всеми этими соображениями. Ну и пусть это брат герцогини! Ну и пусть в нем кровь законно правящей династии! Он государственный изменник, бунтовщик, нарушивший присягу! И он приказал пытать Альберта фон Андрион.

Ему этот белокурый красивый весельчак всегда был противен. Ах, значит, и тот всегда ненавидел герцога, вместе с Маргаритой строил козни против него. Только раньше он оставался неуловим. Теперь можно, благодарение богу, его изобличить, обезвредить.

Герцог сам присутствовал при допросе с пристрастием. Первые пытки Альберт перенес, упорствуя, молча. Привязав к его ногам свинцовые гири, они под-

тягивали его за связанные на спине руки. Вверх, вниз, опять вверх. Его бело-розовая кожа покраснела, покрылась испариной. Но он молчал. Вынес он также и завинчивание в тиски больших пальцев. Он заскрипел зубами, брызнула кровь, он изверг рвоту. Но своих тайн он не изверг. Только когда его тело стали щипать раскаленными щипцами и щекотать под мышками горящими головнями, он наконец соблаговолит стать разговорчивее.

И вот показания. Хорошие, ценные показания. Правда, епископ считал, что Ротенбург отъявленный болван, а Кретиен и Альберт — просто глупые мальчишки, за всем этим должны крыться более умные головы, но до них пока, несмотря на показания, добраться не удалось. Во всяком случае, теперь значитесь черным по белому: бунтовщики поставили Маргариту в известность о своих планах, герцогиня — участница заговора.

Нахмуренный епископ язвительно спросил, разве Иоганн когда-нибудь в этом сомневался. Тот ответил: нет, но он рад, что теперь есть доказательства — он этим протоколом отхлещет Маргариту по роже. Епископ спросил, уверен ли он, что таким способом род Люксембургов укрепит свою власть?

Перед отъездом в замок Тироль Иоганн вынес приговор главарям восстания. Альберт, изувеченный пыткой, угасающий, был лишен своих ленов; после того как вильтенские монахи его немного подлечат, он будет отправлен в пожизненное заключение в Богемию. Приземистого Генриха фон Ротенбург Иоганн велел привести к себе в лохмотьях, стал таскать его, связанного, с кандалом во рту, за бороду, бил по щекам, заявил задышающемуся, выкатившему глаза барону, что и два других его замка будут разрушены, сожжены, сровнены с землей. Самого Ротенбурга доставили в Люксембург, в темницу. Кретиена он увез с собой в замок Тироль.

Герцог нашел Маргариту вовсе не в таком отчаянии и унынии, как он ожидал. Охваченная странной, смертельной усталостью, притаилась она в углу. Иоганну казалось, словно это змея, которая нажралась, и вот недвижима, и не ведаешь больше ни надежды, ни страха в своей оцепеневшей апатичной сытости. Бегая взад и

вперед, он бряцал оружием перед нею, по-мальчишески важничая в своих доспехах, выкрикивал угрозы, непристойную брань. Пусть не воображает, что ей удастся бежать, все выходы охраняются тройным караулом — рвы, ворота, стены. Она не выйдет из своей комнаты многие месяцы: он еще подумает, кому может быть разрешен доступ к ней. Однако все его громкие слова не возымели должного действия. Маргарита слушала с ленивым, тупым любопытством, никак ее не заденешь за живое; бить ее, плевать на нее, как он сначала рисовал себе, — и это не приведет ни к чему. Он сверкал на нее маленькими волчьими глазками. Но замечал, что вся его ярость и крики кажутся ненатуральными, не достигают цели. Обманутый в своих надеждах, он в конце концов удалился.

Она долго лежала одна. Какой опустошенной чувствовала она себя, словно все из нее вынули. Был пасмурный, сырой день. Ее знобило. Хотела приказать, чтобы затопили. Позвонила. Никто не явился. Она добралась до двери. Двое вооруженных людей выступили ей навстречу, молча выставили копыя.

Надвигались блеклые сумерки. В комнату проскользнул человек, поставил на стол большую горящую свечу, странно беззвучно положил рядом со свечой что-то завернутое и свиток и так же безмолвно исчез.

Маргариту зазнобило сильнее, сощурясь, смотрела она на миганье свечи. С трудом дотацилась до нее, попыталась отогреть застывшие руки у маленького огонька. Свиток содержал несколько глав из священного писания. От завернутого предмета исходил приторный запах тления. Странно привлеченная к нему, почти против воли потянула она уголок прикрывавшего его платка. Платок съехал. Нити, каштановые нити. Нет, это человеческие волосы. Длинные, каштановые. Под ними лоб. Отрубленная голова. В ужасе отпрянула она. Голова Кретиена уставилась на нее остекленевшими глазами. Голова лежала перед нею, крупный нос торчал из-под платка, рот и подбородок были еще прикрыты.

Горло у нее пересохло. Порывисто дыша, вся в холодной испарине, забилась она в угол, захрипела. Вперилась в эту голову, которую мигание свечи искажало

трепетно, прихотливо, уродливо. Закрывает глаза. Красноватая, плясала перед нею ночь.

Что-то принудило ее снова впериться в голову. Хорошо, если бы умерла эта свеча и ее сумасшедшее трепетанье. Надо потушить. Но у нее не хватило сил. Разве она боится? Нет, она не боится. Ведь она герцогиня. А что, если за ней следят в дверную щель? Она встает: держа голову прямо и неподвижно, вся одеревенев, словно на ходулях идет к столу, опрокидывает свечу. Падает на пол.

Долго лежит неподвижно. Ощущает почти с радостью только холод, больше ничего. Затем почь вновь начинает плясать и дергаться. И отрубленная голова тоже дергается. Становится бесконечно длинной и узкой. Худые щеки поблескивают ядовитыми желтоватыми синими отсветами, и каждый из грязных черноватых волосков на подбородке хочет уколоть ее. Мертвые глаза во мраке открываются и закрываются. Они совсем лишены выражения, словно у мертвого животного. О, если бы настал день! Лучше было не убивать свечи. Ночь лежит на Маргарите словно тяжелое, душное одеяло. В этой ночи лежишь точно в гробу, а мертвый Кретиен открывает и закрывает безжизненные глаза.

Он безобразен. Самое безобразное, но живое не так безобразно, как мертвое.

Нет, то, что он хотел обмануть ее, не пошло ему впрок. Красивая теперь тоже не много от него получит. Мужем без головы не похвастаешься.

В своей гибели он увлек и других. Бедный Альберт! Милый, добродушный, ласковый брат. Он был такой безобидный, такой хороший товарищ. Наверно, он и участвовал, только чтобы не нарушать компании. Теперь он нищ и наг, искалечен и в темнице. Резвый, веселый юноша.

Но Кретиен был все-таки иной. Смелое, худое, смуглое лицо. Она больше не будет бояться мертвой головы. Она долго, пристально станет рассматривать ее, и Кретиен будет принадлежать ей, не красавице. День, когда же наступит день, чтобы она могла видеть мертвого друга! В своих глупых стихах господин фон Шенна постоянно воспевае волшебство ночи, ведь ночь принад-

лежит любви, и прокликает день,— пусть никогда не приходит. Взор. Ее время — это день. Вставай, день! Подари мне мертвого друга, который мне принадлежит, день!

Все же, когда в комнату заполз день и вокруг мертвой головы забрезжил первый серый свет, она лежала, трясясь от озноба, с закрытыми глазами, в бреду.

После двух месяцев строгого надзора ей разрешили поехать на несколько дней в монастырь Фрауенхимзе к больной сестре Адельгейде. Калека была так же нелюдима и замкнута, как всегда.

Все силы Маргариты, казалось, истощились. Она сла, пила, ходила. Как и монахини, преклоняла колена в монастырской церкви, здоровалась в ответ на поклоны, говорила в ответ на обращенные к ней слова. Она была молода и стара, как мир. Она была гораздо старше и многоопытнее увядшей кроткой аббатисы, знала гораздо тверже, что все — суета сует и томление духа.

Приехал провести ее и ласковый аббат Виктрингский. Он никогда особенно не был сторонником Люксембургов, короля Иоганна считал вольнодумцем и безбожником — оттого-то бог и покарал его слепотой,— и он был рад, что Маргарита против них восстала. По своему обыкновению, он говорил много, сыпал цитатами; но она продолжала быть молчаливой.

Долгие часы просиживала она с аббатисой на берегу крошечного островка, смотрела в даль белесого светлого озера. Вода лениво хлюпала в камышах, светило тихое, блеклое солнце, далеко-далеко лежал рыбак в псуклюжей старинной лодке. Аббатиса внимательно смотрела на Маргариту, гладила ее толстые, теперь уже не набеленные руки.

— Молодая герцогиня! — сказала она однажды увядшим, кротким, умудренным голосом.— Молодая герцогиня!

— Молодая? — спросила Маргарита так устало, что в ответе не прозвучало даже горечи.— Молодая? Вы в десять раз моложе меня, предостойная госпожа.

Аббатиса сказала:

— Дерево ведь не умирает, даже когда стоит зимой без листьев.— И сказала еще:— Нет ничего мучительнее, но и ничего блаженнее, чем после оцепенения возвратиться к жизни.— И она сказала также:— Вы бы спели с монахинями, молодая герцогиня.

Когда Маргарита возвращалась в замок Тироля, Людвиг Баварский послал отряд пышной императорской охраны проводить ее до границ ее страны. Во главе великолепного поезда ехали знатнейшие придворные, впереди них развевалось знамя с виттельсбахским львом. Бароны и представители власти торжественно выстраивались по пути ее следования.

Герцогиня машинально благодарила их, без обычной величественной уверенности. Поникшая, равнодушная, она была слишком утомлена, чтобы задуматься над тем, чем вызваны со стороны императора такие почести.

Да, у Виттельсбаха были, конечно, для этого основания. Ему только что в пренебрежительной форме напомнили о том, как неудобно для него господство Люксембургов в Тироле. Его план покончить с ломбардскими недоразумениями путем военного похода был расстроен епископом Триентским, который хладнокровно и напрямик запретил его войскам проход через свои владения. Это недовольство императора было ловко использовано тирольскими баронами. Все эти Бургштали, Виллапдерсы, Шенна, которые во время первого заговора против Люксембургов ловко оставались в тени, отнюдь не отказались от своих намерений. Неудавшийся переворот научил их тому, что необходимо заручиться поддержкой какой-нибудь сильной державы. Чего же естественнее, как не обратиться к врагу Люксембургов, к Виттельсбаху? При подготовке предыдущего переворота участие Маргариты отнюдь не содействовало успеху. Было не вполне ясно, какова конкретная причина, из-за которой сорвалось восстание. Но достоверно одно: странный каприз, заставивший герцогиню поставить во главе Кретиена де Лаферт, спутал и порвал столь хитро сплетенные нити. Во всяком случае, благоразумнее на этот раз действовать через голову Маргариты и привлечь ее только в последнюю минуту. Отделаться от герцога Иоганна при всех условиях будет для нее избавлением.

Итак, в строжайшей тайне императору было послано письмо. В нем бароны рассказывали о том, что озлобление против Люксембургов растет и что все крайне сожалеют о несостоявшемся итальянском походе императора, который сорвался из-за упрямого сопротивления епископа Триентского. Императора запрашивали, пока условно, не согласится ли он женить своего сына, маркграфа Бранденбургского, на герцогине Тирольской. Жадный до земель Виттельсбах, прельщенный перспективой приобрести Тироль, ответил тоже условно, что обсудит это со своим сыном, маркграфом: пока Люксембурги сидят в стране, все эти планы — пустая мечта.

Этот ответ вполне удовлетворил тирольских баронов. Они понимали, что осторожный Виттельсбах не мог сказать большего. Хотя его ответ и был замаскирован, но, по сути дела, содержал явственное «да». Пышный конвой, предоставленный теперь герцогине, уже сам по себе являлся достаточным ответом. Разрушение Ротенбурговых замков, пытка, которой подвергли Альберта, сына доброго короля Генриха, казнь Кретиена фон Тауферс — все это лишило Люксембургов последних симпатий.

Бароны продолжали подливать масла в огонь, подстрекать, все еще ничего не сообщая Маргарите.

Агнесса фон Флавон окаменела, узнав о провале восстания. Она сейчас же поняла связь между событиями. Так, значит, вот каким разящим, грозным ударом ответила на удар Безобразная. Агнесса, оцепенев от ужаса, в зверином страхе за свою жизнь, затаилась в себе, обдумывала побег.

Когда она увидела, что против нее лично ничего не предпринимается, она постепенно очнулась от испуга, стала поглядывать по сторонам. Увидев, какие строгие меры приняты против Маргариты, смутилась. Неужели та была настолько неловка, что в конце концов все обратилось против нее же? Не может быть. Для этого она слишком умна. Вероятно, так случилось по ее воле. Агнесса перестала понимать врага. Ее ненависть росла вместе со страхом. Та наверняка замышляет еще более

жестокий удар, чтобы насладиться полным уничтожением Агнессы.

Однако ничего не произошло. Никто ею не интересовался. Понятно, что ее, жены позорно казненного, все сторонятся. Почему же не конфискуют ее владения? Она не могла вынести этой тишины и равнодушия вокруг. А тут еще страх, что все это — только подготовка к ее полной гибели. Она решила поехать в замок Тироль.

На городских воротах Мерапа она увидела посаженную на кол голову своего мужа, Кретиена фон Тауферс. Он уставился на нее, желто-синий. Теплый ветерок беззаботно трепал длинные свалывшиеся пряди его волнистых каштановых волос, на лице сидели мухи. Она отпрянула. Потом ее запряженные лошадьми носилки, закачавшись, проплыли под головой казненного в город Меран. Что это, дурное предзнаменование? Ей некогда было предаваться сентиментальности. Она должна была подготовиться к встрече с герцогом Иоганном. Нелегкая задача на этот раз. Однажды она ведь уже лежала у его ног в траурном платье. Повторения приедаются. Да и обстоятельства сейчас против нее.

Иоганн действительно принял ее насмешливо, раздраженно. Ядовито спросил, нет ли при ней оружия. Ему теперь не мешает быть осторожным. Большими, печальными, полными упрека глазами смотрела она на него. Горько заплакала оттого, что великодушный молодой герцог, который столь милостиво обошелся с ней, теперь имеет основания сомневаться в ней. Заверила его, что и не подозревала о коварных планах мужа, о его государственной измене. Хорошо, что он умер; ибо тот, кто может так подло предать своего государя, не задумается предать и свою жену. С невинным коварством призналась, что никогда Кретиена не любила, а вышла за него, только чтобы сохранить Тауферс и остаться вблизи от герцога. Иоганн слушал с недоверием, польщенный. Она подошла к нему, чтобы он услышал аромат ее плоти. Он прорычал, что не верит ни одному ее слову. Но он не сражается с женщинами, она может пока оставить себе Тауферс. Затем презрительно грубо и похотливо похлопал ее, терпеливо и выжидающе склоненную, по шее, бесцеремонно отвернулся,

бросил ей, что на днях придет в Тауферс посмотреть, не затевают ли они там слова бунт; но придет один,— он ведь не боится. При этом он громко и недвусмысленно расхохотался, неучтиво покинул ее, ускакал на охоту.

Тем временем заговор дворян созрел. Предполагалось в отсутствие Иоганна занять замок Тироля. Скрывать все это дольше от Маргариты было уже нельзя. Следовало также получить ее согласие на брак с Виттельсбахом. Господин фон Шенна взялся переговорить с герцогиней.

Он сидел перед ней, худощавый, небрежный, сутулясь, говорил вялым, ломким голосом обо всяких пустяках. Скользил по ней взглядом старых умных глаз. Он был единственный, кто догадывался о скрытом смысле происшедшего. Проронил осторожно, как бы мимоходом, что пусть она не пугается, если в ближайшие дни замок будет занят новым гарнизоном, усиленным. Если даже она услышит крики, шум, звон оружия, пусть только не выходит из своей комнаты. Ей лично ничто не угрожает. Он замолчал, выжидая. Она словно не слышала. Тогда он снова заговорил, стараясь выведать, неужели она так и не спросит, что все это значит. Нет, она не спросила.

Он переменил тему. Заговорил об Агнессе. От каждого несчастья ее внешность только выигрывает. Вот и сейчас, когда она опять явилась в замок, каждый мог убедиться, что черное ей больше всего к лицу. Маргарита насторожилась, умный Шенна понял: вот сейчас ее безразличие уже только маска. Он перешел на другое, затем опять вернулся к тому же. Да, теперь Агнесса, верно, надолго придет сюда гостить; в этом отношении герцог Иоганн похож на доброго короля Генриха. Маргарита стремительно выпрямилась. Ведь до сих пор Шенна всегда вел себя как друг. Это правда? Она — в роли пленницы, а та в роли госпожи? Здесь, дышать одним воздухом с ней, в тех же стенах... Это невозможно. Пусть, ради Христа, скажет ей всю правду.

Шенна ответил просто: да, Иоганн пригласил Агнессу фон Флакон; и поскольку он, Шенна, эту даму знает,

она, вероятно, примет приглашение. Так как Маргарита закрыла глаза и ее лицо искажилось, он стал утешать ее: ведь не все средства исчерпаны, и тут же рассказал об их планах. Она покачала головой, не захотела слушать.

Спешно вызвала к себе герцога Иоганна. Это правда? Он действительно собирается это сделать? Она вся пылала. Он позволит себе устроить в ее замке непотребный дом? Он: да, собирается. Да, позволит себе. Он видел, что наконец нашел способ ранить ее, уколоть, нарушить ее оцепенение, извести, измучить. Оглядел ее маленькими, горящими ненавистью, волчьими глазками, заорал на нее. Каково нахальство! Уже не собирается ли она запретить ему эту женщину? Опа! С таким рылом! Маргарита судорожно глотнула, но ответила спокойно. Она просит его подумать, что будут говорить в народе, что скажут при других дворах, если он здесь, в замке ее отца, который она ему принесла в приданое, будет держать ее как пленницу, а ту — как госпожу. Она хочет лишь напомнить ему, что ведь именно муж его любовницы возглавил заговор, та была с ним заодно, может быть, даже находилась в числе зачинщиков: не могла же она так скоро забыть позорную смерть своего мужа! Пусть он остерегается! Иоганн злобно засмеялся: нечего лезть к нему с такими штучками. Она просто ревнивая дура. Хвастливо прибавил:

— А что, если именно Агнесса предостерегла его, разрушила ее интриги?

— Да ведь это же я... предостерегла тебя! — крикнула она. — Я! Я!

На миг ему стало жутко: он увидел ее снова такой, как тогда, когда она лежала перед ним, словно сытая змея, почувствовал, что унижен, уличен в хвастовстве. Но самоуверенность сейчас же вернулась к нему. Нет, ясно, что это хитрое и наглое вранье, которым она хочет смутить его.

— Лови в такие западни своих тирольских мужиков, не меня! — сказал он с напускной презрительной сухостью. И продолжал, взвинчивая себя: — Ага, наконец-то зацепило! Задело за живое? Красавицу вон из дому? Как нож острый, что она здесь? Ну, так тем вернее она приедет! Тем скорее останется! Кататься вер-

хом поеду с ней! На охоту поеду с ней. В Мерап, Боден, Триент поеду с ней! Я тебя проучу, жаба! Урод! Гадина! Гнусная тварь!

Он ушел, она осталась сидеть в оцепенелой решимости. Так просто и честно говорила она с ним, еще раз широко распахнула дверь, которая вела к ней. Не будь он глух и мерзок, он должен был бы услышать. Он выбрал сам.

На другой день снова явился фон Шенна. Дал ей на подпись короткое письмо к императору, под защиту которого она отдавалась, одобряя решение своих баронов. Не колеблясь, она подписала. Шенна сообщил ей кратко, деловито, что завтра, в то время как Иоганн уедет на охоту, замок займут войска баронов, и Иоганна обратно не впустят. Когда он, вернувшись, потребует, чтобы открыли ворота, она сама может ему это сообщить. Будет сделано все, чтобы избежать беззакония, его пальцем не тронут. Но никто во всем графстве не даст ему убежища. Если Иоганн после этого покинет страну, закончил Шенна, улыбаясь, никто ему в том препятствовать не будет. Впрочем, добавил он ласково и преданно, на этот раз заранее приняты все меры. Даже если его предупредят, неудача исключена. Он взял подписанное письмо, поклонился и вышел своей неуклюжей, неровной походкой, волоча ноги.

На другой день, в пятницу, Иоганн с небольшой свитой уехал на охоту. Погода — было начало ноября — стояла с утра ясная и солнечная, но вскоре упал туман и подул сырой, резкий ветер. Герцог был в скверном расположении духа, сказанное Маргаритой об Агнессе было ведь не так легко переварить. А тут еще его любимец, красивый серо-белый норвежский сокол, спугнутый какой-то более крупной хищной птицей, улетел. Герцог пререкался с сокольнымчим, визжал, шумел.

Итак, он рано прекратил охоту, вернулся к вечеру домой. Подъемный мост оказался поднятым, ворота на запоре. Иоганн затрубил в рог. Вышел караульный, сказал, что не получил приказа впускать рыцаря. Герцог побагровел, облаял, изругал караульного непотреб-

ными словами. Между зубцами одной из башен вдруг появилась Маргарита, крикнула своим звучным глубоким голосом, пусть принц фон Люксембург перестанет орать, здесь для него нет места, пусть поищет себе другое пристанище. Хотя бы в Тауферсе. Иоганн нацелился. Она исчезла раньше, чем долетела стрела.

И вот он стоял в охотничьем платье перед закрытыми воротами, взбешенный и смешной. Приближенные перешептывались. Дул холодный ветер, полил дождь. Подошли несколько его богемцев из замка, они рассказали, испуганные, подавленные, что несметное число отлично вооруженных тирольцев заняло замок, вышвырнуло их вон.

Герцог, осыпая богемцев непристойной бранью за трусость, еще постоял немного перед поднятым мостом. Из замка доносились раскаты хохота, насмешливые стишки:

Кто стучит у ворот? Кто под ветром дрожит?
Попрошайка бродячий? Слуга? Или жид?
Нет, смотри-ка, властитель Тирольский!

С проклятиями отправился наконец Иоганн в Ценоберг. То же самое. В Грейфенштейн. То же самое. Время близилось к полуночи. Он был смертельно утомлен, разбит, охрип от крика и ругани. Дрожащий, жалкий, был вынужден ночевать под открытым небом.

Забрезжил тусклый рассвет. Герцог сел на коня, грязный, невыспавшийся, все тело ломило, в желудке было пусто. При нем осталось только шестеро его людей, остальные потихоньку разбежались.

Дождь лил не переставая. Приближенные сказали ему, что народ вполне одобряет случившееся, смеется, ликует, празднует, потешается. А те стихи жужжали у него в ушах, точно докучливые насекомые:

Попрошайка бродячий? Слуга? Или жид?
Нет, смотри-ка, властитель Тирольский!

Окольными тропами пробрался он в замки некоторых дворян, которые были ему особенно многим обязаны: оказалось — хозяев нет дома, кастеляны не получили распоряжения, ворота на запоре. При нем осталось только четверо его людей.

Бесцельно скитался он по виноградникам, по лесам. Дождь, дождь. Ему казалось, что его преследуют, окружили. В бою он не ведал страха; теперь же что-то мерзкое подползало к сердцу. Не желает он, чтобы его затравил и прикончил, как бешеную собаку, крестьянин или вонючий горожанин. Он подался выше, в горы. Наконец доехал до уединенного замка Тэгена фон Вилландерс. Хитрый, осторожный барон, который хотел, по возможности, не рвать и с Люксембургами, принял его. Однако он решился приютить Иоганна только на очень короткий срок и в большой тайне. Иоганн прожил эти несколько дней под именем некоего рыцаря Эккхарда, никому не показываясь. Но и здесь обрывки тех стишков звенели у него в ушах: «...Слуга? Или жид? Нет, смотри-ка, властитель Тирольский!»

Он удалился ночью, колени подкашивались от усталости, только двое слуг сопровождали его. Он все еще был в охотничьем платье. Грязный, потный, вонючий, на измученном, загнутом коне, который был уже не в силах нести его по болотистым глухим тропам, тайком, скитался герцог по своей стране. Хоть бы проклятый дождь перестал! Он продал имевшиеся при нем ценности. Оружие, рог, наконец коня!

В лихорадке, обессилов, уже совсем один, добрался он наконец до владений патриарха Аквилейского. Явился во Фриуль во дворец патриарха. Слуги заготовили, заржали, когда этот обовшивевший, оборванный человек стал уверять, что он герцог Каринтский, граф Тирольский, внук римского императора. Патриарх, враг тирольских феодалов, обласканный Люксембургами, почтительно принял его, заключил в объятия. Лишь постепенно, спустя немало дней стал приходить в себя измученный, расстроенный государь. Скрежеща зубами, принялся строить коварные планы, источал яд, метал проклятья и угрозы стране, из которой его выгнала жена.

Книга вторая

В Мюнхене император Людвиг беседовал со своим сыном, маркграфом Бранденбургским: он обнял его за плечи, ходил с ним по комнате. Ласково убеждал его, хмурого, недовольного. Бранденбуржец, несмотря на то что ему было всего двадцать пять лет, имел очень мужественный вид. Белокурые усики, суровые, голубовато-серые колющие глаза, загорелое худое лицо, могучая шея Виттельсбахов: рослый, жилистый. Хотя грузный массивный император был все же гораздо выше его. Сквозь цветные стекла струился блеклый свет снежного дня. Когда они ходили вот так по комнате и император обнимал плечи сына, чудилось, будто он тащит его куда-то, нерешительного, упирающегося.

Нет, нет! Он не может, и конец. Он просто не в силах принудить себя жениться на герцогине Маргарите. В течение пяти лет он был женат на Елизавете, принцессе датской. Очень скромное создание, щупловата, да. Она умерла, упокой господи ее душу. Теперь бы ему два-три года пожить без жены. Заниматься в Бранденбурге государственными делами, улучшить обработку полей, жизнь городов, одолеть вендов. Но жениться на Маргарите Тирольской, которая столь странным способом выгнала своего мужа? На этой экстравагантной особе? Нет уж, спасибо! Он всегда готов услужить своему отцу-императору. Но жениться на Маргарите — нет!

Император устремил на сына огромные, неподвижные голубые глаза. Упорство сына не удивило его, не встревожило. Жениться на этой тирольке мало радости. На месте сына он бы тоже противился. Но он знал, что его Людвиг послушный сын, разумный государь, понимающий, что брак — одно из самых действенных орудий политики. Подобного случая второй раз не дождешься. Получат Виттельсбахи Тироль, и круг их владений сомкнется. Они будут владыками от Северного моря до Адрии. Он отлично понимал, что Людвигу хотелось пожить несколько лет вдовцом, вздохнуть. Но на то он и князь и Виттельсбах. Такого удовольствия он не может себе позволить.

Маркграф, насупленный, продолжал досадливо приводить все новые доводы. Помимо того что при мысли об этой Маргарите и обо всем, что ее окружает, его с души воротит, папа наверняка не согласится расторгнуть брак Тирольки и Люксембуржца. Весь христианский мир поднимет крик, если он женится на чужой жене.

Император невозмутимо ответил, что ему всю жизнь пришлось нести бремя отлучения и интердикта: надо с этим примириться и сыну. К сожалению, Виттельсбахам легко ничего не дается.

Маркграф в самом раздраженном состоянии духа выскользнул из-под руки отца, прислонился к столу, машинально стал поглаживать маленькие усики. Елизавета Датская была, конечно, не Елена Прекрасная, государь не может искать красивой внешности, это он знает. «Но Маргарита! Эта ужасная фигура!» — «Каринтия!» — сказал император. «Эти выпяченные губы!» — «Тироль!» — сказал император. «Эти отвислые щеки! Косые, торчащие зубы». — «Триент! Бриксен!» — сказал император.

Тем временем тирольские бароны, которым было поручено вести переговоры, проезжали через Мюнхен. Пышное посольство, во главе — первые аристократы страны: Бургшталь, Вилландерс, Шенна, Эккхард фон Тростберг. Они не спешили, уверенные в успехе, осматривали благодушно, одобрительно светлый, живописный город, при Людвиге столь быстро разросшийся, новую уютную резиденцию, которую он себе строил.

Эти Виттельсбахи распорядительные, основательные люди. Нужно только всеми способами себя обеспечить, чтобы они не надули. Так тирольцы и сделали. Заставили Виттельсбахов подтвердить все их права, грамоты, привилегии. Хватали, рвали, тянули к себе. Выторговали себе право veto и контроля над всеми мероприятиями правительства. Рассерженный, доведенный до отчаяния Бранденбуржец наконец запротестовал: на что ему власть, которая повсюду стеснена, зажата, связана? Простодушно, открыто посмотрел император ему в глаза: «Сначала надень плащ! Окажется длинен, сможешь укоротить».

После сретения, в середине зимы, под сияющим голубым небом, следовал, звеня и блистая, великолепный поезд Виттельсбахов по ослепительно белым горам в замок Тироль. Скрипел снег, звякало оружие, сбруя; золото и серебро позванивали. Мягко двигался в смягчающем звуке снежном воздухе бесконечный пестрый поезд, лошади, мулы, носилки, люди. Император в превосходном настроении, его сын Людвиг, маркграф, Бранденбуржец, сердитый, колеблющийся, но уже наполовину плененный величественной, обильной страной, его брат Стефан; господин Конрад фон Тек, богатый швабский дворянин, ближайший друг Бранденбуржца, мрачный, фанатичный, неистовый труженик, безоговорочно преданный Виттельсбахам. Тирольские бароны, бесчисленные баварские, швабские, фландрские, бранденбургские аристократы. Епископы Фрейзинский, Регенсбургский, Аугсбургский. Два великих теолога, привлеченных императором ко двору,— Вильгельм Оккам и Марсилиус Падуанский.

В течение всего путешествия император держал при своей особе, главным образом, этих двух духовных лиц. Получив весть о предполагаемом бракосочетании Бранденбуржца с Маргаритой, вся Европа была скандализována. Не только оттого, что Маргарита была женой другого. Но она, через свою бабушку Елизавету, состояла с Бранденбуржцем в третьей степени родства. Папа и не помышлял о том, чтобы освободить герцогиню от прежних брачных уз, напротив, он сразу же стал грозить отлучением и интердиктом. С глубокой

тревогой и страхом отнеслось население к этой угрозе. Однако император вовсе не намерен был отступить перед курией. В противовес папе он выдвинул своих теологов. Сам император особенной образованностью не отличался, он даже не говорил по-латыни, но относился ко всякой учености с глубоким, беспредельным почтением. Он искренне жалел о том, что его баварцы так тупы и глупы, так мало способны к наукам. Ах, его придворные великие ученые Вильгельм Оккам и Марсилий Падуанский встречали понимание и интерес во всем мире, но только не в его Баварии!

Он был благочестив, помнил о совести, искренне уважал своих теологов, верил им, их осведомленности в делах божьих. Итак, уставившись на теологов своими огромными голубыми глазами, он обратился к ним с вопросом, считают ли они возражения папы правильными. Марсилий и Вильгельм дали заключение в том смысле, что брак Маргариты с Иоганном Люксембургским, вследствие непригодности супруга, никогда фактически не имел места, поэтому как бы и не существует, недействителен, ввиду этого епископ Фрейзингский Людвиг фон Хамштейн, по настоятельной просьбе императора, заявил о своей готовности развести Маргариту с Иоганном. По этой-то причине баварские епископы и отправились по ту сторону Альп. Их миссия представлялась им крайне рискованной, а они сами себе — крайне значительными и отважными. Они сосредоточенно хмурились, потели.

Бранденбуржец ехал рядом с Конрадом фон Тек. Он все больше интересовывался этой страной, особенностями ее управления. Страстно увлеченный экономикой, он не видел ни красот пейзажа, ни своеобразия людей, сухим, ясным голосом говорил только о землях, годных для запашки, о заселении, о торговых путях, делении на округа, методах обложения. Бранденбург или Тироль — все было для него только территорией, где надо укреплять хозяйство. Здесь же он видел повсюду развал, запустение. Он возьмет все это в руки твердо, толково, разумно.

Господин фон Шенна ехал рядом с Вильгельмом Оккамом. Перед ними — дорога шла в гору — возвыша-

лась грузная спина и мощный затылок императора. Они говорили о Людвиге. Теолог, человек бывалый, с горячностью превозносил возвышенные интересы государя, его уважение к образованности, радующую сердце архитектуру города Мюнхена, основание Эттальского рыцарского ордена по образцу Вольфрамова «Парцифалья». Более проникательному господину фон Шенна все это импонировало гораздо меньше — он видел в Виттельсбахе по преимуществу современный тип правителя. Император любит города больше, чем замки, купца больше, чем солдата, договоры больше, чем сражения, он больше ценит пользу, чем рыцарственность. Разумеется, у него еще бывают приступы романтизма, по это только традиция, а не выражение его подлинной сущности. Король Иоганн Люксембург, при всем своем непостоянстве, гораздо консервативнее. Это рыцарь старого склада, искатель приключений. Император, наоборот, гораздо больше похож на горожанина, он — человек сегодняшней, купец. Поэтому Люксембург захватит больше, но удержит меньше, и, в конечном счете, всегда восторжествует император, ибо он сын своего века. Теолог слушал задумчиво и неодобрительно эти рассуждения, умные, меткие и облеченные в литературную форму. Перед собой оба видели широкую грузную спину Виттельсбаха, оба думали о том, чего не высказал ни один: этот всегда будет действовать, соображаясь с собственной выгодой, и только с ней; всегда будет смотреть простодушным открытым взором на мир, на других людей, всегда будет искренне и убежденно отождествлять справедливость, мораль, волю божью с собственной, личной пользой.

Переночевали в Штерцинге, на другой день, дыша ясным и резким, бодрящим холодом высот, стали взбираться на Яуфенский перевал. Уж перевалили через хребет, уж начали спускаться. Вдруг лошадь епископа Фрейзингского, испугавшись чего-то, метнулась в сторону, скинула всадника через голову, епископ упал очень неудачно, ударился о скалу, убился насмерть. И вот он лежал, этот кудрый подвижной человечек, на мерзлом снегу под веселым ясным небом. Невзирая на кандидата папы, занял он епископский престол во

Фрейзинге, против воли папы собирался нарушить святое таинство брака; а теперь вот он лежит желтый, оцепенелый, мертвый. Пестрый, шумный, позванивающий поезд остановился. «Суд божий!» — зашептали со всех сторон; охваченные ужасом, стояли рыцари вокруг тела. Умершего закатали в одеяла, вслед за поездом понесли на носилках в Меран. Бесшумно прибыл маленький тщеславный человечек в город, где намеревался совершить самый дерзкий и рискованный поступок в своей жизни. Епископы Аугсбурга и Регенсбурга, напуганные, отказались исполнить просьбу императора и расторгнуть первый брак Маргариты.

Все же, когда император прибыл в замок Тироля, хорошее расположение духа возобладало в нем над всем. Авиньон далеко, пусть себе Бенедикт мечет в него бессильные проклятия. Это все слова, а у него земля. Какой государь христианского мира может сравняться с ним в могуществе? Он соединил обе Баварии, ему принадлежит Бранденбург, он имеет бесспорное право наследовать Голландию, Фрисландию, Зеландию, Геннегау. А теперь еще эта горная страна, прекрасная, древняя, богатая, славная страна. За ней лежит растерзанная, обессиленная Италия. Сейчас, когда он властвует над вершинами Альп, Италия все равно что у него в руках. Чудесный замок Тироль! Добрый, крепкий замок Тироль!

Удивленно прислушивались в приходежей приближенные, как император в своих покоях пел ясным, звонким голосом. «Он поет, как царь Давид перед ковчегом!» — сказал епископ Аугсбургский. Император же, оставаясь в тот день один в своих покоях, не раз смотрел на белую, светлую страну, хлопал себя по ляжкам, затягивал веселые задорные песенки, которые пелись в харчевнях его баварских деревень.

Два дня спустя император сам совершил бракосочетание маркграфа Людвига с герцогиней Маргаритой. К превеликой досаде Тироля и всей Европы. А на следующий день в городе Меране даровал новобрачным в ленное владение Каринтию и Тироль. Он был в импера-

торском облачении. Конрад фон Тек держал имперский меч, Арнольд фон Массенгаузен — скипетр, господин фон Краус — державу. Маргарита была роскошно убрана, осыпана драгоценными камнями, вокруг ее стана топорщилась тяжелая одежда, герцогиня смотрела перед собой неподвижным, словно остановившимся взглядом.

В венском дворце Альбрехт Хромой и Иоганн Богемский вели долгую беседу. Захват Виттельсбахом Тироля снова сблизил и примирил между собой Люксембурга и Габсбурга. Император — вот бессовестный — не только украл Тироль, он дал сыну в ленное владение и Каринтию, в которой утвердился Габсбург и которой сам император помог ему овладеть. Оба государя были возмущены и поражены не столько дерзостью Виттельсбаха, сколько его глупостью.

Альбрехт принял все меры, чтобы обеспечить за собой свою Каринтию. Хромец все же теперь проделал сложную и для него особенно затруднительную церемонию восшествия на каринтский престол; но ему было важно укрепить свою популярность.

У слепого Люксембурга фантазия была более пылкой, и он строил планы более отважные. Этот Тироль, этот завиднейший плод, который сорвал для себя неуклюжий, тупой Виттельсбах, таил в себе червя. Хромой Альбрехт, небрежный в одежде и прическе, смотрел с интересом и невольным восхищением на слепого короля, который сидел перед ним — элегантный, прямой, очень холеный, и тонко, осторожно намекал на свои смелые, фантастические планы. Нет, немного радости даст императору эта новая страна. Он, Иоганн, по сути дела, человек сговорчивый. До сих пор он шел Людовику навстречу, когда надо было, когда этого требовала выгода, но относился к нему без ненависти или пристрастия. Отныне он будет другим. Отвращение и гнев вызвала в нем столь грубая дрянная проделка, столь самонадеянная, лицемерная жадность и наглость. В нем пылала злоба рыцаря и авантюриста против мещанина.

Новый папа Климент Шестой — не теоретик, как покойный Бенедикт, нет, это светский, блестящий князь

и политик, он связан тесной дружбой с ним и его сыном Карлом. Он наставник и ближайший доверенный его Карла.

Женитьба Бранденбуржца повсюду вызвала недовольство против императора. Если теперь новый папа прикажет со всех церковных кафедр возвестить, что на императора налагается отлучение и интердикт, такая анафема будет принята отнюдь не как политическое мероприятие, она встретит во всем христианском мире одобрение и сочувствие. Курфюрсты, города, народ не подчинятся Виттельсбаху, они уже отказались ему повиноваться. Когда же его сын Карл при поддержке Авиньона станет римским королем, он, Иоганн, создаст непобедимую лигу против Людвига.

Альбрехт машинально потирал небритое лицо, внимательно слушал собеседника. Эти планы были обоснованнее, чем обычные планы Люксембургца, но они означали нападение, неизбежную борьбу. Он, Альбрехт, не намерен впутываться во все это. Он уже не молод; он умудрен опытом и извлекает меч из ножен только в крайних случаях.

Так сидели они вместе, эти два могущественных государя, власть которых распространялась над большей частью Средней Европы. Слепой понукал хромого, но добился от него только оборонительного союза.

Затем, когда разговор был окончен, Иоганн потянулся, встал, собираясь идти, слепой стал ощупью пробираться вдоль стены, но двери не нашел. Альбрехт, правда, мог сказать ему, где она, однако хромым не в силах был помочь бредущему ощупью. Тут оба принялись долго и чистосердечно смеяться, пока наконец кто-то из свиты не открыл дверь снаружи.

Тяжкие бедствия обрушились на страну в горах, кара господня за то, что герцогиня так грубо осквернила таинство брака. «Казни египетские!» — кричали приверженцы папы по всей Европе. «Казни египетские!» — бледнея, повторял народ, вздыхал, бил себя в грудь, постился.

Чтобы вторично покарать людей за грехи, прежде всего разверзлись хляби небесные, второй потоп.

«Горе нам! Водолей проливает дождь девкальонов!» — процитировал аббат Виктрингский древнего латинского автора. Точно все реки Европы разлились по стране, вода сносила деревья, посевы, села, людей. Инн мчал на своих волнах мосты, башни, дома, низменность Эч уподобилась озеру, из Неймаркта в поместья за Трамином ездили на лодках.

В том же году быстро следовавшие друг за другом жестокие пожары уничтожили дотла Меран, Инсбрук, Неймаркт.

Но самое страшное и грозное, отчего народ оцепенел, — это были гигантские тучи саранчи, налетевшие летом на страну. Они двигались с востока.

Сожрав все дотла в Венгрии, Польше, Богемии, Моравии, Австрии, Баварии, Ломбардии, опустилась саранча над цветущим Тиролем.

Солнца не было видно, так густо летела она. Летела днем и ночью, и все же, чтобы пролететь вдоль Эча, ей понадобилось двадцать семь дней.

Испуганный народ таскал в процессиях изображения святых, молился, простирая руки к небу. Кальтернский священник заставил суд присяжных по всей форме произвести приговор над саранчой, с церковной кафедры объявил ей отлучение. Это были гигантские твари, их зубы сверкали, как драгоценные камни, так что женщины украшали ими свои одежды. Рои, опустошавшие местность по берегам реки Инн, были замечательны в двух отношениях: вожаки в сопровождении небольшой свиты опережали рой на день пути и искали местности, пригодные для всего роя; саранча снималась с места отрядами, с чисто военной дисциплиной. Она съедала листву кустов и деревьев и всякую зелень, стебли трав, рожь, просо — все дотла. Земля стала черной и серой и как бы лишенной соков, когда саранча наконец улетела.

Герцогиня Маргарита ехала через Арльберг. В Санкт-Антоне среди глазающей толпы стояла с матерью девочка лет одиннадцати — двенадцати. Когда

поезд следовал мимо них, она озабоченно воскликнула.

— Мама! Мама! А которая же милостивая госпожа герцогиня — та длинная, тощая или вон та губастая?

Мать, грубоватая, добродушная молодая женщина, осклабилась, покраснела, дала девочке подзатыльник.

— Заткнись, дрянь!

Люди кругом смеялись, девочка заревела, словечко подхватили. Оно облетело всю страну, пошло дальше, и скоро весь христианский мир звал безобразную герцогиню не иначе, как Губастая. Маргарита узнала об этом, приняла прозвище с какой-то молчаливой и горькой готовностью. Как ей назвать свой новый замок? Брунек? Нейграфенберг? Она назвала его «Замок Маульташ»¹.

Маркграф Людвиг сидел со своим другом герцогом Конрадом фон Тек над счетами и взысканиями. Молодцеватый маркграф трезво и деловито сопоставлял трезвые, ясные цифры и факты; герцог фон Тек, постарше его, кряжистый, бравый, внимательно слушал. Он был в доспехах, сидел неподвижно, тогда как маркграф, при всей своей деловитости, не мог не стучать кулаком по столу, по шуршащим бумагам.

Его энергичное, худое лицо — жесткие голубые глаза без блеска, смугловатая обветренная кожа, белокурые волосы, подстриженные не по моде, белокурые усы — было сердито и очень взволнованно. Он всегда считал тирольских баронов коварными обманщиками и грабителями. Но что они и при его правлении держат на такой наглый и явный обман, спокойно, словно так и надо, кладут себе в карман даже не половину — девять десятых его доходов, и в отчетах не стараются свои жульничества затушевать, это уж такой предел жадности, какого он не ожидал. Притом бароны преловко себя обезопасили. За подобные злоупотребления им была гарантирована амнистия, и контролировать их могли только местные уроженцы, а так как все это

¹ М а у л ь т а ш — по-немецки: губастая.

одна шайка, то такой контроль оставался делом чисто формальным.

Кряжистый, безбородый, бравый Конрад фон Тек дал маркграфу договорить. Затем он сказал:

— Прочитать! Договоры, амнистии — вздор! Прикажи схватить одного из них! Пусть другие требуют, протестуют! Когда они увидят, что все это ни к чему, живо ручными станут!

С полуулыбкой маркграф протянул другу какую-то бумагу: приказ об аресте Фолькмара фон Бургшталь. Приказ еще не был подписан.

— Мой отец наверняка бы этого не сделал, — сказал он. — Все это может черт знает к чему привести. Тыл у меня не защищен.

Конрад фон Тек взглянул на него тупыми карими глазами, сказал скрипучим голосом:

— Ну так защити.

Людвиг ответил ему понимающим взглядом, позволил, приказал:

— Госпожу герцогиню.

До прихода герцогини оба молчали. У Людвига не было тайн перед другом: тот отлично знал, каковы отношения между ним и Маргаритой. А отношения были таковы, что постепенно из недоверия и антипатии выросло спокойное, благожелательное чувство товарищества. Маргарита была умна, не навязчива, не выказывала и не требовала сентиментальности. Именно этого и нужно было Виттельсбаху. А ей были приятны его прямота и трезвость — единственные черты в мужчине, которые в те годы не раздражали ее. К ее странному оцепенению и замкнутости он постепенно привык, так же как к ее безобразию, и если в разговоре с Конрадом называл ее иногда, как и вся страна, «Губастая», то без всякого презрительного оттенка.

Она пришла не скоро. Ибо никогда не появлялась иначе, как в полном герцогском великолепии. И сейчас на ней было платье из тяжелой коричневой материи, обильно затканной золотом, покрашенное и набеленное лицо казалось неподвижным, как маска, руки тоже были набелены. Маркграф положил перед ней документы, кратко указал, насколько, в первую очередь,

беспорен материал, обличающий Фолькмара фон Бургшталь. Перед Маргаритой возник тупой, грузный облик Фолькмара, неприкрытая звериная алчность, сквозившая в его лице. Своей корявой рукой он крушил все, что мог, в борьбе с Люксембургами он выставил вперед молодого Ротенбурга, веселого безобидного Альберта, а сам трусливо и подло забился в угол в своем затхлом, промозглом замке. Но ее лицо под слоем белил сохраняло свою неподвижность и невыразительность.

— Арестуйте его! — сказала она.

Даже неповоротливый Конрад фон Тек удивленно поднял глаза.

— Вы смелая дама, герцогиня! — сказал он.

— Если это ваш совет, Маргарита, — сказал Бранденбуржец, — то вашим землякам придется смириться, так как я последую ему. — Он попросил, чтобы и она скрепила подписью приказ об аресте. Она подписала.

Бургграфа Фолькмара арестовали, судили. Такая расправа с крупнейшим аристократом страны вызвала страшный шум. Бароны, дрожавшие каждый за себя, объединились: на юге мучил народ епископ Николай Триентский, на западе — епископ Хурский. Но Конрад фон Тек, которому поручено было вести дело, не отступал ни на пядь. Обвинение, конфискация имущества, допрос, пытка. До приговора дело не дошло. Бургграф умер раньше, в темнице, скоропостижно. Страна возроптала, пыталась восстать, не посмела, покорилась, смолчала.

Маргарита сидела за туалетным столиком, когда пришла весть о внезапной смерти Фолькмара. Фрейлейн Ротенбург, как раз причесывавшая ей волосы, зашмыгала носом, задрожала, уронила гребень.

— Продолжай же! — сказала Маргарита, и ее низкий певучий голос прозвучал бесстрастно, не дрогнув.

Герцогиня смотрела из лоджии замка Шенна на залитый солнцем пейзаж. Якоб фон Шенна сидел против нее. Над их головами на стене шагали пестрые рыцари.

Как приятно было слушать усталый разумный голос Шенна. Его ясная простая речь, лишенная всякой напыщенности, была для нее словно теплая ванна. Маркграф делал попытки привлечь его к себе на службу. Однако господин фон Шенна предоставил дипломатические посты, золотые почетные цепи своим братьям Петерману и Эстлейну, сам он всегда готов помочь советом, но должности не примет.

Он коснулся, как это бывало нередко, особы маркграфа.

— Нет, — заметил он, указывая на фигуры рыцарей, изображенные на стене, — с этими вот у него ничего нет общего. Если он видит лес, он думает не о чудовищах, которые могут в нем скрываться, и не о даме, которую стережет великан и которую следовало бы освободить. Он высчитывает, какова ценность леса, стоит ли переправить его в соседний город, чтобы украсить улицы новыми зданиями. Гномов маркграф никогда не видел, да они и не вернуться, пока он правит. И короля Иоганна ему никогда не перещеголять. Он несколько не стремится быть восемнадцать или двадцать раз в год победителем на турнирах, иметь самые модные доспехи, ездить возможно чаще в Париж. Зато уже постарается, чтобы его имя как можно реже упоминалось в письмах мессере Артезе из Флоренции, чтобы купцы в безопасности могли вести свои обозы по дорогам и чтобы в городах сидели честные и добросовестные чиновники.

Шенна не отступал от своей излюбленной темы. Старые времена миновали. Рыцарство и рыцарские обычаи стали дешевой, бутафорией. Уже нельзя просто взять да и пуститься странствовать по свету, круша все мечом направо и налево, — сейчас же явится полиция. Приключениями теперь, в это бескрасное время, не добудешь ни богатства, ни славы. Может быть, раньше и лучше было, ярче, честнее. Но жизнь стала более сложной. Место замка занял город, место отдельной властной личности — организация. И если странствующий рыцарь хочет получить ужин и ночлег, с него — о боже праведный — требуют платы. Не ему принадлежит будущее, а горожанину, не оружию, но товару,

деньгам. С каким бы блеском такие господа, как король Иоганн, ни разъезжали по земле, то, что они делают, непрочно. Прочна мелкая, медленная, осторожная, расчетливая деятельность городов; пусть они строят по мелочам, пусть они строят боязливо, но они пристраивают ячейку к ячейке, кладут камень на камень, неумоимо.

Маргарита горячо верила в правоту этих утверждений. Разве она сама не испытала — глубоко и грозно — всего этого на себе? Что любовь, что приключения! Все это только выматывает, лишает сил, ранит, опустошает. Мысли, и раньше приходившие ей в голову, пустили теперь более глубокие корни, стали конкретнее, вошли в плоть и кровь. Ее безобразие — дар, это вежа, с помощью которой бог указывал ей верную дорогу. Рыцарство, приключения — тлен и пена. Ее дело создавать для будущего. Города, ремесла и торговлю, хорошие дороги, порядок и закон. Ее дело не празднества, поездки и любовь, ее дело — трезвая, спокойная политика.

Маркграфу эти ее взгляды были очень по душе. Она постигала до конца, знала, чувствовала, как он узок и педантичен. Но она ценила его деловитость и добросовестность, сжилась с этими чертами, как с чем-то родным, чего трудно было лишиться. Супруги много бывали вместе, ели вместе, спали вместе. Работали вместе. Между ними царило доброе согласие. Их мысли сплетались. Маргарита давала первый толчок, но так незаметно, что нельзя было отличить, кто ведущий и кто ведомый. Нередко, в разговорах с Конрадом маркграф говорил, признавая ее достоинства: «Да, моя жена, Губастая!» Но при всем том замкнутость Маргариты не исчезала, эту скорлупу пробить было невозможно, их отношения не выходили за пределы теплой и искренней любезности.

На второй год своего брака Маргарита забеременела. Это сделало ее мягче, в ее певучем низком голосе зазвучали более сердечные нотки, но ее оцепенелость и отчужденность так и не исчезли. Она оставалась свободной от страстных неудержимых желаний, уравновешенной, без особенно сильных чувств. Она увидела, что ребенок, девочка, не была ни красивой, ни безоб-

разной. У нее был суровый, угловатый лоб отца и, слава богу, его, не ее, рот. Герцогиня растила ребенка с материнской заботливостью, добросовестно, но без сердечной теплоты.

Папа взял молодого маркграфа Карла Люксембургского под руку, стал ходить с ним по уютной комнате, горячо уговаривая. За окнами, над белым городом Авиньоном пылало яркое горячее солнце. В папском дворце стоял приятный полумрак, было не слишком жарко. Климент Шестой — очень представительный: смуглое, энергичное лицо, контуры которого подчеркивались голубоватыми тенями от бритья, — испытывал особенно нежное, отеческое чувство к молодому человеку, своему понятливому воспитаннику. Карл предсказал Клименту тиару, а Климент ему — корону римского императора.

И вот предстояло сбыться последнему предсказанию. Этот Виттельсбах, этот косолапый медведь, всегда слишком жадно хватает добычу. Последним, чересчур большим куском, Тиродем, он и подавится. Как бы недоверчиво и неприязненно курфюрсты, города Римской империи ни замыкались перед контролем курии, — зловошие, исходившие от тиродемских дел, так било всем в нос, что держать сторону этого захватчика, Людвига Баварского, они, конечно, не могли. Да, теперь он приполз, этот Виттельсбах. Смирненно повизгивает перед папским престолом, признал длинный список своих преступлений, обещает покорность. Климент улыбнулся, крепче сжал плечи своего молодого ученика. Баварец опоздал. Уже он, Климент, в торжественном заседании консистории предал его церковному отлучению, уже предложил коллегии курфюрстов приступить к избранию нового государя. Если любезный его сердцу ученик, Карл Люксембургский, поедет завтра на Рейн, в Рензе, на выборы, он может быть уверен: папой сделано все, пущены в ход благословения и проклятия, чтобы оправдалось предсказание относительно императорского венца.

И несколько дней спустя курфюрсты действительно отдали большинство голосов Люксембургцу. Из пяти

государей, голосовавших за него, первый был его отец, второй — дядя, третий — архиепископ без епископства и земель, четвертого и пятого купили за немалую сумму золотом.

После того как председатель коллегии архиепископ Балдуин Трирский сообщил результаты избрания, отец обнял Карла, курфюрсты поздравили. Он тут же послал курьера к папе. Оставшись один, этот длинный тощий человек расправил плечи, облегченно вздохнул. Избран германским королем, скоро будет римским императором. Он не такой, как отец — этот слепой, этот рыцарь. Он не стремится блистать, не расшвыряет все им захваченное. Он будет брать, беречь, владеть. Но он и не такой, как Баварец, тяжелодум, педант, мещанин. Замок и город, войско и управление — вот что нужно. Не только нахватать земель — какой толк? Пропахать их, вымести. Церковь, искусство, наука, градостроение. Собирать, копить, выхаживать. Все собирать и все выхаживать: страны, города, титулы, замки, ученых, реликвии, произведения искусства. Разве он тщеславен? Разве он жаден? Нет, такова до конца продуманная, до конца постигнутая обязанность государя. Тощий жилистый маркграф сел за письменный стол. Наметил основные линии, набросал схему, канон своего правления. Расположил согласно научной классификации добродетели, требования, планы. Распределил по графам: один, два, три. Работал много часов подряд, до глубокой ночи.

Перечел свои записи. Не таится ли за всем этим все же немного тщеславия? Он благочестив, а тщеславие — грех, и придется его искупать. Он страстно коллекционировал реликвии: шипы из венца Христова, одежду, черепа, руки святых. Из Павии ему предложили останки святого Витта. Но за святого просили слишком дорого. Так вот, в виде искупления, он приобретет эти останки, несмотря на слишком высокую цену.

Перед Маргаритой стоял маленький, жирный, судорожно жестикулирующий человечек, держался очень смиренно, тараторил гортанным хриплым голосом. На-

звался Менделем Гиршем. Был евреем. Во время преследования со стороны членов «Кожаной рукавицы» бежал из Баварии в Регенсбург, где горожане взяли его под свою защиту. Он принадлежал к одной из тех ста двадцати семи общин, в которых были тогда перебиты почти все евреи, и, в числе немногих, уцелел. Он получил охранное письмо от императора и, из осторожности, заручился таким же письмом от противника императора, короля Карла.

Никогда еще герцогиня не видела вблизи живого еврея. Внимательно, с чувством некоторого отвращения, рассматривала она толстого человечка в коричневом кафтане и остроконечной шляпе, который суетливо егзил перед ней, торопливо лопотал что-то гортанным голосом, брызгал слюной, смешно жестикулировал. Так вот, значит, какие они, эти люди, которые оскверняли причастие, зверски мучили невинных детей, этот проклятый богом род, убивший бога. Она не раз слышала об этих странных, страшных людях, еще недавно, по случаю последнего еврейского погрома, подробно беседовала о них с аббатом Иоанном Виктринским. Аббат и не одобрял и не порицал преследований. Он считал, что в отношении этого гонимого народа сбывается древнее проклятие, которое тот собственными устами произнес над собой: «Кровь его на нас и на детях наших!» Аббат пожал плечами, процитировал древнего классика: «Горе! Страшно мне все, ибо все преступил я законы».

Маргарита нашла такое решение вопроса несколько упрощенным. Человек, подстрекающий к гонению на евреев, может быть, и действует из усердия и желания послужить делу божьему. Может быть. Но что такие дела очень выгодны, это тоже вне сомнения. Можно ли найти более верное средство отделаться от еврея-кредитора, чем убить его? И почему, если уничтожение евреев — дело полезное и допустимое, самые мудрые светские и духовные властители защищают их? Законы Фридриха Второго Гогенштауфена, буллы Иннокентия Четвертого свидетельствуют о совершенно иной точке зрения, чем у ее доброго аббата. А теперешний папа Климент — пусть он ее враг, но он дьявольски умен,—

почему он так заступает за них и оберегает своими буллами и строгими законами?

Она смотрела на человечка, все еще юлившего перед ней. Он рассказывал о своих злоключениях. Как его соплеменников загоняли в молитвенные дома и там сжигали, иных совали в мешки с камнями и безжалостно топили в Рейне, как их калечили, терзали, душили, женщин насиловали на глазах у связанных мужчин, как из окон пылавших домов, словно флаги, вывешивали насаженных на копья детей. Он рассказывал, жестикулируя, захлебываясь, со множеством сочных подробностей, его красочная гортанная речь лилась без удержу, слова обгоняли друг друга, он улыбался, виновато, укоризненно, смиренно, пересыпал свой рассказ шутливыми прибаутками, призывал бога, нервно перебирал пегую бороду, покачивал головой. Герцогиня молча слушала его; в углу, сутулясь, сидел фон Шенна, внимательно созерцал маленького, неистового, чудного человечка. Мендель Гирш просил разрешения поселиться в Боцене. Он направлялся было к своим единоверцам в Ливорно. Но, увидев расцветающие тирольские города и деревни, решил, что здесь поле деятельности лучше, новее. Транзитная торговля, милостивейшая госпожа герцогиня! — восклицал он. Транзитная торговля! Ярмарки! Рынки! Здесь проходят большие дороги из Ломбардии в Германию, из славянских стран в романские. Чем Триент, Боцен, Рива, Галль, Инсбрук, Штерцинг, Меран хуже Аугсбурга, Страсбурга? Вот уже и епископы Бриксенский и Триентский склонны взять евреев под свою защиту и дать им привилегии. С милостивого разрешения герцогини он здесь быстро поднимет торговлю. В страну потекут деньги, много денег, большие деньги. Он располагает капиталом в каком угодно размере. Обслуживает по гораздо более сходной цене, чем эти господа из Венеции и Флоренции. Он будет экспортировать вино, масло, лес; ввозить шелк, меха, мечи, испанскую шерсть, драгоценности, мавританские золотые изделия; с славянского востока — шкуры и прежде всего рабов. Что, рабов здесь не нужно? Довольно своих крепостных крестьян? Нет так нет. Но стекло ведь нужно, сицилийское стекло,—

у него превосходные связи. И крашеное сукно тоже нужно. И имбирь, перец, пряности. Уж он добудет, только бы ему не мешали.

Маргарита сказала, что обдумает его просьбу. Когда он ушел, она стала совещаться с Шенна. Тому планы еврея очень понравились. Разумеется, надо впустить его, постараться удержать. В этом голос времени, это внесет оживление в страну. Правда, на турнире господин Мендель Гирш едва ли произвел бы особенно выгодное впечатление, баронам, да и бюргерам он не понравился бы. Но именно из-за гнилого высокомерия этих ленивых людей и следует пустить им за шиворот вот такое живое, неугомонное создание.

Итак, еврей Мендель Гирш приехал в Боцен. Вокруг него кишели сыновья, дочери, невестки, зятья, внуки; среди этих родичей — три грудных младенца и древняя, едва лопочущая бабка. Все это мельтешило по боценским улицам, быстроногое, болтливое, с глазами как миндалины, рассматривало разноцветные нарядные дома, стены, ворота, площади, людей, оценивало, судило, рядило, быстро и громко тараторило и жестикулировало.

Нельзя сказать, что боценские горожане приняли еврея Менделя Гирша с восторгом. Даже пристанище ему дали только после строгого внушения маркграфа, который, подобно его отцу — императору, ценил евреев и покровительствовал им, считая, что они способствуют развитию городов. Но и после этого еврея встречали до последней степени грубо и недоверчиво, звали домой детей, когда он проходил по улице, отряхивали рукав, если прикасались к нему, выкрикивали ему вслед ругательства и насмешки, забрасывали комьями грязи. А толстый, юркий человечек притворялся, что ничего не видит и не слышит, обчищался, когда его пачкали, улыбаясь, перебирал пегую бороду. Когда дело заходило слишком далеко, покачивал головой: «Ну, ну!» Он всегда оставался смиренным, если его прогоняли — возвращался. Купил себе дом, еще один, еще. На его имя приходили товары, лежали грудami, незнакомые, красивые — в таком изобилии, в каком их никогда не видели в этих местах, и не очень дорого. Он покупал, что

ему предлагали, оценивал очень быстро, уверенно, всегда имел при себе деньги, платил чистоганом. Местные купцы косились на него, горожане привыкали к еврею, правда — еще поругивали, но скорее по привычке, беззлобно.

Когда Мендель Гирш получал особенно красивые новые товары, сукна, меха, драгоценные камни, он приносил их прежде всего герцогине и господину фон Шенна. Оба охотно беседовали с этим поездившим по свету человеком, хорошо знавшим дороги, товары, людей, условия жизни и судившим о них с совсем иной, непривычной точки зрения. Если в серьезном разговоре с ним собеседник пускал в ход громкие слова, еврей строил огорченное лицо; к рыцарским обычаям, турнирам, знаменам и подобной мишуре он относился с добродушной, презрительной усмешкой, которая Шенна нравилась и казалась забавной. Он говорил:

— Зачем постоянно бряцать оружием и лезть на стену? Немножко терпимости, и все обойдется. — Его повергал в трепет один вид копий, мечей, доспехов. Однажды, когда его позвали к герцогине, он не явился, оттого что на улицах толклось много военного люда.

— Он трус, — сказала Маргарита.

— Конечно, — ответил господин фон Шенна. — Мечом он самое большее может ранить самого себя. Но он рассказывает один и без оружия среди людей, ненавидящих его, и все его доспехи — охранное письмо марк-графа.

Маргарита узнала, что каждый вечер он читает свои мудреные древнееврейские книги, обучает по ним своих детей. Она слышала о его странных обычаях, о его молитвенном плаще, молитвенных ремешках, особой пище. Она стала расспрашивать его подробнее. Он вежливо, но решительно уклонился от ответа. Это Маргарите понравилось. Он был безобразный, особенный. Он не очень-то подпускал к себе. Она была уродиной, он — евреем.

Постепенно в стране появились и другие евреи. В Инсбруке, Галле, Меране, Бриксене, Триенте, Роверето. У всех были многочисленные дети с миндалевидными глазами. Около двадцати семейств. В страну при-

текали деньги, города разрослись, стали богаче, улицы лучше, появились новые иноземные ткани, фрукты, пряности, товары. Страна в горах зажила богаче, шире.

Всю неделю евреи с утра до поздней ночи не знали устали. Никакое дело не казалось им слишком мелким, они могли ждать любого покупателя часами, не утомимо. Они принимали все унижения, сгибали спину, не пытались защищаться, когда их пинали ногами, плевали на них. Но в пятницу вечером они запирались в своих домах, и в течение всей субботы никто не имел к ним доступа; исключения не делались ни для знатнейшего вельможи, ни для выгоднейшей сделки. Народ стоял перед их запертыми дверями, угрожая: «Вот они занимаютс^я дьявольским волшебством, колдуют. Творят черные богомерзкие дела». Однако евреи презирали угрозы, держали двери и окна на запоре.

В такие дни Мендель Гирш зажигал множество праздничных свечей, коричневый кафтан и островерхую шляпу сменял на пышную одежду из старинных тканей и великолепную шапку, его жена, его дочери и невестки тоже рядились в роскошные платья. Он пел резким гортанным голосом псалмы и молитвы, и его дети пели с ним. Он расхаживал и посиживал в своих комнатах, ел всласть и пил всласть, не мог нарадоваться на своих детей и на свое богатство. Прочитывал отрывок из писания, искусно комментировал его, находил в нем связь с очередными событиями. Дом сверкал праздничным убранством, благоухал драгоценными маслами. Он возлагал руку на головы своих детей, благословлял их, да уподобятся Манассии и Еффраиму. Величественно расхаживал по дому, перебирал бороду, раскачивался, говорил: «В субботу все дети Израиля — княжеские дети».

Маркграф сказал Маргарите:

— Хорошо, что евреям дали поселиться в стране. Они приносят деньги, оживление, заражают своим примером других. Но все же недаром народ слышать не может их запаха. Живет себе такой Мендель Гирш. Не знает ни церкви, ни религии. Хуже язычника или любой скотины.

Господин фон Тек сказал своим скрипучим голосом:

— Самое отвратительное, что у такого человека нет ни на грош достоинства! Как он пресмыкается, как по-собачьи ползает! Клоп, вшивец!

Маргарита молчала. «Гирш — еврей, — думала она, — а я — уродина».

Слепой король Иоганн сидел в низкой, убогой деревенской горнице, его парикмахер причесывал ему волосы и бороду. Накануне день был нестерпимо зноен, но теперь с северо-запада подул свежий ветер. Было около четырех часов утра, солнце еще не взошло, небо светлело. При короле находились двое его офицеров в полном вооружении, камердинер и адъютант, двое пажей. Люксембуржец, несмотря на свои шестьдесят лет и слепоту, придавал огромное значение безукоризненному вооружению и одежде. Камердинер и пажи натерли его белую упругую кожу благовониями, бережно надели на него рубашку, платье, серебряные доспехи.

Король проспал всего несколько часов, но был свеж и в превосходном настроении. Перед ним была большая роща, за ней стояли англичане. Итак, сегодня наконец-то произойдет сражение. Не простая стычка, — нет, жаркая, большая битва. Англичанин все поставил на карту.

Сейчас этот элегантный слепец, чисто вымытый, с ног до головы вооруженный, дышит воздухом летнего утра, позабыв о тех тайных приступах меланхолии, которые теперь, после жизни, растекшейся как вода, разлетевшейся как дым, нередко тревожат его по ночам. Словно животное, после долгой зимовки в стойле почувшавшее весну, жадно впитывает он запах боя, которым все полно вокруг.

Он вышел на крыльцо, позавтракал, пошутил со своими приближенными. Тянуло чистым душистым ветерком. Вот-вот взойдет солнце. Его отец был римским императором, властителем всего христианского мира. Он, Иоганн, воюет теперь в роли французского наемника; ему, собственно говоря, совершенно незачем было ввязываться в великую ссору между Англией и Францией, он сделал это из одного лишь воинственного пыла. К тому же он растратил деньги, которые Франция

дала ему на вербовку войск, и теперь пужно выкручиваться; ни в чем, ну ни в чем ему не было удачи. Пусть. Теперь это уже не имеет значения, теперь он будет сражаться. Он доволен.

Ему подали ломти белого хлеба, масло, мед, сбитень. Вокруг жужжали пчелы. Он поглаживал мягкие волосы пажей.

Деньги для наемников он спустил. Он улыбнулся. Если его сын Карл стал нынче германским королем, то немало будет этим обязан растроченным деньгам. Знать этого Карл не должен. Вероятно, догадывается, но знать не должен. Он такой щепетильный. Не беда. Иоганн любит Францию, он оказал Франции немало добрых услуг, вот и сегодня он чувствует, что возместит деньги сторицей. Он встряхнулся, стал потягиваться, спросил, взойшло ли солнце.

Сели на коней, пустились в путь. Дорога вела через большую рощу, за ней, на широкой пыльной равнине, стоял неприятель. Забрала еще не были опущены, пели птицы, ветки гладили лицо, пахло листвой. Хорошо жить, хорошо проезжать утром через лес, за которым стоит враг.

Ага, вот и птицы смолкли. Лязг, крики, гомон, топот и гром копыт, звонкие трубы, пыль, много пыли. Они на опушке. Король и его приближенные остановились. «Как идет бой?» — спросил он с возбуждением страстного игрока. Приближенным пришлось описывать ему все перипетии сражения. Он командовал, бросал на поле битвы все новые полки, туда, сюда. Но поневоле стратегия слепого оставалась теорией, офицеры, не тратя слов, исправляли его приказания или не следовали им вовсе. На поле битвы густым слоем лежала пыль, садилась, серая, плотная, на стебли, траву, колосья, на лошадей, доспехи. Сражение перешло в бесчисленные озлобленные стычки отдельных групп. Тогда старый рыцарь не выдержал. Чувал ли он, что его приказы остаются пустым звуком, что их почтительно выслушивают и пренебрежительно пропускают мимо ушей? Но он вдруг привстал в стремени, его добрый гнедой конь взвился, заржал, и одновременно с этим ржанием король издал звонкий крик радости, ринулся в бой.

Офицеры пытались остановить его, паж, пылая, увлекали его вперед. Так, несмотря на все препятствия, достиг он самой гущи боя: сбруя его коня, дорогие доспехи витязя привлекли врагов. Он был окружен, отбит, снова окружен. Особенно два шотландских рыцаря, младшие сыновья, голодранцы, соблазнились его украшениями и великолепным панцирем. Старый слепой рыцарь говорил, кричал, смеялся, рубил вокруг себя. Его офицеры остались где-то позади, паж не отступал от него ни на шаг. Он то и дело обращался шутя, злобно, пламенно, цинично к одному из них, белокурому изысканному Иегану, своему любимцу. Того уже зарубили, он был мертв, а слепой король продолжал обращаться к нему. Наконец раненый конь сбросил седока, придавил. Враги ринулись на него, сорвали шлем и забрало, раскроили череп. И вот он лежал в пыли, неподвижный и жалкий, самый живой человек и государь своей эпохи, его окровавленная холеная борода была растрепана и слиплась, оборванцы-рыцари тащили с груди серебряный панцирь, перстень никак не снимался с окоченелой руки, судорожно вцепившейся в пыль, тогда они отрубили весь палец. Бой передвинулся дальше, и французы, за которых без цели и смысла сражался слепой, были разбиты и рассеяны.

Мертвый король остался один. Большие блестящие трупные мухи садились на его лицо.

Карлу Люксембургскому, германскому королю, тоже раненному в этой битве, удалось спастись. Английский король, любивший с гордостью подчеркивать, что он по-рыцарски ведет войну, отправил ему тело отца с почетной охраной. И вот Карл стоял перед обезображенными останками. Отца он никогда не любил. Старый мот, носившийся причудливыми зигзагами по свету, так безумно и самоуверенно игравший своими коронами, вместо того чтобы беречь и укреплять их, сильно подорвал оставленное сыну наследство. Все же ему достались права, титулы, земли, захваченные где и как придется. Карл не будет расшвыривать их, не будет с излишней самонадеянностью пытаться непременно все

удержать; он начнет объединять их по кускам, округлять. Радеть о сути дела, а не о внешнем блеске. Вот он лежит, король Иоганн, его отец. Он был рыцарем,— первым рыцарем всего христианского мира; он блистал ярким блеском, а теперь от него осталась лишь кучка изуродованной, гниющей плоти. Он бесплодно жил и бесплодно умер. Насмеялся над церковью, священниками, святыми, но не покорил мира под пяту свою, не завоевал ни неба, ни земли. «Спи с миром, отец! Я буду иным, чем ты».

Король Карл приказал вынуть сердце, отделить в кипящей воде мясо от костей. Перевез кости в родной Люксембург, торжественно похоронил рядом с самыми священными реликвиями. Затем, ввиду того, что Аахен запер свои ворота, короновался в Бонне, как германский король, в Праге — как богемский. Император Людвиг считал, что теперь, после поражения французов, настало время отправить Карлу решительную ноту протеста. Торжественно предложил он отступить от своих притязаний и подчиниться ему, сильнейшему. Карл ответил в том же духе: его сила, дескать, опирается не на войска, но на величайшего союзника — бога.

Прежде всего, однако, он стал подыскивать земных союзников. Завел сношения с Венгрией, с хрым Альбрехтом. За Карла были право, титул, церковь, религия, симпатии; за Людвига — могущество. Границы их стран соприкасались; но оба были рассудительны и осторожны, избегали вызвать именно здесь войну. Изобретательный, предприимчивый Карл чуял, что слабое место Виттельсбаха совсем в другом месте: в Тироле.

Здесь епископы Триентский и Хурский, ненавидевшие маркграфа Людвига, неустанно мучили и интриговали. Владетельные бароны, возмущенные грубостью и расчетливостью Виттельсбахов, только и ждали случая вернуть Люксембургов. На угрожающее им соседство императора Людвига взирали с глухой тревогой и такие крупные ломбардские властители, как Карара, Висконти, делла Скала, Гонзага.

Слали королю Карлу курьеров. Курьеров все более спешных. В его-де распоряжении епископские войска, ломбардские наемники, контингенты баронов. Карл

решился. Положение создалось особенно благоприятное. Маркграф Людвиг сражался далеко на севере, в Пруссии. Пусть добывает славу в борьбе с язычниками. Во всяком случае, сейчас в Тироле не было ни войска, ни государя.

В Карле вдруг как бы проснулся авантюризм отца. Он отбыл тайком, в сопровождении лишь трех доверенных лиц, все четверо — переодетые купцами, с ломбардскими документами. Путешествовал в жестокий мороз, по занесенным снегом горным тропам. Неожиданно объявился в Триенте. Торжественная служба в соборе. Карл в императорском облачении. Правда, императорские регалии — скипетр, меч, держава — были, к сожалению, только имитациями; оригиналы тщательно охранялись Виттельсбахом. Колокола, ладан. «Gloria in excelsis»¹, — пел епископ Николай голосом фанатика, пели мальчишки. Карл принял парад: войска епископа Николая, итальянских городов, епископа Хурского, патриарха Аквилейского, множества южнотирольских баронов, его брата Иоганна, жаждавшего мести. Он тронулся в путь с огромными силами, взял Боцен, взял Меран. Внезапно обложил железным кольцом замок Тироль.

Маргарите приходилось надеяться только на себя. Маркграф и Конрад фон Тек были далеко, в Пруссии. Мелкие военачальники колебались, растерянные, вместо ответа на вопрос: возможно ли удержать замок, ссылались на волю божью, возлагали всю тяжесть решения на Маргариту. Все теснее и крепче сжималось кольцо осаждающих.

Маргарита была угрюмо спокойна. Ее супруг, маленький коварный волчонок, некогда стоял перед этими запертыми воротами, и она непустила его. Теперь он явился с несметной пешей и конной ратью, во всей грозной пышности войны, чтобы насильственно проникнуть сюда. Когда ее жизнь была разрушена, она с трудом собрала обломки, снова создала себе семью, восстановила некоторый строй и порядок в своей жизни и в жизни страны. Ничего завидного, прекрасного, бли-

¹ «Слава в вышних» (лат.).

стательного, убогое ущербное существование, тут заплача, там прореха, там нехватка и отречение. Но это было все же свое, завоеванное, спасенное из грязи и ничтожества, это была ее, обнесенная оградой, неотъемлемая собственность. И вот, во второй раз является это отродье и пытается вырвать у нее принадлежащее ей. О, она покажет и лицемерному смиреннику Карлу, и Иоганну, злобному хитрому волку!

Она знала: главное — продержаться первые дни. В ее распоряжении находилось небольшое, но надежное войско. Она сама организовала оборону. Она не была труслива, ни минуты не колебалась — все видели это — подвергнуть себя опасности. Ее воля, ее заражающая рассудительная энергия передались войску. Первые атаки были отбиты решительно и без особых потерь; среди солдат замка царило своеобразное мрачно-шутливое настроение; маркграфиня вызывала искреннее почитание и восхищение. «Наша Губастая!» — говорили солдаты.

Среди офицеров был один баварец, молодой, безобразный альбинос, Конрад фон Фрауенберг. Из-за его отталкивающего, дерзкого, раздражительного нрава остальные сторонились его. Но именно поэтому обратила на него внимание Маргарита. Она назначила его командующим обороной, сумела поладить с ним, хотя другие видели в нем одно только мрачное самомнение; она нашла, что он решителен и смел в словах и поступках. А он грубым, сильным голосом, нагло и отрывисто похваливал ее распоряжения, ее энергию.

Со дня на день раздражение осаждавших росло. Было ясно, что страну можно взять или сразу, с налета, или никак. А тут они засели перед этой неожиданной преградой, осаждали женщину, безобразную, презренную герцогиню Маульташ, не подвигались ни на шаг. Карл злился на непредвиденное препятствие, поджимал губы, давился злобой. Неужели возможно, чтобы его превосходно вооруженное войско отступило перед этими стенами? Откуда брала эта женщина, это посмешище, эта Губастая свою силу? Он был глубоко встревожен, молился, пытал свою совесть. В Триенте ему показали палец святого Николая. Он собирался приобрести

эту драгоценную реликвию — одна рука святого у него уже имелась, — но палец не уступали, и Карл, не в силах противиться искушению, вдруг решительно извлек нож, отхватил от пальца один сустав, унес с собой. Может быть, святой рассердился, может быть, он отвергает удачу от его знамен и отдает врагу? Карл отослал косточку обратно с покаянным письмом.

Но все было тщетно, его раскаяние запоздало. Маркграф был уже близко. Если принять бой, то грозит великая опасность отрезать себе путь в Италию. Карл отступил от замка Тироля. Затаив ярость, повернул во свояси, на юг. Скрежетал зубами Иоганн, негодовали итальянские бароны. По пути Карл предавал страну грабежу, пожарам, опустошению. Меран стал пеплом, Боцен стал пеплом, по всей провинции Эч поля были опустошены, виноградные лозы срезаны, дома разрушены.

Тем временем маркграф, звеня оружием, въехал в замок Тироля. Обнял Маргариту бурно, искренне. Никогда не был он так сердечен. Она, она одна спасла Тироля.

— Наша Маульташ! — повторял маркграф Конраду фон Тек, похлопывая ее по плечу. — Наша Маульташ!

Конрад фон Тек воспользовался случаем, чтобы окончательно унижить и обессилить местное дворянство. От Маргариты не укрылась вся обдуманная беспощадность его мер. Но она предоставила ему свободу действий, не воспротивилась ни одним словом. С тех пор как она спасла для Виттельсбаха Тироля, она чувствовала сердечную близость со своим супругом. Она чувствовала свое единство со страной, ей, для ее собственного физического равновесия, было необходимо, чтобы страна управлялась по принципам Виттельсбахов: дворянство было согнуто в бараний рог, города и бюргеры возвышены. Медленно выпрямлялась она вместе со страной, освобожденной от ига баронов.

Она сидела в своем замке Маульташ. Зарывалась, вкапывалась в страну. Теперь у нее было трое детей, две девочки и мальчик, Мейнгард. Она добросовестно растила их, но близости между матерью и детьми не было. Страна стала ее плотью и кровью. Реки, долины,

города, замки стали частью ее существа. Ветер гор был ее дыханием, реки — ее артериями.

Однажды в полуденный час пошла она гулять одна по берегу Пассейера, легла под скалой отдохнуть, задремала. Вдруг ее разбудил чуть слышный тонкий голосок: «Здравствуйте, госпожа герцогиня!» Она вздрогнула, увидела в расщелине скалы крошечное, волосатое, бородатое существо, которое быстро, со смешными ужимками несколько раз доверчиво поклонилось ей, исчезло. Гном! В страну вернулись гномы! Гномы, которые приходили только туда, где они чувствовали себя в безопасности, являлись только законному государю, и она увидела их. Теперь она подлинно стала властительницей страны в горах.

Отказавшись от осады замка Тироля, король Карл скоро совсем покинул эту страну. Со многими реликвиями, но без особой добычи. На обратном пути он не преминул натравить на Бранденбуржца графов Герца; по примеру отца роздал князьям и дворянам многие тирольские города и поместья, которые не принадлежали ему, возбуждая, таким образом, все большее недовольство против Виттельсбаха.

Однако, вернувшись в Германию, он благодаря неожиданному обороту в борьбе за империю скоро был вознагражден с лихвой за неудачу в Тироле. Во время медвежьей охоты под своей столицей Мюнхеном скоропостижно скончался император Людвиг Виттельсбах. Смерть от удара сразила этого полнокровного человека, он упал с коня, старая крестьянка закрыла ему огромные простодушные голубые глаза, монахи тайком увезли тело, чтобы, несмотря на отлучение и интердикт, достойно и благоговейно предать его земле.

И вот главного врага Карла Богемского, который владел столькими странами и которому было привержено столько городов, больше нет. Святые все-таки подсобили. Теперь, на переломе столетия, он, Карл, сделался бесспорным германским королем, без соперников.

Он устал от борьбы с Виттельсбахами, они от борьбы с ним. Хромой Альбрехт явился посредником между

ними. Карл, равно как и его брат Иоганн, отказались от своих притязаний на Тироль и Каринтию, отдали маркграфу их в лен, обещали примирить с ним курию. Виттельсбахи, в свою очередь, признали Карла германским королем, присягнули ему, выдали имперские регалии.

О, эти регалии! Карл мучительно тосковал по ним. Много было у него ценных реликвий, но не было именно этих существеннейших эмблем власти, которой он обладал. Ему казалось, что и сам он и его достоинство — наги и голы, пока у него нет регалий и он вынужден довольствоваться подделкой. Теперь он торжественно перевез драгоценные, сладостные его сердцу предметы в пражскую сокровищницу. Среди них имелось священное копье, гвоздь от креста Христова, а также рука святой Анны. Но, прежде всего, старинный скипетр, держава из светлого бледного золота, зубчатая корона, меч, дарованный ангелом Карлу Великому для борьбы с язычниками. В пражском соборе король освятил регалии. Затем сам отнес их в подземную сокровищницу. И теперь они лежали там среди побелевших костей мучеников, среди драгоценных камней, среди редких книг и изображений, актов и договоров, среди священных копий, шипов от венца Христова, щепок от креста Христова. Сухопарый король стоял перед всем этим, улыбался узкими губами, поглаживал узкой костлявой рукою зубцы короны, держава странно неправильной, отнюдь не круглой формы, затупившийся ржавый меч Карла Великого, первого императора, носившего его имя.

Агнесса фон Тауфферс-Флавон редко приезжала в свои тирольские имения. Младшая сестра тем временем тоже вышла замуж за некоего господина дель Кастельбарко, игравшего весьма подозрительную политическую роль, так как он ухитрился ловко балансировать между епископом Триентским, некоторыми итальянскими правителями и тирольским двором, и владел притом богатыми поместьями и привилегиями. Агнесса много путешествовала, часто гостила у старшей сестры — в Бава-

рии, у младшей — в Италии. После того как тирольцы прогнали герцога Иоганна, ее больше не трогали; во всех вопросах, которые могли вызвать спор между ней и администрацией маркграфа, ее доверенные, подчиняясь ее благоразумным указаниям, спешили уступить, не допуская до осложнений. При дворе она бывала не чаще, чем требовали приличия, чтобы не показаться навязчивой.

Она была теперь красива волнующей, самоуверенной, почти грозной красотой. В Италии мужчины бросали к ее ногам города и княжества, убивали друг друга. Даже неотесанные баварцы щелкали языком, хлопали себя по ляжкам, восклицая: «Для такой ничего не пожалеешь!» — совершали ради нее безумства. Она же проходила среди всего этого поклонения, поединков, самоубийств с легкой, загадочной усмешкой.

И хотя редко бывала при тирольском дворе, однако при всяком удобном случае жгуче интересовалась тирольскими делами. Жадно внимала, полуоткрыв губы, повествованиям о деятельности Маргариты. Обо всем расспрашивала. Требовала, чтобы ей рассказывали вновь и вновь о мероприятиях против дворянства, о защите городов и евреев, обороне замка от Люксембургов — о каждой ничтожной черточке Маргаритиной жизни. Сама же никогда не вмешивалась ни единым словом, а тем более поступком. Если требовалось ее мнение, она уклонялась, говорила что-нибудь незначительное, улыбалась.

Очень охотно показывалась она народу. Держалась надменно, не отвечала на поклоны. Никогда не делала пожертвований на благотворительные цели в селах или городах, и с крестьянами на ее землях управляющие обращались жестоко. Все же народ охотно смотрел на нее. Люди выстраивались по сторонам дороги, когда она проезжала, восхищались ею, встречали приветственными кликами, всячески выражали свою любовь.

Нередко посещал ее мессере Артезе из Флоренции. Агнесса жила очень расточительно, постоянно нуждалась в помощи невзрачного, усердно отвечивавшего поклоны флорентинского банкира, уже имевшего закладные на все ее имения. Мессере Артезе рассказывал ей

немало о тирольском дворе. Он злобно отзывался о маркграфе и о Губастой. Правда, маркграф постоянно испытывал нужду в деньгах, ибо его войны поглощали огромные средства. Но он занимал всегда только у своих баварцев и швабов, боязливо избегая содействия доброго, услужливого мессере Артезе; он даже выкупил с немалыми жертвами закладные, еще оставшиеся у флорентинца. Да и те насильственные способы, какими наместник маркграфа Конрад фон Тек раздобывал добро и деньги, все эти конфискации и казни были молчаливому, деликатному флорентинцу не по душе. Зарабатывать деньги — разумеется; деньги, если они не краденые, — от бога. Не падить неаккуратных должников, забирать просроченные заклады — бесспорно. Но все это надо делать благопристойно, вежливо, соблюдая принятые формы. Тюрьма, голову прочь — фи, так не поступают, это неприлично.

Но больше всего озлобило мессере Артезе то, что ему предпочли еврея Менделя Гирша. Как? Ему, тихому, скромному, образованному католику и доброму христианину, предпочли вонючего, картавого, нахального, навязчивого, вертлявого еврея, предназначенного прямо черту в пекло? Разве недостаточно и того, что этот проклятый богом народ, который замучил и распял возлюбленного нашего господина и спасителя, отравляет воздух германских и итальянских городов? Этой мерзкой герцогине Маульташ еще понадобилось бросить им на съедение страну в горах, чтобы они заползли в нее как черви и всюду угнездились, так что их теперь не вытравить? И вот они засели там, гнусные гады, везде поспевают первые, навязывают каждому свои деньги, да еще осмеливаются — зараза несчастная — брать меньшие проценты, чем он, высокочтимый, почтенный, принятый у всех государей и баронов, флорентинец. От таких мыслей лицо этого обычно столь мягкого, вежливого, сдержанного человека искажалось уродливой гримасой беспредельной ярости.

Агнесса молча слушала его. Она слушала все, заносила в свою память, бережно хранила, была с мессере Артезе необычно любезна. Тот вдруг спохватывался, усиленно извинялся, ускользал во тьму.

После соглашения с королем Карлом никто уже не пытался оспаривать у Маргариты и маркграфа их права на владение Тиролем. Когда скончался его отец, император, Людвиг был вовлечен в целый ряд сложных и запутанных споров с братьями о наследстве. В конце концов сговорились на том, что из этого наследства он фактически получает Верхнюю Баварию, а от маркграфства Бранденбургского — только титул и сан курфюрста. Освобожденный от забот о Бранденбурге, он отдался целиком управлению Тиролем: его владения простирались от Герца до Бургундии и от Ломбардии до Дуная. Он именовался маркграфом Бранденбургским и Лаузицским, святой Римской империи обер-камерарием, пфальцграфом Рейнским, герцогом Баварским и Каринтским, графом Тироля и Герца, фогтом епископств Аглейского, Триентского, Бриксенского.

Маргарита жила с ним в согласии, относилась сердечно, почти по-матерински. Теперь она была твердо уверена, что бог лишил ее всякой женской прелести, чтобы она вложила все силы своей женственности в управление страной. И сознание этого принесло ей удовлетворение. Она была спокойна, как в безветрие водная поверхность. В ее решениях чувствовалась глубокая и честная последовательность. Женщина и правительница слились в одно. Ее советы и поступки никогда не бывали рассудочны, двусмысленны. Они вырастали из теплого, честного материнства, следовали не букве, не правилу, но всегда имели внутренний благотворный смысл.

На долю ей выпало трудное правление, каменистый путь. Все новые войны: с Люксембуржцем, с епископами, с ломбардскими городами, с мятежными баронами. Столь заботливо созданное все вновь и вновь разрушалось, шло прахом. Вдобавок — землетрясения, наводнения, пожары, чума, саранча, расшатанные постоянными военными расходами финансы. Нелегко было при таких превратностях судьбы сделать страну цветущей. Но мощная, дышавшая надеждой и надежду рождавшая женственность Маргариты изливалась в страну, поднимала ее, давала ей все новые силы для

роста и развития. Она залечивала раны этой страны, отменяла налоги в городах, пострадавших от войн и пожаров, заставляла строптивых баронов, несмотря на их ропот, выплачивать хоть часть причитавшихся с них податей. И все это делалось с какой-то естественной закономерностью, без насилия и шума.

Если ей предстояло решать особенно сложные финансовые вопросы, она спрашивала совета у Менделя Гирша. Тот мгновенно являлся в своем коричневом кафтане, толстый, вертлявый, услужливый, выслушивал Маргариту, качал головой, улыбался, заявлял, что это-де очень просто, картавя, многословно предлагал неожиданное решение. Маленький, затравленный, повсюду гонимый человечек был глубоко благодарен герцогине за ее благожелательность, это давало ему относительно безопасное существование и кров над головой. Он любил ее, чутко старался проникнуть в ее душу, напрягал для нее всю свою изобретательность.

Ибо нелегко было правителям Тироля держаться на поверхности при том хаосе, который царил в экономике страны. Правда, произволу феодалов был положен известный предел, прекращены и дела со зловредным мессере Артезе. Зато маркграф, не задумываясь, брал необходимые огромные суммы у своих швабов и баварцев. А они, стремясь обеспечить себя, беззастенчиво вымогали закладные и обязательства, загребали все больше и больше, так что в конце концов маркграф ничего не выигрывал. Напротив: если раньше все соки из страны высасывали тирольцы, то теперь за ее счет откармливались чужаки, баварцы и швабы. Они сидели на всех крупных должностях, жадный насильник Конрад фон Тек загреб чудовищные богатства, Гадмар фон Дюрренберг захватил соляную монополию в Галле, несколько мюнхенцев — Якоб Фрейман, Гримоальд Дрекслер и другие бюргеры — рудники в Ландеке. Главнейшие пошлины и подати тоже были отданы в аренду баварцам, швабам, австрийцам. Тут маркграф никого не слушал. Своим баварцам и швабам он доверял, а они пользовались этим. Все же Менделю Гиршу удавалось, под прикрытием Маргариты и оставаясь в тени, вносить в

договоры кой-какие пункты, хоть отчасти защищавшие маркграфа от произвола баварцев.

Маргарита продолжала не доверять баварским друзьям своего супруга. Только с одним сблизилась она, с тем офицером, который помог ей некогда отстоять замок Тироль во время осады Люксембургов, с белобрысым, толстым, красноглазым Конрадом фон Фрауенберг. Ведь он был так безобразен, так нелюбим, так одинок. Она чувствовала, что судьбы их родственны, обращалась с ним доверчивее, чем с остальными, выделяла его. Этот скрипучий, неприветливый человек вдруг быстро пошел в гору, получил поместья. Она добилась даже того, что его назначили ландсгофмейстером.

И еще одного добилась она: издала уложение законов и учредила в стране порядок. Она установила твердые пошлыны, еще больше ограничила произвол и судебные полномочия баронов, усилила центральную власть, укрепила положение горожан, торговлю, ремесла. Расцвели пестрые и яркие города, стали расти, шириться, богатеть. Отныне уже не замки баронов определяли судьбы страны, тон задавали магистраты, горделивые городские ярмарки. Ожились даже маленькие местечки: Брунек, Глурнс, Клаузен, Арко, Ала, Раттенберг, Китцбюгель, Линц. От крупных бирж и рынков, от Триента, Боцена, Ривы, Бриксена дороги и торговые связи разветвлялись по всей земле. Посеянное Менделем Гиршем взопло обильно и пышно.

Герцогиня любила свои пестрые, шумные города. Эти красивые оживленные поселки были созданы ею. Что мужчины! Что любовь! Разве можно было струиться, цвести, разветвляться, жить богаче, чем она? Разве эти приливы и отливы, это живое, целеустремленное движение не составляли часть ее самой? Она отдавалась вся, вращалась в страну. Могла ли страна этого не чувствовать, могла ли не ответить на такую любовь, не принять ее в свое лоно? Да! Да! Да! В городах дома смотрели на нее живыми глазами, полными понимания, камни дорог звучали иначе под копытами ее лошадей. Ледяной покров растаял, отдаваясь стране, она растворялась во всем этом, была удовлетворена, счастлива.

В теплый вечер Якоб фон Шенна и Берхтольд фон Гуфидан ехали не спеша по расчищенной тропинке в замок Шенна. Они держали путь из Мерана, где герцогиня, в добавление к Большому совету, торжественно даровала еще Малый, значительно расширив права бюргерства. Это был дар большой ценности, ради него герцогиня пожертвовала немалой долей своего влияния и большой суммой денег. Народ, как и подобало, почтительно благодарил, оглашал воздух приветственными кликами, с уважением называл ее «наша Маульташ».

Всадникам пришлось спешиться, пропустить небольшой элегантный поезд. Оба очень вежливо поклонились. В носилках сидела Агнесса фон Флавон. Вокруг теснился народ: «Как она прекрасна! Чисто ангел божий!» Народ приветствовал ее, эти клики, восторженные, неудержимые, звучали совсем иначе, чем до того, во время церемонии в честь герцогини.

Господин фон Шенна насвистывал итальянскую песенку. Берхтольд фон Гуфидан был задумчив: глаза, голубевшие на мужественном смуглом лице, смотрели перед собой напряженным, невидящим взглядом. Он не отличался сообразительностью.

Перед самым городом они настигли маленькую группу канатных плясунов, показывавших свою ловкость небольшой кучке народа. Огненно-рыжий скомо-рох вывел большую обезьяну. Меланхолично и неуклюже сидела она внутри обруча, ловила яблоко. Затем выступила девушка, плясала, жонглировала мячами. Потом очередь снова была за обезьяной. Ее одели в голубой шелк, нацепили на голову золотую фольгу. И вот она сидела перед зрителями, длиннорукая, неуклюжая, очень нелепая, грустная, злая, скалила желтые зубы, торчавшие из пасти с мощно выпяченными челюстями. Публика с минуту смотрела на нее. Затем вдруг со всех сторон грянул хохот, ржанье, сотрясавшие грудную клетку и все кишки, люди хлопали себя по ляжкам, орали без конца, бездыханно: «Губастая! Это же герцогиня! Губастая!»

Всадники продолжали путь. Берхтольд досадливо насвистывал сквозь зубы. Навстречу им шла сборщица винограда, босая, смуглая, хорошенькая. Она поклопи-

лась, смиренно улыбаясь. Берхтольд не взглянул на нее. Шенна бросил ей несколько шутливых слов. Но его веселость казалась не совсем искренней. Скоро приуныл и он; молча, как и Берхтольд, продолжал путь, сутулясь в седле, с кислой презрительной гримасой на длинном увядшем лице.

В Ала, во время переговоров братьев Аццо и Маркабруна, баронов из Лидзаны, с членом триентского капитула, господин Аццо, старший брат, не кончив фразы, вдруг пошатнулся; лицо его стало желтым, затем синеватым, он упал. Под мышками, в паху, на бедрах появились шишки, черные, гнойные, величиной с яйцо. Он хрипел, не приходил в сознание, через несколько часов умер. Триентинец в ужасе, нахлестывая коня, помчался обратно в родной город. Значит, вот она, чума. Значит, она проникла и в страну среди гор. Что в Вероне четверо-пятеро уже умерли, видимо, правда. И вот черная смерть пробралась в горы. Помилуй всех нас, господи.

Чума пришла с востока. Сначала она свирепствовала на морском побережье, затем проникла в глубь страны. Она убивала в несколько дней, иногда в несколько часов. В Неаполе, в Монпелье погибли две трети жителей. В Марселе умер епископ со всем капитулом, все монахи — доминиканцы и минориты. Целые местности совершенно обезлюдели. Никем не управляемые, носились по морю большие многовесельные суда с товарами, весь их экипаж вымер. Особенно свирепствовала чума в Авиньоне. Падали наземь сраженные кардиналы, гной из раздавленных бубонов пачкал их пышные облачения. Папа заперся в самых дальних покоях, никого не допускал к себе, поддерживал целый день большой огонь, жег на нем очищающие воздух травы и курения. В Праге, в подземной сокровищнице, среди золота, редкостей, реликвий сидел Карл, король германский, он наложил на себя пост, молился.

Грозно разразилась эпидемия в тирольских долинах. В Виптале уцелела только треть населения, в многочисленном Мариенбергском монастыре — только настоятель Визо, священник Рудольф, один послушник и брат

Госвин, летописец. В иных долинах из шести человек выживал один. Так как чумой заражались через дыхание, одежду и утварь, то каждый, исполненный вражды и недоверия, избегал своих близких, друг — своего друга, невеста — возлюбленного, дети — родителей. Люди умирали без причастия, в городах многие дома со всей обстановкой стояли пустые, и никто не решался в них войти; в церквях не служили обеден, дела в суде не разбирались. Врачи говорили разное, но в конце концов не находили иной причины, кроме того, что такова, дескать, воля божья. Оказать помощь они не могли. Люди, обезумев от ужаса, кастрировали себя, бичевали, женщины объединялись в общины сестер. И вот потянулись процессии флагеллантов, кликуш, пророков. Другие нажирались до отвала, предавались излишествам, пировали, распутничали. Окровавленные, изможденные флагелланты встречались с шествиями пьяных, пестро разряженных карнавальных масок.

Из трех детей Маргариты в живых остался только сын Мейнгард, обе девочки умерли. Они лежали отвлратно вздувшиеся, с громадными черными опухолями. Маргарита думала: «Теперь они так же безобразны, как и я».

Ей было некогда размышлять об этом. Она работала, бесстрашно бывала повсюду, полная ясности и спокойствия. Среди чудовищного смятения выполнялись только немногие ее приказания, да и то неудовлетворительно; все же она держала страну в большем подчинении и порядке, чем это при всеобщем развале удавалось другим правителям. И как только чума стала затихать, Маргарита тотчас натянула поводья, стараясь приноровить управление к новой, более просторной после убыли населения, но распатавшейся жизни. Решительно воспротивилась расхищению многочисленных поместий, оставшихся без владельцев, причем сумела, воспользовавшись случаем, приобрести задешево, но вполне пристойным образом немало угодий и богатств.

Мессере Артезе был чрезвычайно занят, для него это было горячее время. Повсюду в мире дома и недвижимости, права и привилегии доставались наследникам, не знавшим, что с ними делать. Он скупал, загребал.

Однако в Тироле ему оказали сопротивление. Тут были запрещения, стеснявшие его, права двора, чиновников, суровые параграфы закона. В замке Тауферс, в присутствии Агнессы, он дал себе волю, разбушевался. Во всем виноват этот еврей, этот хитрый Мендель Гирш! Еврей мешал ему, мешал его сделкам доброго христианского финансиста. Это он, лишь бы вставить ему палки в колеса, измыслил всевозможные наглые, дьявольски хитрые оговорки и ограничения.

Агнесса дала флорентинцу излиться, молча слушала, неотступно смотрела на него глубокими синими глазами. Затем бесстрастным, волнующим голосом принялась рассказывать. Она побывала на Рейне. Там во многих городах евреев переловили и сожгли. Ибо чуму вызвали евреи, они отравили колодцы. Она знает наверно. В Цофинене нашли яд. В Базеле она сама была свидетельницей того, как евреев загнали в деревянное здание на рейнском острове и там сожгли. Они страшно кричали, вонь еще долго стояла в воздухе! И правильно сделали, что их сожгли. Они, треклятые, действительные виновники чумы. Правда, хромой Альбрехт Австрийский, епископ Майнцский, герцогиня Маульташ защищают своих евреев. И Агнесса добавила медленно, равнодушно, все еще не сводя глаз с флорентинца: «Вероятно, у этих господ имеются для того веские основания».

Мессере Артезе слушал, ничего не возражал. Уехал, не закончив дел, обратно в свою Флоренцию.

И вот из Италии медленно пополз по долинам Тироля, распространяясь все дальше, сначала только липкий слух, затем постепенно сложилась твердая уверенность: это евреи напустили чуму. И пока евреев не выгонят из страны, чума не прекратится. Угроза росла. Травля. Нападения.

Тем временем евреи носились туда, сюда, занимались делами. Много было дел, крупных дел, голова шла кругом. Маленький Мендель Гирш суетился, жестикулировал, гортанно кудахтал, его многочисленные дети, с глазами как миндалины, тоже суетились, даже древняя лопочущая бабка ожила, спрашивала с усилием, едва ворочая языком: «Ну, как дела?» Дела шли

превосходно, благодарение богу. Чума убывает, не сглазить бы. Забот пропасть, надо торговать, покупать, посредничать, заключать сделки. Скоро уже можно будет, даст бог, открыть в Боцене первую большую ярмарку. Милостивая госпожа герцогиня, — бог да хранит ее! — не может шагу ступить без Менделя.

А между тем оно подползало, страшное, оскаленное, бессмысленное, все черней. Евреи знали, что это. Так же было двенадцать лет назад, перед свирепой резней, устроенной «Кожаной рукавицей». Теперь оно надвигалось с юго-запада. Тщетно папа, многоопытный, мудрый, добрый Климент, пытался бороться с этим — и лично и с помощью булл, — указывая, что ведь евреи сами пострадали от чумы не меньше других: как же они могли быть ее виновниками? Причиной преследований евреев были не колодцы, якобы отравленные ими, а принадлежавший им капитал и расписки их должников. Евреев грабили и убивали в Бургундии, на Рейне, в Голландии, в Ломбардии, в Польше. В двенадцати, в двадцати, в ста, в двухстах общинах. Тирольские евреи выжидали. Постились, молились. Делать крупные подарки тирольским властям не имело смысла. Что герцогиня по мере сил защитит их, в этом можно было не сомневаться. Маркграф тоже благоволил к ним, как и его отец, способствовавший процветанию городов и торговли и всегда простиравший над ними свою ограждающую руку. Но оказалось, что от неистовствующей черни, почуявшей кровь и золото, не в силах защитить ни император, ни папа, ни палач. Можно было только ждать, молиться, заниматься своими делами.

И затем вдруг события разразились в тот же день в Риве, Роверето, Триенте, Боцене. В Риве евреев утопили в озере, в Роверето их заставили, под рев и рык толпы, прыгать с высокой скалы, в Триенте их сожгли. В Боцене больше увлекались грабежом, убийства происходили неорганизованно. Их совершали как попало, и от семьи Менделя остались в живых только бабка, одна из невесток и один малыш.

В Мюнхене маркграфу не удалось защитить своих евреев; в Галле и Инсбруке он решительно встал между ними и разнузданной чернью. Он был за право и

справедливость. Так как мертвым он уже не в силах был помочь, то хоть отбил добычу у убийц, им мало чем пришлось поживиться. А баварские и швабские господа стали теперь взыскивать в пользу маркграфа то, что убийцы остались должны убитым, и притом гораздо беспощаднее, чем это сделали бы сами евреи. В конце концов вмешался и Карл. Он хотел получить с маркграфа, как и со всех других правителей, чьи евреи были перебиты, свою долю их имущества. Началась отчаянная торговля.

Услышав о насилиях, Маргарита, охваченная злоеющим ужасом, поспешила в Боцен. Прибыла среди ночи. Увидела в неверном свете факелов зверски разрушенный дом: маленькие, заставленные всяким скарбом, комнатенки стояли теперь нагие, разграбленные, загаженные. Увидела трупы сыновей, дочерей, зятьев, невесток, многочисленной, некогда кишевшей здесь детворы с глазами как миндалины; одни были зверски искромсаны и изувечены, у других — такие малозаметные раны, что сразу и не увидишь. Быстрые, подвижные, они лежали теперь очень тихо, очень тихо лежал и Мендель Гирш. На нем был молитвенный плащ, вокруг лба и руки обвились молитвенные ремешки; ран не было заметно; при свете факелов чудилось, что он улыбается смиренно, многозначительно, ласково, мягко, умно. Что он вот-вот качнет головой, проговорит, картавя: «Ничего страшного, все очень просто. И люди вовсе не так плохи, они забиты, да и слишком туго соображают. Нужно объяснить им все по-хорошему». Но он ничего не говорил, не картавил, не жестикулировал, лежал совсем тихо. Он желал добра, себе, конечно, в первую очередь, но и ей и ее Тиролю, он был человек разумный и дельный, мог принести большую пользу стране и ее возлюбленным городам. А вот его убили глупо, бессмысленно, по-скотски. За что же, собственно? В упор, сурово и настойчиво подступила она к одному из стоявших вокруг с вопросом. «Да ведь это он напустил чуму!» — ответил тот смущенно, тупо, упрямо.

Тихонько пищал в углу уцелевший младенец, почему-то разряженная женщина пыталась укачать его, пела резким, надтреснутым голосом, бабка лопотала.

Маргарита приблизилась, протянула руку, чтобы погладить ребенка. Она чувствовала себя усталой, несчастной. При свете факелов увидела она свою руку, — большая уродливая, кожа желтая; она забыла набелить ее.

В Мюнхене, в одном из обширных покоев нового дворца, — его заложил еще отец, а сын продолжал достраивать, — стояла, под холодно устремленным на нее взглядом маркграфа Людвига, баронесса фон Тауферс, Агнесса фон Флавон. Она просила разрешения продать некоторые из принадлежащих ей поместий. Покупатель — местный уроженец. Однако за всем этим тайлся мессере Артезе. Агнесса была маркграфу несимпатична; он слышал немало о ее беспорядочном цыганском хозяйстве; его худое, смугловатое лицо с белокурыми усами оставалось замкнутым, серые колючие глаза смотрели подозрительно.

Агнесса чувствовала его враждебность, но несколько не казалась обиженной. Она ходила мимо него скользящей походкой, смотрела глубокими темно-голубыми глазами, улыбалась узким ртом, алевшим на белом лице, очень оживленная, очень дама, без преувеличенной любезности. Осторожно, искусно пыталась она растопить лед, чуть-чуть посмеивалась над тем, какой он злой бирюк.

Он посмотрел на нее внимательнее. Все-таки к ней несправедливы. Его друзья требуют от женщины, чтобы она день и ночь не вылезала из хозяйства, ходила по пятам за слугами, надзирала за кухней и бельевой. А эта женщина — лакомый кусок, бесспорно. Хрупкая, холеная, грациозная, и все же мускулистая, полная сил. Он простился с ней любезнее, чем поздоровался. Сказал, чтобы она вторично явилась к нему.

Долго смотрел ей вслед. Вздохнул. Подумал о Маргарите. Та была снова беременна. Да, красавицей ее не назовешь! Если сравнить с этой — даже страшно становится. Умна она, это верно, наша Маульташ. Люди уважают ее. Но не любят. А когда они видят эту, они восторженно ее приветствуют.

Вот и обе девочки умерли. В народе говорили: кара божья. Винят его, конечно. Оттого, что папа римский предпочитал видеть Тироля под своим любимчиком Карлом, его, Людвига, брак считался осквернением таинства, его дети — бастардами. И в том, что не звонили колокола, и в пожарах, наводнениях, саранче, чумной эпидемии тоже винили его.

Болваны! Ослы толстокожие! Тупицы! Разве такое удовольствие — быть мужем Губастой? Давно уже не обращает он внимание на ее наружность. Сегодня эта наружность снова поразила его. С такой женой он стал посмешищем всей Европы. Ведь он — государь и властитель, самый могущественный человек в Германии. От его ласки расцветали города; и плодоносные земли от его гнева засыхали. Все это далось ему нелегко. Пришлось работать день и ночь, действительно на совесть. Не знать иного страха, кроме страха божия. Исполнять свой долг, суровый и трудный, изо дня в день. А к чему все это! На посмешище всей Европы.

Внизу Агнесса садилась в носилки. Кругом стояла толпа, обнажив головы, восторгаясь. Будь Агнесса на месте Губастой, люди не говорили бы «кара божья» даже при саранче и чуме.

Не взглянула ли она наверх? Словно пойманный школьник, он быстро отвернулся.

Несколько недель спустя Маргарита родила мертвого ребенка. Маркграф помрачнел, стал холодней. Нет благословенья его браку. Теперь вся надежда на единственного сына, Мейнгарда, безобидного, толстого юношу, малоодаренного, болезненного, который, казалось, несколько не походил на своего дедушку Людвига, а скорее на деда с материнской стороны, на доброго короля Генриха.

Уже по истечении недели Маргарита снова принялась за дела. Она работала с той же добросовестностью и усердием, что и раньше. Но охота пропала, города уже не были для нее возлюбленными. Маленький ласковый еврей, так искусно вливавший в них жизнь, был убит, дети, которых она родила, умерли. Разбивалось

все, к чему бы она ни прикоснулась. Ничто не слушалось ее, не расцветало. Маркграф? Добросовестный, черствый человек. Ее сын? Толстоватая, глуповатая посредственность. Что ей остается?

Все ближе становился ей теперь Конрад фон Фрауенберг. Этот безобразный офицер с красными глазами и белобрыйсой головой был предпоследним из шести сыновей Траутзама фон Фрауенберг, довольно незначительного баварского рыцаря, отличившегося когда-то в одном из сражений за императора Людвига. Благодаря этому Конрад попал еще мальчиком в пажи к баварскому двору, затем в свиту маркграфа в Тироле, где получил чин младшего офицера, но долго оставался в тени. Его безобразие и ворчливый, озлобленный тон отпугивали людей. Ничто не сулило повышения безвестному солдату, но его дерзкая, отважная решимость во время осады замка Тироль вдруг выдвинула его.

Всю ту мечтательность, которая еще оставалась у Маргариты, всю ее тоску по красочности, пестроте, приключениям, все остатки того, что господин фон Шенна называл «былые дни», сосредоточила она на грубом, некрасивом Фрауенберге. Этот альбинос, с его большой жабьей пастью, скрипучим голосом, короткими грубыми руками, рисовался ее воображению каким-то заколдованным принцем. То же, что и у нее: под неуклюжей оболочкой, наверно, кроется утонченная и чуткая душа. Поневоле будешь груб и суров в такой шкуре. Бедный, одинокий, непонятый! Она относилась к нему особенно по-дружески, почти по-матерински.

Суровая, неприкаянная молодость сделала Фрауенберга холодным, черствым хитрецом. Он знал, что безобразен, и считал в порядке вещей, что все отталкивают его. Будь он наверху, он тоже топтал бы остальных. Он не верил ни во что на свете. Деньги, власть, собственность, похоть — вот цель всех людей, корыстолюбие, властолюбие, любострастие — единственные мотивы их поступков. Не существует ни наград, ни наказаний, ни справедливости, ни добродетели. Все это вздор. Люди делятся только на ловкачей и разинь,

в жизни может только повезти или не повезти. Он придерживался одного мнения с песенкой, в которой говорилось, что только семь удовольствий достойны хвалы и желаний: первое — жрать, второе — пить, третье — облегчаться от съеденного, четвертое — от выпитого, пятое — лежать с женщиной, шестое — купаться, но седьмое, самое лучшее — это спать.

Когда герцогиня подарила его своим вниманием, он ни на миг не усомнился в том, что ее интерес не что иное, как порыв чувственности. Не было, впрочем, ничего удивительного, что выбор уroda пал на урода. Он уже было смирился: он рассуждал трезво, деловито, давно сказал себе, что, как пятый сын в семье, да еще с таким лицом, не имеет никаких надежд выдвинуться, но всегда с хитрой, беспощадной зоркостью держался настороже, готовый к прыжку. И вот перед ним открылась блестящая возможность. Ему повезло, как утопленнику, безобразная потаскушка вдруг вспылала к нему страстью. Он это использует.

Перед слугой он дал себе волю, неистово ликовал, расточая непристойные похвалы Губастой и ее похоти. Вопреки обычной скупости, налил парню отдельную кружку пива. При свече, один на один с ним, пропьянствовал всю ночь, горлая песенку о семи самых желанных радостях. Уж он выжмет из этой Маульташ все, что ему заблагорассудится. Затем блаженно растянулся на постели, намереваясь заснуть. Да, спать — самая приятная вещь на свете. Он чувствовал, как ноет от усталости все его тело. Похрустел суставами. Широко разинул пасть. Поворочался, сладострастно зевая, заснул.

Он шел своей дорогой хитро и осмотрительно, однако никогда ничем не смущаясь. Он чувствовал, что маркграф не любит его. И старался не попадаться ему на глаза. Старался вообще быть незаметным. Но как только Маргарита оставалась одна, он с дерзкой бесцеремонностью ловил мгновение, вымогал замки, поместья, судебные доходы, стал наконец ландсгофмейстером. Никто, и прежде всего он сам, не предсказал бы ему такой карьеры. Прожорливо, нагло ухмыляясь, загребал он все, что попадалось под руку. Достигнув

положения ландсгофмейстера, оставался тем же мелким офицершкой. Никого и ничего не уважал, ни во что не верил, кроме силы, денег, похоти.

А Маргарита, как и раньше, обращала все свои мечты к альбиносу. Его отталкивающая внешность делала его отмеченным, роднила с ней. В этом корявом, толстомясом, отвратительном чурбане должна быть душа. Он ничем не поощрял ее мечтаний; самое большее — пошлой фамильярной усмешкой дурного тона. Она не замечала его убожества или принимала его опустошенность за горькое смирение, за нарочитую немоту, стыдливо затаившую все нежное и благородное.

Озабоченно наблюдал господин фон Шенна за тем, как Маргарита, в сущности без особых причин, скорее по какой-то инерции, отходит все дальше от маркграфа и, почти против воли, все больше сближается с Фрауенбергом. Это претило ему. Его оскорбляло, что, будучи столь взыскательной, Маргарита, наряду с ним самим, избрала своим доверенным именно этого человека. Что между ними общего? Как могла она сочетать его изысканный рафинированный скептицизм с грубой низкопробной пустотой и цинизмом баварца? Самолюбие фон Шенна было задето тем, что Маргарита делит свое доверие между ним и этим человеком.

В общем же, господин фон Шенна процветал. Чума пощадила его. Он получил наследство, использовал, кроме того, время после чумы для округления и благоустройства своих великолепных поместий. В своих замках он вел жизнь утонченную и уютную, среди картин, книг, красивых вещей и павлинов; как и раньше, не хотел заниматься службой, радостным, задумчивым взором озирали свои огромные плодовые сады, пашни, виноградники, с каждым днем становился все мягче, мудрее, покоился в себе, словно зреющий, тщательно оберегаемый плод. Аббат Иоанн Виктрингский, теперь секретарь герцога Альбрехта, очень постаревший, трясущийся, мог цитировать применительно к фон Шенна чуть ли не всего Горация.

С высоты этого покоя и мира он охотно помог бы Маргарите. Он пытался снова укрепить близость между

Маргаритой и маркграфом. Благоприятствовало этим попыткам и то, что гнет отлучения, тяготевший над браком Маргариты, стал за последнее время легче.

Дело в том, что Иоганну Люксембуржцу уже давно надоело, будучи на деле холостым, оставаться в глазах церкви женатым человеком. Благодаря мудрой политике его брата, короля Карла, положение его значительно улучшилось, и Иоганн надеялся окончательно укрепить его при помощи удачного брака. Но для этого надо было сначала по всем правилам развестись с Маргаритой. Он попросил ее о свидании. Он хотел бы совместно с ней найти формулу, которая была бы для обоих приемлема и никого не унижала бы. Их интересы совпадают. Что ж, это было верно, и Маргарита выразила готовность принять его.

Так герцог Иоганн появился в замке Тироль в роли гостя. На этот раз ворота широко распахнулись перед ним. Барабаны, трубы, почести. Длинное лицо Иоганна было все таким же мальчишеским. Без всякого смущения смотрел он на Маргариту своими маленькими, глубоко сидящими глазками. Заговорил в тоне мрачной шутливости, дружеской иронии. И вот они сидели вместе, придумывали основания для развода, усердно вертели их так и сяк, кроили, пригоняли. Наконец, довольные, столковались. Герцог Иоганн женился-де на Маргарите, состоящей с ним в четвертой степени родства, не ведая об этом родстве. Как оба ни старались честно осуществить свой брак на деле, это им не удалось, оттого, конечно, что Иоганн был заколдован. А между тем Иоганн вполне способен вступить в брак с другой женщиной и желает продолжить свой высокий род, а посему просит папу объявить его брак с Маргаритой недействительным. Папа, будучи другом богемских Люксембургов, бесспорно не откажет в удовлетворении этой просьбы. Окончив переговоры, Иоганн позавтракал у Маргариты. Оба были в хорошем расположении духа.

— А вы нисколько не постарели, волчонок,— сказала Маргарита.

— А вы, герцогиня Маульташ, особа хоть куда,— сказал Иоганн. Каждый смотрел свысока и на собесед-

ника и на ситуацию; все отлично устроилось. На такой основе их взаимоотношения были даже приятны. Простились они дружелюбно, со свирепой фамильярностью заговорщиков.

После смерти обеих дочерей Маргариты вопрос о престолонаследии оказался примерно в том же положении, как некогда при добром короле Генрихе. Единственным наследником являлся мальчик Мейнгард; он был слаб здоровьем, а его сестры умерли в раннем детстве. Поэтому могущественные немецкие государи снова поглядывали на Тироля, тянулись к нему жадными руками. Люксембурги были заняты округлением своих земель на Рейне и на Молдаве, что мешало им принять участие в борьбе за страну в горах. Зато Виттельсбах и Габсбург, опиравшиеся на бесспорность и законность своих прав, караулили, не спускали с нее глаз.

Габсбург, хромой Альбрехт, выращивал семена грандиозного плана. Сам он, правда, едва ли мог надеяться увидеть его плоды. Но озлобленный и умудренный болезнью хромец давно уже трудился не ради завтрашнего дня, а ради далекого будущего. Ему оставалось либо заполучить Тироль, этот путь на Запад, этот мост к швабским владениям, либо вовсе отказаться от мечты о великодержавии.

Прежде всего попытался он привлечь на свою сторону владетельных епископов. Триент и Хур имели зуб против Виттельсбахов; они были склонны предаться Габсбургу, который их ласкал. Так же щедр и приветлив был Альбрехт по отношению ко всем влиятельным тирольским дворянам. Он пожаловал господам фон Шенна, фогтам фон Мач и Фрауенбергу титулы, чины и должности, не требовавшие особых трудов и приносившие большие доходы:

Всеми способами старался он завоевать дружбу и доверие самого маркграфа. При нападении на него Люксембурга он не ударил с фланга, он даже взялся быть между ними посредником. Вскоре дело дошло до того, что хромой Альбрехт выдал одну из своих дочерей за малолетнего безобидного толстяка Мейнгарда, наслед-

ника тиро́льского престола. Кроме того, Альбрехт, обычно столь расчетливый, без отказа кредитовал вечно стесненного маркграфа и ставил его тем самым в еще большую зависимость от себя.

Затем вдруг, когда Людвигу вновь понадобилась значительная сумма, финансовые советники австрийца заявили, что, к сожалению, на этот раз деньги дать невозможно. Их кассы опустели; мало того, они, к своему прискорбию, вынуждены взыскать с него ранее одолженные суммы. Маркграф, пораженный, в гневном смущении, хотел сразить их взглядами, словами. Но сдержался, прикусил губу, молча ушел.

Собирался лично обратиться к Альбрехту. Но не позволила гордость. При втором свидании габсбургские финансовые советники невинно заявили тиро́льским, что нашли превосходный и дешевый способ расплаты. Пусть маркграф, в виде залога под прежние и новые суммы, передаст Австрии на несколько лет управление Верхней Баварией. С помощью сбережений, полученных от объединенного и более дешевого управления, Альбрехту в короткий срок удастся выжать из Верхней Баварии долг маркграфа.

Когда советники передали маркграфу это предложение, он побледнел, окинул их жестким колючим взглядом голубых глаз. Нет, они не улыбаются! У них трезвые, сосредоточенные чиновничьи лица. Он судорожно глотнул, сказал, что подумает. Кивнул, отпустил их.

Остался один, сидел тяжело поникнув, склонив массивную шею. Это требование — просто бесстыдство. Но ведь Альбрехт умен, дружески расположен к нему и, верно, не хотел его обидеть. Дело, видимо, все-таки в том, что иначе денег не раздобудешь. Уступить доходы; но доходы ведь не страна. Все же, если старший в роде Виттельсбахов вынужден передать управление своими наследственными землями Габсбургу, — это, несмотря на гарантии, суровое, очень суровое, почти невыносимое испытание.

Но когда он излагал подробности этого предложения в своем совете, то говорил спокойно, по существу, словно в нем ничего особенного нет. Зло следил за лицами, не осмелятся ли его советники выдать затаенную

злорадную усмешку. Ах, будь жив его друг Конрад фон Тек! С ним такое недоверие было бы излишним. И легче было бы вынести все. Однако — без сентиментальностей! Он в двух словах изложил суть дела. Своего мнения не высказал. Попросил советников высказаться.

Первым заговорил Фрауенберг. Он понимал, конечно, как и остальные, что австрийское предложение — чистейшее вымогательство. Ему лично решительно никакого дела не было ни до Людвига, ни до Альбрехта, ни до Баварии, Тироля, Австрии. Габсбург богаче и умнее; вероятно, он поэтому возьмет верх. А так как он, кроме того, почетными должностями и громадными суммами купил Фрауенберга, то Фрауенбергу следовало бы склонить Людвига на это предложение. Но если он, Фрауенберг, начнет уговаривать его, то Людвиг, который и без того терпеть его не может, что-то заподозрит. По сути же дела, хочет маркграф или не хочет, ему все равно ничего не остается, как подписать, скрежеща зубами, унижительное соглашение. Так что он, Конрад Фрауенберг, может спокойно позволить себе шутовской жест, без ущерба для Габсбурга разыграть баварца-патриота и усердно отговаривать своего государя от наглого, унижительного австрийского плана.

Маргарита встретила предложение Габсбурга восторженно. Денег будет вдоволь, и можно будет наконец, наконец-то разделаться с гнетущими обязательствами, оставшимися еще со времен доброго короля Генриха. Как расцветут, сбросив это бремя, ее возлюбленные города! Бавария всегда была для нее только придатком. Она охотно откажется от нее ради денег. Шенна и Мендель Гирш научили ее понимать силу денег. Что толку в большом теле, если в нем недостаточно крови? Теперь у страны появится кровь, теперь страна выздоровеет. Ее добрая страна! Ее цветущие, любезные сердцу города!

Мрачно слушал маркграф. Вот и видно, что она никогда его не понимала. Он — баварец, Виттельсбах, сын императора, привык властвовать над миром, привык мыслить не иначе, как целыми государствами; она же тиролька; у нее мысли кончаются там, где кончаются

ее горы. Они дотягиваются только до равнины, не дальше. Она дочь графа Тирольского, мелкого князька, ограниченная, расчетливая, просто лавочница. Он же — первенец римского императора, властный, с мировым охватом, отвечающий только перед собой и богом. Нет, их разделяет нечто большее, чем ее безобразия.

Заговорил изысканный фон Шенна. В это мгновение Людвиг ненавидел его. Этот, конечно, одного мнения с Маргаритой, ведь он тоже тироловец, не баварец. Наладить финансы обеих стран, говорил Шенна, из собственного кармана, к сожалению, невозможно. Поэтому очень хорошо отдать ненадолго благородного скакуна Баварию подкормиться на конюшню к дружески расположенному Габсбургу. Зато удастся получить овес, необходимый для доброго коня Тироля. И потом — разве есть еще выход?

Да, разве есть еще выход? Вот то-то и оно. Возражать совершенно бесполезно, как бы доводы ни были убедительны. Унижение приходилось проглотить. Маркграф опустил голову, толстая апоплексическая шея побагровела. Поблагодарил членов совета грубо, отрывисто. Сказал, что примет сказанное ими во внимание. Все знали заранее, как он решит.

Крепко рассерженный, выехал Людвиг из замка Тироль и верхом, с небольшой свитой, направился к северу, в Мюнхен, чтобы, перед тем как отдать Баварию Габсбургам, обсудить там ряд последних, уже второстепенных вопросов.

Унылый октябрьский день. Моросит мелкий, тоскливый, нудный дождь. Что видишь от жизни? Ты правишь, ты могущественный государь. Но ведь большая часть того, что делаешь, — все эти торжественные церемонии, манифесты, выходы к народу тебе претят, они только угнетают душу. И вот теперь предстоит уступить управление своим родовым наследием Габсбургу, делать при этом любезное лицо, еще сказать, пожалуй: «Бог да воздаст тебе сторицей!» Он заскрипел зубами. Увидел устремленные на него огромные, тускло-голубые глаза отца. Что сказал бы он теперь!

Там, дома, все радуются. Этот противный Шенна, семи пядей во лбу, всех высмеивающий, с его наглой, нудной улыбкой. Фрауенберг, бесстыдный баран, нагло блеющий о достоинстве Виттельсбахов, об обязанностях Виттельсбахов в отношении Баварии, а в душе злорадствующий! Ведь он, поганный раб, отлично знает, что Виттельсбаху придется пойти на уступки. Для Губастой, не помышляющей ни о чем, кроме своего Тироля, Бавария только товар, которым можно торговать, и она охотно вышвырнет его, лишь бы ей получить побольше гульденов и веронских марок. Уродина, делающая его посмешищем всего христианского мира! До чего она ему омерзительна! Как она сидела и жадно прислушивалась к сиплому голосу этого Фрауенберга, этого альбиноса, ублюдка! Его жена! Его герцогиня! Фу, Губастая!

В самом деле, ну скажите во имя Христа, что хорошего видел он в жизни? Не следует ли ему, по дороге в Мюнхен, до того как он выпьет горькую чашу, сделать нечто, гораздо менее горькое? Что, если он завернет в Тауферс, убедится собственными глазами, как там идут дела? Времени это возьмет немного, кроме того, чем дольше он отсрочит предстоящее ему, тем лучше.

В Тауферсе Агнесса была вовсе не столь удивлена, как он ожидал. Правда, когда привратник доложил ей, что едет маркграф со своей свитой, она глубоко вздохнула, потянулась, сыто улыбаясь очень красными губами. Но приняла своего государя с равнодушной учтивостью, казалась вовсе не такой уж польщенной. Да и обед, предложенный ему, и сервировка — все достаточно тонкое и изысканное, — были очень далеки от той хвастливой роскоши, за которую ее осуждали и с которой она принимала и менее знатных гостей, хотя бы мелких итальянских баронов.

Людвиг смотрел на нее. Горели свечи, в камине рдел небольшой огонь — благовонное дерево. Слуги разносили фрукты и конфеты. Пленительная особа, клянусь смертью и страстями господними! Не удивительно, что на ее счет столько сплетничают. Но подступить к ней нелегко. Тон, в котором она вела разговор с ним, был холодноват, чуть насмешлив: не очень-то она подпускает к себе. Маркграф, серьезный, неловкий, сделал

несколько беспомощных попыток сказать ей комплимент. Она посмотрела на него спокойно, не понимая. Нет, просто недотрога какая-то.

Тем неожиданнее была для него па другой день бесстрастно изложенная Ангессой просьба разрешить ей присоединиться к маркграфу для путешествия в Мюнхен. Она хотела бы проводить сестру, да и кроме того, у нее есть дела в Баварии.

Маркграф нерешительно, растерянно молчал. Просьба показалась ему неуместной. Пойдут разговоры. А он серьезный, уравновешенный человек, да и не по возрасту ему такие авантюры; он отнюдь не желает, чтобы про него распускали сплетни. Но не мог же он отказать даме,— как-никак она была ею,— к тому же гостеприимно встретившей его, в таком ничтожном одолжении. Ворчливо, неуклюже, грубовато он заявил, что очень рад.

Во время путешествия она вела себя благоправно, сдержанно, скромно, пребывала почти все время в своих носилках, не показывалась. Но в уединении, скрытая занавесками, она упивалась, насыщалась своим торжеством. А та, соперница, сидела в замке Тироле, именовала себя маркграфиней Бранденбургской, герцогиней Баварской, графиней Тирольской. У нее был почтенный, достойный супруг. Она нарожала ему детей. Внедрилась в него, внедрила его в себя. А вот сейчас она, Агнесса фон Флавон, разъезжает с маркграфом по наследственным владениям этой соперницы.

Высокомерно и словно принуждая себя, устраивал Людвиг в Мюнхене свои неприятные дела. Тотчас по прибытии Агнессы, вежливо, но сдержанно поблагодарив его, простилась. Теперь бы он охотно иной раз озярил свои унылые вечера блеском ее присутствия. В первый раз она отказалась, во второй прибыла. Он привык к ней. Она уехала за город, повидать сестру. Он медлил с отъездом, чтобы она могла к нему присоединиться.

Когда Агнесса следовала обратно среди лучезарных красок поздней осени, она больше не уединялась в своих носилках. Блистательная, ехала она на разубранном коне бок о бок с маркграфом, высокомерно закинув голову.

Деньги потекли в страну. Громадные ссуды, полученные за Баварию. Промышленность ожила. Рудники, соляные копи. Строились дороги; торговые сношения были облегчены, упорядочены. Города росли, ширились, горожане расхаживали спесивые, чванные. Их дома становились выше, украпались изысканной мебелью, произведениями искусства, утварью. Стены, башни, ратуши, церкви росли. Птица, пряное вино стали ежедневным явлением на уставленном красивой посудой столе горожанина. И нарядней, чем жены мелких дворян, расхаживали теперь горожанки — шелка, пышные ленты, драгоценности, высоченный чепец, шлейф.

С каких же пор началась эта счастливая перемена? С тех пор как маркиграф сошелся с красавицей Агнессой фон Флавон. Агнесса фон Флавон, красавица, благословенная! Наверно, это ей пришла в голову счастливая мысль избавиться от Баварии, направить все силы и деньги в Тироль. Пошли, господи, все свои милости нашей красавице Агнесе фон Флавон! Сразу видно, что она избранница. Сразу видно, что ее небесную красоту освещает благословение матери божьей. А уродина, та меченая. Гнев божий на ней. Прокляты все деяния ее. Дети ее перемерли. Чума, пожары, наводнения, саранча — всюду, где ни приложит она свою руку. Все советы и дела ее обречены проклятию. Разве не она виновница этой связи с Баварией, явившейся источником стольких бед! Разве не она призвала жестоких, жадных баварских баронов, высасывающих все из страны? Души не чает в этом Фрауенберге, мерзком ублюдке. Сделала его ландсгофмейстером. Счастье, что маркиграф отвернулся от нее. Наконец увидел, где правда. Вот когда настали счастливые времена. Бог да благословит пашу дорогую прекрасную Агнессу фон Флавон!

На людей, ждавших ее вдоль дороги, Агнесса смотрела так же, как на дома и деревья, приветственные клики были ей необходимы, как необходимы украшения. Она улыбалась. Шествовала среди глазееущего, восхищенного населения, не глядя ни вправо, ни влево, закинув голову с тонкими, смелыми, гордыми губами. А народ ликовал.

Маргарита, далекая супругу, далекая сыну, была подавлена, погружена в себя. Могла думать только об одном: об Агнесе и ее победах. Видела Шенна, видела Фраусенберга. Видела, как города вздохнули свободнее, стали шириться, расти. Ее посев, ее дело. Из нее же все вынули, она опустела и обнищала. В том, что дано каждой женщине, ей отказано. Но цель была достигнута. Хотя это единственное ее утешение пребудет.

Тем прозорливее был Шенна. Видел, как народ приписывает красавице все, что сделала Безобразная, и от этого прозрения, от этого мучительного пробуждения хотел ее уберечь. Видел и то, что Людвиг все больше запутывается в сетях Тауферса. Еще боролся, задыхаясь, беспомощный, словно оглушенный, впервые познавший подобное безумие. Еще казалось все это приключением, имеющим конец, предел. Но скоро, через какие-нибудь две-три недели, пожалуй, уже будет поздно, он свяжет себя добровольно и неразрывно.

Шенна хотел вернуть его Маргарите. Хотел вернуть Маргарите расположение народа. Народ туп и нечуток. Но не все ли равно, что он думает? Любое животное мудрее его, более чутко. Нельзя, чтобы Маргарита утратила и это последнее.

Прежде всего надо добиться, чтобы с нее было снято дурацкое отлучение. Клеймо церковного отлучения отпугивает от нее народ, отпугивает от нее супруга. Ибо хотя ее брак с Иоганном и был теперь расторгнут по всей форме и она уже не являлась в глазах церкви нарушительницей супружеской верности, но вместе с тем ее брачная жизнь с Людвигом отнюдь не была папой санкционирована. Для церкви ее супружество продолжало оставаться преступным сожителем, а ее сын, кронпринц Мейнгард — бастардом. По-прежнему церковь считала ее и мужа отлученными, страну — находящейся под интердиктом. Правда, маркграф не раз посылал в Авиньон, предлагая любую компенсацию, какую бы папа ни потребовал; однако папа, подстрекаемый императором Карлом, оставался непреклонен.

Но Климент умер, его преемник, Иннокентий Шестой, находился под большим влиянием Габсбурга.

В прямых интересах самого Альбрехта, чтобы его дочь была женой признанного церковью законного наследника Тироля, а не бастарда. Шенна принялся за дело с непривычной для него настойчивостью. Ездил от Людвига к Альбрехту, от Альбрехта к Маргарите. Из Мюнхена в Вену, из Вены в Тироль.

Альбрехт ставил условия. Он сеет для будущего. Его дочь через брак с Мейнгардом получит право на страну в горах. Но Мейнгард — Виттельсбах. Ведь и Виттельсбахи могут, при известных обстоятельствах, притязать на Тироль. Эта беспокойная страна, как показал опыт, в конце концов всегда оставалась за тем, в ком народ видел законного властителя. Хотя Маульташ и нелюбима, все же народ с какой-то религиозной непреложностью чтит в ней единственную законную наследницу старого графа Тирольского. Она одна имеет право располагать страной; кому передаст, на стороне того и будет народ. Альбрехт ничего не требовал от Людвига Виттельсбаха; но он требовал от Маргариты духовного завещания. В случае если она, ее супруг Людвиг, ее сын Мейнгард умрут без прямых наследников, Тироль должен перейти к герцогам Австрийским. Это формальность, чистая формальность, заверял он фон Шенна. Да и то на самый невероятный, нежелательный случай. Но уж такой он, Альбрехт, педант. Он требует непременно Маргаритиной подписи. В обмен он обязуется добиться от папы снятия отлучения и интердикта с Людвига и Маргариты.

Шенна считал это предложение весьма выгодным. Он лично всегда предпочитал веселых обходительных австрийцев грубым, свирепым баварцам.

Маргарита сидела над завещанием, одна; был поздний вечер. Итак, она должна завещать страну Габсбургам. Ну да, она принесла ее в приданое сначала Люксембургу, затем Виттельсбаху: почему же не Габсбургу? Хромой Альбрехт, бесспорно, самый разумный и дельный из германских государей. А его сын Рудольф энергичен, умен. Дельные люди эти Габсбурги. Вероятно, они и Тиродем будут править толково. В их руках

уже Австрия, Каринтия, Крайна, часть Швабии, Герц, управление Верхней Баварией. И Тиродем они будут править не хуже.

Тироль! Ее Тироль! Только что ей удалось оторвать его от Баварии. А теперь он должен стать всего лишь седьмой страной при шести других. Страной, управляемой чужеземными государями. Ее Тироль.

Не горячиться. Все это гаданья о далеком будущем. Пока ведь ее сын еще жив. Правда, он не так умен и отважен, как Рудольф, как остальные сыновья Альбрехта. Допустим даже, что он несколько ограниченный юноша. Но он ее сын. Правнук графа Мейнгарда. Какое, собственно, дело тем, чужим, до Тироля? Будь ее сын хоть совершенным идиотом: он тиролец.

Тише, тише. Никто же не хочет ему зла. Ведь это на случай, если он не оставит наследников... Умный, злобный Альбрехт, хромец, заглядывает очень далеко вперед. В сущности, странно, почему требуют именно ее подписи? Ее муж — маркграф, сын императора, Виттельсбах; но умный Альбрехт требует именно ее подписи, не его.

Интересно, что думает на этот счет Людвиг. Ведь он тоже не промах. Он в хороших отношениях с Габсбургом. Как это его не спросили?

Разве умный Альбрехт уже знает точно, насколько тот от нее отдалился? Раньше Людвиг, наверно, обсудил бы это с нею. Теперь он уехал. В Баварию. С Агнессой. Она смотрит перед собой, ее широкий безобразный рот кривится печалью, не очень горькой. А почему бы Людвигу и не получить удовольствие с Агнессой фон Флавоном? Она очень красива. Он уже не так молод. Нароботался. Теперь вот отделался от Баварии. Пусть немного передохнет. Она очень красива. Почему бы ему и не получить удовольствие?

Она поднялась, тяжело, слегка охая. Еще раз перечла завещание. Оно было длинное и обстоятельное: «Божией милостью мы, Маргарита, маркграфиня Бранденбургская, герцогиня Баварская и графиня Тирольская, посылаем всем христианам, кои письмо сие узрят, прочтут или услышат, ныне и в будущем, наш привет и нижеследующее оповещение. Ежели случится — да

не допустит сего господь по великой милости своей, — чтобы мы и высокородный государь, любезный нашему сердцу супруг наш маркграф Людвиг Бранденбургский, скончались, не оставив законных наследников, а также любезный сын наш, герцог Мейнгард, скончался — чего да не попустит бог — без прямых законных наследников, то все вышеупомянутые герцогства и графства, земли и владенья, а также замок Тироль и все другие замки, монастыри, крепости, города, рынки, села и люди да отойдут как законное наследство и собственность любезным нашим дядям, герцогам австрийским».

Маргарита неловко выпустила из рук свиток, так что он, шурша, свернулся на столе. Она вышла из комнаты. Тяжело шаркая, пошла в обход, который привыкла совершать каждую ночь перед сном. В своих пышных одеждах, свисающих странно безжизненными складками, одиноко тащилась безобразная женщина по залам, жилым покоям и коридорам, и неуклюжая тень свечи опережала ее.

Она дошла до прядильни. Тяжеловесная дверь открылась почти бесшумно. Девушки уже кончили работу, в комнате было также несколько слуг. Все толпились возле молодой приземистой служанки, которая смущенно и весело посмеивалась. А вокруг нее — визг, возня, смех. Как? Она в самом деле не понимает? Тогда она единственная в Тироле без смекалки. Итак, еще раз. Мария-горе — мерзка и безобразна; куда она ни ступит, все гибнет, засыхает. А Мария-золото — сияет небесной красотой. Чего ни коснется, все расцветает, где ни ступит — звенит золото. Итак, кто же Мария-золото? А... Агн... Наконец лицо девушки расплылось, просияло. Агнесса фон Флавон? Конечно. А Мария-горе? Ах! Безмерное изумление. Теперь и девушка трясется от неуклюжего смеха.

Среди визга и ржания никто не заметил герцогини. Безмолвно стояла она со свечой, скрытая тенью двери. Медленно притворила дверь. Потащилась по коридорам. Назад к документу. Развернулся свиток. «Божией милостью мы, Маргарита, маркграфиня...» Пергамент зашуршал. Она обмакнула перо, старательно, не спеша подписала.

Хромой Альбрехт сидел в своем венском замке, закутанный в халат и одеяла. Рядом, на столе, среди других бумаг, лежало и завещание Маргариты. При Альбрехте находился его сын Рудольф, епископ Гуркский и древний старик аббат Иоанн Виктрингский. Престарелого герцога уже отсоборовали; он знал, что через несколько часов жизнь его угаснет. Сидел в кресле, зяб, несмотря на одеяла и чрезмерно нагретую комнату, чувствовал с почти блаженной болью, что жизнь медленно уходит от него. Однако взгляд его был, как обычно, ясен, спокоен, даже как-то горестно весел.

Рудольф осведомился в третий раз, не вызвать ли остальных братьев. Белокурые волосы, энергичное загорелое лицо, с невысоким угловатым лбом, орлиным носом и выдающейся нижней губой, было серьезно, самоуверенно, без тени слащавости. Хромой в третий раз отклонил предложение. Мальчики заняты делом, его смерть не должна мешать им.

Он тихо дышал, здоровая рука разжималась, сжималась, разжималась. Он прожил хорошую жизнь, поскольку человеческая жизнь может быть хорошей; она была усердием и трудом. Она была успехом. Он работал на себя и работал для своих стран. Он был в мире с собой, он был в мире с людьми, он был в мире с богом.

Его сын Рудольф получит хорошее наследство. Какая удача и милость божия, что Альбрехту еще дано увидеть воочию документ, закрепляющий за ним Тироль. Теперь его владения сомкнулись, от Швабии до Венгрии едины габсбургские земли. Под скипетром добрых христианских государей, в порядке и благоденствии. Сыновья его — разумные твердые люди. И совершенно незачем затруднять их своей смертью.

Итак, он отбывает, последний из трех. Люксембург, Иоганн, умер нелепой смертью, дурацкой рыцарской смертью в бою, который не имел к нему никакого отношения. Баварец Людвиг умер нечаянной смертью, попусту, на охоте, среди шатких, неустроенных дел, смертью невыразительной, без лица, без твердой линии, смертью столь же бессмысленной и ничего не говорящей, как и вся его жизнь. Он, Альбрехт, никогда не

именовался римским императором, никогда не стремился к римской короне, не владел ею и не желал ее. Но если хорошенько взвесить, — тут он улыбнулся кроткой, хитрой усмешкой, — то могущественнейшим из трех был всегда он, был на деле верховным судьей христианского мира, и всегда все делалось так, как он желал.

А сейчас он страшно устал. Хотел окликнуть Рудольфа, но раздалось только легкое хрипение. Тот быстро обернулся. Здоровой рукой умирающий поискал ощупью руку сына. Не дотянулся, рука упала. И голова тяжело поникла на грудь.

Рудольф стоял рядом с ним, мужественный, твердый. Теперь он глава Габсбургов, могущественнейший из немецких государей. Епископ Гуркский молился. Древний старик аббат Викtringский водил высохшей коричневой рукой по Маргаритиному завещанию: «Памятник я воздвиг, меди нетленнее», — пробормотал он цитату из древнего классика. Затем, шаркая, подошел к Альбрехту. Увидел, что тот мертв. Сделал над собой усилие, вытянулся, покачнулся, выпрямился. Придал своему голосу всю возможную твердость. Несколько раз его голос срывался, наконец он возвестил: «*Defunctus est Albertus de Habsburg, imperator Romanus*»¹.

Епископ и Рудольф переглянулись: никогда умерший не носил этого титула, никогда не домогался его. Старец повторил с усилием, покачиваясь, торжественно: «Скончался Альбрехт Габсбург, римский император». Затем сразу ушел в себя, прошаркал к столу, перекрестился, забормотал.

Маленькая часовня святой Маргариты при мюнхенском дворце набита до отказа высокими сановниками. Снаружи — ясная бледно-бронзовая осень. Внутри — латы светской знати, пышные мантии духовных лиц; они стоят, притиснутые друг к другу. Герцоги австрийские, Рудольф, Леопольд, Фридрих, их канцлеры и мар-

¹ Скончался Альберт Габсбург, император Римский (лат.).

шалы, Иоганн фон Плацгейм, Пильгрим, Штрейн, баварские и тирольские рыцари, маршалы, бургграфы, обер-егермейстеры, ландсгофмейстеры маркграфа, братья Шенна, Фрауенберг, Конрад Куммерсбрук, Дипольд Гэл. Фиолетовые и пурпурные одежды князей церкви. Епископы Зальцбургский, Регенсбургский, Вюрцбургский, Аугсбургский, деканы, пробсты, настоятели соборов. Тирольские священники Тейзендорф, Пибер. Знамена епископов, светских государей. Ладан. Снаружи — сдерживаемый войсками народ. Во всех окнах, на озаренных солнцем осенних деревьях, на всех стенах и выступах — народ.

В часовне Людвиг и Маргарита стоят на коленях перед папскими комиссарами, епископом Павлом Фрейзингским и аббатом Петром Санкт-Лампрехтским. Вчера их брак был официально расторгнут и им было предписано отныне жить врозь. Сегодня епископ торжественно зачитал папский эдикт об очищении: «Поелику Людвиг Баварский, первенец Людвига Баварского, именовавшего себя римским императором, выполнил все, что папа от него потребовал, и сам лично признал все свои прегрешения против церкви, он, епископ Павел, и аббат Петр, в качестве папских комиссаров, даруют означенному государю и государыне Маргарите, невзирая на их слишком близкое родство, разрешение снова вступить друг с другом в брак и признают законным уже рожденного ими раньше принца Мейнгарда. Снимают с Людвига и Маргариты всякое клеймо порока и позора, возвращают им право владеть привилегиями, ленами, поместьями. Снова принимают их в лоно церкви. Освобождают их земли от интердикта».

И вот в Баварии и Тироле, по всей стране открылись двери церквей, которые были заперты в течение многих десятилетий. Колокола, столь долго молчавшие, закачались, зазвучали. Народ, изголодавшийся по религиозным восторгам, потек в церковь. Мужчины и женщины, которые выросли, не зная, что такое церковная служба и колокольный звон, впервые слушали обедню, с восторженным изумлением уносились на волнах благочестивых и сладкозвучных, упоительных и пышных молитв триединому богу.

— Больше я не желаю иметь никаких дел с Габсбургами! — раздраженно рявкнул грубым офицерским голосом Стефан, герцог Нижне-Баварский, и швырнул на стол звякнувшую железную перчатку. Он встал, забегал по комнате. Его холодные глаза смотрели из-под угловатого лба недоверчиво и злобно на брата, на маркграфа, который продолжал сидеть, устало склонив над столом голову, отчего напрягшаяся шея казалась еще массивнее. В большом зале мюнхенского дворца, несмотря на все усилия натопить его, было довольно холодно, за окнами падала хлопьями какая-то мерзкая смесь дождя и снега.

— Значит, нет, — сказал маркграф с усилием, подавленно. — Тогда я прикажу, господин брат, изготовить другой документ, как мы условились.

Герцог Стефан поджал губы под торчащими густыми коричневато-черными усами. Он подошел к брату, объяснил свою резкость:

— Сколько раз мы в этих неприятных вопросах о наследстве в конце концов сталкивались. Мы никогда не обманывали друг друга. Каждый из нас ясно и твердо отстаивал свои интересы, без лишних слов и недомолвок, и никогда один другого не уговаривал. Каждому из нас шестерых просто сердце жгло, оттого что вот приходится дробить и рвать на куски наши земли и умалять род Виттельсбахов. Но иного способа, иного выхода не было, и мы считали излишним без толку молоть на этот счет языком. Но, господин брат, — и он угрожающе повысил голос, который стал скрипучим, — но то, что вы, старший в роде, допустили, чтобы тирольское завещание было составлено в пользу Габсбургов, понуждает меня говорить. Это дело самих тирольцев, знаю, и меня не касается. Я никогда и не вмешивался в ваши дела. Все же это завещание слишком уязвляет меня, отравляет кровь, я не могу молчать.

Маркграф не ответил. Взгляд его жестких колющих глаз был тупо устремлен куда-то. Он казался гораздо старше брата, хотя разница лет была между ними невелика. И так как Людвиг, обычно столь вспыльчивый и не остававшийся в долгу у собеседника, продолжая си-

деть согнувшись и тупо молчать, герцог Стефан сказал немного мягче:

— Вы, может быть, скажете, что это дело вашей жены, не ваше; или что снятие отлучения и интердикта — хорошая плата за сомнительный кусок бумаги, и вы будете правы; но я бы все-таки не допустил этого на вашем месте, и никто из братьев тоже, и отец тоже, будь он жив.

Маркграф продолжал молчать, все так же странно угасший. Растерянность этого обычно сурового и вспыльчивого человека смутила Стефана. Он сказал, почти извиняясь:

— Я понимаю, нелегко иметь женой Губастую, а ландсгофмейстером — Фрауенберга.

Когда маркграф остался один, им овладел приступ такого глухого, бессильного, беспомощного гнева, какого он еще никогда не испытывал. Что это?

Он у себя в своем замке, а его младший брат Стефан, это ничтожество, эта посредственность, этот мерзавец, со своей паршивой Нижней Баварией, разносит его словно мальчишку? И он — но как это могло случиться, — он спокойно все это выслушивает? Так, значит, вот уже до чего дошло? Значит, он настолько обессилел?

Стефан был прав, в этом все дело. Габсбурги правили все вместе, предоставив руководство умному Рудольфу. Он был их главой, они представляли собой одно целое, управляли всей массой своих земель единообразно. А род Виттельсбахов расщеплен и разорван, растерзан на шесть кусков. И он допустил до этого, он, старший. И не только это. Он допустил, чтобы Габсбурги взяли перевес. Началось с еврейского погрома. Это была первая ошибка. Защити он своих евреев, как сделал хромой Альбрехт, никогда его кошелек не был бы так пуст и дыряв. Никогда не пришлось бы ему отдать свою Баварию австрийским финансистам. А теперь их много в стране, и они засели крепко, контролируют, хозяйничают как заблагорассудится и везде — под, рядом, над голубым виттельсбахским львом — красный лев, габсбургский. Он чувствовал, что на него устремлены огромные, неподвижные глаза отца. Он задыхался. Брат прав.

Не думать об этом. Ошибка совершенна. Евреи мертвы, оставшихся в живых никакими обещаниями не заманишь обратно. Денег нет. В стране разорение, там правит Габсбург.

Вздор! Дело вовсе не в этом. И никто его за это не упрекал. Дело в завещании. В завещании, которое составила его жена, уродина, Маульташ. Вот за что падо было держаться, вот чего не отдавать. Он рад был даже перед самим собой свалить всю вину на нее. Как это брат сказал? Нелегко иметь женой Губастую. Нет, видит бог, нелегко. Он стал разжигать в себе глухую ярость против этой женщины. Она во всем виновата, и в этом договоре с Габсбургами. Она, уродина, Губастая, с ее дурацким любовником, с Фрауенбергом, ублюдком, жабой. Они погубили его Баварию. Сделали его посмешищем всей Европы. О, у него уже тогда было верное предчувствие, когда отец бежал вместе с ним по комнате, а он упирался и не хотел жениться на этой особе. Людвиг уставился перед собой. Сопел, рычал, стонал.

Пошел к Агнессе. Она лежала на кушетке, перед нею стоял сокольник. На ее руке была перчатка, она играла с только что приобретенным соколом. Она сразу заметила, что маркграф жаждет поговорить. Но она заставила его ждать. Возилась с птицей, учила ее и не думала отсылать сокольника.

Наконец Людвиг проговорил сквозь зубы, что сегодня у него нет времени для соколиной охоты и спорта. О, господин маркграф в дурном расположении? Его рассердили? Ей весьма жаль... Герцог Стефан? Вот не ожидала! Ведь герцог очень обходительный господин. Он говорил о завещании маркграфини? И о баварско-габсбургском соглашении? Об этом нет? И об этом тоже, правда, вскользь?

Если бы она догадалась наконец отослать этого малого с его соколом! Но она и не думает. Неужели ей все равно, что Стефан позволил себе подобную вещь? И неужели ей все равно, что он от брата пришел прямо к ней? Птица расправила крылья, сложила их. Агнесса гладила сокола, называла ласкательными именами. Все ее существо было полно огромного тайного торжества.

Наконец! Неужели? Неужели минута настала? И дом ее соперницы, возведенный с такими трудами, наконец рухнет?

Значит, о баварско-габсбургском договоре говорил герцог Стефан? Ну, она в политике ведь ничего не смыслит. Но, говоря по чести, она всегда дивилась. Как такой могущественный, мудрый государь отдает управление страной другому! Она сказала это будто мимоходом, снимая и надевая на птицу колпачок. Сейчас же снова заспорила с сокольничим о том, сколько времени придется морить сокола голодом. А в душе безмолвно ликовала: выжать из Тироля все до капли и отвести эти соки в Баварию, куда-нибудь. Сделать так, чтобы все созданное ее соперницей погибло.

Людвиг сидел подавленный, злой. Дурак он. Даже дети и те понимали, в чем дело. Ни в коем случае не должен был он уступать управление Баварией. Если бы даже пришлось отдать в залог мессере Артезе все свои города и доходы. Завещание Маргариты — ну, тут уж ничего не поделаешь. Но срок договора об управлении истекает через несколько месяцев; он откажется возобновить его. Будь что будет.

Агнесса лежала на кушетке, не обращая на него внимания. Сокольничий все еще не уходил. Если б она была одна, он ринулся бы на нее, стал трясти: «Слушай, не смей издеваться надо мной! Я откажусь от договора! Я вышвырну габсбургских чиновников! Не издевайся надо мной, шлюха!» И он схватил бы ее так, что она забыла бы и об издевках и о соколе. Но сокольничий с глупым почтительным лицом был тут, а Агнесса даже не смотрела на герцога.

Конрад фон Фрауенберг вел переговоры с советниками епископа Бриксенского. За последнее время епископство попало в полную зависимость от маркграфа. Конрад всячески давал это почувствовать. Сидел довольный перед потеющими посланцами, рассматривал их маленькими красноватыми глазками, визгливо дразнил, со смаком, не спеша. В конце концов с презрительной, жестокой ненавистью бросил этим нищим

блюдолизам какие-то крохи. Его секретарь, невзрачный клирик, молча, с робкой добросовестностью вел протокол.

Когда советники отбыли, Фрауенберг поручил секретарю написать ряд писем служащим его собственных поместий. Без конца приходится внушать этим господам и пережевывать одно и то же. Нельзя же — чтоб их побрал сатана треххвостый — быть такими сплунтями. Только и знают, что скачивают подати, только и делают, что отсрочивают барщину да повинности. И потом эта дурацкая чувствительность, как только дойдет до наказаний. Приговаривают вора всего-навсего к позорному столбу и тюрьме — оттого что его-де нужда заставила! Вздор! Всех нужда заставляет! Руку отрубить подлецу, как делалось всегда. Щадить браконьера оттого, что у него семья? И у его дичи тоже семья; разве вор пощадил ее? Пусть об этой новомодной гуманности в его поместьях и думать забудут. Фрауенберг диктовал, сипел, тихий секретарь записывал.

Оставшись один, безобразный человек откинул беледые волосы, потянулся, лег на диван, похрустел суставами, зевнул, лениво, смачно. Мир отлично устроен, уж он-то понимает в этом толк. И сам оп, черт побери, немалого добился. Маркграф все время в отъезде, у своей Агнессы или еще где-нибудь. Почему бы и нет? Почему бы ему не предпочесть Губастой красавицу Агнессу? Правда, на него, Фрауенберга, ложится немалая работа, когда маркграфа нет: Губастая и Тироль. Много работы, адова работа. Но доходная, ничего не скажешь. Да и Людвиг как пельзя больше идет ему навстречу. Избавляет от всяких объяснений.

Он внимательно посмотрел на свои толстые красные мясистые руки. Очевидно, он раньше недооценивал собственные мужские достоинства. Нужно только самому в них уверовать, тогда поверят и бабы. Теперь любая прибежит, стоит ему поманить. Ухмыляясь, он потягивается, свистит. Лениво поднимается, достает тушь, чернила, пергамент: средство скоротать досуг, когда не спишь. Сегодня его особенно тянет к этому. Шенпа считает его тупицей. Полагает, что Фрауенберг не способен ценить красоту. Шенпа не дурак, но если он

думает, будто он один смыслит в том, что вкусно и округло, приятно и гладко на ощупь, то он ошибается, хлыщ эдакий, кривляка! Фрауенберг разворачивает пергамент. О, он знает толк в красоте. Он насвистывает любимую песенку — о семи радостях жизни. И приступает к работе. Его широкая пасть блаженно растягивается, он прищелкивает, причмокивает, урчит, взвизгивает, рыгает. Набрасывает контур, водит кистью, аккуратно размалевывает. Женская одежда, груди, лицо. Углублен в работу.

Поднимает голову. За его спиной стоит Маргарита. Ее безобразное лицо искажено особенно по-дурацки. Ясно, что она узнала: никакого смысла скрывать, отказываться. Он нагло смотрит на нее, кривит широкий рот, небрежно сипит:

— Амулет.

— Амулет? Вот это? Этот вылизанный портрет некоей особы?

А он, наивно, дерзко: да, конечно. У него с ней споры о границах, Маргарита знает. Кроме того — надо иметь в виду ее явно зловредное политическое влияние на маркграфа.

Она не сводит с него мрачных, смелых, выразительных глаз. Он выдерживает холодно, равнодушно. Пусть отдаст ей рисунок, говорит она наконец.

— Почему бы и нет? — пискливо спрашивает он. Амулет не из благочестивых. Над ним можно поворожить, подчинить своей воле, своим желаниям. Вероятно, пожелания герцогини по адресу этой особы столь же мало приятны, как и его собственные. Он осклабился, подал ей портрет с глубоким, преувеличенно низким поклоном.

Оставшись одна, Маргарита долго рассматривает набросок, изучает. Волосы сделаны золотом, глаза таращатся — два глупых голубых пятна на беспомощной мазне лица. Набеленными пальцами вытаскивает Маргарита из волос шпильку. Медленно, тщательно нацелившись, тычет в голубые пятна. Но пергамент крепок, она буравит сильнее, медленно пробуравливает их насквозь. Пергамент хрустит. И вот вместо глаз на нем два маленьких отверстия с надорванными краями.

Маркграф встал, разговор не продолжался и десяти минут. Обсуждались только дела, вопросы и ответы были исполнены ледяной деловитости.

— Остается еще Тауферс, — сказала Маргарита.

— Отложим, — уклонился маркграф.

— Вот уже почти год, как вопрос все откладывается, — сказала Маргарита. — Надо его наконец разрешить.

— Итак, чего же вы желаете? — враждебно спросил маркграф.

Вопрос о Тауферсе состоял в том, что между Агнесой фон Тауферс и Фрауенбергом возник спор о границах. Агнесса пряталась за Бриксенское аббатство, давшее лен ей, а не Фрауенбергу. По сути дела прав был Фрауенберг, формально — она. Одно слово маркграфа — и Бриксен откажется от своих возражений, а Агнесса потеряет поместья. Советники епископа полагали, что это не входит в планы Людвига, а потому осмеливались упорно возражать против доводов Фрауенберга.

Маргарита, крайне раздраженная, принялась опровергать доводы епископства. Маркграф не менее угрюмо и упрямо перечислял политические мотивы, по которым он в данный момент не считал возможным раздражать епископа. Они мерились силами, угрюмые, непреклонные.

Несмотря на возрастающую отчужденность, они до сих пор еще никогда по-настоящему не ссорились. Ни единым словом еще не затронул маркграф вопроса о завещании, ни единым словом — ее отношений с Фрауенбергом. Она тоже ни разу не произнесла в его присутствии имени Агнессы. Теперь они горячились, препирались, угрожающе, настойчиво, раздраженнее, чем это маловажное дело заслуживало. В ярости стояли друг против друга. Спокойное мужественное лицо маркграфа озверело, исказилось. Она отвечала с напускным спокойствием, колко, насмешливо.

В конце концов, уже не владея собой, он бросил ей с едкой, насмешливой злобой:

— Да ведь все это только ради твоей обезьяны, ради Фрауенберга.

Она посерела, чуть не задохнулась, с ненавистью посмотрела на него. Затем выговорила хрипло:

— Да, да, да! Я не допущу, чтобы закон попирался из-за твоей шлюхи.

Он сѹдорожно сжимает руку, иначе он ударит ее. Браниться не в его характере. Но теперь он обрушивается на нее:

— Ведьма! Уродина! Вонючая! Сидишь со своей обезьяной и выдумываешь гадости! Разве мало мне стыда иметь такую жену, богом меченную! Так ты еще имя мое хочешь опозорить? За мужчинами гопяешься, адакая-то? Что ж, парочка недурна, Губастая да обезьяна.— Он вдруг смолк и двинулся к ней с таким диким лицом и вздувшимися жилами на лбу, что она метнулась за стол.— Не позволю! — кричал он.— Я убью его! Не желаю быть посмешищем!

Тем временем Фрауенберг сидел в замке Тауферс. Щурился, поглядывая красноватыми глазами на Агнессу.

— Уж мы столкнемся,— визгливо заявил он.— Вы богаты, и я не беден. Неужели вы не можете обойтись без придворной жизни? Я могу. Для меня это только предлог, чтобы видеть вас.— Красной толстой рукой он ласкал ее белую тонкую руку. Агнесса улыбалась. Вот это мужчина, в нем сила, воля, голая прямолинейность.— Мир глуп,— просипел он.— Еще глупее, чем думаешь.— Он сидел перед ней, разевая широкую пасть на голом красном лице, кряжистый, крепкий, наглый, безобразный.— Мне думается, среди всех только мы с вами тут разумные люди.— И его жесткие куцые жадные пальцы скользнули вверх по ее руке.

Впрочем, он не помышлял ни о малейших уступках в их тяжбе.

Теперь Агнесса расхаживала с легкой, порхающей в уголках губ улыбкой. Упивалась своей победой над Маргаритой, захлебывалась, всячески смаковала ее. Все крепче привязывала к себе маркграфа, спокойно, неприметно. Высасывала его, вползала в него, завладевала им.

Он был бережлив и трезв, отнюдь не склонен к мотовству. Она требовала от него небрежным тоном таких трат, которые раньше он обдумывал бы целые годы. При малейшем его возражении она сейчас же умолкала, не настаивала. Но у нее была манера отворачиваться с ироническим, едва уловимым, презрительным изумлением, которое действовало на него сильнее, чем могли подействовать слезы, просьбы, брань. Так она постепенно скрутила этого решительного, осторожного человека, втянула его в мотовство, роскошь, подточила, разрушила то, что Маргарита создавала десятилетиями.

Вдруг появился снова и мессере Артезе. Повсюду оказывался он одновременно, в десяти местах, с братьями, очень похожими на него, невзрачный, утонченно вежливый. Не успели оглянуться, как в его руках снова очутились пошщины, соляные копи, рудники. На ледяное презрение Маргариты он отвечал усердными поклонами. С величайшей готовностью освободил графа от задолженности Габсбургам.

Теперь Людвиг, при желании, мог отказаться от баварского соглашения. Правда, сумма, заплаченная им флорентинцу, была втрое больше требуемой австрийцами. Подобный тени, так же как он появлялся, мессере Артезе исчез.

Посетил замок Тауферс. Кто, видя этого маленького вежливого человечка, поверил бы, чтобы он мог некогда так неистовствовать перед Агнессой? Друг против друга сидели они, Агнесса и он. Обменивались легкой улыбкой понимания. О да, прекрасная страна, обильная, благословенная страна. Вино, плоды, хлеб. Цветущие, благоустроенные, работающие города. Он рвал к себе добычу, она толкала. Толкая, она метила в герцогиню, в уродину. Им же руководила даже не столько жажда наживы, сколько желание подорвать, разворотить здание, построенное врагом, погубить дело поверженного, убитого еврея. Она била по герцогине, он терзал мертвого врага.

Как сыр в масле катался Конрад фон Фрауенберг, его голое ширококортное лицо отливало розовым блеском. Он лежал, развалился на диване, в маленьком элегантном зале замка Тауферс, Агнесса сидела напротив.

В комнату упали лучи солнца, он прищурился, лениво потянулся, зевнул, похрустел суставами. Агнесса требовала, льстила, угрожала, молила; пусть провожает ее в Триент. Он ответил, что и не подумает. Пусть маркграф валяет дурака. Она отвернулась с тем легким, едва уловимым, презрительным удивлением, которым могла всего добиться от маркграфа. Фрауенберг расхохотался звонко, грубо, очень довольный. Перевернулся на другой бок. Так как она упорно дулась, он начал зевать. Потянулся, мирно, вкусно заснул, громко всхрапывая. Через час проснулся: вечерело, она все еще продолжала сидеть в противоположном углу, обиженная. Он лениво поднялся, подошел к ней, сгреб ее, грубо, игриво, притянул рядом с собой на диван. Она не противилась.

Он обращался с ней как вздумается. Заставлял, точно собаку, выпрашивать ласку. Морочил ей голову обещаниями, которые, конечно, не выполнял. Прогнать его? Невозможно. Он рассмеется. Да и смешно было бы. Разве пайдешь еще такого уroda? Такого наглеца? С такой хваткой? Нет такого.

Она потянулась под его грубыми ласками, искоса поглядела на него. Увидела сытое, хитрое, мясистое, ослабленное лицо. Как он безобразен! Как он силен и вульгарен! Ее охватило любопытство. Неужели нет ничего, что могло бы вызвать на этой наглой, самоуверенной роже робость и страх?

Она принялась натравливать на него маркграфа. Незаметно, шутками. Семя упало на хорошую, давно подготовленную почву. Оно пустило побеги, стало расти. Как это выразился герцог Стефан? Нелегко при такой жене да иметь еще такого ландсгофмейстера, как Фрауенберг! Пора с этим кончать. Людвиг сыт по горло. Посмешище всей Европы. И он покончит с этим. В Мюнхене. Одним махом. Сначала покончит с габсбургским свинством. А потом и с Фрауенбергом, с этим негодлем, ублюдком!

— Посмотри-ка на меня хорошенько,— сказал Фрауенберг Маргарите, хорохорясь, с шутовски подчеркнутой важностью.— Посмотри на меня хорошенько.

Может быть, уже недолго придется тебе любоваться мной.— Так как Маргарита удивленно подняла глаза, он продолжал пицать: — Я, конечно, не красавец мужичина, но другого такого не сыскать. Кто интересуется мной, хорошо сделает, если повнимательнее рассмотрит меня, чтобы запомнить. Скоро не на что будет смотреть. Против меня что-то затевают. Маркграф смотрит на меня, точно копьями прокалывает. К сожалению, в копьях недостатка не будет. Он назначил меня сопровождать его в Мюнхен. Там легче будет это сделать. Гуфидаун, этот добрый честный юноша, который меня терпеть не может, и Куммерсбрук проболтались. Смотри на меня хорошенько, Маргарита, а когда меня не будет, напивайся и будешь видеть меня во сне. Можешь заупокойных служб не заказывать! Ты славная баба, герцогиня Маульташ,— засмеялся он и хлопнул ее по плечу. Он стал насвистывать любимую песенку о семи радостях, подмигнул ей, заковылял прочь, широко расставляя ноги.

Маргарита не отзывалась ни словом. Она продолжала сидеть перед массивным столом, в светло-зеленом камчатном платье, под жестким слоем румян и белил. Перед ней лежали грудой акты и документы. Комната давила своей мрачностью, в ушах ещё звенела песенка, которую насвистывал Фрауенберг.

Да, он, должно быть, прав. В мире только и есть что те семь радостей, о которых поется в песне.

Она никогда не отступала. Когда она в первый раз была разбита, повержена в прах, она не отступила. Из грязи и праха воздвигала новое — страну, города, пестрые, шумные, многолюдные города, ее творение. А теперь эту кровь, которой она с такими трудами питала их, хотят отвести прочь; в Баварию, еще куда-нибудь; бессмысленно растратить ради шлюхи. Маркграф ей ничего не сказал, но слухи просачивались к пей отовсюду. Договор с Габсбургами он расторгнет. Ее города, ее Тироль будет опустошен, ободран, высосан, загажен.

Мало того. Еще и другое. Фрауенберг. Урод, одинокий. Ее Фрауенберг. Которого она приблизила к себе. Быть может, он дурной, низкий негодяй. Но он ее. Из всех людей только он. И его хотят у нее отнять. О, она

ведь не забыла, как муж кричал во время их последнего разговора: «Я убью его! Я не дам делать из себя посмешище!» Она до сих пор слышит его голос, хриплый от ненависти, видит его обезумевший взгляд. Да, Конрада чутье не обмануло, запахло убийством. Если он уедет в Мюнхен, он не вернется.

Ее иссохшая дряхлая фрейлина Ротенбург вошла в зал, кашлянула; здесь итальянский торговец из Палермо, которого Маргарита вызвала. Герцогиня рада была отвлечься, приказала позвать его. Он появился перед ней, толстяк, оливковое лицо, живые карие глаза. Товару у него было немало. Пестрые птицы, тонкие шелковистые шали и ткани, драгоценные камни, редкостные благовония, иноземные сласти. Он и его приказчик ловкими вкрадчивыми движениями разложили перед нею товары. Она засматривалась то на одно, то на другое. Спрашивала, рассеянно слушала объяснения, говорила сама оживленнее обычного. А это что? Флакончик, маленькая амфора из матового полудрагоценного камня, прекрасной формы, закупоренная, запечатанная.— Это? О, госпожа герцогиня — знаток, у госпожи герцогини безошибочный вкус. Это действительно большая редкость. Из цельного камня, а какое благородство формы, округлых линий! Большой мастер делал, о да! И пусть соблаговолит обратить внимание на высеченные здесь изображения. Вот император Гогенштауфен, Фридрих Второй, а здесь еврейский царь Соломон, а тут царица Савская, а на четвертой стороне султан Баобдил, великий и жестокий владыка берберов. И содержимое флакончика тоже большая редкость: особая жидкость, безуханная, бесцветная, безвкусная; если кто проглотит хоть одну каплю, не проживет и часу, погаснет как фитиль без масла. Драгоценный, благородный флакончик.

Герцогиня накупила много и без разбору, против обыкновения не торгуясь. Шали, пряности, особенно украшения, две пестрых птицы, приобрела также и флакончик.

Затем села за стол. Стала есть. Ела совсем одна, в роскошной одежде. Роскошна была и сервировка, пышные яства, золотые миски, тарелки. В соседней

комнате играла музыка. Слуги, пажы, поварята бегали и суетились. Она ела богатырски. Фрауенберг прав. Это одна из семи радостей жизни. Кругом лежали грудой купленные ею вещи, украшения, шали, среди них и флакончик. Набеленными руками подносила она ко рту пищу: горячее, рыбу, жареное, восхитительные иноземные сласти, приобретенные ею сегодня. Она глотала куски, вливала в себя вино. Наступили сумерки, зажглись огромные тяжелые свечи. Она ела, одна, грузная, грандиозная, окаменевшая. Ела.

Вот оно, черным по белому. Маркграф не осмелился явиться лично. Послал нарочного с коротким вежливым письмом, в котором просил ее подписи.

Она сейчас же вызвала к себе фон Шенна. Перед ним она дала себе волю, излила свой гнев. Договор с Габсбургами действительно подлежит расторжению. Разрушен и уничтожен искусный чудесный канал, который нес ее городам жизненные соки и процветание. И от нее еще требуют подписи! Почва под ее ногами оседает, как песок. Дело ее жизни погибло, ускользает, как струящаяся вода, которую не удержать. Всею копеец, все уничтожено, так глупо, бессмысленно.

Молча слушал Шенна, его увядшее лицо странно сморщилось. Ее горе, ее отчаяние затрагивали его глубже, чем он готов был сознаться. Бедная женщина! Бедная герцогиня Маульташ! Будь твой рот на палец уже и мышцы твоих щек более упруги, жила бы ты мирно, счастливо, а Тироль и Римская империя имели бы совсем другой вид, чем теперь. Он боролся с собой. Нелепая сентиментальность!

Когда он наконец заговорил, то был снова совершенно спокоен. Высоким, усталым, надтреснутым голосом заявил он, что, отказываясь от подписи, она ничего не выиграет; формально ее подписи и не требуется, маркграфу она нужна только для престижа. Если же она подпишет, то ее хоть не смогут устранить при ликвидации соглашения.

Маргарита молчала, и, когда он увидел, как она сидит пригорюнившись, кряжистая, широкая, потерянная,

потухшая, его сердце снова сжалось. Он сказал, что готов помочь чем только может! Он — тиролец; его тоже задевает за живое мысль о том, что просвещенный, деятельный, возделанный Тироль должен быть отдан в жертву сонным, тупым, грубым баварцам. Он подстегнул себя, решиться было трудно; но не следует, право же, иметь столь чувствительное сердце. Затем он встал, заявил — и в самой торжественности его тона звучала легкая ирония: если она почтет это желательным, он готов, чтобы кое-что спасти, взять на себя управление страной в горах и обязанности бургграфа. Она пожала его длинную, высохшую, вялую руку толстой набеленной рукой.

Затем явился Фрауенберг. Он пришел проститься. Звения доспехами, стоял он перед ней, из-под блестящего шлема ухмылялось его розовое, голое, наглое жабье лицо. Ему остается одно — исчезнуть во мраке, в неизвестности, где бы маркграф не смог найти его, ибо умирать у него нет ни малейшей охоты. И вот он по пути выберет минуту и исчезнет. Он мужчина, и эти толчки — вверх-вниз — не слишком его огорчают. Баба она хорошая и доставила ему больше приятности, чем иная с кукольным ротиком. А уж интереснее с ней было во всяком случае. Итак, с богом.

Она сказала, что он дал ей когда-то амулет против известной особы. Она хочет его отблагодарить. И протянула ему матовый флакончик. Жидкость в нем безуханна и безвкусна; кто ее попробует, окажется тотчас в аду или в раю. Прежде чем исчезнуть во мраке, в безызвестности, пусть поразмыслит об этом.

Он схватил флакончик, осклабился, она-де чертова баба. Так безуханна, безвкусна? Гм, есть о чем поразмыслить.

Маргарита же поспешно: она ничего не сказала. Так ее клятвенно заверил сицилианец. И раз ее друг полагает, что они больше не увидятся, она ему дарит флакончик. Пусть делает как знает, она же ничего не сказала.

Он, чудовищно громоздкий в своих доспехах, сипло пропищал из груди железа, что премного ей благодарен. Действительно, чертова баба. Он с трудом поднял

железную руку, похлопал Маргариту: «Наша Губастая». Шагая с трудом, удалился, железный, гремящий, осклабясь жабым ртом. Засвистал свою песенку.

Снизу донеслись звуки рогов и труб, возвещая отъезд. Маркграф не простился с ней. Подойти и взглянуть в окно. Однако тело не повиновалось ей. Она привалилась к столу, мертвенно-бледная, серая, покрашенный труп.

Среди золотисто-коричневых сентябрьских просторов ехали на конях маркграф и его свита. Некоторое время дорога вела вдоль белесого широкого озера Химзее. Дул свежий ветер, горы, одетые густой серо-голубой дымкой, постепенно отступали.

Людвиг был в превосходном расположении духа. На нем был легкий темный панцирь, шлем он отдал пажу, ветер приятно овеивал стриженную голову. Он чувствовал себя очень молодым, его жесткие серо-голубые глаза блестели ярче обычного на смугловатом мужественном лице. Он отлично сделал, что решился вышвырнуть этих австрийцев. Теперь он подлинный властитель своей страны. Прочь красного габсбургского льва с голубого виттельсбахского знамени! Он радовался, что посадит теперь всюду своих чиновников, начисто со всем этим покончит.

Да, покончит. Обдумал он и вопрос о Фрауенберге. Сегодня же ночью он за него возьмется, рассчитается с ним по-рыцарски, с оружием в руках. В исходе он не сомневался. Тогда воздух очистится, можно будет дышать. С Маргаритой он едва ли увидится; пусть сидит в своем замке Тироле, он будет жить в Мюнхене, Инсбруке, Боцене и оттуда править страной по своему усмотрению. Согласится она — хорошо, не согласится — тоже хорошо. Агнесса больше не найдет причин отворачиваться от него, молчаливо дерзко пожимая плечами, — а это его очень задает. Сознание, что он покончил теперь с этой тупой скованностью и знает совершенно точно, чего хочет, подхлестывало его, такой веселости и легкости он не знал уже многие годы. Он шутил с Берхтольдом фон Гуфидаун, со своим верным Кум-

мерсбруком. Даже на Фрауенберга Людвиг смотрит с мрачным благодушием. Вот он едет, развалясь в седле, дородный, розовый, в блестящих доспехах, гнусит что-то, хитро и благодушно щурится красноватыми глазками на залитый солнцем радостный мир, а ведь он все равно что мертв. Маркграф подозвал его, поехал рядом. Фрауенберг принялся рассказывать непристойные анекдоты, делал дерзкие намеки. Людвиг звучно хохотал, отвечая ему в тон, они беседовали цинично и грубо, по-солдатски, и превосходно развлекались.

Очень рано стали полдничать. Ели под открытым небом, обильно пили, прилегли ненадолго отдохнуть. Затем снова выпили, сели на лошадей. Людвиг надел теперь шлем, он хотел так ехать до Мюнхена. Фрауенберг держался поблизости от маркграфа, который прямо-таки искал его общества. Тронулись в путь. Всадники ехали по равнине, горы позади уходили в туман, равнина была широкая, скучная, разве что где-нибудь мелькнет на солнце кровля затерявшегося невзрачного рыцарского жилья, хутор, убогая деревушка. Пришпорили коней, к вечеру они будут в Мюнхене.

Разговор между маркграфом и Фрауенбергом стал прерываться, умолк. Людвиг испытывал странную усталость, дышал с трудом, легкий панцирь давил. Или он неумеренно выпил? Справа от дороги показалась деревня, дома были какие-то округлые, грязновато-белесые, несмотря на яркое солнце, они смешно громоздились друг на друга.

Кто-то сказал: «Эта деревня называется Цорпединг», — чей же это голос? Гуфидауна или Куммерсбрука?

Вдруг маркграф стал хвататься рукой за шлем, за панцирь, пополз боком с лошади, полуотстегнутый шлем свалился с головы. Быстро подъехавший Куммерсбрук и паж подхватили маркграфа. Шлем окончательно скатился в пыль, лицо помертвело, нижняя челюсть отвалилась. Массивная шея умершего уже не казалась страшной, а только тупой и толстой. Они стали оттирать его, шепча молитвы. Среди подавленности и смятения приближенных раздался звонкий, благодушный, наглый голос Фрауенберга.

— Странный случай. В открытом поле, поблизости от Мюнхена. Совсем как отец.

Берхтольд фон Гуфидаун смерил его мрачным, угрожающим взглядом. Фрауенберг, дерзко прищурившись, выдержал этот взгляд, просипел:

— Вам что-нибудь угодно? — Гуфидаун медленно отвернулся, не ответил.

Тело положили в часовне святой Маргариты при мюнхенском дворце. Горело множество свечей. Ульрих фон Абенсберг, Гиппольт фон Штейн и пятеро других баронов держали почетный караул. Среди них и Фрауенберг. Но он скоро стал зевать, удалился. Вытянулся на кровати, засвистал песенку, похрустел суставами, рыгнул, причмокнул, мирно захрапел.

Книга третья

Герцог Стефан, находившийся в Ландсгуте, своей резиденции, только что распорядился, кому из приближенных сопровождать его в Мюнхен. Он собирался приветствовать своего старшего брата, маркграфа, который принял благостное решение наконец выгнать Габсбургов из страны. Герцог Стефан очень гордился тем, что ведь, в сущности, именно он натолкнул брата на такое решение. Он высоко поднял голову с короткими густыми каштановыми усами; наверно, это его энергичные речи оказали на Людвига такое действие. Теперь он поедет в Мюнхен и посмотрит, нельзя ли создать между Виттельсбахами тесный союз. А если он и Людвиг твердо решат, то почему бы — чума и сатана хвостатый — им не водворить мир среди Виттельсбахов, спаять их между собой, как спаяны Габсбурги? Ведь и те, конечно, насакивают друг на друга, как пехоты, когда обсуждают свои дела без посторонних; зато, когда они представляют, они стоят друг за друга как один, и когда они говорят друг с другом, то их речи — мед. Хорошо, что Людвиг наконец заставил себя решиться. Что касается его самого, Стефана, то он не успокоится до тех пор, пока растерзанный род Виттельсбахов снова не станет единым.

Принесли доспехи, начали снаряжать его в дорогу. Но тут из Мюнхена прибыл нарочный, доложил о смерти маркграфа. Герцог Стефан оцепенел, полуоткрыв рот,

странно растопырив пальцы. Затем раздраженно рывкнул, приказал своим людям выйти, забежал, полуодетый, по комнате, делал повелительные жесты, его лицо непрерывно менялось, то грозно хмурилось, то разглаживалось, короткие густые усы вздергивались вместе с верхней губой.

Перед ним мелькали возможности — самые разнообразные, ослепительные. Мейнгард — почти мальчик, болезненный, глуповатый, добродушный, к тому же страстно преданный Стефанову сыну, Фридриху.

Да, судьба Виттельсбахов теперь в его, Стефана, руках. Соединить обе Баварии. Заставить помириться бунтующих братьев — Голландца, Бранденбуржца, Пфальцских правителей. Должны же они понять, должны же покориться. Что они, каждый в отдельности — Людвиг, Альбрехт, Вильгельм, Рупрехт? Ничто; но род Виттельсбахов — это много, это все. От него, Стефана, изойдет добрая сила, его вера, его честная, благочестивая, бескорыстная воля перельется в них, они поддадутся его уговорам.

Он тяжело опустился на стул, лицо утратило напускную солдатскую молодцеватость, плечи поникли. Ах, ничего из этого не выйдет! Мучительная, лживая надежда. Не такому, как он, этого добиться. Правда, случай особенно благоприятный; но такое бремя ему не по силам. Его отец, император, даром что крепче его, а и тот был тяжелодум, поэтому и оставил свое дело недоделанным; так как же ему, более слабому, склеить раздробленное, изувеченное?

Его брат умер в пути. Дурной знак. Людвиг он никогда особенно не любил, ни разу по душам не поговорил с ним. Все шестеро братьев никогда не пытались сблизиться, каждый недоверчиво стерег другого, как бы тот не урвал слишком большой кусок отцовского наследства. Но Людвиг был порядочный человек, и ему жилось нелегко: он женился на Губастой, принес династии тяжелую жертву. И вот теперь он умер в расцвете сил. Ореол вокруг Виттельсбахов померк, их блеск угасал.

Стефан вспомнил слышанное им некогда чтение папской буллы, в которой папа возвещал об отлучении от церкви его отца: «Да поразит это проклятие его

сыновей: изгнанные из жилищ своих, да попадут в руки врагов своих и да погибнут». Он был тогда еще мальчиком и смысла этих торжественных грозных, патетических слов так и не понял, но они обдали его ознобом, запомнились навеки. Не везло с тех пор Виттельсбахам. Их владения распались. Братья грызлись друг с другом. На северо-западе фландрскими провинциями правила императрица-мать, совместно с Вильгельмом, самым одаренным из братьев. Между матерью и сыном вспыхнула вражда. Вильгельм разбил войска матери в кровавом морском сражении при устье Мааса, она бежала к своему зятю, английскому королю. То была надменная дама, меланхоличного нрава, чуждая своим детям; да, в ее присутствии приходилось подтягиваться, сыновья всегда чувствовали себя при ней неловко. Теперь ее уже нет, она умерла, устав от гордости, забот и горя, а Вильгельм, самый умный, одаренный и любезный из братьев, впал в буйное помешательство, заболел от вражды с матерью, заболел от чужой страши. Нет, Виттельсбахам не повезло; проклятие,— если не слова его, то их горький смысл,— осуществлялось. Стефан усталился перед собой. Смерть брата давала ему возможность, обязывала захватить Тироля, удержать в своих руках южные земли. Он посмотрел на свои руки; они лежали тяжело, вяло, бессильно: да разве можно такими руками?..

Вздор. Просто он выпил за завтраком слишком многопряного вина, вот и все. Это оно тяжелит кровь, туманит мысли. Разве у него не превосходные виды на будущее? Юноша Мейнгард слаб, им легко управлять. Его-то уж, черт побери, Стефан сумеет подчинить себе. Он выпрямился, над сжатыми губами стояли торчком короткие, густые каштановые усы. Он спаяет Виттельсбахов в одно целое и возвеличит их.

Он приказал подать доспехи. Теперь ему тем более необходимо ехать в Мюнхен. Снова рявкнул по-солдатски. Вызвал к себе сына, Фридриха.

Принц Фридрих уже слышал о смерти маркиграфа. Его прямо разрывало от планов, от прилива энергии. Мейнгард поклонялся ему с юношеским восхищением. Благодаря Мейнгарду Фридрих теперь могущественнее

отца. Это статный и стройный молодой человек, его широкий, угловатый, упрямый лоб низко зарос темными волосами. С раннего возраста он относился презрительно ко всем окружающим. Он считал себя единственным достойным внуком императора. Скрежеща зубами, видел он, как мельчает и дробится достояние Виттельсбахов. Высокомерно восставал против слов и дел своего отца, не обладавшего достаточно крепкими мышцами и хваткой, чтобы обуздать породистого, нервного и строптивого коня, каким был род Виттельсбахов. О, у него, принца Фридриха, достаточно силы и чутья, он укротит его.

Так, стройный, гордый, полный вражды и тайного презрения предстал он перед отцом. Герцог Стефан считал, что этот сын удачливее и одареннее его самого, видел в нем свое завершение, любил даже его порывистость, горячность, надменность. Но он не мог сдерживать себя, когда мальчик бунтовал против него слишком дерзко; между ними все вновь и вновь происходили бурные стычки.

Стефан кратко, рывкая по-солдатски, объявил сыну, что маркграф Людвиг внезапно скончался, он едет на похороны в Мюнхен и думает пробыть там недели полторы. Фридрих же пусть остается пока здесь, в Ландсгуте, возьмет на себя дела и хранение государственной печати, а в случае более важных вопросов шлет к нему в Мюнхен курьеров. Фридрих задумался. Еще никогда не получал он от отца таких полномочий: что таится за этим? Он смерил Стефана недоверчивым взглядом. А-а-а! Герцог едет в Мюнхен один, он опасается влияния Фридриха на Мейнгарда, хочет его отстранить.

Сын закинул голову, скользнул живыми карими глазами по лицу отца, надменно заявил, что и не подумает оставить своего друга одного в его горе и, разумеется, тоже поедет в Мюнхен. В комнате находилось еще двое: трое приближенных и один из пажей. Герцог Стефан, вскипев, спросил хриплым голосом, не спятил ли его сын. Кругом все стояли пораженные, ждали, что будет. Фридрих, насторожившись, ответил: разумеется, он в своем уме. Всякий порядочный рыцарь и дворянин поймет его, с ним согласится. Герцог, звеня доспехами,

угрожающе приблизился к нему. Юноша сначала не двинулся с места, затем вдруг повернулся и выскользнул из комнаты. Вскочил на коня — никто не посмел удержать его — понесся прочь, на юг, к Мюнхепу.

Герцог рассмеялся, сначала с досадой, затем довольный. Приближенные, радуясь такому обороту дела, тоже стали смеяться.

«Вот бесенок этот Фридрих!» — сказал герцог. «Вот бесенок наш сиятельный принц!» — вторили приближенные.

Но затем мало-помалу Стефан снова стал хмуриться. Собственный сын не слушается его. Как же он приберет к рукам всю буйную семью Виттельсбахов?

Он сел на лошадь. С большой свитой грузно поскакал по той же дороге, по которой умчался Фридрих.

Юноше Мейнгарду сообщил о смерти отца обер-егермейстер фон Куммерсбрук. Он приступил к делу очень осторожно, издали. Напрасный труд: восемнадцатилетний юноша никак не мог взять в толк, к чему он ведет, и фон Куммерсбруку пришлось в конце концов заявить напрямик: маркиграф скончался.

Мейнгард растерянно посмотрел на него широко раскрытыми глазами, весть эта, казалось, медленно ворочалась в его добродушной крупной голове, он даже вспотел. Он был не в силах представить себе, какие последствия может иметь это событие и к чему оно обязывает. Теперь он стал герцогом. Вероятно, это очень утомительно, будут всякие сложности, много работы. Он чувствовал бы себя гораздо лучше на положении какого-нибудь мелкого сельского барона. Вероятно, очень печально и для страны и для всех, что его отец умер. Ведь он был дельный и энергичный, мать же, как ему объяснил его друг, принц Фридрих, беспутная, гадкая женщина. Боже милостивый! В сущности, и отцу и матери всегда было не до него. Эта смерть не трогала его, она была ему тягостна, требовала усилий, размышлений.

Он вытащил из кармана маленького грызуна, которого обычно таскал при себе, небольшого длиннохвостого зверька — это был сурок, которого он терпеливо

выдрессировал, так что тот знал свое имя Петер, шел за свист хозяина, вместе с ним ел, спал; юноша уставился на сурка озадаченным, огорченным взглядом, погладил его.

Очень не скоро освободился он от тупой растерянности и смущения, и то лишь когда увидел, что с ним теперь куда больше носятся, чем прежде. На лицах всех придворных, от генералов и высших чинов до последнего лакея, была написана теперь особая преданность, бережность, угодливость. Когда он мало-помалу это уразумел, ему стало доставлять удовольствие вновь и вновь играть этими чувствами, усиливать их. Он отдавал приказания, самые противоречивые, без толку, и с удовольствием наблюдал потом, с каким усердием они выполнялись; заставлял людей бросаться туда, сюда, наслаждаясь тем, что с их лиц так и не сходит выражение покорной и слепой готовности.

Только одному человеку его новый высокий сан, по видимому, ничуть не импонировал, это — Фрауенбергу. Всякий раз, как Мейнгард встречал самоуверенного толстяка, он испытывал неприятное чувство; это жирное голое лицо с жабьей пастью, белесые волосы, красноватые глаза словно таили в себе угрозу, юношу пугал игривый тон альбиноса. Фрауенберг и теперь подошел к нему, снисходительно прищурился, по-отечески проговорил своим писклявым голосом:

— Что, молодой герцог? Небось трудновато? Только не терять головы! Уж как-нибудь справимся. — Мясистой, страшной рукой взял он пухлую наивную руку юноши, подмигнул ему отнюдь не почтительно, не смиренно, а скорее с каким-то шутовским, насмешливым превосходством, повернулся, ушел, насвистывая свою любимую песенку.

Но вот прискакал Фридрих, потный, взволнованный, полный воодушевления. Тотчас же проник в покои молодого герцога. Двоюродные братья обнялись, Мейнгард в присутствии друга почувствовал облегчение, Фридрих рассказал ему историю с отцом, Мейнгард восхитился. Статный темноволосый принц, обуреваемый энергией и честолюбием молодости, закусил удила и увлек белокурого, толстого, податливого Мейнгарда,

а тот, восторженно глядя на него голубыми, простодушными, круглыми глазами, почитал себя счастливым иметь столь замечательного друга. Мейнгард разоткровенничался, поведал и о неприятном снисходительном тоне Фрауенберга. Фридрих вскипел, затопал ногами. Заявил, что этого так не оставит. Велел его позвать. Бросил ему через плечо, свысока, что здесь, в Мюнхене, герцог не нуждается в его услугах и предлагает ему встретить и сопровождать вдовствующую герцогиню, которая, без сомнения, уже выехала в Баварию. Фрауенберг поглядел на обоих молодых людей спокойно, дерзко, улыбаясь с добродушной иронией, сказал, что охотно участвовал бы в подготовке к похоронам всегда столь милостивого к нему маркграфа, но крайне польщен возложенным на него поручением сопровождать не менее милостивую к нему герцогиню. Он надеется, добавил Фрауенберг с отеческой заботливостью, что молодые господа справятся здесь, в Мюнхене, и без него. Прищурившись, посмотрел на одного, на другого, вышел.

Фридрих прибыл с весьма определенной политической программой и старался, прежде чем им могут помешать другие — отец, герцогиня, Габсбург, — вдолбить ее своему кузену. Он был отнюдь не согласен с исконным виттельсбаховским методом правления, при котором бюргерство выдвигалось в противовес дворянству и города поддерживались за счет замков. Эта нерешительная, осторожная политика, достойная торговцев и лавочников, считавшая нерыцаря полноценным человеком и уважавшая его, глубоко претила ему. Мир держится — это было для него непреложно — христианским рыцарством и государем, не ведающим иных ограничений, кроме созданных им самим законов рыцарственности. Но у теперешних государей нет гордости, у них что ни шаг, то уступка, компромисс, они умаляют, а не возвеличивают свою власть. Надо укрепить дворянство, согнуть всех ниже стоящих в бараний рог, сделать их лишь подножием государственного престола. Что деньги? Что торговля? Что города? Надо смахнуть пыль со старинных светлых законов рыцарства, опереть на них страну и государство.

Юный Мейнгард мечтательно внимал пылким речам друга. Тот наконец перешел к практическим предложениям. Мейнгард должен осуществить эти идеи в своих странах. Есть еще в Баварии бароны старой закалки, всю свою жизнь с должным презрением третировавшие бюргерскую мразь. Пусть Мейнгард вместе с ним и группой аристократов создаст общество любителей охоты и турниров на основе строгого устава старинных рыцарских объединений, вроде рыцарей Круглого стола и подобных им клубов высшей знати. Однако этот союз отнюдь не должен иметь целью одни спортивные забавы, от него должно ждать обновления всей нации. И прежде всего, он должен взять в свои руки управление государством, вместо кабинета министров, состоящего из высохших богословов и чиновников.

От всей души дал Мейнгард свое согласие. Он боялся бремени правления; теперь он освобождался от него и был счастлив, что все так хорошо складывается, что государственным вопросам можно заниматься в обществе любящих спорт сотоварищей и рыцарей, под руководством его гениального друга Фридриха.

Они усадились, составили список баронов, которых следовало принять в союз. Ульрих фон Абенсберг, Ульрих фон Лабер, Гиппольт фон Штейн — эти прежде всего. Затем Гэгенрайн, Фрейберг, Пинценауэ, еще Траутзам фон Фрауенгофен, Ганс фон Гуммпенберг, Отто фон Максльрайн. Некоторые имена вызывали сомнения, требовали долгого и подробного обсуждения. Молодой герцог вытащил из кармана своего сурка; большеголовый зверек сидел на столе, водил хвостом, внимательно следил за пишущими. Юноши работали с таким увлечением, что головы у них пылали.

Когда вечером приехал герцог Стефан, правительство Баварии было почти составлено. Фридрих настоятельно убеждал кузена, чтобы тот вел себя как можно осторожнее с герцогом Стефаном. Поэтому Мейнгард в разговоре с дядей был замкнут, упрям. Герцог хотел получить от Мейнгарда согласие по ряду принципиальных вопросов относительно границ, пошлин. Мейнгард уклонился, заявил, по совету Фридриха, что подождет,

пока отец будет предан земле. Герцог Стефан слишком хорошо понимал, что за этим сопротивлением кроется Фридрих. Бесился, радовался.

Затем приехала Маргарита, и в тот же день очень торжественно прибыл герцог Рудольф Австрийский. Маркграфа похоронили с невероятной пышностью. И Агнесса фон Флавон еще раз убедилась, что черный цвет идет ей больше всех других цветов. От катафалка, от вдовы маркграфини, от пфальцграфов Рейнских, от герцогов Австрийских и обеих Баварий взгляды присутствующих то и дело обращались к ней.

Молодого герцога Мейнгарда теребили то Маргарита Тирольская, то герцог Стефан Нижне-Баварский, то герцог Рудольф Австрийский, все они требовали указов, договоров, подписей. Но добродушный, податливый юноша, под влиянием Фридриха, оставался тверд. На третий день после похорон маркграфа был основан Артуров Круг — союз баварских рыцарей. Гроссмейстерами стали Мейнгард и Фридрих, господа фон Абенсберг, фон Лабер, фон Штейн замещали их. Членами были пятьдесят два верхне- и нижнебаварских барона. Своей матери и герцогам, требовавшим от него решений, Мейнгард заявил, что связан рыцарской клятвой и не может ничего ни сказать, ни сделать, не спросив своих друзей и доверенных участников Артурова Круга. Ошеломленные, смотрели на него Стефан, Маргарита, Рудольф. Что это за дворянская клика, забравшая юношу в свои руки? Недоверчиво обнюхивали они друг друга. Только Стефан сразу почуял, в чем дело. «Вот бесенок!» — кипел он, довольный.

Ульрих фон Абенсберг был женат на старшей сестре Агнессы фон Флавон. Через него Фридрих познакомился с Агнессой. Сразу же влюбился: Агнесса отнеслась благосклонно к молодому, стройному, пылкому принцу. Она взялась быть патронессой над Артуровым Кругом. Присутствовала при освящении знамени, которое было ее цветом. Она сказала Фридриху:

— Вашей политике, принц Фридрих, нельзя не сочувствовать от всей души.

А он, когда знамя склонилось перед ней, произнес с пламенной искренностью соответствующую формулу:

«Pour toi mon âme, pour toi ma vie». Она расхаживала среди звенящих доспехами рыцарей, для каждого находилось у нее любезное словечко. Ее удлиненные голубые глаза часто и сочувственно останавливались на статном темноволосом Фридрихе, ее узкие смелые губы улыбались Абенсбергу, длинными белыми пальцами гладила она сурка герцога Мейнгарда. Все были осчастливлены и воодушевлены.

— Разрешите доложить вашей светлости,— сказал Фрауенберг Маргарите,— о том, как умер маркграф?

Маргарита стала очень толста. Вялая кожа висела безобразными складками вокруг по-обезьяньи выпяченного рта. Верхняя часть лица была покрыта морщинами и бородавками, которых белила и румяна уже не могли скрыть.

— Да,— сказал Фрауенберг и осклабился,— редко видел я маркграфа в таком веселом расположении, как в тот день, когда мы выехали. Мы выпили, он и я. Я все время держался подле него. Он съехал с коня боком. Лицо не очень исказилось. Как странно, что удар настиг его под Мюнхеном. Совсем как папашу.

Маргарита ничего не ответила. Взгляд ее обычно столь выразительных глаз был неподвижен и пуст.

— Ну, ну, герцогиня Маульташ,— продолжал Конрад визгливо,— справляться с Мейнгардом нам будет петрудно. Немножко пуглив, но, в общем, хороший малый. Сейчас его подзуживает этот нижебаварец, этот чернявый Фридрих, порядочный дуралей. Выждать надо! Поцелуй я все-таки заслужил,— осклабился он. Но когда она почувствовала дыхание его широкого рта, она, задрожав, отпрянула.— Ну не надо,— сказал он благодушно.

Вместе с герцогом Рудольфом Австрийским в Мюнхен приехал и древний старик аббат Виктрингский. Он совсем одряхлел, выдохся, весь трясся, по временам бормотал что-то невнятное, глаза были почти всегда закрыты. Он погладил Маргариту, его кожа была еще суше, чем ее, сказал:

— Милая моя девочка.

Позднее она попросила его к себе. Рассказала ему про матовый флакончик, про свой разговор с Фрауенбергом, слово в слово. И не исповедь — и больше, чем исповедь. Он сидел перед ней, съжившийся, угасший, она не была уверена — понял ли он. Да это и все равно: важно было высказаться перед живым существом. Однако, когда она кончила, он процитировал древнего классика: «Страшного много на свете, страшнее нет сердца людского».

Агнесса старалась избегать Фрауенберга, была холодна с ним, насмешлива. Он спросил ее благодушно:

— Вы в дурном расположении, графиня? Мое лицо вам разонравилось? — Затем похлопал ее по плечу, осклабился, пропищал: — Ты же дура, Агнесса. Связалась с мальчишками, с хлыщами. Думаешь, старая лодка течет. Ты настоящая дурочка, милая Агнесса. — Он погладил ее, стал навязчивее. Но так как она отстранилась, добродушно рассмеялся, вытянулся на диване, отвернулся, шумно зевнул.

Герцог Рудольф Габсбург жадно схватил документы, которые ему торжественно и многозначительно поднес его канцлер, умный епископ Гуркский. Герцог углубился в них, перечел по нескольку раз; обычно такой спокойный, сдержанный, — лихорадочно взволновался. Он разгладил бумаги. Стал сосредоточенно слушать объяснения, которые давал ему епископ, обладавший необычайно широкими юридическими познаниями. Канцлер говорил о том, какое исключительное государственное-правовое значение имеют эти неожиданно найденные документы. Рудольф перечел их еще раз. Торжественно и благоговейно поцеловал пергамент, опустился на колени, стал молиться. В порыве пылкой благодарности пожал обе руки епископу, который сохранял полнейшую серьезность.

Герцог Рудольф унаследовал от отца суровую деловитость, ясное понимание действительного и возможного. Он знал, что род Габсбургов еще недостаточно силен, чтобы нести обязательства, налагаемые императорской короной, не терпя при этом существеннейшего

ущерба. Блюсти императорское достоинство — значило бы зря расходовать силы, терять жизненные соки. И Виттельсбахи и Люксембурги пережили это на собственном опыте. Оставалось одно: пока благоразумно отказаться от наружного блеска, но так укреплять свои силы изнутри, чтобы со временем императорская корона сама собой досталась Габсбургу, как сильнейшему. Вот политика, которой покойный Альбрехт следовал с таким успехом.

Если смотреть на дело ясно и трезво, то для Рудольфа иного пути нет. Со всей силой принуждал он себя не выходить за эти пределы. Но он не обладал выдержкой отца, хромого, который довольствовался сознанием своей реальной силы. Рудольфу была нестерпима мысль, что над ним сидит еще кто-то, его сюзерен, именующий себя, и по праву, римским императором. А что он такое, этот Карл, этот смиренный, тощий, со впалыми щеками, с грязной курчавой бородой? Он, Рудольф, подобно ему владел многими землями, подобно ему основывал университеты, построил соборы, дворцы, университет в Вене, грандиозный собор. Тот просто воспользовался благоприятным моментом, чтобы закрепить за собой корону; было бы нелепо теперь расточать силу и могущество ради чисто внешнего престижа. Но все же никакие доводы разума не помогали, сознание превосходства Карла продолжало жечь, резать, колоть, мучить Рудольфа.

Он был слишком горд, чтобы дать канцлеру подмстить свои терзания. Но умный епископ угадал их, стал обдумывать, взвешивать, как найти лекарство, которое успокоило бы лихорадку его государя.

И вот однажды вечером его осенило. Аббат Иоапп Витрингский, с которым он охотно видался, только что пожелал ему спокойной ночи. Аббат, как обычно, заперся, чтобы продолжать хронику мировой истории, над которой работал с давних времен. Он относился к своей работе чрезвычайно добросовестно, держал рукопись под замком, от всех таил. Так как за последнее время древний старик уже не мог писать, он привлек к делу одного монаха, которому и диктовал. Монаху пришлось дать священную клятву в том, что он не вы-

даст ни одного слова из того, что пишет. Во всех спорных случаях запрашивали аббата. И записанное в его хронике неизменно считалось непреложной истиной, как евангелие.

И вот, когда аббат удалился, канцлер сказал себе: «То, что аббат пишет, считается историей, есть история. И все-таки — это только бумага. Все запечатленное, права, привилегии — это бумага. Вместе с тем они признаются всеми, на них можно опираться. Как подумаешь, так весь мир стоит на бумаге. У Карла Богемского — умные ученые-теологи, они возвели вокруг его короны целую стену из бумажных привилегий. А разве мы, в Вене, глупее и менее учены, чем они там, в Праге?»

Он пошел к аббату. Напомнил ему о смерти герцога Альбрехта. И как аббат тогда возгласил: «*Defunctus est Albertus de Habsburg, imperator Romanus*». Эти слова, сказал канцлер, продолжают гореть в сердце герцога Рудольфа; как неугасимый огонь в часовнях горят они, день и ночь горят. А древний старик слушал, его взгляд казался утасшим. Канцлер продолжал говорить осторожно, намеками. Старик что-то бормотал.

И вдруг появились те самые документы. Ученый аббат нашел их, перерывая архивы дворца. Запыленные, забытые, лежали в углу драгоценнейшие пергаментные свитки. Непостижимо.

Ведь они, как объяснял канцлер герцогу, нечто гораздо большее, чем исторический курьез. Громадное, живое значение имели они, у них была сила поставить Габсбурга на новый, мощный, высокий пьедестал, рядом с римским императором.

С лихорадочным волнением изучал Рудольф документы. Всего пять грамот. Они были подписаны римскими императорами — Фридрихом Первым, Генрихом Четвертым, восходили к эпохам Цезаря и Нерона. Они утверждали, что дом Габсбургов должен быть выделен среди всех прочих германских владетельных родов; освобождали его от обременительных обязанностей, падалили особыми правами, делали Габсбурга первым, старшим и надежнейшим имперским князем.

Рудольф медленно, задумчиво поднял глаза, посмотрел на канцлера. Серьезно, невозмутимо, открыто ответил тот на его взгляд. Тогда Рудольф взял со стола документы, прижал их к своей груди, твердо изъявил готовность принять на себя почести и обязательства, которые бог через эти бумаги на него возлагает.

С огромным воодушевлением возвестил он всему христианскому миру о находке грамот, дарующих ему высшие прерогативы. Торжественные посольства к папе, к императору, ко всем дворам. Торжественные служения во всех церквах габсбургских стран. Рудольф, проникшись сознанием своего величия, приказал комнате, где родился он, глава Габсбургов, которому всевышний дал снова извлечь на свет божий эти грамоты, превратить в часовню.

В канцеляриях германских государей появилось немало растерянных физиономий. Юристы Богемца, Бранденбургца, графов Пфальцских съезжались, обсуждали событие в осторожных выражениях, переглядывались, у всех на уста просилось одно слово, но никто не решился произнести его вслух.

Накопец слово было сказано, его привез из Италии Виллани, составитель хроник, это было ясное и недвусмысленное заключение специально запрошенного Петрарки. И оно гласило: грамоты, подтверждающие особые привилегии дома Габсбургов,— подлог, грубая подделка! Никто, однако, не решился сослаться на заключение чужеземца.

С глубоким недовольством следил император Карл за действиями Габсбурга. Ему чуть не опостытели его драгоценные регалии, когда выяснилось, что у соперника есть такие грамоты. Крайне сомнительной казалась ему подлинность этих бумаг, особенно подозрительны были, несмотря на их безукоризненную латынь, свидетельства Цезаря и Нерона. Однако и после заключения Петрарки он продолжал колебаться, не осмеливался, даже наедине с собой, признать документы подложными.

А герцог Рудольф сидел над своими драгоценными документами, без конца перечитывал их, изучал, старался запечатлеть в своем сердце каждый завиток

почерка, каждую шероховатость бумаги. Канцлер и аббат Иоани наблюдали за ним. Многозначительно, удовлетворенно отмечали, что герцог все больше проникается своими новыми правами, делает их своим символом веры.

Маргарита, вернувшись в Тироль, по-прежнему находилась в состоянии опустошенности и пугающего оцепенения. Больше не интересовалась государственными делами. Все распоряжения посылала с парочными на подпись молодому герцогу в Мюнхен; они залеживались там неделями, месяцами. Советники управляли на собственный страх и риск, действовали нерешительно, применяли полумеры; ибо ни один из них не знал: кто же в конце концов захватит власть, Виттельсбах, Габсбург, герцогиня, мюнхенский союз Артуров Круг? Самые важные вопросы откладывались, оставались неразрешенными.

Маргарита была до конца опустошена. С такими невероятными трудностями поднялась она, была сброшена в грязь, снова поднялась. И вот все оказалось пустыми словами, глупыми, лживыми, наглыми; чистота, добродетель, сила, порядок, смысл и цель — такой же вздор, как рыцарственность, благородство. Фрауенберг прав: в мире существуют только те семь радостей, о которых гнусит непристойная песенка, — больше ничего.

С какой-то почти педантичной алчностью принялась безобразная стареющая женщина заново строить в соответствии с этим свою жизнь. Ее столы гнулись под тяжестью яств, часами просиживала она за трапезой, в ее кухнях состязались бургундские, сицилийские, богемские повара. Из больших кубков пила она густые, жаркие вина. Все хотела она иметь, всего вкусить. Моллюсков, редкую рыбу, птицу, дичь, приготовленную все новыми способами — вареную, жареную, печеную, в миндальном молоке, в пряном вине. Ненасытно требовала она, чтобы ей доставляли разнообразные лакомства, жадно, боясь что-нибудь не заметить, упустить. Она рано ложилась спать, поздно вставала, спала по многу часов и днем. Ибо спать — это самое лучшее. От

Фрауенберга она переняла привычку потягиваться, шумно зевать, хрустеть суставами. И вот она лежала, храпя, эта толстая стареющая женщина, безобразная до ужаса. Ее жесткие медные волосы висели прямыми космами. На лицо она надевала маску из теста, замешанного на ослином молоке и порошке из растертых корней цикламена, ибо это сохраняет кожу молодой.

Фрауенберг был доволен переменой в герцогине. Да, Губастая — баба разумная, она поняла, что его мировоззрение самое правильное. Он одобрительно похлопывал ее по плечу. Взял на себя организацию ее удовольствий.

Странные слухи ходили по городу Мерану, по долине Пассейер. Чтобы облегчить ночные свидания, под угловым окном замка Тироль будто бы подвешена железная корзина, которая может быть спущена во двор и поднята с посетителями. В тюремной башне будто бы гниют фавориты, ставшие для герцогини обременительными. Люди брезгливо морщились, когда заходила речь о привилегиях долины Пассейер, о ее шинках, о жителях, освобожденных от налогов, о получивших право охотиться и рубить лес.

Герцогиня перебралась дальше на юг. Ее маленький охотничий домик сиял белизпой; внизу, в золотистой мгле полуденного солнца, лежало сине-черное большое озеро. К нему среди гранатовых зарослей вели полуразрушенные каменные ступени. В большой, пестрой, празднично разукрашенной лодке скользила Безобразная по черно-синей воде; под килем, вспыхивая, играли рыбки, весла равномерно вздымали пену. Она лежала на палубе, а из трюма доносилась музыка.

На ее пути встал юноша Альдригетто Кальдонаццо. Горячий, необузданный семнадцатилетний мальчик: изжелта-белое страстное лицо, короткий нос, быстрые большие темные глаза — встретился он с ней впервые в Вероне, затем в Виченце, где Кан Гранде Младший, могущественнейший тиран Ломбардии, устроил ей торжественный прием. Юный барон Альдригетто, носитель славного имени Кастельбарко, единственный уцелел в жестоких и кровопролитных схватках, в которых участ-

вовало это семейство. Сам он уже не раз яростно сражался. Теперь большая часть его крепостей и поместий была в руках его врагов: он бежал ко двору знаменитого веронца, почти грозно потребовал от него помощи, продолжения борьбы. Он был последним потомком очень древнего рода. Бесконечно избалованный, неудержимо отдавался каждому порыву. Женщины любили его пылкое мальчишеское изжелта-белое лицо.

Он увидел Маргариту. Увидел, как она бок о бок с могущественным делла Скала под звон колоколов поднимается по ступеням его дворца, между рядами почтительно склонившихся вооруженных людей и знамен, покрашенная, как неподвижная маска, в роскошной, осыпанной золотом и камнями парадной одежде, сказочно безобразная. Он ощутил на себе ее долгий, странно безжизненный взгляд. Он, разумеется, слышал, как и все, смутные, чудовищные легенды, которые ходили на ее счет: о том, как она, ненасытная, прогнала первого мужа, отравила второго, как, в своей безграничной алчности, заживо похоронила бесчисленных любовников. «Германская Мессалина» — прозвали ее в Италии. Ему польстило, что она взглянула на него. Его привлекала ее власть, с помощью которой ему, может быть, удастся уничтожить своих врагов. Его привлекала окружавшая ее опасная слава. Он был молод, поздний потомок древнего рода. Его привлекало ее безобразие.

Два летних месяца прожила герцогиня с мальчиком Альдригетто на берегу обширного озера. Стояла гнетущая жара, они проводили и ночи на воздухе. Маргарита приказала раскинуть шатры на маленьком полуострове юго-восточного берега, среди развалин древнеримских вилл, под старыми оливковыми деревьями. Они лежали в гамаках, прикрытые сетками от moskitov. Черно-синее, свинцовое, лежало перед ними озеро.

И случилась необъяснимая вещь: необузданный, изжелта-белый мальчик полюбил Безобразную. Он был красив, строен, изжелта-бел, как разбитые статуи, стоявшие то тут, то там под оливковыми деревьями. Она была похожа на большого могущественного, неподвижного, чарующего и безобразного идола. Что перед

нею молодые, стройные, горячие девушки, которые начинали учащенно дышать, когда он приближался к ним? Гусыни, пустые, глупые, ничтожные, все как одна. Герцогиня же была совсем особенная, неповторимая, полная древней мудрости, властительница страны в горах, замкнутая в своей загадочной, мощной и одинокой неповторимости. Она стала средоточием всех его юношеских грез. То, что теперь привязывало его к ней, уже давно не было ни честолюбием, ни расчетом, ни любопытством. Когда он начинал мечтать при ней о том великом государстве, которое некогда создаст, слив воедино все владения между По и Дунаем, а она затем медленно повертывала к нему свой печальный, неподвижный, несказанно безобразный лик, он иногда останавливался на полуслове, смолкал. Что-то в этом лице хватало его за сердце, повергало в дрожь, привязывало к ней загадочно, неотрывно. Так проводили они вместе знойные полдни: герцогиня — грузное, грустное, древнее легендарное животное угасших эпох, покрытая шрамами бесчисленных битв, уставшая от бесконечных переживаний, и мальчик — стройный, гибкий, как мальма, последний поздний отпрыск необузданных завоевателей, с горячими глазами, темнеющими на белом лице, устремленными в будущее, которое для нее стало уже пропешедшим.

Она разрезала гранат. Сок цвета крови стекал по ее набеленным пальцам. Она клала зерна, прозрачные, как стекло, в огромный безобразный рот, жевала их неровными большими и сильными зубами. «Как странно, — думала она, — этот мальчик смотрит, как я ем, и ему не противно. Он, пожалуй, в самом деле привязан ко мне без корысти. Я постарела, опустошена, иссякла, и вот явился человек, который любит меня!» Она вспомнила о Кретиене де Лаферт, провела неуклюжей рукой по блестящим черным волосам Альдригетто. Порывисто закинув голову, мальчик укусил ее руку. Затем рассмеялся беззлобно. Серебрились оливки, в полуденной дымке мерцали тихие дремотно-блаженные берега озера.

А в то время как герцогиня находилась в Италии, в Тироле слухи о ней становились все ядовитее и

гнуснее. Она-де, ведьма, высасывает по ночам кровь из мужчин, она может находиться одновременно в двух местах: когда она была в Вероне, в Трамине видели женщину, которая неслась по воздуху на темно-рыжем коне. Все чаще приходилось властям наказывать плетью непочтительно отзывавшихся о герцогине.

Маргарита, вялая и ленивая, проводила время, лежа на берегу озера. Казалось, часы, дни, месяцы остановили свое течение. Когда лодка плыла под деревьями, озеро внезапно мертвело, пробегающие тени пугливым ознобом нарушали теплую сумеречную дремоту. Итак, мальчик Альдригетто любит ее. Он строг, красив, взгляд женщины увлажняется желанием, когда они встречаются, а он любит ее; но она слишком опустошена и обессилена, чтобы радоваться. Вспомнила Фрауенберга: спать — лучше всего. У нее было только одно усталое желание: всегда жить вот так, в этой сумеречной знойной дремоте, безвольно, тихо испаряться, как вода на солнце.

Тем временем Мюнхенский дворянский союз, баварский Артуров Круг окончательно организовался. С пышным церемониалом праздновалось основание союза, прием и посвящение в рыцари отдельных его членов, освящение знамени, возведение Агнессы фон Флавон в сан королевы союза. Затем большой турнир, банкеты, многолюдные облавы на зверей.

Молодым, необузданным дворянам статуты принца Фридриха пришлось как нельзя более по душе. Они — живы, они — молоды, они — весь мир! В них кипело неудержимое властолюбие, была через край потребность крушить все вокруг, кричать, бесноваться, устраивать неугомонный веселый шум. Наполнить мир своей молодостью, которой некуда было излиться, своей бесцельной, бесполезной энергией, своей жаждой что-нибудь натворить, сделать. А теперь принц Фридрих дал этому смутному властному стремлению красивое, звучное имя, в нем было подобие смысла, идеи, идеала. Молодые, самоуверенные, драчливые ба-

ропы вдруг почувствовали себя носителями особой миссии. На их стороне бог, право, власть: они были счастливы.

Где еще пили и жрали так неистово, как при мюнхенском дворе? Где охоты были грандиознее? Где бывало на турнирах столько убитых, столько праздничного шума? Объявки, достававшиеся шутам и карликам, которые ползали между ногами гостей, были обильнее, чем стол иного мелкого государя. Молодые бароны пылали таким задором, что иногда набрасывались на совершенно чужих людей: «Есть ли женщина достойнее Агнессы фон Флавои?» — и когда спрошенный отвечал, что этой дамы не знает, его вызывали на поединок и убивали. Чтобы ночью, после охоты, при свете пожара, пировать под открытым небом, они поджигали крестьянские хижини и целые рощи.

Они находили придворные танцы слишком изощренными и сложными. Вместо флейты застонала волюнка, вместо арфы запищала губная гармоника. Носились в грубых крестьянских хороводах, отплясывали ридеванц, хоппельдей и другие неуклюжие танцы, при этом подпевали, хлопая себя по ляжкам, непристойные стишки. Косолапо вертелись, точно медведи, подбрасывая женщин так, что у тех юбки взлетали на голову, среди оглушительного хохота валили их весьма непочтительно наземь. Играли в кости бессмысленно, с азартом, просаживали деревни, замки, поместья, иной раз снова получали их обратно в виде дара, иной раз убивали партнера. Бродили спотыкаясь, пьяные, извергали из себя вино. Орал грубые, циничные песни, на ночных улицах Мюнхена хор пьяных голосов ревел, верещал, гнусил песенку Фрауенберга о семи радостях.

А молодой герцог Мейнгард расхаживал среди всего этого, толстый, добродушный, глуповатый, но довольный и гордый, чувствуя себя центром замечательного праздничного веселья, которое устраивалось в его честь. Каждому благосклонно улыбался, говорил, что сегодня опять все вышло особенно удачно. Влюбленно поглядывал снизу вверх на статного темноволосого принца Фридриха. Гладил своего сурка Петера, говорил внимательно смотревшему на него зверьку, что

ему очень хорошо, что управлять государством вещь легкая и простая, гораздо приятнее, чем он предполагал.

Агнесса небрежно и благосклонно принимала восторги и кипучие чувства окружавшей ее шумной и многочисленной молодежи. Она стала замечать, что кожа у нее то там, то здесь становится или слишком суха, или отвисает, что возле губ или около глаз появилась крошечная дряблая складочка, а на голове выцвел волосок, что ее движения стали чуть ленивее, тяжеловеснее, словно налились жиром. Тем необходимее было ей пламенное восхищение этих молодых людей, как доказательство ее обаяния, она нуждалась в их шумном поклонении, она плавала в нем, она блаженно купалась в безграничном обожании принца Фридриха.

Однако принц Баварии и Ландсгута за всеми этими развлечениями не забывал и о своих политических планах. Он не замечал шума и грубости, он видел власть; он не замечал распушенности и грязи, он видел господство и блеск. Вместе с руководителями Артурова Круга Абенсбергом, Лабером, Гиппольштом фон Штейн забрал он руководство всеми государственными делами. Молодой герцог предоставил им захватить все, что они хотели: его власть, прерогативы, печать, весь круг его обязанностей. Государством правили за столом, во время охоты. Надменно, между двумя кубками вина, отнимали они у городов их привилегии, крестьян обкладывали бессмысленно тяжелой барщиной. Старинный запрет, лишавший крестьянина права есть дичь и рыбу и предоставлявший это право только господину, был восстановлен во всей строгости. Двор Мейнгарда, развлечения и пиры Круга обходились чрезвычайно дорого. Государственное имущество расточалось, пошлины, подати, доходы с городов тратились уже не на общественные нужды, а на нужды Артурова Круга. Налоги были повышены. Дичь вредила полям, ее было видимо-невидимо, а крестьянина, пытавшегося как-нибудь защититься от нее, затравливали насмерть. Некоторые члены Круга нападали даже на транспорты купцов; сначала к этому относились как к шалости, затем стали смотреть как на желанное средство обогащения. Ввиду

того что проезжие дороги стали небезопасны, торговля и ремесла приходили в упадок.

Города роптали, крестьянство стонало. Тирольские бароны стояли у границ, герцог Стефан Габсбургский еще пока ничего не предпринимал, но брови его грозно хмурились. Порой в Артуровом Круге появлялся на положении гостя Фрауенберг; в члены его не приглашали. Но он нисколько не обижался, шутил, подзадоривал молодежь: нельзя отрицать, он умел расшевелить этих господ. Герцог Стефан послал сыну резкое письмо, заявляя, что если тот немедленно не возвратится в Ландсгут, то потеряет нижнебаварское наследство. Принц Фридрих не ответил, заковал посланца в кандалы.

Несмотря на то что Габсбург зондировал почву умнее и бесшумнее, потерпел в Мюнхене неудачу и он. Герцог Рудольф заключил с венгерским королем союз против императора Карла. В конфиденциальном письме к Мейнгарду он предложил ему также вступить в этот союз, ибо император — прирожденный враг Виттельсбахов. Но принц Фридрих, в своей надменности признававший только политику престижа, не считал ни одного из имперских князей равным Виттельсбахам, кроме римского императора, и не находил возможным вступать в союз с обыкновенными территориальными правителями, тем более — с наглым Габсбургом. Нет, Виттельсбахи, как бы ни противоречили этому политические и экономические интересы, должны все же, по чисто идеальным мотивам, гордо и благородно поддерживать единственного равного им немца — римского императора.

Во время трапезы конфиденциальное письмо Габсбурга — первого, старшего, надежнейшего имперского государя — было нацеплено на горб одного из разряженных придворных шутов. От гостя к гостю бегал пестрый карлик, неустанно и низко кланяясь, показывал висевшее на его горбу секретное послание австрийца, в котором тот осмеливался злобно поносить императора. Затем Фридрих от имени Мейнгарда отослал изодранное, загаженное письмо, сопроводив его высокопарным посланием императору в Прагу, как равный равному.

К полуострову на юго-восточном берегу озера подплыла лодка с древним стариком аббатом Иоанном Виктрингским. Он прибыл в сопровождении двух монахов и вез в запечатом ларце свою хронику, «Книгу достоверных событий», которую считал наконец завершенной.

Старец теперь окончательно высох и стал очень мудр. Столько перевидал он, всех людей и все события сопровождал прекрасными стихами, все взвесил и вот запечатлел в своей хронике. Что бы еще ни случилось, оно может быть лишь вариантом того, что им уже описано. К тому же он узнал, что некий Джованни Виллани из Флоренции, итальянец, работает над столь же пространной и основательной хроникой. Хотя аббат стоял уже выше житейских тщеславных тревог и волнений, все же он крайне огорчился, услышав, что мужи, весьма умные и сведущие, отзываются о труде итальянца с большой похвалой. Славолюбивый иноземец подошел к своей задаче совсем иначе, чем аббат: он стремился к сенсационно прикрашенным ярким описаниям, рассчитанным на сильный эффект, тогда как добросовестный ученый аббат усердно сглаживал, оттачивал, старательно устанавливал даты и факты, не забывая о высоком назначении своего труда в целом. Теперь он наконец решил поставить последнюю точку. Он продиктовал брату секретарю: «Предоставляю другим лучше изобразить грядущие события и заканчиваю здесь свои записи, кои старался вести хорошо и достойным истории образом...» Он что-то пробормотал, захихикал, положил сухую руку на плечо монаха, с ложным, напускным смирением продиктовал последнюю фразу: «Если же не столь удачна работа моя, то да простится мне то, ибо предпринята она была во славу святой и нераздельной троицы, которой хвала, честь и слава и поклонение во веки веков. Аминь».

И вот старец сидел в тени олив и тысячелетних развалин, он поднес герцогине свой труд, надеясь встретить со стороны всегда внимательной ученицы заслуженную оценку. Маргарита лежала в гамаке, лила в свой большой рот охлажденный апельсиновый сок; ленивый, стройный, белый юноша Альдригетто небрежно вышучивал беззубого старца.

Когда наступил вечер и стало свежее, Маргарита попросила брата секретаря почитать ей хронику. Низким, ровным, выразительным голосом продекламировал монах посвящение и предисловие аббата. Приводя многочисленные цитаты, аббат говорил о том, как жизнь и действительность становятся историей, как от жизни и бытия ничего не сохраняется, кроме истории, и как история является последней целью всякого действия и его дальнейшей первоосновой. Что остается от великих мужей, кроме памяти о них, подобной тому аромату, который оставляют у наших берегов нагруженные яблоками суда, когда сами эти суда давно уже отплыли к иным берегам? В этом смысле стал он затем разворачивать картину последних ста двадцати лет, картину краткости человеческой жизни, изменчивости природы, непостоянства счастья, обманчивости и ненадежности земной славы.

Маргарита думала: «Все это я знаю, но это больше не ранит меня. Моя жизненная программа позади». Однако, по мере того как монах низким, ровным голосом продолжал разворачивать перед ней многообразные повествования, по мере того как пестрые, наивные, хитрые, дерзкие, кроткие, возвышенные и ничтожные повествования эти сменяли друг друга, все — в одинаковой мере остуженные, тщательно уложенные, одно как другое наплывая, одно как другое уходя, это постепенно захватило и ее, и она сама погрузилась в красочный поток времени. Мейнгард, великий граф Тирольский, сильный, хитрый, решительный: она была частью его. Эти земли, столь долго разъединенные, — она сделала все возможное, чтобы их снова спаять. Эти города, вначале — маленькие, жалкие поселки! Она сделала, что было в ее силах, чтобы они стали большими и цветущими.

А теперь она выключена из этого текучего потока, она как стоячая гнилая вода. Ее жизнь на полуострове показалась ей вдруг безмерно нелепой. Эти оливковые деревья, эти древние развалины, эта апельсиновая роща, разве все это не глупая, претенциозная декорация? Как можно было так погрузиться в мертвое, одурманивающее, одинокое лето, когда там, в ее стране,

происходили дикие, тревожные, разрушительные события, когда германские государи дрались вокруг ее бедного, улыбающегося, глупого сына? А чем она была занята? Мальчиком Альдригетто, красивым юным мальчиком.

Весь следующий день Маргарита читала «Книгу достоверных событий». Старец сиял, выпил, против обыкновения, вина, пролив большую часть дрожащими руками, тряс головой. Затем она послала нарочного в Виченцу, к Кан Гранде: ей необходимо с ним поговорить

Улыбаясь загадочной доброй улыбкой, простилась с мальчиком, провела рукой по черным блестящим волосам, погладила изжелта-белое страстное лицо. Обещала дня через три вернуться. Мальчик лениво принимал ее ласки, затем вдруг, мучительно шутя, сжал сильными пальцами кисть ее руки, улыбаясь, выпустил.

В Виченце ее беседа с господином делла Скала продолжалась недолго. Умный энергичный итальянец симпатизировал герцогине, с ней можно было говорить кратко и по существу. Она заявила, что эпизод с мальчиком Альдригетто кончен: у ней останутся о нем дружеские, теплые воспоминания. А так как она хотела бы их и сохранить такими, то очень просит, пусть он позаботится, чтобы юноша исчез. Кан Гранде внимательно и понимающе посмотрел на нее карими выпуклыми глазами, блесевшими на энергичном мясистом лице, вежливо поклонился.

После одурманивающего летнего зноя Маргарита почувствовала, что ее овекает свежий воздух родных гор. Ее приветствовали без подъема. Страна страдала. Мюнхенское правительство Артурова Круга, послушное капризам Агнессы, производило над Тиролем эксперименты, повергшие страну в тяжелый недуг. Города приходили в запустение, крестьянин, разоряясь, роптал:

«От Губастой мы совсем пропадем. Она высосет нашу кровь. Теперь, когда маркграф умер, ясно, что все хорошее было от него, а плохое — от нее». Маргарита твердой рукой сразу натянула поводья. Искоренила

самые жестокие злоупотребления. Приостановила исполнение приказов, шедших из Мюнхена. Народ облегченно вздохнул: «А, наконец-то Агнесса фон Флавон вступилась! Благословенная, красавица! Наш ангел, наша спасительница!»

В лоджии замка фон Шенна Маргарита сидела с хозяином замка. Вдоль стены шагали пестрые рыцари, Гарель из цветущей долины, Рыцарь со львом.

— Как хорошо, что вы проснулись! — сказал господин фон Шенна.

Высились горы, светлые и приветливые, набегали друг на друга камейными волнами. Веял свежий ветер, фрукты и виноград висели почти созревшие, озаренные солнцем.

— Отчего вы меня не разбудили раньше? — сказала Маргарита.

— Вы должны были одна пройти через это лето, герцогиня Маргарита, — сказал Шенна.

Фрауенберг просипел:

— Как жаль, что вы так скоро поставили точку, герцогиня Маульташ. Такой красивый мальчик, золотистобелый, южанин. И так беспредельно предан вам. Такие не каждый день попадаются. А что здесь? Труд, дермо, навоз. Уж дали бы этим мюнхенским паршивцам добеситься. Они задохнулись бы от собственного буйства.

Несмотря на трудности путешествия в снежном январе, герцогиня Маргарита все же поехала в Мюнхен, чтобы ознакомиться на месте с хозяйничаньем баварского Артурова Круга. Недоверчиво, сухо, официально была она встречена в столице. Мейнгард, когда она взялась за него как следует и потребовала объяснений, стал мямлить, глупо улыбаясь, заявил, что правит совместно со своими приятелями-рыцарями, бормотал что-то насчет «бабьего правления», наконец, став в позу, продекламировал слышанное им от Фридриха об аристократических принципах, которые-де должны восторжествовать над современной властью черни и мелких чиновников. Имела она разговор и с ландсгутским принцем. Стройный, надменный, вежливый, он заявил, что, насколько ему известно, герцог Мейнгард

совершеннолетний. Его воля, кому он доверит государственную печать! Ее материнские советы, разумеется, всегда будут выслушаны со вниманием. Дальше этого дело так и не пошло.

Всюду наталкивалась она на Агнессу. Ее цвета, ее привычки, ее капризы, вкусы, склонности определяли лицо двора, характер управления страной,

Агнесса нанесла герцогине визит, как того требовал этикет. Стройная, скромная, сидела она перед безобразной, неуклюжей, накрашенной, разряженной Маргаритой. С вежливой улыбкой, полной самоуверенного торжества, смотрели ее глубокие голубые глаза в пронзительные, грозные глаза другой. В камине пылал яркий огонь, аромат горящего сандалового дерева наполнял большой сумрачный покой.

— Вы теперь постоянно живете в Баварии, графиня Агнесса? — спросила Маргарита.

— Вовсе нет, герцогиня, — отозвалась Агнесса, и ее голос зазвучал особенно резко в сравнении с теплым низким голосом Маргариты. — Я предполагаю в ближайшие дни вернуться в Тауферс. В присутствии моем там правда, нет необходимости. У меня дельные служащие; да и господин фон Фрауенберг так любезен, что взялся управлять моими имениями.

Молча и внимательно посматривала герцогиня на Агнессу. Та слегка пополнела; но ее кожа осталась совершенно гладкой. Она сидела перед Маргаритой такая легкая и упругая; шея, нежная, без морщин, стройно выступала из темного платья. Поклонение всей этой молодежи для нее, видимо, лучший источник молодости, чем ванны и румяна. Так уверенно и победоносно сидела она тут, что даже ироническая усмешка вокруг ее губ почти исчезла.

— Вы стали в последнее время много заниматься политикой? — спросила Маргарита.

— Нет, сударыня, — ответила Агнесса, которая вдруг насторожилась. — Господин герцог и принц Фридрих иногда спрашивают мое мнение. И я не могу тогда не высказать его, да и почему бы не высказать? Но это только мнение глупой женщины, ни на что

другое не претендующее.— Она говорила необычайно любезным тоном.

— Я считаю, что ваши мнения не всегда бывают правильны, графиня Агнесса,— сказала Маргарита.— Говоря по чести, я убеждена, что они иногда даже вредят стране. Я хочу вам кое-что предложить,— продолжала она весело, почти шутливо.— А что, если бы вы впредь высказывали их только относительно Баварии?

Агнесса ответила очень оживленно и с той же легкой сердечной шутливостью, что и Маргарита:

— Вы мой сюзерен, герцогиня. Но разве и герцог Мейнгард не мой сюзерен? Что делать, если герцог непременно хочет знать мое мнение о тирольских делах? С какой бы радостью ни стремилась я исполнить каждое желание вашей светлости, все же смею ли я уклониться, если он требует, чтобы я высказала свои безусловно глупые взгляды? И потом, ведь достаточно одного вашего дуновения, и моей глупой болтовни как не бывало.

Обе дамы смотрели друг на друга, обе улыбались. Победоносное выражение вокруг губ и в глазах красавицы стало чуть-чуть уловимее. Заговорили о другом. О различных изменениях в здании мюнхенского дворца, о сетках для волос, мода на которые завезена из Праги. На крашенных медных волосах Маргариты, сухих и жестких, была надета тяжелая золотая сетка. Агнесса небрежно провела рукой по своим густым лучистым волосам: она никак не может привыкнуть к этой новой моде.

Император Карл жил в Нюрнберге с большой пышностью. Постоянные пиры, турниры; принимал членов городского совета, иноземных художников, ученых. Вел с ними длинные, спокойные, интересные разговоры. Здесь, в провинции, отдыхал от государственных дел. Участвовал в больших карнавальных празднествах, которые этот богатый город устраивал в честь его римского императорского величества.

Борода императора, торчавшая тупым клином, начинала седеть, кожа на худом лице стала серой, морщи-

нистой. Но глаза над слегка приплюснутым носом оживленно поблескивали, длинное костлявое тело сохранило подвижность, уверенность.

Император был доволен. Он дождался, пока власть в его руках окончательно не окрепнет. Лишь тогда произвел на свет ребенка. Бог благословил его предусмотрительную воздержанность: родился сын, тяжелый, здоровый мальчик, которому можно было оставить империю. Осчастливленный отец пожертвовал в Аахен слиток золота весом с ребенка; затем опустился на колени посреди своих реликвий и возвестил мощам:

— У меня, Карла Четвертого, римского императора, есть сын и наследник. Вы, дорогие, уважаемые святые, вы, великомученики! Молитесь за Венцеля, моего сына!

Довольный, сидел он теперь в Нюрнберге, радовался общению со своими поэтами и зодчими, толковал со своим канцлером, многоопытным, знающим людей и жизнь богословом, беседовал легко и свободно о вещах божественных и человеческих, умножал свою коллекцию реликвий и иных драгоценностей, развлекался катаньем на санях, маскарадами, турнирами.

И вот в эти дни неомраченного веселья откуда ни возьмись — безобразная герцогиня. Император и его приближенные крайне изумились. С тех пор как Карл осаждал ее в замке Тироле, отношения между ним и Маргаритой были весьма прохладные и официальные. Ее приезд, писал его канцлер своему другу, архиепископу Магдебургскому, одно из пятнадцати чудесных знамений перед Страшным судом. Затем пространно издевался над этой германской Мессалиной, этой современной Кримгильдой, заявившейся ко двору, после того как она всю жизнь, из-за личной любви и пенависти, повергала в горе и нищету свою страну и свой народ. Описывал, как она сидела в ложе на турнире рядом с красавицей принцессой Гогенлоэ, неуклюжая, вся в бородавках, точно жаба, и разжиревшая, как пивовар.

Добродушно настроенный император принял свою бывшую невестку благосклонно и чуть-чуть насмешливо. Да, оба когда-то были молоды. В те времена он

был занят ликвидацией итальянской авантюры своего отца, и они не раз беседовали по душам. Умная она государыня, но ей, очевидно, недостает чувства меры. Ненасытно стремилась всего отведать, поэтому все и растеряла. Он же мудро сумел обуздать свой темперамент, стал римским императором, у него сын, которому он может теперь оставить в наследство крепко слаженное государство. А она бродит по свету, между тем как слабый, незадачливый мальчишка, игрушка в руках всякого, кто умеет за него взяться, расшвыривает ее земли. Брата Карла, Иоганна, она когда-то с насмешкой и позором выгнала из замка Тироля, и пришлось потом перед курией повернуть дело так, будто от ее брака с Иоганном не могло родиться здорового наследника. Император все же не отказал себе в удовольствии и представил ей статного красивого Иоганнова сына. У кого же теперь наследник лучше — у нее или у Иоганна?

Все это прошло и быльем поросло. Маргарита молча приняла насмешку и унижение с тем деловитым спокойствием, которому она, быть может, научилась у Менделя Гирша, с тем равнодушием, с каким человек терпит все предварительные формальности, лишь бы добиться своей цели. Затем она стала жаловаться. Жаловалась на бессмысленные злодеяния рыцарей Артурова Круга. Император слушал: он чувствовал в душе злорадную, почти мальчишескую, озорную насмешку. Он заверил ее в своем сочувствии, но подчеркнул, что как раз сейчас, после многих лет напряженных государственных трудов, разрешил себе небольшой отдых. Ведь все это в конце концов личное дело Виттельсбахов. Тем не менее по возвращении в Прагу он готов благосклонно рассмотреть ее жалобу. Не удалось Маргарите ничего добиться и при вторичном нажиме на императора; напрасно она унижалась. Очевидно, Карл твердо решил издали наблюдать внутреннее ослабление рода Виттельсбахов, сохраняя при этом бесстрастный нейтралитет.

А в общем, стареющий император держался в отношении герцогини с шутливой, почти пародийной галантностью, которая раньше чрезвычайно раздражала бы

Маргариту. Ему доставляло особое острое удовольствие подчеркивать шумное веселье своих каникул и празднеств, свое счастье, свои успехи — перед этой окончательно одуревшей, потерпевшей крушение честолюбией. Почти добродушно подшучивал он со своим канцлером над «уродиной». Не ведая смущения, вся покрытая драгоценностями, как идол, она повсюду показывалась рядом с императором. Народ удивленно глазел на нее. А она видела перед собой только свою цель: Тироль, города. Изгнать Агнессу, вырвать страну из ее рук. Так переполнена была она этой мыслью, что ни на миг не заподозрила, чем является для двора и города, а именно — шутовским венцом этого карнавала.

Разговор с герцогиней чрезвычайно ободрил Агнессу. Герцогиня предложила ей соглашение, готова отказаться от дальнейшей борьбы. Косвенно признала себя побежденной.

Агнесса понимала, что сам по себе Артуров Круг не в состоянии удержать надолго власть в своих руках. Города, вся знать, не вошедшая в него, ненавидела его. На границах караулил Габсбург, грозил Виттельсбах. Если с юга двинется еще герцогиня, то глупо будет и пытаться без союзника удержать страну.

Но принц Фридрих не хотел и слышать об этом. Стройный, темноволосый, упрямо твердил он громкие фразы о своем праве и непобедимости своего меча. Он очень понравился Агнесе. Но она невольно вспомнила Фрауенберга, как тот умел без слов, одной глумливой зловещей усмешкой превращать весь этот мальчишеский пыл в пустое марево. Она вздохнула, вздох был легкий и ленивый, погладила принца по темным волосам, осторожно стала уговаривать его помириться с отцом, с герцогом Стефаном, уверяла, что Виттельсбахи должны сомкнуть ряды для борьбы с Габсбургом, с Губастой. Словно ужаленный, обернулся принц, упрямо закинул голову, глубоко оскорбленный тем, что она считает его способным пойти на примирение. Агнесса молчала, улыбаясь смело изогнутыми губами, продолжала гладить его волосы.

Две-три недели спустя Стефан Нижне-Баварский заключил на Рейне союз с пфальцграфами, Рупрехтом

старшим и младшим, с городским советом, бюргерами Мюнхена и одиннадцати других баварских городов, а также с двадцатью двумя баварскими баронами против тех, кто называл себя рыцарями Артурова Круга, и стал между герцогом Мейнгардом и его землями и подданными. Они отказались признать министров, которые захватили власть и прерогативы Мейнгарда, весь круг его обязанностей, объявили государственную печать Артурова Круга недействительной, изданные им законы и распоряжения — не имеющими силы. Союзники обязались выволить молодого герцога из того позорного положения, в которое его вовлекли, обязались воздействовать на него, чтобы он правильное понял свою власть государя и разумнее ею пользовался.

Рыцари Артурова Круга разразились бешеными угрозами, схватили нескольких мюнхенских граждан в качестве заложников, заявили, что повесят бунтовщиков за ноги, как шелудивых псов. Тем временем в некоторых городах Оберланда войска Круга были обезоружены и взяты в плен, чиновники, взимавшие налоги, избиты. Мюнхенские члены Круга выместили свою злобу на заложниках, жестоко измывались над ними, заставили лизать доски пола, двоих повесили. Тем не менее отряды Круга таяли с каждым днем, а на севере герцог Стефан стягивал войска. Однако строптивые бароны и не помышляли о том, чтобы добровольно распустить свой союз. В главном зале мюнхенского дворца торжественно поклялись они, скрестив мечи, хранить единство и сопротивляться до конца. Герцог Мейнгард присутствовал при этой сцене, смущенно переминаясь с ноги на ногу, торжественный, глуповатый, лишний, потихоньку гладил своего сурка Петера, пылко кричал вместе с остальными, когда они клялись, что не подчинятся никогда, никогда, никогда.

И вот началась для молодого герцога беспорядочная, бродячая жизнь, смысл которой он понимал лишь очень смутно. Его таскали по замкам рыцарей Артурова Круга. Он побывал в замке Лабер, Принценау, Максльрайн, Абенсберг. Молодые люди охотились, пьянствовали. Совершали время от времени набег на замок какого-нибудь непокорного барона. Захватили замок

Вэрт, два укрепленных замка обер-егермейстера фон Куммерсбрука, доверенного покойного маркиграфа. Мероприятия, которые герцог скреплял своей подписью, становились все более дикими и бессмысленными. Базарное село, побор с которого оказался меньше ожидаемого, было буквально сровнено с землей, Куммерсбрук, державшийся нейтрально, был казнен без суда. Эти действия побудили все нейтральное дворянство перейти на сторону противника.

Мейнгард был не слишком вынослив и мало приспособлен к этим поспешным, полным опасностей переездам. В то время как другие бражничали, он сидел грустный и апатичный, иногда так и засыпал сидя. Его путешествия все более походили на бегство. У рыцарей Артурова Круга уже не оставалось на юге ни одного города, ни одного замка. Их все больше отесняли к Дунаю, где стояли их самые укрепленные замки. Они все еще выпускали надменные указы и грозили бунтовщикам жесточайшими карами. Они бежали в Нейбург, затем в область верного им епископа Эйхштетского. Войска герцога Стефана заняли всю Верхнюю Баварию, наконец осадили Мейнгарда и его последних приверженцев в замке Фейхтванген, в долине Альтмюльталь. Епископ Эйхштетский, переодетый, решил пробиться вместе с герцогом Мейнгардом. Молодой герцог с увлечением согласился; его очень забавляло это переодевание, но о смысле всего происходящего он не догадывался. Однако уже в Фобурге крестьяне их узнали, задержали, отправили к герцогу Стефану в Ингольштадт.

Замок Фейхтванген пал. Принц Фридрих и последние из рыцарей Артурова Круга попали в плен.

И вот во дворце Ингольштадта герцог Стефан и принц Фридрих стояли лицом к лицу. В присутствии Агнессы фон Флафон-Тауферс. Герцог, в доспехах, буживал: разрушены города и села, перебиты люди, расточены деньги! Все — по вине глупого мальчишки! Посолдатски рывал он из-под густых усов, торчавших на бронзовом лице. Стройный юноша стоял перед ним, в его глазах горел дикий упрямый огонь, раненая рука была на перевязи, лицо посерело.

— Каяться будешь в церкви, при всем народе покоришься! — гремел отец. Юноша только злобно смеялся. — В самой вонючей тюрьме сгною! — бесился герцог.

Агнесса скользила от одного к другому.

— Повязку надо сменить, — озабоченно сказала она, осторожно занялась рукой Фридриха.

— Эти врачи! — сердился герцог. — Все до одного шарлатаны! — Сам побежал за врачом и перевязочным материалом. — Проклятый бесенок! — бранился он.

С трудом, отчаянно препираясь, причем посредницей между ними служила Агнесса, пришли они наконец к соглашению. Из-за каждого рыцаря Артурова Круга, из-за помилованья или той или иной меры наказания все сызнова начинался ожесточенный спор, вспышки гнева, крик, брань. Два раза герцог Стефан посылал сказать палачу, чтобы тот был наготове. Наконец кое-как сговорились. Мейнгарду был назначен в качестве постоянной резиденции Мюнхен, печать по-прежнему оставалась у принца Фридриха, но каждый его приказ должен был заверяться или нижнебаварским, или пфальцским советом. Посредничество между Мюнхеном и Ландсгут-Ингольштадтом взяла на себя Агнесса.

Герцог Мейнгард улыбался кротко и благодарно. После стольких бурных дней был рад отдохнуть. Поглаживал своего сурка.

Маргарита совещалась со своими министрами. Присутствовали — фогт Ульрих фон Мач, священник Генрих Тирольский, комтур Тевтонского ордена в Боцене граф Эгон фон Тюбинген, Якоб фон Шенна, Берхтольд фон Гуфидоун, Конрад фон Фрауенберг.

Что теперь делать, после того как герцог Стефан захватил в Верхней Баварии власть и влияние!

С Виттельсбахом можно поладить. Примириться с тем, что не Бавария будет управляться из Тироля, но Тироль из Баварии. Но так как фактический регент, герцог Стефан, сидит не в Мюнхене, а в Ингольштадте или в Ландсгуте, центр управления оказывался уже не так близко к Тиролю, централизация и объединение

этим затруднялись, и стране в горах предоставлялась известная автономия.

Однако можно было также против герцога Стефана призвать Габсбурга. Последний только и ждет этого. Правда, зависимости в какой-то форме и тогда не избежать. Но по крайней мере будет обеспечена крепкая, устойчивая власть.

Тягуче, лениво перебрасывались сидевшие аргументами за и против. С глухим раздражением слушала Маргарита. Неужели никому не приходит в голову самое простое решение? Разве они так мало в нее верят? Она взглянула на Шенна, на Гуффидауна. Они смотрели перед собой усталым, пустым взглядом.

Как ни странно, но предложение, которого она ждала, внес именно Фрауенберг. Осклабясь широкой улыбкой, он заявил: раз молодой герцог действительно так беспомощен и нуждается в том, чтобы им руководили, то почему не доверить этого руководства его естественному опекуну, матери, герцогине, которая и в гораздо более трудные минуты умела оставаться истинной правительницей? К чему еще договариваться с Виттельсбахами? Нужно только увезти Мейнгарда в Тироль. Если уж всем этим баварским господам удавалось таскать его по всяким своим мерзким захолустным порам, так неужели, с помощью бога или черта, не удастся заполучить его в Тироль, где ему и быть надлежит? А когда он окажется в своей стране, тогда и Баварией править можно будет из Тироля. Герцог Стефан еще подумает, прежде чем со своих берегов Дуная пуститься в военную авантюру против страны в горах. И тогда еще останется в резерве Габсбург как естественный союзник. На самый крайний случай можно будет, за определенную компенсацию, официально отказаться от Верхней Баварии, ограничиться автономным Тиролем.

Да, автономный Тироль. Таков был и план Маргариты. Бавария только как придаток, в крайнем случае можно обойтись и без нее. Но Тироль — тирольцам!

Прежде всего предстояло изъять Мейнгарда из-под влияния герцога Стефана, переправить его из Мюнхена

на родину. С самого своего вступления на престол молодой герцог не был в родной стране. Вполне естественно, что народ желал наконец его увидеть.

По предложению Шенна и Гуфидауна, в Боцене было созвано многолюдное совещание представителей страны. Явились белокурые коренастые люди с короткими широкими носами и ленивым хитрым взглядом, явились тощие, чернобородые, загорелые, с орлиным профилем и живыми пронизательными глазами. Явились три наместника страны в горах — собственно Тироля, долины Эча и долины Инна, явились гофмейстеры, фогты и бургграфы. Явились бароны, крупные и мелкие, представители городов и округов. Всего их собралось сто пятьдесят три человека. Они совещались на пестрой веселой рыночной площади Боцена два дня подряд, два сияющих темно-голубых дня, в конце лета. Разбирались в трудностях, обсуждали их не спеша, тяжелодумно, осторожно, говорили жесткими, скрипучими, гортанными голосами. Хитро и честно посматривали друг другу в глаза, движения были медлительны, угловаты, простодушны, полами тяжелых кафтанов отирали они с лица пот. Горы стояли красно-бурые и лиловые, совсем наверху — белые.

Они решили написать молодому герцогу письмо. Под этим письмом от баронов подписались семеро: Ульрих фон Мач-старший, Шенна, Тростбург, Генрих фон Кальтерн-Ротенбург, Гуфидаун, Фрауенберг, Боч фон Боцен; четыре города скрепили его своей печатью: Боцен, Меран, Галль, Инсбрук — от имени всех остальных.

Письмо гласило: «Возлюбленный господин наш! Доводим до сведения вашей милости, что мы, собравшись вместе в Боцене, согласились просить вас, чтобы вы, ради чести и пользы вашей, а также и всей страны, вернулись к нам, ибо мы давно желаем видеть вас, как оно и следует: вы наш возлюбленный и законный государь. Также будет вам у нас больше цены и уважения и не напустят на вас порчи, как в Баварии, о чем доводилось слышать, да и страна ваша и люди ее будут избавлены от иноземного зла. У нас здесь в горах, бог милостив, все идет честно и ладно, как в счастливые

времена при вашем батюшке; и в стране и на ее границах — мир. Милостивый господин наш! Просим вас доверять нам, мы желаем вам добра. Верьте нам, мы готовы отдать за вас добро свое и кровь свою, а иным прочим не доверяйте!»

Фрауенберг отвез письмо в Мюнхен. Он явился в сопровождении пышной свиты, вручил письмо на торжественной аудиенции. Не рассчитывал, впрочем, на успех, был уверен, что придется прибегнуть к другим способам.

За столом принц Фридрих рассказал, что его дорогой герцог и любезный кузен Мейнгард получил из провинции Тироль весьма курьезный документ, который он перед благородными рыцарями еще не огласил. Письмо было прочитано. Сначала присутствующие ухмылялись, затем стали прыскать со смеху. Сотрясались от все более громкого, неудержимого хохота. Улыбалась Агнесса, смеялись придворные дамы, гоготали, сгибаясь пополам, мужчины, блеяли лакеи, свистел Мейнгардов сурок Петер, визжали пажы.

— Уж эти тирольцы! — восклицали люди, задыхаясь от смеха.

— Да, таковы наши тирольцы! — сказал Фрауенберг, спокойный, розовый, жирный, и прищурил красноватые глаза.

— А вы тоже находите столь смешным письмо от ваших подданных, господин герцог? — спросил Фрауенберг. Хотя его миссия с передачей письма окончилась, он все же остался в Мюнхене и много бывал с Мейнгардом.

В присутствии этого толстяка с жабьей пастью и голым розовым лицом молодой герцог всегда испытывал неприятное чувство, его грубая игривость пугала юношу. Но уйти у него не хватало духу; этот грузный, смеющийся визгун импонировал ему; он говорил совсем иначе, чем все прочие, непочтительно, уверенно, называл вещи своими именами. Он внушал чувство какой-то особой, даже приятной беспомощности, желание подчиниться его воле. Полный неизменного, сме-

шанного со страхом любопытства, ходил кроткий, толстоватый, глуповатый герцог вокруг альбиноса.

В сущности, письмо тирольцев отнюдь не показалось Мейнгарду смешным, напротив, оно было мило его слуху и его сердцу; и лишь потому, что остальные так оглушительно хохотали и нашли его глупым и наглым, смеялся и он. То, что этот Фрауенберг, этот взрослый, разумный человек, так серьезно относится к письму тирольцев, было для затравленного, обманутого герцога утешением и большой радостью. От этого доверчивого письма на него повеяло чем-то простым, спокойным. На несколько минут ему почудилось, что нет ни Мюнхена, ни утомительного рыцарского церемониала, ни Артурова Круга, ни Виттельсбаха. Как хорошо, должно быть, лежать на горном лугу среди тучных коров и ничего не слышать, кроме легкого ветерка и мягкого посапывания животных, щиплющих траву.

Перед ним стоял Фрауенберг, прищурясь. Мейнгарда потянуло подойти ближе.

— Как меня радует,— сказал он и поднял на него свои простодушные, круглые глаза,— что вы не считаете письмо моих тирольцев глупым.

— Глупым? — горячо возразил Фрауенберг. — Там каждое слово на месте, каждая буква бьет в цель! То, кто смеялся над ним, сами дураки! Ведь иначе я не подписался бы под ним. А я и сегодня и в любую минуту готов опять подписаться под ним обеими руками!

Мейнгард сделал еще один неуверенный шаг к толстяку.

— Я так устал, так замаялся,— пожаловался он.— И Фридрих уже не смотрит на меня ласково, как прежде. Сначала я думал, что править очень легко. А теперь — один тянет туда, другой сюда, все хотят прибрать меня к рукам.

Альбинос положил ему на плечо свою толстую страшную руку, просипел:

— Эй, мальчуган, не поддавайся, мальчуган!

Мейнгард задрожал под рукой этого жирного человека, хотел выскользнуть из-под нее, но прильнул покрепче.

— У вас есть друзья, молодой герцог,— продолжал Фрауенберг, честно глядя ему в глаза, осклабясь.

На следующий день Фрауенберг сказал:

— Почему, собственно, вы остаетесь здесь, молодой герцог? Раз письмо ваших тирольцев вам пришлось по сердцу, так последуйте ему!

Они совершали прогулку верхом, было раннее утро, внизу, между многочисленными каменистыми островками, шумел Изар, зеленый и свежий, большой плот осторожно плыл под шум и крики сплавщиков. Лошади пошли медленнее, Мейнгард сидел на своем булапом вялый, толстый, поникший.

— Этого же нельзя,— сказал он,— я же не могу этого сделать.

— Почему не можете? — настаивал Фрауенберг. Он подъехал совсем близко, как ребенку приподнял ему подбородок.— Кто хозяин — вы или герцог Стефан?

— Да, кто здесь хозяин,— повторил Мейнгард, но в его голосе звучал не задор, а унылая задумчивость. Все его доверие к альбиносу исчезло, ему было грустно оттого, что внизу, кипя, несется Изар, он боялся Фрауенберга, чуть не попросил в тот же день Фридриха, чтобы тот отослал его.

На следующее утро альбинос и не заикался о своем предложении покинуть Баварию. Он лежал с Мейнгардом в траве под созревающими плодами. Пел свою песенку о семи радостях, с отеческим добродушием сочно комментировал ее. Подобное мировоззрение было молодому герцогу очень по душе, он гладил своего сурка, благодушествовал. Фрауенберг потянулся, похрустел суставами, зевнул, богатырски захрапел. Да, спать — это лучшее. Странно привлеченный, но все же с потемневшими испуганными глазами созерцал Мейнгард беспечно храпевшего толстяка.

Агнесса сказала:

— Вы очень задержались в Мюнхене, господин Фрауенберг. Вы же занимаете в Тироле такие важные должности. Разве вы там не нужны?

Фрауенберг осклабился, так оцупал ее своими красноватыми глазами, что она учащенно задышала, просипел:

— Я, разумеется, здесь только ради вас, графиня Агнесса.

Они встретились, он лежал на ее диване, стояла гнетущая жара, воздух в комнате был сперт и необыкновенно душен. Она гладила его одутловатую розовую кожу.

— Что же, — улыбнулась она, — разве я не избрала благую часть? По-моему, я себя неплохо обеспечила.

Он осклабился:

— Увидим, курочка, увидим.

Она называет это обеспечением, подумал Фрауенберг. Вот он действительно себя обеспечил. Если ему удастся увезти мальчишку в Тиролю, он будет держать в руках мать через сына, а сына через мать. В сущности, фактический регент Тироля он. Да, да, каким хочешь будь уродом, а чего только не добьешься, если иметь хоть каплю смекалки, да при деловитости, да при удаче.

Все с той же спокойной, ободряющей фамиллярностью продолжал он подзадоривать юношу. Соблазнял, поддразнивал, подгонял. Властно забирал его в свои короткие красные руки. В Тиролю! Пора Мейнгарду в Тиролю, пора показаться своему графству. Значит, бегство? — нерешительно мямлил Мейнгард. Ах, бросьте! Какое бегство! Не нужно только поднимать много шума вокруг этой поездки. Однажды они просто отправятся в путь, Мейнгард, он, двое-трое слуг. Без особых разговоров. В Тироле и Баварии и без того слишком много болтают. Это осложняет самые простые вещи. В конце недели принц Фридрих укатит в Интольштадт к отцу. Тогда выедут и они. В другую сторону, на юг, в Тиролю. Пусть сурок Петер снова увидит родные горы.

— Мой сын приезжает, Шенна! — сказала Маргарита, и ее темные выразительные глаза ожили. Прибыл курьер от Фрауенберга с вестью, что он везет Мейнгарда.

— Как вы рады, госпожа герцогиня! — сказал длинный Шенна, наклонился, ласково посмотрел на нее серыми, очень старыми глазами. — Я уже не надеялся, что вы когда-нибудь еще будете так радоваться.

Маргарита не слушала.

— Я знаю, — сказала она, — он не одарен. В стране найдутся тысячи более одаренных. Но это мой сын. Он создан из земли нашей родины. Он одно с ее воздухом, ее горами. Поверьте мне, Шенна, этот увидит гномов.

Да, Маргарита снова подняла разодранное, спущенное знамя былой надежды. Всю свою волю, всю силу жизни вложила она в это ожидание сына. Неуклюжими, набеленными руками гладила портрет кроткого, толстого, глуповатого юноши.

Слуга впереди, слуга позади — так ехали быстрой рысью Мейнгард и Фрауенберг на юг. Шел дождь, ухабистая дорога местами вела через густой лес, местами надолго исчезала в топи. Нелегко было в темную мокрую ночь держаться верного направления; при таком дожде о факелах нечего было и думать.

Рыцари были без доспехов. От влажного платья шел пар, кожаные колеты издавали резкий запах. Ехали молча; порой, когда они проезжали через ночное селение, лаяла собака.

В деревне Ленгрис сделали привал. Через несколько часов Фрауенберг заторопился дальше. Но Мейнгард чувствовал усталость и уныние, не столько от долгого пути, сколько от пережитых волнений. Самая трудная часть дороги еще впереди; ибо всего разумнее было, минуя людные местности, пробираться в Тироль через дикий Рис. Итак, выполняя желание Мейнгарда, Фрауенберг решил заночевать на постоялом дворе деревни Ленгрис.

Фрауенберг и Мейнгард улеглись в темной узкой комнате на сенниках. Каморка была низкая, печь дымилась, а не грела, в воздухе стояла вонь, через оконное отверстие в комнату хлестали дождь и ветер. Фрауенберг громко храпел; в углу что-то грызла крыса. У Мейнгарда все тело ныло от усталости, но он лежал

без сна, кожа чесалась, веки жгло. Он чувствовал себя несчастным, замученным, вдруг перестал понимать, зачем едет в Тироль; охотнее всего возвратился бы он в Мюнхен. Мейнгард боялся встречи с матерью, она такая толстая, уродливая, властная. Он покосился на альбиноса, тот лежал грузной грудой, спокойно спал, сопел, храпел. Мейнгард боялся его, но Фрауенберг — единственный, кто способен помочь. Он нерешительно глотнул выдохшегося пива из грубой кружки, стоявшей возле него, стал следить за мухой, которая ползала по лицу Фрауенберга: но она, очевидно, тому не мешала. В конце концов юноша тихонько позвал:

— Господин фон Фрауенберг!

Альбинос сразу же проснулся, проскрипел своим бесцеремонным голосом:

— Что такое?

— Ничего, — виновато сказал юноша. — Только жутко мне... Я не могу спать.

— В таком случае едем дальше, — решил Фрауенберг и сразу вскочил.

— Нет, нет, — просил Мейнгард. — Мне только хочется немного поговорить с вами. Я тогда, наверно, успокоюсь.

— Глупый мальчишка, — проворчал Фрауенберг.

— Что мой отец больше любил, Тироль или Баварию? — спросил Мейнгард.

Фрауенберг сощурился.

— Сначала, вероятно, Тироль, а потом Баварию, — сказал он.

— А потом он умер? — спросил молодой герцог.

— Да, — ответил Фрауенберг, — потом он умер.

Когда Мейнгард, проспав несколько часов тяжелым сном, очнулся, оказалось, что сурок Петер исчез. Молодой герцог и слуги принялись искать. Фрауенберг ворчал на задержку. В конце концов зверька нашли мертвого в соломе, на которой спал Фрауенберг: вероятно, сурок ускользнул от хозяина, а Фрауенберг своей тяжестью придавил его. Мейнгард горестно уставился на него. Он совершенно пал духом. Его словно парализовала бессильная гнетущая печаль. С тупым, беззащитным ужасом смотрел он, как альбинос взял

у него из рук трупик смешного зверька, которого Мейнгард так любил, поднял за задние лапки, насвистывая, зашвырнул в угол.

— А теперь на коней! — бросил он.

Они поехали дальше вверх по реке. Долина все сужалась, становилась извилистее; едва заметная узкая дорога изгибалась вслед за бесконечными поворотами бурной зеленовато-белой реки. Кругом густой лес, мокнущие деревья. Внизу — пенная, мутно-зеленая, разорванная бесчисленными каменистыми островками, шумливая и быстрая поверхность реки, между верхушками елей — печальное, грязно-серое небо. Отвесные скалы подступали иногда так близко, что лошади пугались, и лишь с большим трудом удавалось их заставить идти дальше.

Затем дорога разделилась, они погрузились в густой, бесконечный бор. Ехали вдоль многошумной, бурливой реки, которая, все более сужаясь, упорно пробиралась через темный лес. Кругом царила тишина, беспредельное одиночество. Лил дождь, неустанно, безнадежно, даже свист Фрауенберга в этом мокром сером унынии утратил свою бодрость, стал затихать, смолк.

Наконец долину реки, по которой они до сих пор ехали, перерезал высокий горный хребет. Они очутились в подобии амфитеатра, образованного полукругом из гигантских беспредельно-нагих беловато-коричневых скалистых стен. За ними был Тироль. В этой горной долине они заночевали. Фрауенберг и слуги кое-как устроились под открытым небом. Крошечная полуразвалившаяся хижина, на которую они наткнулись, была предоставлена герцогу в виде убежища от дождя.

И вот, скрючившись, в этой хижине полусидел-полулежал юноша Мейнгард, герцог Баварский, маркграф Бранденбургский, пфальцграф Рейнский, граф Тирольский. Он подсматривал, прислушивался, не видят ли его, спят ли остальные. Когда он решил, что наконец один, он перестал сдерживаться. Ему было страшно, он чувствовал себя разбитым, беспредельно несчастным. Медленно выкатывались слезы из его простодушных круглых глаз, текли по толстым глупым щекам. Он пла-

кал оттого, что Фрауенберг придавил его сурка Петера, он плакал оттого, что так высоки скалистые стены, через которые завтра ему предстоит перебираться.

Агнесса была поражена той искусной и дерзкой простотой, с какой Фрауенберг похитил герцога. Он импонировал ей; ну и ловкач, ничего не скажешь. С неохотой, без всякой надежды на успех, приняла она меры, чтобы помешать осуществлению его плана. Лучше было бы предоставить все Фридриху; но тот в Ингольштадте. Опа сама вынуждена организовать погоню.

Она разослала к границам гонцов, небольшие вооруженные отряды. Надо было действовать незаметно, не привлекая внимания; нельзя показывать, что герцога силой не пускают в его графство Тироль.

Когда они оставили позади маленький охотничий домик в Карвенделе, Фрауенберг решил, что они уже вне опасности. Но за несколько часов до удобного перевала к Аахенскому озеру им повстречался обоз торговца лесом, скупавшего его в этой местности и как-то высеченного плетью за то, что он не согласился на сделку, которую ему хотел насильно навязать альбинос. Сначала Фрауенберг вознамерился напасть на лесоторговца и отделаться от него; но один из шести слуг, сопровождавших транспорт, мог пробиться, и тогда герцог оказался бы в еще большей опасности. Поэтому Фрауенберг решил лесоторговца не трогать и, невзирая на предостережения знавших дорогу слуг, попытаться вместо легкого Плумзерского перевала преодолеть трудный и псобычпый путь через Ламзенский перевал, на Швац или Фрейпдсберг.

Оставили лошадей почти у самой скалистой стены, свернули в боковую долину. Ручей, прорывший эту долину, тек по отлогому руслу, часто совсем исчезал, уходил под землю. Знавший дорогу слуга шел впереди. Они встретили ивовые заросли, торфяное болото. Дождь все продолжался. Вдруг долина неожиданно расширилась. Они увидели необычный для этой местности клен. Несколько. Целую рощу. Неподвижно стояли под дож-

дем могучие старые клены. Лишь смутно виднелись сквозь их листву и завесу дождя гигантские белые скалистые стены, беспощадно замыкавшие долину, и они были так высоки, что сквозь ветки деревьев нельзя было даже рассмотреть их вершин. Ни ветерка, только слышно было, как дождь тихо и равномерно стечает с листьев старых суровых мертво-серых деревьев.

Мейнгард был не в силах идти дальше. Под непрерывно льющим дождем устроили привал, взялись за припасы. Мейнгард не мог есть. Ему было страшно оттого, что не видно верха скалистых стен. Никогда не подняться ему на такую высоту, не перебраться на ту сторону; они были заперты в этой долине, под этими жуткими, похожими на трупы деревьями, точно на краю света.

Стали подниматься. Вначале подъем был не труден. Шли медленно, следуя извилинам небольшого горного ручья. Слуги — впереди, отыскивая наиболее удобную тропу. Мейнгарду уже приходилось делать трудные переходы, но сейчас он был точно парализован. Ноги стали как чурбаны, он потел от слабости, дышал с трудом. Он скользил по мокрым камням, Фрауенберг поддерживал его, но юноша вздрагивал при каждом прикосновении. Чем выше всползали они, тем презрительнее, насмешливее вперялась в него скалистая стена, тем казалась выше, непреодолимее.

Отцветшие альпийские розы, ползучий кустарник, снег. Слуги ровным шагом шли впереди. Неуверенно, скользя, задыхаясь, приостанавливаясь, следовал за ними герцог. Вдруг один из слуг замедлил шаг, насторожился, взглянул на Фрауенберга. Тот уже услышал, но его голое лицо не дрогнуло. Видно, лесоторговец все же поднял тревогу.

— Люди или пасущееся стадо, — сказал он равнодушно. Заторопился вперед. Ускорили шаг и слуги.

Мейнгард надеялся на отдых. Он рассердился, что об этом и не думают. Затем он впал в какое-то тупое забытие, предоставил толстяку волочить его дальше. Достаточно было на миг остановиться, чтобы передохнуть, как тотчас охватывал леденящий холод. Снег

становился глубже, молодой герцог при каждом шаге неловко проваливался.

Фрауенберг обдумывал положение с режущей ясностью. Не будь снега, его все-таки удалось бы перетащить. Но так — с этим нюней невозможно перебраться через перевал. Кроме того, Мейнгард начинал упираться. Он становился все тяжелее, все ленивее.

Слуги ушли далеко вперед. Фрауенберг остановился.

— Что, молодой герцог, устали? — просипел он.

Мейнгард, совсем обессиленный, опустился в снег, задыхаясь. Фрауенберг насвистывал свою песенку. Его мысль напряженно работала. Значит, не выгорело. С этим он уже примирился. А что дальше? Снова отдать Мейнгарда Виттельсбахам, а те, после неудачного побега, заберут его в руки еще крепче? Хорошо было бы через Мейнгарда влиять на герцогиню. Но это не выгорело. Тогда лучше иметь дело с одной Губастой, а для навязчивого контроля Виттельсбахов исчезнет раз и навсегда всякий предлог.

Он все еще продолжал насвистывать. Глотнул вина из своей фляжки. Протянул и Мейнгарду.

— Нужно скорее идти дальше, молодой герцог, — сказал он. Подал ему руку, помогая подняться.

— Я не могу, — жаловался Мейнгард, с трудом вставая, — да и не хочу, — добавил он упрямо.

— Так? — осклабился Фрауенберг. — Что ж, нет так нет, мальчик. — Он просипел это так же добродушно, как и всегда; но что-то в его голосе заставило Мейнгарда поднять глаза. Альбинос уже несколько не щурился, он посмотрел зорко, пристально — сначала вслед слугам, ушедшим далеко вперед, затем на юношу. Простодушные круглые глаза Мейнгарда остекленели от ужаса, его горло издало только легкий хрипящий звук. Короткими, толстыми детскими руками вцепился он в ветки альпийской розы, зарылся ногами в снег. Фрауенберг, спокойно осклабясь, сказал: — Ну-ка, отправляйся, молодой герцог! — медленно оторвал красными мясистыми руками оцепеневшие пальцы юноши от скалы, поднял его, занес над пропастью, просипел: — До свиданья, мальчик! — разжал руки. Тело не-

сколько раз ударилось о скалы, упало неглубоко, осталось лежать.

Фрауенберг резким повелительным свистом созвал слуг, безмолвно показал вниз. Они спустились, тело было сильно изуродовано, в жирном мягком затылке зияли две раны. Стали ждать преследователей. Это были два офицера и несколько слуг. Фрауенберг заявил, что они с молодым герцогом хотели наловить сурков, и герцог сорвался. Грузно стоял он перед офицерами в своем резко пахнущем колете, щурил красноватые глаза. Мокрый снег падал хлопьями на труп. Поднялся небольшой холодный ветер. Все сняли шлемы, стояли молча в снегу вокруг изувеченного тела.

По залам и переходам замка Тироль, пошатываясь, брела женщина, бормотала, выла, падала, снова вставала, снова брела. Слишком крупная бесформенная нижняя челюсть отвисла, волосы свалились, — отвратительного цвета тусклой меди, местами — желтоватоседые. Простыня, какое-то подобие ночной сорочки, развевалась вокруг коренастого разбухшего тела, вокруг вялых больших грудей, волочилась по полу. Слуги приняли эту воющую, спотыкающуюся, бормочущую женщину за пьяную, не сразу узнали герцогиню.

Нарочный с вестью о смерти прибыл рано утром. Маргарита получила ее в постели. Она встала, не слишком поспешно прошла мимо растерянных, перепуганных горничных и пажей, завыв, глядя словно ослепшим взором, волоча за собой простыню.

Шенна привел ее обратно. И вот она сидела в своей спальне, вперяясь в пространство, перебирая обрывки каких-то мыслей.

Сколько на ее пути мертвецов! Голова Крэтиена де Лаферт, яд, безвкусный, безуханный, от которого умер маркграф, ее дочери с большими черными лопнувшими чумными бубонами, еврей Мендель Гирш в молитвенном плаще, улыбающийся мальчик Альдригетто, Мейнгард. Это оттого, что она так безобразна, вот за ней и ходит смерть, вот и смотрят на нее из всех углов пустые костяные черепа.

Она сидела неподвижно. Наступил полдень. Наступил вечер. Иссохшая фрейлина фон Ротенбург спросила, не пожелает ли она обедать, не пожелает ли одеться. Она же была неподвижна. Сколько на ее пути мертвецов. Оттого, что она так безобразна.

Тем временем Фрауенберг сопровождал тело Мейнгарда через Миттенвальд в Тироль. Он ухмылялся. Таким образом он хоть набьет руку по части перевозки своих мертвых сюзеренов.

Подавленная, встретила страна своего государя. На торжественном съезде просила она его приехать. И он приехал, — вот так. Под дождем и снегом стояли люди вдоль дороги, по которой, покачиваясь, следовал поезд. Звон колоколов, духовенство в облачении, рыцари, судьи, чиновники, все с обнаженными головами. А мимо них плыл гроб, вверх по склону горы Цирль, вниз, в Инсбрук, вверх, на Бреннер, вниз через Яуфенский перевал, Пассейер. Народ, крестясь и глядя вслед поезду, медленно перебирал в голове тяжелые, унылые думы. То был последний граф Тирольский. Не повезло стране с этой Маульташ. Первого мужа прогнала, второй умер загадочной смертью, умер и сын, так и не увидев родины. К тому же войны, бунты, наводнения, пожары, чума. Нет, плохо жилось Тиролю при герцогине Маульташ.

У ворот замка герцогиня, оцепенев, поджидала поезд. Резко оттеняло черное платье белила, которыми было покрыто ее лицо. И вот она шла через двор замка, рядом с носилками, одна. Падал снег. За гробом, в доспехах, грузной тушей шагал Фрауенберг.

В Мюнхене весть о смерти Мейнгарда всех поразила. Здесь никто не верил в несчастный случай, вопрос был только в том, действовал ли Фрауенберг по собственному почину или выполняя поручение герцогини; однако никто не отважился высказать вслух это подозрение. Только жадный до сенсаций флорентинский историк Джованни Виллани, соперник честного Иоанна Виктрингского, оказавшийся в это время в Мюнхене для каких-то архивных изысканий, утверждал, что на-

сильственное устранение молодого герцога — факт. Он тщательно перечислял, по степени их убедительности, все причины, которые могли и должны были повести к подобному злодеянию, написал об этом в своей хронике элегантную, красноречивую главу и читал ее всем, кому было не лень слушать.

Стефан, Фридрих, Агнесса были в ярости и смятении. Мысль о столь простой, цинично грубой развязке и в голову никому не приходила. Впервые, с тех пор как Агнесса и Фридрих встретились, напали они друг на друга. Он должен был отправить Фрауенберга обратно. Он не имел права покидать Мюнхен, пока тот был здесь, говорила Агнесса. А он говорил, что она должна была лучше смотреть за Мейнгардом; достаточно уехать на один день, как все идет вверх дном, ни на кого положиться нельзя. С несчастным видом стоял между ними герцог Стефан. Он предчувствовал это, судьба не благосклонна к нему, не дано ему снова возвеличить в христианском мире род Виттельсбахов. Когда они устали спорить, они решили пока сосредоточить все свое внимание на том, чтобы сохранить Баварию; оголить границы и продвинуться в Тироль — для этого они не имели достаточной военной силы. Напротив, пусть Агнесса едет в Тироль и там позиционирует почву.

С очень скромной свитой прибыла она в замок Тироль. Маргарита в тот же день приняла ее. Агнесса сидела перед ней розовая, гладкая, молодая, белокурая, в очень скромном черном платье; герцогиня была ярко набелена, руки и бесформенная шея блистали драгоценными камнями, она была разряжена в атлас и парчу. Очень любезно со стороны Агнессы, сказала она несколько сухо и церемонно, что та не побоялась трудностей зимнего путешествия и приехала отдать последний долг ее сыну. Агнесса ответила, обратив на герцогиню ласковый и простодушный взгляд, что это ее долг, после всех милостей, оказанных ей тирольским домом. К тому же она была особенно близка с умершим. У нее нет слов, чтобы выразить герцогине, как она была убита, получив ужасную весть. Маргарита, бесцеремонно уставившись на нее белым, широким, властным, накрашенным,

словно маска, лицом, спросила, хочет ли она видеть герцога. Агнесса, несколько неуверенно, ибо боялась покойников, согласилась. Обе женщины направились в часовню, тяжело тащились парчовые складки одной, другая шла легко, закинув голову. Молодой герцог лежал на роскошном катафалке, густо клубился ладан, рыцари в серебряных доспехах несли караул. Герцогиня кивнула, тяжелую крышку приподняли, под ней белело его миролюбивое толстое лицо, изувеченное и искаженное. Труп уже тронулся, — несмотря на балзамы и ароматические травы, из-под блестящего металла исходило зловоние. Агнесса покачнулась, побледнела. Маргарита увела ее.

Когда обе дамы снова сидели у камина, Маргарита сказала небрежным тоном:

— Теперь наш последний разговор потерял свой смысл, графиня Агнесса. Мой сын опять у меня, не в Мюнхене.

Агнесса, сбитая с толку легкостью тона своей собеседницы и не зная, куда та клонит, ничего не ответила; смотрела на нее, выжидая.

А герцогиня продолжала все с той же пугающей светской легкостью:

— Вы вышли замуж за Кретиена де Лаферт, и он умер. Вы хотели подчинить Баварии мои любимые города — они чуть не погибли. Вы сошлись с маркграфом, он тоже умер. Вы сделались поверенной моего сына, и вот он тоже мертв. Не считаете ли вы, что после всего этого явиться ко мне сюда, пожалуй, слишком смело? — Все это она говорила как бы вскользь, улыбаясь безобразным, по-обезьяньи выпяченным ртом, ее накрашенное лицо, напоминавшее лицо трупа, было искажено напускной приветливостью, она даже слегка наклонилась и, чего еще никогда не делала, с коварной ласковостью положила руку на локоть Агнессы. Та сидела бледная, оцепенев.

— Я не знаю, чего вы хотите, — пролепетала она.

— Очень мило с вашей стороны, — продолжала Маргарита, — что вы сами приехали. Иначе мне пришлось бы пригласить вас; уж поверьте, мое приглашение было бы таким, что вы бы приехали.

— Я отказываюсь вас понимать,— сказала побелевшими губами Агнесса.

— Да,— вдруг прервала разговор Маргарита и поднялась.— До похорон герцога — вы моя гостья. Придется уж потерпеть, приготовления потребуют времени.

— Я, собственно, хотела до похорон пожить в Тауферсе,— проговорила Агнесса; она совсем оробела и увяла, ее голос срывался.

— Ни в коем случае,— горячо запротестовала герцогиня.— Вы останетесь здесь. Разве вы и ваши близкие уже много раз не гостили в Тироле? И не вздумайте уехать,— заключила она, провожая Агнессу до двери.— Путешествие могло бы оказаться слишком неприятным.— Слуга проводил Агнессу в ее комнату. Вооруженная охрана у дверей взяла на караул, когда графиня переступила порог.

Маргарита, оставшись одна, забежала по комнате, ее шаг был какой-то окрыленный — он напоминал неуклюжий танец.

Как жаль, что та просто отдалась ей в руки. Было бы хорошо и сладостно сначала с трудом заманить ее сюда, долго месить тесто, прежде чем съесть пирог. Но уж таковы они, эти гладколицы. Красивы и глупы.

Маргарита вышла на воздух одна. Она бродила по засыпанному снегом виноградникам, лазила по уступам. Села в снег. Погрузила руки в мягкий, холодный снег, сжимала его в комья, роняла, снова сжимала.

Унизить ее, растоптать, растерзать, раздавить, расплющить, чтобы ничего не осталось, кроме презренного комочка падали! Упиться ее страхом, ее тоской, ее страданьем, пока красота Агнессы не будет повержена, как повержен сын герцогини, смердящий там, в часовне.

Когда некоторое время спустя иссохшая фрейлина фон Ротенбург пошла разыскивать свою госпожу, она услышала то, чего не слышала уже много лет. Герцогиня пела. Своим низким, теплым, выразительным голосом она пела. Сидя в снегу — пела, и песня широко и полнозвучно лилась из ее безобразного горла.

Герцогиня прежде всего вызвала к себе фон Шенна. Уточнила. Падение Мейнгарда со скалы безусловно произошло по вине графини фон Флавион-Тауферс. Она не согласна замять это преступление. Собирается, наоборот, покарать за него с примерной строгостью. Шенна, глубоко встревоженный, стал настойчиво отговаривать ее. Ведь народ столь же искренне, сколь и незаслуженно любит Агнессу. Посягать на нее опасно. Можно урезать ее владения, власть, влияние, но решиться на большее — противоречило бы государственному разуму.

Маргарита раздраженно, нервно возразила, что отлично знает, насколько сама непопулярна. Хуже ведь не будет. Значит, она ничем не рискует.

— Нет, рискуете! — с необычной для него резкостью возразил Шенна. Она всем рискует. Рискует вызвать восстание, которое будет на руку Виттельсбахам.

Маргарита вскипела, потом заявила: ни за что не желает она больше делить власть и правление с этой особой. Лучше отречься от престола. Она смотрела перед собой воспаленным взглядом, не доступная никаким разумным доводам. Шенна взволнованно ходил по комнате большими неровными шагами. Если она все-таки настаивает, посоветовал он через минуту, досадливо и смешно наморщившись, тогда пусть, во имя божье, хоть созовет верховный суд. Только пусть, ради господ, ничего не предпринимает против Агнессы без законного суда.

Она вызвала к себе Фрауенберга и несколько наиболее влиятельных аристократов. С ужасающей ясностью сразу поняла: все они против нее, все на стороне Агнессы. Но, за немногими исключениями, все готовы продать свое настоящее мнение. Они отнеслись к обвинению, выдвинутому Маргаритой против Агнессы, как к прихоти. Хорошо, они согласны поддержать эту прихоть, но считают, что Маргарита должна щедро оплатить их готовность.

Все требовали, все вымогали. У Маргариты сжималось сердце, она стискивала зубы. Они стояли перед

ней, ее верноподданные, следаемые патриотическими сомнениями. А под этим таилась усмешка: не запла-
тишь — не получишь.

Бароны сговорились, уравнивали свои притязания. Фрауенберг передал герцогине их общие требования. Они были ничем не прикрыты, бесстыдны. Пусть Маргарита образует новый кабинет министров. При условии, чтобы в него вошли Фрауенберг, Шенна, Берхтольд фон Гуфидаун, господин фон Мач, ландесгауптман и комтур Тевтонского ордена Эгон фон Тюбинген, Генрих фон Кальтурн-Ротенбург, Диппольд Гэль, Ганс фон Фрейндсберг. Эти господа, которые соглашались быть судьями в процессе графини фон Флавон, хотели затем взять в свои руки всю юридическую и административную власть в стране. Маргарита должна была дать обязательство без их согласия не совершать никаких правительственных действий, не назначать и не смещать чиновников, ни с какими иноземными государами не заключать соглашений и союзов. Не имела она также права сменять министров: если, ввиду смерти или почему-либо, член кабинета выбывал, то заменить его могла не герцогиня, а кабинет.

Маргарита сидела одна над документом с требованиями баронов. Она хмурила лоб так сильно, что краска отваливалась кусками. Подписать вот это значило пожертвовать городами, швырнуть страну наглым баронам, чтобы они вонзили в нее жадные клыки, отгрызли себе по жирному куску. Подписать вот это значило: дать Тиролю распасться на ряд мелких дворянских вотчин, постыдно погубить дело, в которое ее предки и она сама вот уже столетие вкладывали деньги, нервы, жизнь.

Вдруг перед ее мысленным взором возникло маленькое бородатое создание, которое ей однажды предстало среди скал возле замка Маульташ. Оно усиленно кланялось, серьезно смотрело на нее древними глазами, говорило.

Усилием воли отогнала она гнома. Погибай, страна, погибайте, города! Согнись, вы! Смирись перед дерзостью вассалов! Так должно быть. Счеты должны быть сведены между той и ею. Бессмысленно теперь укло-

няться от требований баронов и щадить ту. Она все равно будет разрушать и дальше дело Маргариты, подтачивать его, губить. Красавица — это червь, грызущий страну, все зло — от ее наглой, похотливой красоты. С ней нужно покончить, ее надо уничтожить, убрать со света, стереть с лица земли. Страна в горах не обретет покоя, пока эта женщина жива.

Обнажая свое сердце перед богом, она могла с чистой совестью сказать: да, бывали часы, дни, недели, когда в ней не жило ни одной мелкой, тщеславной мысли, только чистая глубокая воля к тому, чтобы склониться перед судьбой, следовать до конца своему долгу. Но та, тщеславная, пустая, вновь и вновь играючи разбивала все, стоившее Маргарите таких трудов, унижений, жертв, та, не имеющая и представления о муках и тягостях созидания. Разве это справедливо? Разве справедливо, чтобы пустое, глупое, дурное, пошлое, только потому, что оно прикрыто гладкой личиной, всем распоряжалось, все собой заполняло, не оставляя ни уголка для вдохновения, для выстраданной мудрости? Этого бог желать не мог. Это нужно низвергнуть. С какой-то блаженной мучительной судорогой она чувствовала, что судьбы их с красавицей нераздельны, что она обречена довести все до конца. Нельзя ни откладывать, ни прятаться, ни прикрываться маской, нельзя пугаться огромной ставки, искать компромиссов. Это надо довести до конца.

Пришел Фрауенберг за ответом. Ее рука неуклюже лежала на документе, содержащем требования баронов. Она подняла глаза, взглянула на Фрауенберга, сказала спокойно, не повышая голоса:

— Мерзавцы! Вымогатели!

Фрауенберг ответил равнодушно, игриво:

— Да, герцогиня Маульташ, дешево мы не берем!

Она подписала.

Агнесса, оставшись одна, села, охваченная страшной слабостью. Боже милостивый, что она натворила? Сама с любезной улыбкой отдалась в руки врагу. Где у нее

голова была? Пусть смерть Мейнгарда — удар и испытание для Безобразной, но это еще больший удар для нее самой, Агнессы. После устранения Мейнгарда и своего смелого, неожиданного отказа от Баварии герцогиня осталась победительницей. Агнесса теперь не понимала, как могла она, при таком положении, сама побежать в дом своей противницы и увенчать ее победу?

Она сидела совсем одна, одинокая и потерянная. В комнате было едва натоплено, Агнесса зябла. Действительно ли это холод? В нее заползало чувство, до сих пор ею не изведенное, оно сжимало горло, не давало дышать. Всегда была она дерзка и самоуверенна, всегда чувствовала себя хозяйкой положения, командовала мужчинами, как ей заблагорассудится. Теперь она совершенно беспомощна, эта женщина может сделать с ней все, что захочет. Страх и холод томили ее. Ее глубокие голубые глаза уже не блестели обычной смелостью, они погасли и остекленели, ее гибкая спина сторбилась, кожа на белых руках съежилась, гладкое лицо покрылось сетью мелких, сухих, застывших морщинок.

Так просидела она до вечера. Но вечером принесли свет, разожгли в камине огонь, поставили на стол кушанья. Она попыталась взять себя в руки, поела, согрелась, ожила. Пустяки! Ясно, что это и было целью Безобразной — унижить ее, запугать, заставить пресмыкаться. Маргарита, конечно, не отважится ни на что серьезное. Разве вся страна не за Агнессу? Сама-то Маргарита уродина, вот и хочет, чтобы Агнесса оказалась трусихой. Нет, она и не подумает доставить герцогине это удовольствие. Она выпрямилась, взгляд стал снова небрежным и дерзким, как всегда. Она поела с аппетитом, потребовала второй порции, шутила с лакеями. Спала крепко, спокойно, долго.

Когда на другой день к ней явился Фрауенберг, он нашел ее в отличном расположении духа, она лакомилась конфетами, наигрывала на лютне ффривольный куплет. Она принялась издеваться над старомодной обстановкой комнаты. Фрауенберг осклабился: конечно, так модно и комфортабельно, как она, Безобразная не

умеет устраиваться. Он погладил ее, прищурившись, заявил отеческим тоном, что ведь он же предупреждал, чтобы она не связывалась с этими молокососами, что это кончится плохо. Она спросила непринужденно, уж не с поручением ли он от Безобразной. Но ее ведь не запугаешь. Что, собственно, они затевают? Сколько это еще будет тянуться? Альбинос просипел, что ее, вероятно, будет судить верховный суд. Агнесса заявила: пусть поторопятся, в этом замке Тироль такая скука. Она просит также, чтобы прислали ее горничную и портниху, она хочет предстать на суде в соответствующем платье. Он ответил, что все ее приказания будут исполнены. Оставшись одна, Агнесса снова принялась за конфеты, стала бренчать на лютне.

Заседание верховного и тайного судилища, которое должно было вынести приговор Агнессе, герцогиня постаралась обставить с торжественной пышностью. Три покоя, прилегавших к залу суда, охранялись вооруженной стражей, чтобы обеспечить тайну. Девять членов суда сидели молча, в темных одеждах, на самой Маргарите пышно блистали знаки ее власти.

Агнесса была в простом светло-алом платье, подходившем скорее для приема или небольшого праздника. Держалась небрежно, уверенно. Она была убеждена, что Безобразная не осмелится покуситься на нее и торжественная пышность суда имеет целью только запугать ее. Все это делается лишь затем, чтобы ее, красавицу, унизить перед уродом. Нет, она отнюдь не намерена доставить им это удовольствие.

Домовый священник при замке Тироль, исполнявший обязанности секретаря, зачитал обвинительный акт. Графиня фон Флавон-Тауферс искони стремилась оказывать на Мейнгарда губительное и вредное для страны влияние. Когда молодой герцог вознамерился вернуться в Тироль и таким образом от нее ускользнул,— доброе же его согласие с подданными грозило разрушить все ее планы,—она попыталась завладеть им силой, в результате чего молодой герцог и погиб.

Агнесса сказала, что ее удивляет, как столь могущественные и мудрые господа могут так враждебно истолковывать самые простые и ясные факты. Да, она жила в доброй и сердечной дружбе с молодым государем, ей дарил свою дружбу и доверие еще его отец. Иногда она, в меру своего ничтожного женского разума, давала тот или иной совет, по чистой совести, как верноподданная и добрая христианка, государю и его землям на пользу и процветание. Когда герцог Мейнгард уехал в Тироль, а герцог Стефан неожиданно возвестил о своем прибытии в Мюнхен, она послала нарочных с письмом вслед Мейнгарду, советуя ему, при данных обстоятельствах, возвратиться в Мюнхен. К несчастью, ее нарочные уже не застали герцога в живых. Все это совершенно бесспорно и ясно. Она — великая грешница, закончила Агнесса, улыбаясь; но в ее отношении к герцогу Мейнгарду, по ее скромному женскому разумению, не было ни одного слова, ни одного легчайшего помысла, в которых она не могла бы безбоязненно признаться людям и богу.

Она давала показания сидя, небрежно, своим обычным резким и безапелляционным тоном. Молодая, гладколицая, ясная, доверчиво сидела она в скромном светло-алом платье перед сумрачными, одетыми в черное судьями.

Маргарита сказала, что еще в Мюнхене предложила графине фон Флавон не вмешиваться в тирольские дела; но графиня осталась при своем. Агнесса возразила, что, видно, госпожа герцогиня тогда не так поняла ее. Священник замка Тироль зашел данные под присягой показания посланных графиней офицеров о том, что они от нее самой получили приказание доставить герцога в Мюнхен силой. Все посмотрели на Фрауенберга, который мог, конечно, подтвердить это показание. Он безучастно смотрел перед собой. Агнесса заявила, что показания офицеров, если они действительно давали их, чистейшая клевета. Фрауенберг осклабился.

Герцогиня сидела неподвижно, очень напряженная, черное парчовое платье стояло вокруг нее не сгибаясь, золотом сверкали знаки герцогского достоинства. Среди

молчания, неожиданно, ни на кого не глядя, Маргарита вдруг открыла рот, заговорила: ровным голосом выложила все, беспощадно, голо, без всяких прикрас. Где бы она ни трудилась для страны, в горах, на Эче и на Инне, от итальянских озер и до Изара, всюду попадалась ей на пути эта графиня фон Флавон и всюду мешала ей. Герцогиня говорила медленно, не повышая голоса. Она говорила о городах, о своих мероприятиях и о том, как графиня фон Флавон им противодействовала. Она говорила о своей борьбе за улучшение финансов и о том, как эта графиня фон Флавон снова призвала в горы итальянского банкира мессере Артезе, которого Маргарита прогнала. Она говорила о тирольской автономии и о том, как эта графиня фон Флавон всякий раз старалась посадить Тиролю на шею баварца, кровопийцу. Говорила об Артуровом Круге, об Ингольштадте и Ландсгуте. Медленно выходили из ее безобразного широкого рта простые, трезвые слова. Они падали равномерно, монотонно, словно тяжелый песок, они струились неудержимо, засыпали элегантную лучезарную Агнессу так, что та наконец стала казаться поблекшей, жалкой, потухшей. Когда герцогиня кончила, воцарилась тишина, слышно было, как потрескивают в камине поленья, судьи сидели мрачные, серые, ссутулясь.

Агнесса заявила, что никогда не стремилась влиять на дела. Если ее спрашивали, она отвечала, и то нехотя, что никому не навязывала своих советов. Она почувствовала, что ее слова не попадают в цель и никого не могут убедить. И вдруг она встала перед ними — веселая, свободная, легкая, гордая, обвела взором мужчин, одного, другого, сказала: если за ней и есть грех, то один — тот, что она существует на свете. Но такой уж ее создал бог. Пока жизнь в ней не погаснет, она не может помешать людям смотреть ей вслед, восхищаться ею.

Все взглянули на нее, даже быстрое перо священника перестало скользить по бумаге. Усталыми серыми глазами обвел ее Шенна с головы до ног, напряженно уставился в ее голубые глаза тощий, справедливый Эгон фон Тюбинген, сопел и вздыхал честный добро-

душный Берхтольд фон Гуфидаун, щурил красноватые глаза Фрауенберг. Эти ее слова — Агнесса почувствовала — не пропали даром. Она извлекла из себя какую-то часть своего существа, подняла ее обеими руками, протянула мужчинам, гордясь ею перед лицом своего врага. Нате! Смотрите! Вот какая я! Она наслаждалась произведенным впечатлением, облегченно дышала, наслаждалась.

Но тут она заметила, что и Безобразная на нее смотрит: голубые глаза красавицы погрузились в карие глаза уродины. И Агнесса увидела, что Маргарита улыбается. Да, белое накрашенное лицо герцогини прорезала легкая улыбка, и улыбка эта не была притворной, она была искренней. Тут Агнесса поняла, что та приняла меры, что ее победа заранее отравлена, что она погибла. Она вдруг начала дрожать, ее лицо померкло, ноги подкосились, ей пришлось сесть.

В комнату приговоренной без предупреждения внезапно вошла герцогиня. Агнесса выслушала приговор с большой выдержкой, легко, непринужденно. Оставшись одна, она снова повторяла себе, что Безобразная не осмелится идти дальше. Но когда она вспомнила легкую, загадочную улыбку Маргариты, от желудка вверх снова пополз тот тоскливый холодок, которого она никогда раньше не испытывала. При появлении герцогини она решительно взяла себя в руки, вежливо поднялась, не слишком поспешно предложила ей сесть.

Маргарита сказала:

— Вы намекали, графиня, на то, что между мной и вами есть что-то, кроме законной строгости государыни к подданной, которая не покоряется и вредит своей стране. Поймите же, что я ничем иным, кроме государыни, быть не могу, ибо во мне говорит оскорбленная страна, мои чувства — это чувства страны. — Она сказала это уверенно, с большой убежденностью, свысока.

Агнесса слушала внимательно, вежливо. Она не понимала, чего та хочет. Поняла только одно: «А! ей что-

то нужно от меня. Ей хочется откровенного разговора со мной. Хочется оправдаться. Как слабы ее позиции. Она чувствует, что побеждена, и пытается надуть меня. Только бы не попасться в ловушку. Говорить нет. Что бы она ни обещала, говорить нет».

Маргарита видела, что та не понимает. Она попыталась подойти с другой стороны. Устало, чуть нетерпеливым и все же примирительным тоном она сказала:

— Вы одерживали победы, графиня. Вполне признаю. Наслаждайтесь ими и впредь. Мое честолюбие и мои интересы устремлены на совсем иное, постарайтесь мне поверить. Я хочу иметь гарантию, что вы впредь Тиролю вредить не будете. Признайтесь при свидетелях и удостоверьте своей подписью, что ваша деятельность была во вред моей стране. Поклянитесь на евангелии, что вы отныне будете воздерживаться от всякой политической деятельности. Тогда я отменю смертный приговор. Ваши лены вернутся в мою казну. Вы получите свободу и покинете Тироль.

Так вот она, ловушка. Агнесса про себя издевалась над Маргаритой. Никогда не осмелится она убить меня. И считает меня такой дурой, что я еще буду потакать ее трусости.

Она сказала:

— Такого документа я не могу подписать. Я существую, я живу на свете — вот вся моя политическая деятельность. Заставьте меня клясться, в чем хотите. Но вы ничего не можете поделать, да и я тоже, если мужчина, когда он смотрит на меня, поступает по-моему, а не по-вашёму. — Она мерила Маргариту взглядом с головы до ног, не отводила взоров, ее голубые глаза скользили по ней презрительно и насмешливо. Они насмехались над безобразным, по-обезьяньи выпяченным ртом, дряблыми щеками, свисающим складками чудовищным подбородком, над всем ее неуклюжим кряжистым телом. Они проникали сквозь краску, насмешливо ощупывали сухую, бородавчатую, шелушащуюся кожу.

Герцогиня, оскорбленная сильнее, чем когда-либо, с трудом подавила поднявшуюся в ней беспредельную

горечь. Она сказала, и ее насмешка прозвучала неискренне:

— Предоставьте уж мне, графиня, судить о том, нужно мне вас уничтожить или нет. Кажется, вы переоцениваете себя. С меня достаточно, если вы подпишете заявление.

Как вяло и бессильно прозвучал ее ответ! Она сама это почувствовала. Радостно, с упоением почувствовала это и Агнесса. Теперь она уверилась, что никогда та не решится привести приговор в исполнение. В чем-нибудь с ней согласиться? В чем-нибудь ей уступить? Да что она, дура, что ли?

— Мне искренне жаль, что я не могу исполнить ваше желание,— сказала она, смакуя лицемерные интонации слащавого, дерзкого сожаления.

Герцогиня поднялась. Ее решение было твердо: уничтожить эту особу! Страна требует этого. Бог хочет. Сжечь ее со свету. Пусть исчезнет с лица земли. Воздух отравлен, земля горит под ногами, пока та дышит, пока та ходит по земле. Тяжело дотащи́лась до дверей, словно больное, раненое, безобразное и грустное животное. Легкой поступью, вежливо проводила ее Агнесса.

Министры настойчиво просили Маргариту, чтобы она помиловала графиню. После процесса та не осмелится интриговать против Тироля. Пока внутренние дела Тироля в таком беспорядке, герцогине ни в коем случае не следует предпринимать что-нибудь решительное против Агнессы. Министры озаботились также, чтобы ни малейший слух обо всей истории — об аресте графини, процессе, приговоре — не разнесся по стране.

Шенна доказывал Маргарите, что никогда народ не поверит, будто Агнесса способна совершить дурное, что, посягнув на графиню, она вызовет только взрыв бешеной фанатической ненависти к себе. Ни приговор, ни заключение кабинета не в силах помешать толкам об убийстве, о безвинно пролитой крови. Каждая туча, каждая гроза, каждый падеж скота будут истолкованы

как кара господня, ниспосланная за вину герцогини. Настойчиво глядя на нее умными серыми глазами, упрасивал он, заклинал не торопиться, отложить все по крайней мере до похорон Мейнгарда.

Она спокойно ответила:

— Нельзя, Шенна. Счеты должны быть сведены, Шенна.

Фрауенберг сидел один и пил. Была ночь. В углу храпел слуга. Он пихнул его ногой, приказал помешать поленья в очаге. Дал ему вина. Насвистывал, тихонько напевал. Обдумывал. Логика! Логика! Настоит герцогиня на своем, будет Агнесса обвинена в государственной измене или казнена, тогда не избежать восстания, и еще большой вопрос, удастся ли баронам, при данных обстоятельствах, удержать власть. Не исполнить желание Губастой, так она, с ее упрямством, то и дело будет к нему возвращаться, никогда не даст спокойно насладиться достигнутым. Как же быть? Логика! Логика! Он думал. Пил. Думал. Просиял. Осклабился. Дал слуге вина. Что-то просипел. Заснул.

На другой день пошел к Агнессе. Нашел ее очень оживленной, довольной его приходом. Она сказала, что не может теперь жаловаться на скуку. Гостей у нее хоть отбавляй. Сегодня он, вчера Безобразная. Да, соврал он,— Маргарита, конечно, ничего ему не сказала,— он уже слышал, дамы отлично поладили. Она посмотрела на него с легким недоверием. Он сощурился, начал издеваться над Маргаритой. Он принес с собой сладкой настойки. Она выпила. Она лежала на диване, белая стройная шея вздрагивала от смеха. Он ухаживал за ней. Она была очень весела, в приподнятом настроении. Принесенная им настойка была действительно какая-то особенная. Агнесса быстро пьянела. А он ее перехитрил, этот Фрауенберг, из-под носа выкрал Мейнгарда. Что ж, она на него не в обиде. Он настоящий мужчина, единственный, который ей импонировал.

Она лежала на диване, приятно ослабевшая.

Какие низкие комнаты в этом замке Тироль! Потолок опускается. Все ниже. Подоприм же потолок, Конрад! Ведь так задохнуться можно. Потолок уже душит

ее. Она неудержимо хохочет. Или это предсмертный хрип?

Фрауенберг смотрел на нее, прищурясь, ждал. Следил за ней с вниманием знатока. Кивнул, увидев, как она перекатилась на бок, затем снова на спину, как она смеялась, ловила ртом воздух, хрипела; потом лицо ее исказилось, она замахала руками, боком съехала с дивана.

Не спеша он позвал ее горничных. Известил остальных членов кабинета о том, что спор с герцогиней о помиловании графини фон Флавон потерял смысл, так как графиня, вероятно в связи с перенесенными волнениями, только что скончалась от удара.

Маргарита, узнав о смерти Агнессы, почувствовала глухую, расслабляющую пустоту. До того она вся была полна одной мыслью: Агнесса. Теперь все это исчезло, осталась только пустая оболочка.

Медленно, из всех уголков сознания собирала она силы, стараясь опомниться. Разве не должна она была чувствовать себя свободно, легко, окрыленно, радостно, раз погубительница ее страны умерла и ничем уже не угрожает стране? Ничуть не бывало: все больше росла в ней глухая, бессмысленная ярость. Она хотела видеть врага поверженным. Победенная, торжественно ведомая на смерть, должна была Агнесса признать: «Я жалкое, ничтожное, отверженное создание, а ты — государыня, высокая, недосягаемая, богом избранная». Не смерть ее была важна, было важно именно это признание. А теперь Маргариту нагло и издевательски обокрали, обманули, лишив ненависти, мести, победы, — ненавистный враг похищен, достиг того берега, который недоступен для Маргариты. И вот она нагло, грубо, беззастенчиво обманута, а та улетела прочь, легкая, улыбающаяся, непобедимая.

Маргарита неистовствовала. Для чего теперь все ее жертвы? Для чего она швырнула хищным баронам свою страну, загубила дело своих предков и свое, постыдно покорила жадности и глупости? А та ускользнула, насмешливая, улыбающаяся.

Она осыпала Фрауенберга непристойной бранью. Толстяк стоял перед ней, расставив ноги, спокойный, бесстрастный. О его голое розовое лицо проклятия разбивались, как водяные брызги.

Она созвала совет министров. Обычно столь владевшая своим голосом, герцогиня теперь, едва сдерживаясь, потребовала хрипло, отрывисто, заикаясь, чтобы немедленно были обнародованы материалы процесса и приговор и чтобы умершая была зарыта как собака. Если не сделать этого, в ее внезапной смерти обвинят герцогиню. Министры единодушно, решительно воспротивились. Большинство из них, как и вся страна, считали ее виновницей загадочной неожиданной смерти Агнессы. Они были искренне возмущены кощунственным безбожным требованием герцогини изобразить убийство из-за угла ненавистной соперницы как справедливый патриотический акт. Теперь, задним числом, они даже сочли собственные вымогательства морально вполне оправданными: ясно, что мало любых гарантий, когда имеешь дело с такой неистовой и преступной женщиной. Вообще же они испытывали большое облегчение от того, что конфликт разрешился столь неожиданно, и были отнюдь не склонны допускать какие-либо новые осложнения. Визгливо, отчетливо, беспощадно резюмировал Фрауенберг их мнение: «Чего, собственно, желает госпожа герцогиня? Бог сам взялся наказать преступницу. Теперь погубительница мертва, устранена с дороги. Ведь большего герцогиня и не желала, не могла желать. Ненавидеть и за гробом — это не по-христиански. И народ нельзя винить, если он теперь взбунтуется». А фон Мач добавил: да, конечно, в народе позволяют себе отзываться о герцогине непочтительно. По его сведениям, в некоторых местах, в связи со смертью графини, произошли беспорядки. Но так как они, министры, все как один стоят за герцогиню, то такие бунты легко будет усмирить. Уже многих бунтарей схватили, их подвергнут публичному наказанию плетьюми, тогда остальные попридержат язык. Если же опозорить умершую, то возмущение станет всеобщим, и он тогда ни за что не ручается. С трудом подбирая слова, изложил свою точку зрения честный Гуфиданн,

который после долгой внутренней борьбы наконец решил, что герцогиня неповинна в смерти Агнессы. Преступница умерла. Какой ценой, более дорогой, чем жизнь, можно перед земными судьями заплатить за свою вину? Порочить память умершей — недостойно такой благородной и возвышенной женщины, как герцогиня. Он смущенно сел: он выступал редко. Все выразили свое одобрение.

Герцогиня посмотрела на Шенна. Тот нервно скреб костлявыми пальцами стол, молчал.

Маргарита упорствовала. Лихорадочно, сбивчиво бормотала она, что не отступится, этого требует ее престиж, она настаивает.

Но министры не сдавались. Они ссылались на соглашение, они наконец показали зубы, заявили, что никогда не дадут согласия на поругание покойницы. Маргарита кричала о бунте, неповиновении. Министры возразили, что спокойно принимают этот упрек. Их совесть говорит им, что это неповиновение — в интересах страны и самой герцогини; и они уверены, что их защита покойницы будет одобрена всем христианским миром. Маргарите пришлось покориться.

Она кипела бессильным гневом. О, эти министры, эти негодяи, трусы! Как они рады, что не нужно приводить в исполнение приговор! Как бесстыдно они надули ее! Выторговали у нее страну, а потом с недостойными увертками уклоняются от выполнения договора. Мерзавцы! Жулики! Вымогатели! Ей пришлось в голову обратиться с просьбой о помощи за границу. Но Виттельсбахи — присяжные защитники Агнессы, а Габсбург слишком умен, чтобы выступлением против умершей заранее подорвать свою популярность.

Она сделала отчаянную беспомощную попытку победить покойницу. В последнюю минуту она назначила похороны Мейнгарда на тот же час, что и похороны Агнессы. Кто поедет в Тауферс хоронить Агнессу, тот не сможет быть на похоронах герцога. Настойчиво, исступленно призывала она страну сделать выбор между нею и покойницей.

Молча, упрямо глядя перед собой, сидела она, одичавшая в замке Тироль, ждала, кто придет к ней, кто

к Агнессе. В глубине души она знала так же хорошо, как и все, что Агнесса своей смертью одержала над ней победу и уже недостижима ни для какой силы и ни для какой хитрости.

Члены кабинета обсуждали, кто из них будет на похоронах молодого герцога, кто поедет в Тауферс. Предоставили каждому и решать самому и нести ответственность за решение. Большинство намеревалось отправиться на похороны графини фон Флавон. Ведь их руки неповинны в ее крови. Отчего же этого не показать? Фрауенберг, Эгон фон Тюбинген и честный, неторопливый Гуфиданн решили остаться в замке Тироль.

Поздно сидел в тот вечер Якоб фон Шенна. Но он не читал развернутый свиток. Он ходил по комнате своим неровным негибким шагом. Сначала он намеревался сказать больным и не быть ни в Тауферсе, ни в замке. Политическая сторона дела не трогала его, мнения и чувства черни не интересовали, он был слишком нечестолюбив, чтобы считаться с ними. Но вражда между этими женщинами издавна его волновала, еще глубже задевала она его теперь, когда борьба шла между живой и мертвой. Маргарита потребовала от него помощи; впервые он отказал ей. Он не хочет быть втянутым в эту борьбу, не хочет становиться на чью-либо сторону. Не хочет.

Однако, может быть, он единственный, кто прозревает подоплеку этой борьбы. Маргарита, государыня, права. Агнесса была вредна, счастье для Тироля, что она умерла. Но кто готовился нанести удар — Маргарита-государыня или Маргарита-женщина? Пришлось ли Агнессе умереть оттого, что она приносила вред стране, или оттого, что была красива? Трудно решить. Верно только одно: Агнесса была самой красивой женщиной от По до Дуная. Он — уже стареющий человек. Может быть, поэтому он колеблется.

Все же он не хочет распускаться, не хочет признать себя старым. Нехорошо поступила герцогиня. Пусть он принял ее ужасный рот, ее отвислые щеки, все ее

горькое безобразие. Но ее ненависти к умершей он не принимает. Простое честное чувство восстает против этого. Надо стать на сторону красоты. Он поедет в Тауферс.

Из Пустерталя через Бруннек словно поток лился в долину Тауферс. Никогда не видели эти горы столько людей. С трудом пробирались они сквозь глубокий снег, протоптали целую дорогу. Ночевали на морозе под ясным звездным небом. Скоро здесь вырос целый палаточный городок. Надвигались все новые тысячи, женщины, дети — трудности и опасности зимы не пугали их. В снежном воздухе звучали проклятия Маргарите, ведьме, меченой. Гнусно, предательски убила эта дьяволица кроткую милую Агнессу. Вот она лежит в Тауферской часовне чисто ангел божий; восковая, красивая, как святая в церкви. Бесконечной вереницей проходили мимо нее люди самого разного положения, возраста, облика — бароны, крестьяне, горожане, но все благоговейно-взволнованные, сострадающие, все полные яростного, непримиримого негодования против герцогини.

А между тем в часовне замка одиноко лежал Мейнгард, последний граф Тирольский. При нем остались только офицеры и дворцовые служащие, которые обязаны были остаться.

Едва роняя слова, в ледяной замкнутости проходила Маргарита среди их шепота, стараясь не видеть пустых мест, отдавала, словно из-под ледяной коры, последние распоряжения. Разве господина фон Шенна нет? Нет, он до сих пор не приехал. После полудня: все еще нет? Нет, господина фон Шенна не было. Она послала нарочного в замок Шенна. Господин фон Шенна уехал. В Тауферс.

Шенна тоже...

Резкий запах разложения, исходивший от тела Мейнгарда, неудержимо просачивался сквозь благовония и курения. В часовне люди задыхались от него, несшие караул офицеры вынуждены были каждый час смеяться.

В третьем часу пополудни Маргарита отправилась в часовню. Молча села подле своего разлагающегося сына, — запах разложения не мог изгнать ее отсюда. Караул сменился, второй раз, третий, а она все еще сидела рядом с покойником, не шевелилась.

Значит, Шенна тоже...

Она стала призывать врага, умершую, призывала ее повелительно. Та явилась. Маргарита препиралась с ней. Та улыбалась, молчала. Герцогиня поставила ей на вид все, в чем та нагрешила — бессмысленно, тщеславно, дерзко играя своей ничтожной, гладкой, бесстыдно сладострастной красотой. Здесь, в этой часовне, где лежали останки графов Тирольских, некогда подчинивших себе и спаявших воедино могущественную, богатую, славную страну в горах, ставила она той на вид все, что та разрушила, погубила, опозорила. А та скользила взад и вперед, легкая, недостижимая, тление отступало перед ней, она улыбалась, скользила, молчала.

Шенна тоже...

Та победила. Права была Маргарита, но победила га. Маргарита ее уничтожила, а она победила. Была упичтожепа, мертва, но победила. Все ушли к ней. Шенна тоже...

Затем на другой день заklubился ладан, запели погребальные хоры, гроб опустился, и каменные плиты, тяжело сомкнувшись, закрыли склеп. Но церемония не рождала внутреннего отклика. Песнопенья не расцветали в сердцах, торжественные жесты оставались холодными, немногочисленные свидетели погребения стояли неподвижно, смущенно, зябли.

В полотняном городе возле Тауффера шел великий поминальный пир. Люди грелись у высоких костров, жарили и варили на них. Резкие границы между сословиями стерлись. И крестьяне, которым обычно употребление рыбы и дичи было строжайше запрещено законом, ели их вместо репы и кислой капусты. Городские жители угощали их колбасой и жареной свининой. На бодрящем морозце люди с грустной растроганностью предались неудержимому разгулу тризны, жранью и пьянству. Блаженно захмелев, поминали с преувеличенным восторгом ангелоподобную красоту, кротость,

доброту покойной графини фон Флавон; посылали злобные проклятия Губастой, чертовой ведьме, убийце. И мертвая Агнесса осталась жить в представлении народа, окруженная праздничным хмелем уже навеки недоступного благоухающего жареного мяса и обильного вина.

Одиноко справляла Маргарита пышные поминки в замке Тироле. Сидела в негнущемся платье, накрашенная, одна, под знаменами, военными значками, штандартами, за столом с парадными блюдами, сверкающим золотом и драгоценными камнями. Ухмыляющийся Фрауенберг, Гуфидаун и Эгон фон Тюбинген брали у пажей и поваров кушанья, торжественно несли их к столу. Маргарита сидела прямо, неподвижно. Блюда подавались чудовищно обильные, их уносили нетронутыми. Так справляла она поминки в течение трех часов.

Секретарю Фрауенберга, тихому, смиренному клирику, пришлось немало поработать. Министры с откровенным бесстыдством воспользовались выжатым из герцогини договором, принялись делить между собой страну. Так и сыпались дарственные грамоты, высочайшие милости, привилегии. Правление баварского Артура Круга было верхом скромности по сравнению с грандиозным грабежом, узаконенным кабинетом герцогини...

Фрауенберг, осклабясь, загреб себе наследство, оставшееся после Агнессы, к тому же замок и поместье Пергин и замок Пенеде, восточнее Ривы; Генрих фон Кальтер-Ротенбург — крепость Каньо на горе Нонсберг и деревню того же имени; Ганс фон Фрейндсберг — крепость и поместье Штрасберг под Штерцингом. Все, что могли, захватили и братья фон Мач. Они потребовали себе Наудерс, город и округ Глурнс, пробство Эйерс, замок Юфаль в устье Шнальской долины.

Берхтольд фон Гуфидаун и комтур Тевтонского ордена Эгон фон Тюбинген неодобрительно смотрели на это и, презрев насмешливые улыбки остальных по случаю такой наивности, не замазали рук грабежом.

Шенна огорченно качал головой, видя жадность своих сотоварищей. В конце концов сказал себе: лучше я, чем другой. Грустя, он ловко захватил судебный округ Зарнтгейн, кстати загреб поместье Рейнек, затем еще крепость и округ Эппан и, вконец расстроенный столь великой слабостью и жадностью, еще Лугано, возле Кавалезе.

Маргарита, застывшая и молчаливая, подписывала все, что ей давали. За тридцать дней она раздарила и заложила добрую половину своей страны.

Через высоты Кримлер-Тауерн, невзирая на отчаянный январский мороз, перебирались пятеро мужчин. Они проваливались в снежные ямы, вылезали из них, ранили лицо и руки о лед и камни. Из ущелий, с обманчивых снежных полей стократно, беззвучно, на каждого дышала смерть. Два медведя издали следовали за ними, временами подкрадывались, принохивались. Так пробивались путники вперед три дня, пока наконец возле деревни Преттау не набрали на первое человеческое жилье.

То были Рудольф — герцог Австрийский, господин фон Раппах — его гофмейстер, господин фон Лассберг — его камерарий и двое слуг.

Габсбург, находившийся в это время в Штейр-марке, в Юденбурге, получил с нарочным депешу от своего канцлера, который был в Швабии у тирольской границы. Епископ Иоанн Гуркский доносил о тирольских делах и неурядицах, возникших в связи со смертью Мейнгарда, и советовал герцогу, столь же настойчиво, как и почтительно, возможно скорее прибыть в Тироль.

Рудольф недолго думал. Виттельсбахи, вероятно, грызутся теперь из-за оставленного Мейнгардом баварского наследства, и им не до Тироля. Да, канцлер прав, главное — сейчас же, как можно скорее, минуя Баварию, кратчайшими путями добраться туда и явиться к Маргарите. Вернуться в Вену? Прихватить войска? Нет, прямоком из Юденбурга поехал он верхом в Радштадт, в Пинцгау, потом, не слушая никаких уговоров,

сейчас, зимой отказаться от перехода через Тауерн, решительно пустился в путь, рискуя жизнью, перебрался через перевал, спустился в Преттау, в Аренталь. В Тауферсе, никем не узнанный, смешался с потоком расходившейся после похорон толпы. Услышал о новом министерстве, о его неслыханных полномочиях и грабежах, добрался до Бруннека. Двадцатого января, на четырнадцатый день единоличного правления Маргариты, появился в Боцене.

И вот он здесь. Страна, его страна, за обладание которой и он и его отец боролись десятилетиями, эта страна теперь в руках обнаглевших баронов, со дня на день разрывающих ее на все более мелкие куски. Он был совсем один; все его войско состояло из двух офицеров и двух солдат. Правда, уезжая из Австрии, он отдал приказ стянуть войска к тирольской границе. Но пока эти мероприятия осуществляются, страна в горах может быть уже поделена. Он хорошо понимал, в каком опасном положении находится. Вполне возможно, что разнузданные, одичавшие бароны не отступят и перед его священной особой, захватят его в свои руки — хотя, конечно, очень ненадолго, — попытаются выжать из него всевозможные гарантии и обещания. Но, как всегда, он не мог ждать. Он горел желанием выполнить свою миссию, был полон веры в самого себя. Все зависит от того, как он лично поведет себя.

Фрауенберг приказал доложить о себе герцогу. Явился как представитель министерства. Стоял перед герцогом насторожившись, выжидая. Тот был очень холоден, сдержан, Фрауенберг стал зондировать почву. Прищурившись, доверчиво посмотрел на герцога, сказал игриво: кабинет готов признать завещание Маргариты в пользу Габсбургов, при условии, что Рудольф гарантирует министрам, по крайней мере на двенадцать лет, неприкосновенность их прав и привилегий.

Рудольф смотрел на стоявшего перед ним дородного, грузного человека, он был ему очень противен. А тот лукаво подмигнул с видом заговорщика, словно один продувной торгаш другому при заключении выгодной и не очень чистой сделки. Габсбург высокомерно ответил.

В Тироле, очевидно, царят странные нравы и понятия. В габсбургских землях ни один человек, дорожащий своей головой, вероятно не осмелился бы делать своему государю подобные предложения. Насколько ему известно, германские государи отвечают только перед богом и перед императором, а Габсбург, на основании особых привилегий его дома, не ответствен даже перед ним. Фрауенберг спокойно смотрел на него, ожидая, когда за этим общим введением теоретического характера последуют и частные, практические выводы. Герцог холодно закончил, что готов проверить, насколько привилегии баронов основаны на праве. Альбинос разинул свой жабий рот, просипел нагло, уверенно, весело: ну, тогда они, вероятно, столкнутся. Он надеется, что при проверке герцог проявит великодушие. Ведь и в Тироле всегда царило великодушие и никогда не подвергались сомнению пайденные столь поздно и при столь необычайных обстоятельствах доказательства особых привилегий Габсбургского дома.

Но тут произошло нечто странное. Медленно, спокойно поднял молодой герцог узкую, крепкую, костлявую руку. Смугловатой оборотной стороной ладони ударил по жирному голому, розовому лицу собеседника два раза, справа и слева.

Фрауенберг стоял неподвижно. Его побитое лицо не выражало никакой обиды, только безмерное изумление. Красноватые глаза без ресниц смотрели не отрываясь на герцога, на его низкий, угловатый, энергичный лоб, орлиный нос, отвисшую нижнюю губу, на выступающий подбородок. Альбинос заморгал, заморгал сильнее, вздернул, словно извиняясь, плечи, поклонился, вышел.

Рудольф, оставшись один, глубоко вздохнул, улыбнулся, развел руками, рассмеялся.

Фрауенберг сказал себе: «Его можно было бы устранить. Но это не сойдет так гладко, как в те разы, и потом он, наверно, принял меры и за ним стоят другие. Умнее с ним не связываться. Жалко, конечно, что теперь уже не похозяйничаешь. Но когда у малого эдакий затылок и эдакий подбородок!.. Что ж, добра я накопил и так немало. Кто бы поверил, что я сделаю такую

карьеру? Теперь только бы побольше удержать. К чему эта вечная жадность? Я не осел. Когда риск слишком велик, я знаю меру. Во всяком случае — жаль. Но при таком орлином носе...»

Он принялся насвистывать свою любимую песенку, шумно зевнул, похрустел суставами, заснул.

Молодой, гвердый, подтянутый, но не без почтительности, стоял герцог перед Маргаритой. Приветствовал оцепеневшую, замкнувшуюся женщину, выразил ей и словесно соболезнование по поводу ее утраты. Затем вежливо, однако решительно перешел к делу. При всех дворах славится она как правительница твердая и мудрая. Тем удивительнее, что за немногие дни ее единоличной власти дела в стране пошли так неудачно. Горе, которое причинила ей смерть сына, столь скоро следовавшего за отцом, вероятно помешало ей использовать свои богатые дарования. Однако сейчас стране в горах нужна больше чем когда-либо твердая рука. На границе грозит Бавария, ломбардцы, в случае нападения Виттельсбахов, тоже не будут сидеть сложа руки, внутри страны правит одна лишь алчность баронов. Он предлагает Маргарите взвесить, не сочтет ли она за благо то доверие, которым было продиктовано ее завещание в пользу Австрийского дома, осуществить уже сейчас и уступить ему управление Тиролем.

Недвижно сидела старая грузная женщина перед молодым герцогом. Широкий выпяченный рот не дрогнул, массивные изукрашенные руки лежали словно мертвые на тяжелой черной парче ее платья.

Рудольф устремил на нее жесткие и ясные серые глаза, подождал, заговорил снова. Он не хочет соблазнять ее туманными обещаниями. До сих пор правление Габсбургов всегда было справедливым, твердым, решительным. Тироль не будет иметь никаких преимуществ перед другими габсбургскими землями; но за одно герцог ручается — как государь государыне, — ее страной будут управлять так же: твердо, справедливо, толково. Что касается лично ее, то ее жизнь будет более богатой и блестящей, чем при баронах.

Маргарита все еще молчала, смотрела перед собой пустым затравленным взглядом. Рудольф закончил: он не торопит ее. Пусть она решит этот вопрос наедине с собой и с богом. Он просит ее только о доверии к нему и пусть обдумает его слова без предвзятости.

Маргарита сказала хриплым голосом:

— Обдумывать нечего. Я вам доверяю. Я вполне признаю правильность ваших мыслей.

Она встала, спокойным, странно безжизненным движением вывернула набеленные руки ладонями наружу, опустила их, словно уронив. Все выронила она: Тироля, ее города, творение ее предков, Альберта, Мейнгарда — сильного, неистового, творение Генриха и ее творение. Теперь она осталась нищей и голой.

Рудольф отнюдь не имел склонности ни к сентиментальности, ни тем более к патетике; но и он был странно и глубоко растроган, когда Безобразная стояла вот так перед ним, все утратив, смирившись, устав от величия и рока. Он опустился на одно колено, заявил, что считает эту страну леном, полученным от нее, что всегда будет только ее правителем.

Во все концы мчались курьеры с письмами и приказами герцогини. В них Маргарита объявляла, что, в силу особых обстоятельств, а также слабости, присущей ее полу, она не в состоянии править своей страной так, как того требует благо государства, не может надлежащим образом защитить и его жителей и себя. Поэтому, следуя совету своих министров и представителей народа, передоверяет она свои достойные и благородные графства Тироль и Герц, а также земли и местности по Эчу, долину Инна с замком Тироль и с ними вместе все замки, монастыри, города, долины, горы, лены, хутора, фогтства, округа, налоги, сборы, подати, уголья, рощи, луга, виноградники, пашни, озера, текущие воды, рыбные пруды, заповедники — словом, все свое отцовское наследство — своим любезным двоюродным братьям и ближайшим родственникам, герцогам Австрийским. И она торжественно повелевает всем своим прелатам, аббатам и всему духовенству, а также бургграфам, фог-

там и всем чиновникам в Тироле и других ее странах, и всему населению принести присягу ныне и навеки герцогам Австрийским как своим законным правителям и государям.

И вскоре все без сопротивления принесли требуемую присягу верности и покорности. Третьего февраля присягал Боцен, пятого — Меран, девятого — Штерцинг, десятого — Инсбрук. Однако не все бароны покорились столь благоразумно, как Фрауенберг. Они попытались оказать довольно безуспешное сопротивление, завели сношения с Виттельсбахами, пытались поднять Север против Габсбургов. Когда Рудольф прибыл в Галль, чтобы принять присягу города, дело дошло до открытого восстания, жизнь самого герцога оказалась в опасности. Но галльские жители дали наемникам баронов отпор, город Инсбрук послал Габсбургу помощь, выяснилось, что города решили во что бы то ни стало поддерживать его против своевластия баронов и стакнувшихся с баварскими чиновниками аристократов. Несколько дней спустя Рудольф мог с гордостью сообщить своему другу, венецианскому дожу, Лоренцо Чельси: «Мирным путем, без особого сопротивления, удалось нам вступить во владение горной страной, обещанным нам наследием отца нашего. Лица багородного звания и смерды присягнули нам и признали своим государем. Все дороги и переходы из Германии в Италию находятся, милостию божиею, в наших руках».

Маргарита с щепетильной добросовестностью занялась кропотливой и сложной передачей управления. Она допускала к себе только самых необходимых посетителей, говорила с ними только о деле. Собралась затем со своей иссохшей фрейлиной фон Ротенбург и двумя лакеями незаметно покинуть страну. Но Рудольф не хотел допустить, чтобы она отбыла бесшумно, без всякой торжественности. Он отдал приказ, чтобы отъезжающей государыне были оказаны все высшие почести. До границ ее владений ее провожали бароны, до городских ворот — духовенство и светские власти. Однако запряженные лошадьми носилки герцогини оставались закрытыми, лишь смутно можно было разглядеть между занавесками ее словно окаменевшую фигуру, проплывав-

шую мимо. С любопытством и страхом вглядывался народ, ничего не видел. Вот она уезжает, больная, отверженная, эта погубительница, ведьма, убийца, сладострастница, ненасытная, безобразная, губастая. Ей вслед полетели нелепые жестокие причудливые легенды. Не раздастся ли в ее замках зловеший лязг и дребезг забытого оружия? Не постукивают ли в казематах и темницах кости убитых ею? Люди избегали мест, где она любила бывать, там нечисто. Детей пугали: не будете слушаться, вас заберет Губастая. Скот не хотел щипать пышную густую траву на горных пастбищах над замком Маульташ.

Когда она миновала Инсбрук и сидела в своих носилках, мрачно задумавшись, она услышала тонкий, тихий голосок: «Счастливый путь, госпожа герцогиня». Она испуганно вздрогнула, спросила иссохшую фрейлину фон Ротенбург: «Кто тут?» Но та ничего не слышала. Маргарита раздвинула занавески. И она увидела два крошечных бородатых создания. Они семенили по краю дороги, смотрели на герцогиню древними, серьезными глазами, стащив с себя грязновато-коричневые старомодные колпаки, почтительно кланялись много раз. Тогда Маргариту покинуло оцепенение, ее плечи опустились, толстая безобразная женщина тяжело поникла.

Она доехала до Химского округа у баварской границы. Здесь был выставлен почетный караул, салютовавший копытами. Склоненные знамена, музыка. Но занавески не открылись, носилки, покачиваясь, миновали границу, двинулись в сторону Баварии. Как только герцогиня скрылась из виду, пограничная стража, следуя приказу, спустила тяжелые красивые стяги графини Тирольской, неспешно позевывая, насвистывая, подняла вместо них новые, скромные, чистенькие флаги с красным габсбургским львом.

Медленно гребла сильная служанка в тяжелой, неуклюжей лодке, плывшей от островка Фрауенинзель по озеру Химзее. Был полдень, очень жаркий, озеро лежало неподвижно, белесое, широкое, тихое. Оба си-

девших в лодке духовных отца — канцлер епископ Иоанн Гуркский и аббат Виктрингский, древний старец, — были в дурном расположении духа. Флорентинский составитель хроники Джованни Виллани, соперник аббата, распространял сенсационные слухи, будто Маргарита, герцогиня Баварская, маркграфиня Бранденбургская, графиня Тирольская, живет со времени своего отречения в ужасающей нужде — Габсбург будто бы заставляет ее голодать, терпеть всякие лишения. И вот эти господа ездили по поручению герцога Рудольфа в Фрауенхимзее, где теперь жила Маргарита, чтобы убедить ее поселиться в Вене или где она захочет и жить там с подобающим ей двором. Разве Габсбург не отдал ей богатейшие доходы четырех поместий — Гриса возле Боцена, Штейна на Риттене, Амраса, Санкт-Мартина около Цирля, доходы с крепостей Шрассберг, Пассейер, с города Штерцинга, к тому же еще годовую ренту в шестьсот фунтов веронским серебром? Таким образом, двор герцогини мог бы поспорить с двором любого германского государя. Но ни вежливые, разумные доводы епископа, ни латинские цитаты аббата и его примеры из истории не могли ее соблазнить.

— Она умерла для жизни, — жаловался епископ полатыни. — Ей все равно, будет мир в Тироле или война. Я рассказываю ей о том, как ворвались Виттельсбахи, о свирепых грабежах в долине Инна. А она слушает, словно речь идет о погоде.

Озеро лежало неподвижно, белесо поблескивая, равномерно опускались весла. Древний старец молчал.

— При этом ее доходы накапливаются, — снова начал канцлер. — Ей аккуратно пересылают их, не пропадает ни один пфенниг. Золото копится в ее замках. Она должна быть несметно богата. Клянусь Геркулесом! — заключил он раздраженно, — этот итальянец — бессовестный клеветник и хулитель, бездарный пасквилянт!

Иссохшего старца обрадовала столь уничтожающая характеристика соперника.

— Справедливо выразилось твое преосвященство, — сказал он с трудом, шамкая. — Кто же сомневался в том, что он презренный, низкий болтун!

На берегу маленького островка, неряшливо одетая и густо набеленная, среди ползучих растений и очень пестрых полевых цветов, сидела герцогиня, глядя вслед лодке. Было совсем тихо, роились комары, сонным голосом кричала водяная птица. Горячий неподвижный воздух был насыщен запахом рыбы, сетей, водорослей. Лодка двигалась очень медленно, зашла за выступ другого острова, покрупнее, скрылась.

Из низенького, желто-серого рыбацкого домика вышла иссохшая фрейлина, позвала герцогиню обедать. Маргарита встала, лениво потянулась, направилась к дому, тяжело волоча ноги. Рот был по-обезьяньи выпячен, огромные бесформенные щеки свисали мешками, белила уже не скрывали бородавок. Тихая, смиренная фрейлина распахнула перед ней корявую дверь. Навстречу вырвался чад жареной рыбы. Маргарита с удовольствием потянула носом, вошла в дом.

ПРИМЕЧАНИЯ

АВТОБИОГРАФИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ

ОПЫТ АВТОБИОГРАФИИ

Статья впервые опубликована в 1927 г. в штутгартском журнале «Ди литератур», № 10. В основу настоящего издания положен текст, вошедший в сборник «Centum opuscula» — «100 мелких произведений» (издательство «Грайфенферлаг», 1956).

Стр. 53. *Стихотворение, напечатанное мною в конце 1914 года в яacobсоновской «Шаубюне»...* — Имеется в виду «Песнь павших». Она напечатана в театральном еженедельнике «Шаубюне» не в конце 1914, а в феврале 1915 г. Яacobсон Зигфрид (1881—1926) — театральный критик, редактор «Шаубюне».

Стр. 54. *Революционная драма, в которую Фейхтвангер включил «Песнь павших»* — «Тысяча девятьсот восемнадцатый год» (см. стр. 179—180 этого тома).

Деблин Альфред (1876—1946) — видный немецкий писатель, критический реалист, одно время близкий к экспрессионизму. Своей идеей синтеза двух культур, сочетания действенного рационализма, который он считал характерным для европейского образа мыслей, с созерцательно-пассивным отношением к жизни, якобы свойственным Востоку и Азии, Деблин оказал большое влияние на Фейхтвангера в ранний период его духовного развития. Брехт Бертольт (1898—1957) — крупнейший не-

мецкий драматург, создатель теории «эпического театра». В соавторстве с ним Фейхтвангер написал несколько пьес. Брехт — марксист и художник, стоявший на позициях социалистического реализма, — повлиял на общественные взгляды Фейхтвангера, помог ему яснее понять идеалы социализма и роль народных масс в истории.

А В Т О П О Р Т Р Е Т

Впервые напечатано в газете «Ди литерарисше Вельт» (Берлин) 27 января 1933 г. Перепечатано в сборнике «Centum opuscula».

Стр. 55. *Я рос в католическом южногерманском городе.* — Фейхтвангер имеет в виду Мюнхен.

Стр. 56. *Стриндберг* Йухан-Август (1849—1912) — шведский писатель; в последний период своего творчества написал ряд произведений, в которых изображал женщину как существо неполноценное, движимое лишь низменными инстинктами. *Ведеккинд* Франк (1864—1918) — немецкий драматург; основная проблема ряда его пьес — проблема пола. *Лулу* — героиня его драм «Дух земли» и «Ящик Пандоры»; ее образ — образ женщины-самки — символизировал власть пола, которую Ведеккинд считал главной движущей силой жизни. *Шницлер* Артур (1862—1931) — австрийский драматург и прозаик, импрессионист. Для его ранних пьес характерна камерность, психологизм, утонченность формы, оторванность от реальной жизни. Гуго фон *Гофмансталь* (1879—1929) — крупный австрийский поэт-символист и драматург, в своих произведениях часто развивал идею бессилия человека перед роком, превосходства пассивного созерцания над действием. *Уайльд* Оскар (1856—1900) — английский писатель и драматург; героиня его написанной на французском языке драмы «*Саломея*» — евангельский персонаж — представлена как «роковая, демоническая» женщина. *Генрих Манн... создал в романе тип герцогини Ассийской...* — Имеется в виду ранний роман Г. Манна «*Богини*», написанный под сильным влиянием модернизма. Его героиня, герцогиня Ассийская, последовательно ищет счастья в красоте, в искусстве и в любви, зачастую преступая в этих поисках нормы морали.

Стр. 57. *Штраус Рихард* (1864—1949) — выдающийся немецкий композитор и дирижер, автор многих программно-симфонических поэм с литературным сюжетом, пользовавшихся широким успехом. В описываемую эпоху его популярность возросла еще больше благодаря постановке оперы «Саломея», написанной по пьесе Уайльда. *Рейнгардт Макс* (1873—1943) — крупнейший немецкий режиссер, чье творчество характеризуется поисками яркой театральности, зрелищности. В тот период Фейхтвангер посвятил его деятельности ряд сочувственных статей.

...претенциозный и очень манерный роман.— Фейхтвангер имеет в виду свой ранний роман «Бог-громовержец» (1910). *Еще я написал довольно задиристую драму...*— Имеется в виду пьеса «Джулия Фарнезе».

Стр. 58. *Джирдженти* — город в Сицилии, бывший в античную эпоху одним из центров греческой цивилизации. Возле Джирдженти сохранились развалины храмов Зевса, Геры, Диоскуров и др.

Стр. 59. *Баварская революция* — заключительный этап Германской революции, привел к установлению в Баварии Советской республики в апреле 1919 г. *Эйснер Курт* — «независимый» социалист и пацифист, возглавил баварское правительство после переворота 9 ноября. Его убийство (февраль 1919 г.) повело к дальнейшему обострению классовой борьбы, которая закончилась провозглашением Советской республики. Социалист Эрнст Толлер и анархист Ландауэр возглавляли республику до прихода к власти коммунистов и после отстранения коммунистов от власти. Будучи представителями мелкой буржуазии, эти политические деятели привели Баварскую Советскую республику к поражению.

А В Т О Р О С А М О М С Е Б Е

Эта статья впервые опубликована во «Франкфуртер цейтунг» 18 марта 1928 г. и с тех пор неоднократно печаталась в разных вариантах. Настоящая редакция была напечатана в журнале «Интернациональная литература», № 5 за 1935 г. под названием «Писатель Л. Ф., его жизнь и его эпоха», затем перепечатана в сборнике «Centum opuscula».

Пьеса «Мир» написана в 1915 г. и в том же году была запрещена театральной цензурой. Напечатана в 1918 г. в Мюнхене, в издательстве Мюллера.

Пьеса представляет собой модернизацию комедии Аристофана «Ахарняне»; в нее вставлено также несколько сцен из комедии «Мир» (например, сцена с торговцем оружием).

Стр. 68. *Дикеополь*.— Это имя происходит от греческих слов «дик» — справедливость и «полис» — город, государство. *Амфигей* — известный из истории афинский юродивый-шарлатан. *Ахарняне* — жители афинского сельского округа Ахарны. *Пританы* — дежурные члены Совета пятисот, высшего административного органа Афин. *Действие происходит ... в 425 году до нашей эры*.— В этом году была поставлена комедия Аристофана «Ахарняне». *Пелопонесская война* — война между Спартой и Афинами, которая шла с 431 по 404 г. до н. э. и закончилась поражением Афин.

Стр. 69. *Клеон* — афинский политический деятель, постоянный объект насмешек Аристофана, который заклеил его, как вредного демагога.

Стр. 76. *Пританей* — здание, где заседал Совет пятисот. Правом обедать в пританее на общественный счет награждались особо отличившиеся граждане.

Стр. 84. *«Друзья, братья, римляне, немилые»* — цитата из «Юлия Цезаря» Шекспира. *«Фу, это политическая песня!»* — цитата из «Фауста» Гете.

Стр. 85. *...мегарцам досаждали...*— Внешним поводом к войне между Афинами и Спартой послужило закрытие афинских портов для кораблей города Мегары. Эту меру афиняне мотивировали тем, что мегарцы распахали священное поле на границе с Аттикой и укрывали афинских беглых рабов. *Перикл* (умер в 429 г. до н. э.) — руководитель Афинского демократического государства в период его наивысшего расцвета.

Стр. 86. *Телеф* — герой одноименной трагедии Эврипида, которую особенно часто пародирует Аристофан в «Ахарнянах». Пародией является и заключение речи Дикеополя.

Стр. 93. *Эйрена* — по-гречески мир, тишина. Эйрена — выдуманное Аристофаном божество мира.

Стр. 94. *Беотийский купец*. — Беотия — область в Средней Греции со столицей Фивы.

Стр. 96. *«Таков удел прекрасного на свете»* — цитата из драмы Шиллера «Смерть Валленштейна».

Стр. 98. *«Стены лютым жаром пышут...»* — цитата из «Песни о колоколе» Шиллера.

Стр. 107 *«Добр и благороден человек»* — цитата из стихотворения Гете «Божественное».

Стр. 111. *Дионисии* — справляющийся дважды в год праздник в честь Диониса.

ТЫ С Я Ч А Д Е В Я Т Ь С О Т В О С Е М Н А Д Ц А Т Ы Й Г О Д

Драматический роман Л. Фейхтвангера написан в 1919 г. Впервые опубликован в 1920 г. в мюнхенском издательстве Мюллера, под названием «Томас Вендт». Вторично, в более полной редакции, вышел в 1936 г. в издательстве «Кверидо» (Амстердам), в сборнике «Пьесы в прозе». Этот текст положен в основу настоящего издания.

Стр. 128. *Карлейль* Томас (1795—1881) — английский буржуазный философ, историк и публицист, консервативный романтик.

Стр. 133. *Геновева, Гризельда* — героини одноименных немецких народных книг эпохи позднего средневековья. Обе представляют собой воплощение женской верности, кротости, величия в страдании.

Стр. 157. *«Слава тебе, в венце победителя»* — начальная строка гимна кайзеровской Германии.

Стр. 174. *Обераммергау* — деревня в Верхней Баварии. В ней каждые десять лет, начиная с 1634 г., местные жители устраивали «Представления страстей господних» — театрализованные зрелища, изображавшие эпизоды «страстей Христовых».

188. *«Садовая листва»* — еженедельный берлинский журнал «для семейного чтения», крайне мелочный. *Предпочитаю*

тип Саломеи типу Лулу. — Саломея — героиня драмы О. Уайльда, Лулу — драм Ведекинда (см. прим. к стр. 56).

Кокошка Оскар (род. 1886 г.) — австрийский художник и драматург, крупнейший представитель экспрессионизма.

Стр. 189. *Гинденбург* Пауль фон (1847—1934) — германский фельдмаршал, президент Германии в 1925—1934 гг. Один из видных представителей империалистических кругов Германии. *Людендорф* Эрих (1865—1937) — немецкий генерал, военный идеолог германского империализма. Впоследствии один из вдохновителей и организаторов фашизма.

Геракл на распутье — басня афинского софиста V в. до н. э. Продика, в которой рассказывается о том, как молодой Геракл выбирал между путем труда и доблести и путем праздности и неги.

Стр. 200. *...тускуланскую виллу...* — Тускул — в древности городок близ Рима, где было много загородных вилл знатных римлян, в частности — Цицерона.

Стр. 201. *Спальня бидермайер.* — Бидермайер — направление в немецком искусстве первой половины XIX в. Названо так по вымышленной фамилии немецкого мещанина. Художники этого направления старались угождать вкусам немецкого мещанства. В убранстве комнат господствовало стремление к нарочитой камерности, мещанскому уюту.

Стр. 209. *Гумбольдт* Вильгельм (1769—1835) — известный немецкий филолог и государственный деятель Пруссии. *...даже из списка кораблей.* — Имеется в виду часть второй песни «Илиады» — список греческих кораблей, пришедших под Трою. Это место считается самым однообразным во всей поэме.

Стр. 213. *Шамфор* Себастьян Рок Никола (1741—1794) — французский писатель; эпиграф взят из его книги «Максимы и мысли, характеры и анекдоты».

Стр. 219. *Леман* — насмешливое прозвище Вильгельма Второго.

Стр. 220. *...нового Книгге...* — Книгге Адольф — автор популярной в свое время в Германии книги правил хорошего тона «Об обхождении с людьми», вышедшей в 1788 г.

Стр. 232. *«Обнимитесь, миллионы»* — строка из «Оды к радости» Шиллера (перевод М. Лозинского).

«Безобразная герцогиня» (1923) не является первым историческим романом Фейхтвангера. До этого произведения был уже написан роман «Еврей Зюсс» (май 1922 г.), но Фейхтвангер не смог из-за «непопулярности исторического романа» и «двусмысленности сюжета» найти для него издателя в тогдашней Германии. Однако некоторым издателям опыт Фейхтвангера в области исторического романа все же показался интересным и многообещающим. Так, представители популярного тогда берлинского клуба «Союз друзей книги» просили Фейхтвангера написать для них другой исторический роман в том же роде. В издательстве этого клуба и появилась впервые «Безобразная герцогиня Маргарита Маульташ», имевшая огромный успех. В 1926 г. книга была напечатана в издательстве Кипенхойер (Потсдам) и уже в 1930 г. потребовала переиздания. В дальнейшем книга выходила вне Германии (Амстердам, издательство Кверидо). В основу настоящего перевода положен текст издания: Л. Фейхтвангер, Собрание сочинений в отдельных книгах, т. 1 (изд-во «Ауфбау», Берлин, 1959). Для этого издания была проведена большая текстологическая работа по указаниям и при участии самого автора.

Действие романа Фейхтвангера происходит в первой половине XIV в. в центре тогдашней Европы — в немецких княжествах Тироле и Баварии.

Начало XIV в. было началом конца феодального мира. Даже в отсталой Германии в это время растут и богатеют города, развивается торговля, все большую роль в жизни начинают играть деньги, золото.

В отличие от Франции, в Германии начала XIV в. происходит не усиление, а резкое ослабление императорской власти. Императорский титул, переходящий из рук в руки, только помогает князьям захватывать новые земли и укреплять свои наследственные владения.

Три главных хозяина тогдашней германской империи, три сильнейшие княжеские династии — Виттельсбахи (герцоги Баварские), Габсбурги (герцоги Австрийские) и Люксембурги. Горная страна Тироль — для них особенно лакомый кусок, так как через нее проходят главные торговые пути из Германии в Австрию и Италию. Поэтому, когда в 1335 г. после смерти Ген-

риха, герцога Каринтского и графа Тирольского, не осталось мужских наследников, началась целая цепь дипломатических махинаций и прямых разбойничьих нападений с целью завладеть землями «в долинах рек Инна и Эча». Уже до этого объектом интриг стала Маргарита — законная наследница Тироля.

Об исторической Маргарите, сделанной Л. Фейхтвангером главной героиней романа, известно следующее:

Маргарита, графиня Тирольская (1318—1369) — старшая дочь и наследница графа Генриха Тирольского. Известна в истории под прозвищем Маульташ (Губастая). Целый ряд историков считают, что это прозвище возникло от названия ее замка в горах Южного Тироля. Тем не менее издавна существует и другая версия — о том, что это прозвище отражает характерную черту внешности Маргариты. Описывая ужасающее безобразие Маргариты, Фейхтвангер во всех деталях опирался на картину фламандского художника XVI в. Квинтена Массейса, издавна, хотя и без достаточных оснований, считавшуюся портретом Маргариты.

Жизненный путь Маргариты в общих чертах соответствует описанному в романе. В 1330 г., двенадцати лет от роду, ее выдали замуж за девятилетнего Иоганпа-Генриха — младшего сына богемского короля Иоганна Люксембургского. В 1335 г., после смерти своего отца, она совместно с Иоганном-Генрихом стала правительницей Тироля. В 1341 г. она развелась с Иоганном-Генрихом Люксембургом и с позором прогнала его из Тироля при поддержке сословий и императора Людвига Баварского, после чего вторично вышла замуж за старшего сына императора — Людвига Бранденбургского (1342), совместно с которым правила до его смерти (1361).

Скандалный развод Маргариты, совершенный императором Людвигом против воли папы и осужденный церковью, вызвал многочисленные толки. Она при жизни стала героиней легенд; некоторые из них включены в сборник сказок братьев Grimm.

Маргарита пережила не только своего второго мужа, но и своего единственного сына Мейпгарда (умер в 1363 г.). После смерти Мейпгарда она отреклась от престола и передала Тироль в управление Габсбургам — «вследствие особых обстоятельств и слабости женского пола», как написано в историческом документе. После отречения она окончательно удалилась от политических дел. Умерла она в 1369 г. в Вене, где поселилась по приглашению Габсбурга и провела свои последние годы.

Стр. 251. *Генрих, герцог Каринтский, граф Тирольский, король Богемский* — старший сын графа Мейнгарда II Тирольского, правил с 1295 по 1335 г. Каринтией, Тиролем и Крайной.

...вся Европа оставила за ним королевский титул, хотя он давно уже лишился своего королевства Богемия... — Генрих Тирольский лишился Богемии в 1310 г., когда ею завладели Люксембурги. История этого эпизода, на который Фейхтвангер намекает и несколько ниже (см. стр. 252 «...Иоганн с позором выгнал его из Богемии...»), такова: в XIV в. королевство Богемия (Чехия) входило в состав Германской империи. Когда в 1306 г. там прекратилась местная династия Пшемисловичей, началась борьба за богемский престол между крупнейшими германскими князьями. Тогдашний император Альбрехт I Австрийский из дома Габсбургов (правил с 1298 по 1308 г.) прочил на престол своего сына Рудольфа. Чешские феодалы противопоставили ему кандидатуру Генриха Тирольского, женатого на сестре покойного богемского короля Вацлава III. С помощью угроз и подкупа Габсбург добился избрания сына, но внезапная смерть Рудольфа снова лишила его Богемии, где королем был избран все-таки Генрих Тирольский (в 1307 г.). Однако когда Альбрехт умер и на императорском престоле Габсбургов сменили Люксембурги, новый император Генрих VII (1308—1313) захватил Богемию и отдал ее своему сыну Иоганну, которого женил на Елизавете Богемской (другой сестре покойного Вацлава III). Графу Генриху Тирольскому был тем не менее пожизненно оставлен титул короля Богемского.

Стр. 252. *Иоганн Люксембуржец* (1296—1346) — старший сын императора Генриха VII Люксембургского и принцессы Маргариты Брабантской. Получил воспитание при французском дворе и впоследствии в своей политике неоднократно ориентировался на Францию. В 1310 г., женившись на Елизавете Богемской, стал королем Богемии, а в 1313 г. унаследовал от отца графство Люксембург.

Стр. 253. *Аббат Иоанн Виктрингский* — с 1314 по 1347 г. настоятель монастыря Виктринг близ Клагенфурта в Каринтии, — известный средневековый историк. Был тайным летописцем и домашним капелланом при дворе Генриха Каринтского и Тирольского, впоследствии перешел на службу к Альбрехту II Австрийскому (Габсбург). Оставил хронику в шести

частях под названием «Книга истинной истории», охватывающую события с 1217 по 1343 г. и содержащую ценные сведения о тирольских, австрийских, а также общегерманских делах.

...бургеграф Фолькмар, любезные и умные господа фон Вилландерс, фон Шенна.— Все эти имена тирольских вельмож известны из истории, но более подробные их характеристики сочинены Фейхтвангером (Фолькмар, фон Шенна). Из исторических документов известно только, что они участвовали в заговоре против Люксембургов в союзе с императором Людвигом Баварским и сватали Маргариту его сыну, за что были соответствующим образом награждены императором.

Стр. 254. *...в Инсбруке он встретится с Австрийцем, с герцогом, с хромым Альбрехтом...*— Альбрехт II Австрийский, по прозвищу Хромой или Мудрый, правил Австрией с 1330 по 1359 г. (до 1339 г. совместно со своим братом Отто).

Стр. 255. *Людвиг Виттельсбах*— Людвиг IV Баварский — германский император с 1314 по 1347 г. из дома баварских герцогов Виттельсбахов.

Людвиг вел в течение всей своей жизни ожесточенную борьбу с римскими папами, которые отказались признать законным его избрание императором. Папа Иоанн XXII потребовал от Людвига сложить корону. Император не подчинился, за что был в 1324 г. отлучен папой от церкви. В 1327—1328 гг. Людвиг совершил поход в Италию, где в Риме против воли папы был коронован императором Священной Римской империи. Во время своего правления Людвиг мало занимался общегерманскими делами, хлопоча лишь об укреплении своей власти в Баварии и о расширении своих наследственных владений. В 1323—1324 гг. ему удалось приобрести Бранденбург, в 1341 — Нижнюю Баварию и ряд других областей, в 1342 — Тироль через сына, в 1345 — Голландию и Фландрию.

...эта горная страна... служила мостом между австрийскими и швабскими владениями Габсбургов...— Габсбурги происходили из Эльзаса и до второй половины XIII в. владели сравнительно небольшими землями. Когда в 1273 г. Рудольф Габсбург из Швабии был избран императором под именем Рудольфа I, ему удалось значительно увеличить владения Габсбургов. Главным из его приобретений была Австрия, которую он отнял у восставшего против него чешского короля Пшемисла II и ко-

торая с тех пор стала основным ядром всех владений Габсбургов. В эпоху, описываемую в романе, Каринтия и Тироль были главным препятствием на пути соединения земель Габсбургов в Швабии и Австрии.

Стр. 264. *...Елизаветы Богемской, которая принесла Люксембургу королевство...*— см. прим. к стр. 251.

...вдову покойного короля Рудольфа, королеву из Граца, непристойная связь которой с Иоанном вызвала гражданскую войну и обнищание.— Речь идет о Елизавете, вдове двух богемских королей — Вацлава II и Рудольфа Габсбурга (короля Богемии в 1306—1307 гг.). Связь Елизаветы с Иоанном послужила поводом для одного из многочисленных восстаний чехов против Люксембурга.

Стр. 275. *Гибеллины* — политическая партия в Италии XII—XV вв., поддерживавшая германских императоров и враждебная папской партии (гвельфам). Основу этой партии составляла феодальная знать, видевшая в императоре защитника своих привилегий. Иоанн пользовался большим влиянием среди гибеллинов.

...в Авиньоне забеспокоился папа Иоанн XXII...— С 1309 по 1377 г. (то есть во все время действия романа Фейхтвангера) продолжалось так называемое «авиньонское пленение пап» — длительное пребывание римских пап во французском городе Авиньоне, знаменовавшее собой зависимость папства от складывающейся французской монархии.

...Иоанн тронулся в путь...— Итальянский поход Иоанна Люксембургского состоялся в 1330—1335 гг. по приглашению ряда североитальянских городов. Фейхтвангер правильно освещает основные этапы похода.

Стр. 281. *...Рыцарь со львом* — Ивен, или Рыцарь льва, — герой одноименного произведения Крэтъена де Труа (вторая половина XII в.), создателя знаменитого цикла так называемых артуровских романов. Эти романы описывали приключения легендарного короля Артура и его рыцарей Круглого стола. Один из них, Ивен, получил свое прозвище в результате следующего приключения: однажды во время скитаний он встретил льва, у которого в лапе торчала огромная заноза. Ивен вытащил занозу, и лев так к нему привязался, что с тех пор повсюду следовал за ним.

...*Тристан плыл на своем корабле...*— Тристан — один из любимейших героев средневековой литературы. Первую литературную обработку сказание о Тристане и его возлюбленной Изольде получило во Франции в XII в. В Германии наиболее известна была переработка этого романа поэтом Готфридом Страсбургским (начало XIII в.). На фреске в замке Шенна был, очевидно, изображен тот эпизод, когда смертельно раненный Тристан попросил положить себя на корабль без руля и весел и поплыл по воле волн в незнакомую страну, играя на арфе, чтобы успокоить боль.

Гарель из Цветущей долины...— один из рыцарей короля Артура, герой стихотворного романа того же названия немецкого писателя Пнейера (вторая половина XIII в.).

Парцифаль — герой одноименного романа немецкого поэта-миннезингера Вольфрама фон Эшенбаха (ок. 1170—1220). Простодушный рыцарь Парцифаль в этом романе становится после многих испытаний и побед хранителем таинственного сокровища Грааля и главой рыцарского братства, оберегающего замки Грааля.

Стр. 314. *Ланцелот и Джиневра* — персонажи артуровских романов; рыцарь Ланцелот был влюблен в королеву Джиневру и любим ею.

...*Дидона бросалась в пламя.*— Дидона — легендарная финикийская царица, основательница Карфагела; Вергилий в «Энеиде» рассказывает о ее любви к троянскому беглецу Энею и о ее самоубийстве в пламени костра после отъезда возлюбленного.

Стр. 320. *...помочь отцу в польской войне...*— Иоганн Люксембургский считал себя наследником богемской династии Пшемисловичей и присвоил себе принадлежавший им титул польского короля. Он неоднократно воевал против Польши на стороне Тевтонского ордена, добываясь короны и новых земель, и действительно приобрел Силезию.

Стр. 338. *...ему всю жизнь пришлось нести бремя отлучения и интердикта...*— Отлучение от церкви — исключение из религиозной общины. Интердикт — запрещение церковного богослужения и отправления прочих религиозных обрядов, налагавшееся римскими папами в виде наказания на отдельные города, области, страны или на отдельных лиц. Отлучение и

интердикт широко использовались в XI—XIV вв., как средство подчинения отдельных государей папской власти.

Стр. 339. *Вильгельм Оккам* (XIV в.) — английский прогрессивный философ и богослов. Он являлся теоретиком и активным участником борьбы против папы и против католической иерархии за светскую власть императоров, за что был осужден папской инквизицией как еретик.

Марсилиус Падуанский (ок. 1280—1343) — итальянский ученый и политический деятель, идеолог поднимающейся буржуазии. В известном произведении «Защитник мира» (написанном им в 1324 г. совместно с Дж. ди Джандоне) Марсилиус также горячо выступил против притязания папства на светскую власть. Активно помогал Людвигу Баварскому в его борьбе с папой, за что в 1327 г. был отлучен от церкви и заочно приговорен к смерти. Написал специальное теоретическое сочинение о праве императора давать развод в связи с разводом Маргариты Тирольской в 1341 г.

Стр. 341. *...Этталский рыцарский орден...* — Имеется в виду основанный в 1330 г. на месте теперешнего Этталского аббатства (в Верхней Баварии) своеобразный рыцарский приют или нечто вроде дворянского клуба — один из центров рыцарской идеологии и культуры.

...по образцу Вольфрамова «Парцифалья»... — см. прим. к стр. 281.

Стр. 343. *Климент Шестой* — папа, правивший в Авиньоне с 1342 по 1352 г. Был воспитателем и другом Карла Люксембургского (императора Карла IV).

Стр. 351. *...коллегии курфюрстов...* — Курфюрсты — крупнейшие князья Германской империи, за которыми с XIII в. было закреплено право избрания императора. В состав коллегии курфюрстов входили архиепископы Трира, Кельна и Майнца, князья Саксонии, Бранденбурга и Пфальца и король Богемии. Курфюрсты обладали почти полной политической самостоятельностью внутри империи.

...и несколько дней спустя курфюрсты действительно отдали большинство голосов Люксембуржцу... — В июле 1346 г. пятеро курфюрстов, подкупленные Люксембургами и соблазненные посулами папы, тайно встретились в г. Рензе на Рейне (ставший

к тому времени традиционным местом заседаний коллегии курфюрстов), объявили низложенным императора Людвига Баварского и избрали на германский престол Карла Люксембурга — императора Карла IV (годы жизни 1316—1378, годы правления 1346—1378).

Стр. 358. *...в великую ссору между Англией и Францией...*— Имеется в виду Столетняя война между Англией и Францией, продолжавшаяся с перерывами с 1337 по 1457 г. Ослепший Иоганн Богемский выступил во время этой войны вместе со своим сыном Карлом и небольшим войском на помощь французскому королю Филиппу VI Валуа и погиб в битве при Креси в 1346 г. именно так, как это описано Фейхтвангером.

Стр. 361. *...ввиду того, что Аахен запер свои ворота, короновался в Бонне как германский король, в Праге как Богемский...*— С начала IX в. Аахен был традиционным городом венчания на царство германских императоров и королей. Когда в 1346 г. коллегия курфюрстов выбрала императором Карла Люксембургского, целый ряд рейнских городов остался верным императору Людвигу IV Баварскому. В результате этого Аахен запер свои ворота перед Карлом и отказал ему в коронации. Его короновали как германского императора в Бонне в ноябре 1346 г. и лишь в 1349 г., после смерти Людвига IV, повторно в Аахене.

Стр. 362. *Маркграф Людвиг сражался далеко на севере, в Пруссии...*— В XIV в. продолжается грабительское движение немцев на востоке и их захваты в Прибалтике. Прибалтийские племена храбро сопротивлялись захватчикам. Несмотря на то что территория Пруссии (на которой обитало литовское племя пруссов) была оккупирована с помощью Тевтонского ордена еще в середине XIII в., в XIV в. здесь было все еще неспокойно.

Стр. 373. *...чума пришла с востока...*— Речь идет о знаменитой эпидемии чумы, пришедшей из Малой Азии и бушевавшей в Европе в 1347—1352 гг. Она описана в «Декамероне» Боккаччо и в ряде других литературных произведений. От чумы или «черной смерти», как ее называли, погибло около двадцати четырех миллионов человек, то есть почти четвертая часть населения тогдашней Европы.

Стр. 392. *Рудольф* — Рудольф IV Австрийский (годы правления 1358—1365) унаследовал Австрию у своего отца Альбрехта II Австрийского. Был одним из могущественнейших государей своего времени, хотя и не был императором, и вел в Австрии типичную абсолютистскую политику.

Стр. 422. *...общество любителей охоты и турниров на основе строгого устава старинных рыцарских объединений...*— Баварский Артуров Круг придуман Фейхтвангером, но подобные рыцарские союзы под другими названиями действительно возникали в ту эпоху (Бранденбург, Швабия, Саксония), главным образом с целью взаимной поддержки и грабежа.

Стр. 427. *...и вдруг появились те самые документы...*— Фальшивые привилегии Габсбургов были изготовлены в 1358—1359 гг. Пять документов были подписаны именами самых могущественных германских императоров прошлого — Генрихом IV, Фридрихом I, Генрихом XII, Фридрихом II и Рудольфом I. Были привлечены даже Юлий Цезарь и Нерон. В грамотах утверждалось, что австрийским правителям, которым Золотая булла 1356 г. отказывала даже в правах курфюрста, даровано верховное положение в империи над всеми остальными князьями и исключительные права и привилегии: абсолютная свобода от всяких обязательств перед империей, неограниченная власть в своих землях, неделимость Австрии и т. п. Некоторые из этих документов и привилегий были впоследствии официально признаны, хотя все грамоты являлись грубой подделкой.

Стр. 460. *...Мейнгард, совсем обессиленный...*— герцог Мейнгард III Тирольский — единственный сын Маргариты — правил с 1361 по 1363 г. Его внезапная смерть через два года после смерти отца вызвала слухи о злоумышленном отравлении их обоих Маргаритой. Вероятность этих слухов сомнительна.

Е. Маркович

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Б. Сучков. Лион Фейхтвангер</i>	5
АВТОБИОГРАФИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ	
Опыт автобиографии. <i>Перевод С. Анга</i>	53
Автопортрет. <i>Перевод С. Анга</i>	55
Автор о самом себе. <i>Перевод В. Вальдман</i>	61
<i>МИР. Перевод Е. Эткинда</i>	67
ТЫСЯЧА ДЕВЯТЬСОТ ВОСЕМНАДЦАТЫЙ ГОД. <i>Перевод</i> <i>И. Горкиной и Р. Розенталя</i>	125
БЕЗОБРАЗНАЯ ГЕРЦОГИНЯ МАРГАРИТА МАУЛЬТАШ, <i>Перевод В. Станевич</i>	249
Примечания <i>Е. Маркович</i>	493

Лион Фейхтвангер
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
Том первый

Редактор *С. Ошеров*
Художественный редактор *Д. Ермоленко*
Технический редактор *А. Трошун*
Корректор *М. Доценко*

Сдано в набор 25/1 1961 г.
Подписано в печать 8/IX 1963 г.
Бумага 84 × 108¹/₃₂—16 печ. л.—26,24 усл. печ. л.
24,24 уч.-изд. л.+ 1 вклейка = 24,29.
Тираж 300 000 (1—150 000) экз. Заказ № 2244.
Цена 1 руб.

Издательство художественной литературы
Москва, Б-66, Ново-Васманная, 19.

Типография «Красный пролетарий»
Политиздата
Москва, Краснопролетарская, 16,

